БОРИС КОСТЮКОВСКИЙ



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ


Советская
РОССИЯ

БОРИС КОСТЮКОВСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВЕТСКАЯ РОССИЯ"

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

•

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

•



МОСКВА—1965

Р 2
К 72

Художник
Е. Р. СНАКАЛЬСНИЙ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Под воскресенье мы поехали посмотреть колхозную пасеку в Черемховском районе. Наверное, сам господь бог устроил пасеки в живописных местах, где есть и полянки с пестрым буйством цветов, и высокие липы с резными листьями, и окруженное лиственницами гречишное раздолье, и журчащая в тени разросшихся ильмов речушка с каким-нибудь точным названием «Пьяная», потому что она и впрямь виляет из стороны в сторону, словно подвыпивший шахтер.

И домишко тут «на курьих ножках», и ладно срубленный из векового листвяка амбар, куда на зиму ставят ульи, и запах сотов, тот единственный и неповторимый запах сотов, где воск, и свежий мед, и цветы, и молодой сок листвы и трав, и томящее солнце, и непрестанный звонкий полет тружениц пчел, и свежесть чистых струй Пьяной, бегущей в обход серых и коричневых валунов.

Только встретила нас вместо непременного деда пасечника румяная, в яркой косынке девушка. Она и была пасечником.

Смуглую, с раскосыми глазами пасечницу звали мужским бурятским именем Бадма.

Бадма, как и приличествует хозяйке, повела нас к ульям.

— Возьмите сетки, — посоветовала она нам. Но сама Бадма была без сетки, и мы наотрез отказались.

До сих пор не понимаю, чем я провинился перед пчелами. Руками я не размахивал, ничего не трогал. Не отгонял от себя пчел. В общем, действовал по заранее полученной от Бадмы инструкции.

И все же возле первого же улья меня укусила в переносицу пчела. Это произошло молниеносно и скорее походило не на укус, а на острый удар.

Лоб и веки стали немедленно опухать. К концу осмотра пасеки я уже почти ничего не видел из-за оплывших век.

— Ну вот, я же вам говорила, надо сетку было... — сокрушалась Бадма.

— Ничего, говорят, это полезно, когда пчела ужалит, — смеялся Иван Андрианович. Он-то уж не обра-

щал внимания ни на какие инструкции, беспрерывно жестикулировал. Но пчелы к нему почему-то отнеслись милостиво.

Иван Андрианович Рассказов в то время работал секретарем Иркутского обкома партии по пропаганде.

В Черемхово — шахтерский город — мы с ним приехали проводить кустовое совещание секретарей райкомов и пропагандистов. Совещание должно было открыться завтра, в воскресенье.

К вечеру я не мог открыть век, а утром следующего дня положение мое нисколько не улучшилось.

Иван Андрианович, как мог, ухаживал за мной, делал какие-то примочки, раскатисто хохотал, пил из гостиничного самовара чай, варил в нем, по сибирскому обычаю, яйца, угощал меня и говорил, что он не он будет, а на ноги меня утром поднимет. И все же утром ушел один, оставив меня в самом что ни на есть плачевном состоянии. Лучше же всего было заснуть. И я проспал все утро и часть дня.

Проснулся я от тревожного голоса Ивана Андриановича. Он схватил меня за плечо, сильно тряс и повторял:

— Да проснись ты. Проснись! Война! Понимаешь: война! На нас напали немцы.

Я вскочил, веки мои чуть приоткрылись, и я понял, что это не сон.

Иван Андрианович, всегда веселый, с размашистыми движениями, с рассыпающимися прямыми волосами, которые он имел обыкновение то и дело забрасывать рукой назад, выглядел настолько встревоженным, что сомнений быть не могло: война.

Тут же я забыл о вчерашней неприятности.

Иван Андрианович распорядился:

— Сейчас подадут лошадей. Поедем на шахты проводить митинги. Я в одну сторону, а ты — в другую.

И вот тройка лошадей, запряженных в тарантас, с колокольцами и расписной дугой у коренного, мчит меня на шахту имени Кирова.

Ох, как тревожно звенят бубенцы!

В раскомандировке сотни шахтеров. Одни поднялись из-под земли, другие только что сбежались со всех концов поселка.

Лиц этих людей, пористых, с въевшимся углем,

и глубоко посаженными глазами из-под шахтерок, я никогда не забуду.

Не помню, о чем я тогда говорил.

Позднее, во время войны, я много раз выступал перед бойцами, но никогда, пожалуй, я не испытывал такого волнения, как в этот день.

Шахтеров никто не приглашал выступать. Они выходили один за другим, словно вырубленные из угля, с темными лицами, в черных спецовках и не просто говорили, а произносили клятвы.

Никакой растерянности. Ярость. Возмущение. Уверенность в победе. Но и никакого шапкозакидательства. Люди в эти часы уже понимали, что война будет трудной. И каждый просил отправить его немедленно на фронт.

Я запомнил одного шахтера. Лет ему было под тридцать. Таких обычно рисуют на плакатах, когда хотят изобразить рабочего. Такой, кажется, высился при входе на ВСХВ в Москве. Изображался на денежных знаках. Могучий, с оголенными по локоть руками, с крепкими скулами и прямым вгзлядом.

Фамилия шахтера звучала убедительно — Верба. Он потребовал завтра же отправить его на фронт.

Судьбе было угодно, чтобы через месяц я встретился с Вербой в одном из забайкальских запасных полков.

Здесь же было немало черемховских шахтеров. А месяца через три весь полк был отправлен на фронт.

Еще через год я встретил Вербу в госпитале тяжелораненым. Больше года он провалялся в госпиталях, встал на ноги и вернулся на фронт. Потом, уже в сорок девятом году, на литературном вечере в Черновских копях я получил записку от Вербы и проговорил с ним всю ночь. Он, оказывается, дошел до Берлина и закончил войну командиром батальона.

В тот же памятный день, когда я впервые повстречал Вербу, тройка начальника шахты (а тогда еще маловато было легковых машин и этим старинным русским видом транспорта пользовались не только в Черемхово, но и во многих районах Сибири) мчала меня с шахты на шахту, и всюду повторялась одна и та же картина. Митинги были короткие, речи немногословны.

Мы тогда еще не могли представить себе, что вой-

на будет такой тяжелой, такой долгой, с такими жертвами, разрушениями, потерями.

Я лично не знал, что один мой брат, Илья, преподаватель академии имени Дзержинского, за месяц до этого был назначен комиссаром полка в пограничный район, и его полк одним из первых принял на себя удар врага. Не знал я и того, что почти весь полк, защищаясь до последнего снаряда, погиб у своих орудий вместе с командиром и комиссаром.

Не знал я, что другой мой брат, отслуживший срочную службу на Дальнем Востоке, вскоре проедет с эшелоном на фронт, и никто из близких не увидит его, никто не встретит.

Не знал я и того, что мой третий брат, Алексей, которому едва исполнилось девятнадцать лет, самый красивый, самый добрый в семье, только что окончивший аэроклуб, с розовыми щеками, не знавшими еще бритвы, добровольно уйдет на фронт, попадет с такими же юнцами, как и он, в эшелон, идущий под Ленинград, и сложит свою голову где-то под Великими Луками в деревне Рачки.

Многого я тогда не знал, как не знали этого и черемховские шахтеры, с которыми мне суждено было встретить первый день великой войны.

Но в этот день мы познали одно общее, высшее счастье: подлинное братство, порыв сердец, всепоглощающую любовь к своей Родине и веру в народ.

С этим чувством мы и шагнули в войну. В дни самых суровых испытаний, которые едва ли в истории человечества испытывала какая-нибудь страна и какой-нибудь народ.

И когда я думаю о самом счастливом дне в своей жизни, я почему-то вспоминаю пасеку под Черемхово, струящийся густой воздух, благоухание красок и цветов, необыкновенную пасечницу по имени Бадма.

Наверное, происходит это потому, что яркий день этот так неожиданно предшествовал другому, горькому дню...

Сколько людей привелось мне повстречать за войну, сколько неповторимых человеческих судеб!

В своих повестях и рассказах я и пытался, как мог, поведать обо всем виденном и пережитом в эти бесконечно долгие четыре года.

ПОВЕСТИ

ГЕНЕРАЛ ВЕРХОЗИН

И СНОВА ВЕСНА

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ





Брату моему Илье Костюковскому, комиссару полка, погибшему в первые дни Отечественной войны.

Автор

ГЕНЕРАЛ ВЕРХОЗИН

Генерал-майор Верхозин пошел в полк. Шоферу, оставшемуся с машиной в расположении штаба дивизии, он приказал немедленно разыскать его, как только вернется из города комиссар Трегубенко.

Стояла безветренная погода с нежно-молочными туманами. Был ранний час утра, и туман лежал на земле, закрывая до половины стройные лиственницы, тогда казалось, что растут они над огромным серым полем, возвышаясь в виде гор с пещерами.

С бугорка Верхозин разом охватил взглядом реку, уже покрытую блестящим льдом. Вспомнив, как часто за последние годы он собирался «тряхнуть стариной» и встать на коньки, генерал улыбнулся и подумал: «Раненько нынче морозцем прихватило. И как сразу! Вот и неровный лед поэтому».

Повсюду уже виднелись в предрассветном сумраке группы бойцов и со всех сторон доносились громкие, протяжные слова команд. Генерал был убежден, что, если не встать утром очень рано, — никогда ничего не увидишь и не узнаешь. И когда ему случалось подняться поздно, — он не находил себе места, а день для работы считал потерянным.

Верхозин, как всегда, был чисто выбрит и подтянут. Высокая папаха не могла скрыть большой и энергичный лоб генерала и как-то особенно подчеркивала его короткий подбородок со шрамами. Когда Верхозина спрашивали о шрамах, он отвечал, что лицо ему «причесали» на Халхин-Голе.

Генерал шел к землянкам полка майора Карасика. От взгляда Верхозина не ускользнули занесенная снегом автомашина, разбросанные в беспорядке доски, круг колючей проволоки... Сразу же за редким кустарником торчали одинокие без изгороди ворота. И это рассердило Верхозина.

Возле ворот стоял боец. Завидя генерала, он резким броском на вытянутую руку откинул от себя винтовку, приветствуя его «по-ефрейторски на караул». Часовой был одет в длинный тулуп, и голова его утопала в широком заиндевевшем воротнике.

«Видно, на этой поляне здорово за душу хватает»,— подумал генерал, взглянув на раскрасневшееся лицо красноармейца.

Генералу захотелось сказать бойцу что-нибудь веселое, шутливое, но поскольку разговаривать с часовыми не положено, сдержался. Однако, желая все-таки подбодрить парня, он быстро взглянул на свои ручные часы и громко бросил:

— Двадцать минут седьмого.

Часовой улыбнулся: через десять минут на караул заступала новая смена.

И долго, пока удалялся высокий, чуть сутуловатый генерал, боец смотрел ему вслед.

Над крышей землянки, бугром выпиравшей из-под снега, развевался на ветру кусок кумача. Здесь помещалась столовая. Генерал вошел в нее. В столовой было тепло, пахло чем-то сытным и до того знакомым, что Верхозин остановился и вдруг радостно воскликнул:

— Да ведь это гречневая каша, черт ее подери!

Бойцы, прибиравшие столовую и при входе генерала ставшие «смирно», засмеялись, а Верхозин вполне серьезно сказал:

— Гречневая каша, матушка наша. Полезная штука!

— А у нас, товарищ генерал, все полезно, что в рот

полезло, — шутливо ответил один из красноармейцев. Бойцы улыбались, а генерал, ласково посматривая на них, думал: «Экие ведь здоровяки, сразу видно, что на морозе росли».

Верхозин прошелся по столовой. На столах стояли грязные миски и тарелки. Тут же лежали ложки, часть из которых была с обломанными черенками и выщербинами. «Ложек не могут завести», — рассердился Верхозин на майора Карасика. Через полчаса в штабе полка генерал, выговаривая майору Карасику, припоминал и ворота, и автомашину в снегу, и ложки.

Вытянувшись перед генералом, майор не мигая смотрел ему в глаза, заранее со всем соглашаясь и кивая головой.

— Я же приказывал начпроду достать ложки. Все должен делать сам, все сам! — приговаривал он.

Исполнительный служака майор, прозванный в дивизии за свой небольшой рост «майорчиком», готов был немедленно броситься из комнаты и разом все исправить. Но готовность действовать, которая всегда подкупала генерала в военных людях, на этот раз не помогла Карасику. Около полкового клуба генерал постоял немного в раздумье и вошел в неприкрытые двери.

Из темноты узкого и длинного зала Верхозин несколько минут наблюдал, что делалось на шаткой, скрипучей сцене клуба. Он удивленно поднял брови и даже вынул изо рта трубку, узнав в разухабистом парне, с лихо закрученными усами, своего адъютанта Беспрозванных.

Беспрозванных, небрежно размахивая длинными руками, говорил, обращаясь к кокетливой женщине:

— Нет, нет и не уговаривайте! Ваше лицо мне очень знакомо. Я вас где-то встречал, но где — не могу вспомнить...

Генерал стоял бы незамеченным, если бы в зал не вошел начальник клуба. Увидев генерала, он проскочил вперед, повернулся и отрапортовал:

— Товарищ генерал-майор, по случаю смотра сейчас идет генеральная репетиция. Думаем до занятий в штабе управиться; пьесу эту из жизни Западной Украины написал сам лейтенант Беспрозванных.

— Беспрозванных? — словно ослышавшись, спросил Верхозин.

«Артисты», увидев генерала, загремели стульями и встали. Беспрозванных смутился, сдернул усы из пакли и, не смея взглянуть на генерала, опустил голову. Верхозин любил своего адъютанта, такого же огромного, как и он сам. В шутку генерал говорил: «Мы всем похожи друг на друга — даже сапоги одного, сорок пятого, размера носим. Только вот в одном я завидую адъютанту: имя и отчество у него громкое — Михайла Илларионович — чуть-чуть не фельдмаршал Кутузов».

Многие в дивизии понимали, что, кроме служебных отношений, генерала и адъютанта связывает глубокая дружба.

Как-то, сдержанно улыбаясь, генерал сказал Беспрозванных:

— Талантов у тебя, Михайла, много, и потому ты ничего не умеешь хорошо делать. Стихи ты пишешь, рисуешь. Вчера Мария Михайловна опять на тебя жаловалась: целый год, говорит, мучаешь ее, а портрета все нет и нет. Недавно сказали мне, что ты на сцене стал выступать. Смотри, Михайла, за пятью зайцами погонишься — ни одного не поймаешь!

Беспрозванных вспомнил теперь этот разговор и, не переставая мять в своих больших руках кусочек пакли, с беспокойством думал, что генерал, узнав о его увлечении драматургией, вновь напомнит о пяти зайцах.

Вдруг двери зрительного зала широко распахнулись и к генералу быстро прошел шофер его машины.

— Товарищ генерал, — четко отрапортовал он, — комиссар Трегубенко только что прибыл и находится в штабе дивизии.

Генерал кивком головы позвал Беспрозванных и тот, накинув шинель и на ходу застегивая ее, объявил, что репетиция переносится на вечер.

Однажды в шутку Верхозин сказал, что если Михайла Илларионович возьмет дивизионное первенство по бегу, то он и этому не удивится. Иногда порисовать, иногда написать острую эпиграмму, а в свободные от службы минуты взять гитару и, аккомпанируя себе,

напевать не сильным, но приятным баритоном куплеты собственного сочинения.

Он никогда серьезно бегом не занимался, но ровно через месяц первым пришел к финишу.

Свою адъютантскую службу он почитал, как наиважнейшую, без малейшего сожаления забывая все свои увлечения.

За день выполнить десятки разнообразных приказаний, помогать генералу разрабатывать сложнейшие военные задачи для очередных учений, мчаться из одного полка в другой — все увидеть, запомнить, правильно доложить генералу, а главное, всеми силами своей души, всей энергией участвовать в этой сложной, многогранной воинской жизни.

Были у этого парня хорошие синие глаза, лучистые и мечтательные. Люди любили его за приветливый взгляд, за веселый, ровный нрав, за отзывчивый характер.

Около штаба Беспрозванных первым выскочил из машины и, упруго ступая, открыл переднюю дверцу, где сидел генерал.

В штабе, меряя крупными шагами узкий коридор, Верхозина поджидал комиссар дивизии Трегубенко.

— Демьян Трофимович, наконец-то! — протягивая Верхозину маленькую крепкую руку, пробасил Трегубенко. — Ищу тебя, а никто не знает, куда ты исчез.

— Зато я знаю, когда ты появился. — Верхозин хитро прищурился. — Ну, какие новости ты привез?

— Новости такие, что ой-ой-ой! Есть приказ!

— А ну, давай, — нетерпеливо сказал Верхозин.

Когда Трегубенко должен был впервые появиться в дивизии, генерал ожидал его с понятным нетерпением и любопытством. В своей многолетней службе Верхозин не знал, что такое «не сработаться» с комиссаром. Иногда у Верхозина бывало такое ощущение, что вместе с комиссаром они представляют одно существо. Но это было в тех случаях, когда работаешь с хорошим, умным, чутким и опытным человеком много лет кряду. Такой комиссар у Верхозина был до Трегубенко. Очень неохотно расставался с ним генерал, и, может быть, по этой причине так настороженно он ждал нового комиссара.

На первых порах комиссар вел себя настолько тихо

и незаметно, что Верхозин не на шутку встревожился. Привыкнув постоянно ощущать возле себя человека, отвечающего за дела в дивизии наравне с ним, Верхозин почувствовал, что ему чего-то не хватает. Но недели через две-три новый комиссар уже настолько освоился с людьми, так знал дела дивизии, что Верхозин только дивался диву.

Наступила первая военная зима 1941 года, и Верхозин не давал покою ни себе, ни новому комиссару, ни штабу, ни командирам частей.

Со временем Верхозин забыл о всех своих опасениях. Комиссар с явным удовлетворением поддерживал командира дивизии, делал все так же незаметно, без шума, но всегда точно и с непостижимой настойчивостью. Ни в чем не связывая командира дивизии, он в нужный момент предостерегал его от ошибок, вовремя умел подсказать необходимое решение.

Предшественник Трегубенко был очень хорошим оратором, а Верхозин любил пламенную речь. Трегубенко никак нельзя было назвать оратором в общепринятом смысле этого слова. К своим выступлениям он готовился тщательно, долго, дословно писал эти выступления, но говорил всегда, не заглядывая в записи, и его глухой бас, спокойная речь, с очень скупой жестикуляцией, действовали на слушателей, пожалуй, гораздо сильнее, чем некоторые эффектные выступления его предшественника. «В чем же его сила? — размышлял Верхозин,— говорит логично, ни на минуту не упускает из виду цели своего выступления, разговаривает точно не с целым залом, а с каждым в отдельности, — главное — это убежденность!»

Да, за словами Трегубенко стоял человек чистой души, ясных и простых мыслей.

Через несколько месяцев Верхозин как бы невзначай сказал Трегубенко:

— А с тобой работать можно.

Трегубенко глянул в лицо генерала и заметно покраснел. Генерал назвал его на «ты», а это означало с его стороны полное доверие.

— Я так же думаю о... тебе...

И опять Верхозину с новым комиссаром так часто одинаково думалось, и было спокойно, когда приходилось отлучаться из дивизии и, наоборот, когда комис-

сар уезжал в штаб фронта, можно было с уверенностью понадеяться на него, как на самого себя. Короче говоря, вновь пришла хорошая слитность в мыслях, в действиях с комиссаром, без которой Верхозин не мог представить подлинной работы.

Вот он стоит перед ним, комиссар Трегубенко, и держит в руках долгожданный приказ, приказ, который всем сердцем ждал генерал.

В своем кабинете, взяв из рук комиссара пакет, еще не распечатав его, Верхозин взволнованно спросил:

— Значит, точно? Значит, недаром ждали?

— Точно, точно, Демьян Трофимович. Да еще так быстро все случилось, что ты об этом и загадывать не мог.

А часом позже Беспрозванных названивал по телефону и рассылал во все концы посыльных с приказом: «Всем командирам и комиссарам частей явиться в штаб дивизии».

* * *

Дивизия грузилась в эшелоны. В новых свежеокрашенных теплушках устраивались по-хозяйски быстро и основательно, находили место немудреному походному снаряжению, развешивали по стенам вагонов плакаты и лозунги, и в железных печках начинали весело потрескивать смолистые дрова.

Эту черту сибиряков — обживать новые места, удобно чувствовать себя в любых условиях — хорошо знал Верхозин.

В этой массе людей в серых, привычных глазу шинелях, охваченных деловой суетой, одетых во все новое, пахнущее сыромятной кожей и залежавшимся сукном, в приподнятом настроении было что-то особенное.

Не раз за последний месяц в бессонные ночи Верхозин вскакивал в одном белье с постели и часами просиживал над листами географического атласа, по которым он своим многолетним опытным глазом словно читал о страданиях людей, о героизме армии, о наглости и авантюризме врагов. Если бы его спросили — чего он хочет,— он сказал бы прямо: «Ехать на Запад».

Один раз Верхозин отправился даже к командую-

щему Забайкальским фронтом с рапортом. Тот его встретил приветливо, а узнав цель приезда, сухо и официально отказал.

Как и командующий Забайкальским фронтом, он понимал, что да, здесь, в Забайкалье, войска стоят не зря, что в любую минуту Квантунская армия может не просто нарушить границу, как она нарушала ее каждый день, но, по сговору с Гитлером, развяжет и на Востоке большую войну. Верхозин читал еженедельную сводку штаба Забайкальского фронта и давно уже видел, что война малая шла на Маньчжурской границе с первых дней, когда фашисты развязали войну на Западе.

Верхозин хорошо знал японцев. Он знал их по гражданской войне, он знал их по Хасану и Халхин-Голу. Квантунскую армию могла сдержать только сила, только опасение встретить могучее сопротивление советских дивизий. Вот почему без замены запасными соединениями из Сибири не снималась ни одна часть. Да, все это хорошо понимал Верхозин.

И только в ту минуту, когда он вскрыл пакет и пробежал глазами приказ, Верхозин дал волю своим чувствам:

— Ну, не говорил ли я тебе, комиссар? Не говорил ли я тебе, что мы уйдем отсюда? Теперь мы должны показать, чего стоят забайкальские воины. Настал наш черед!

И столько могучей силы почувствовалось в словах этого, уже пожилого, израненного на многих войнах генерала, что Трегубенко крякнул от удовольствия.

Во время погрузки генерал почти не уходил со станции. Он был по-походному затянут в ремни, и его помолодевший голос слышался в разных концах эшелона.

Начальник станции в железнодорожной фуражке, молодой безусый парень, совсем растерялся от обилия людей, орудий, лошадей. Он бегал по платформе из конца в конец, давая невпопад настолько сбивчивые распоряжения, что начальник штаба дивизии, полковник Брюханов, медлительный и спокойный человек, попросил его положиться в этот раз на военных.

Первый эшелон закончил погрузку по плану минута в минуту. Полковник Брюханов в 15.00 доложил ко-

миссару, что эшелон готов к отправке. Из окон и дверей теплушек выглядывали вспотевшие от беготни и спешки красноармейцы. В одном из вагонов Верхозин увидел русоголового массовика дивизионного клуба. Не стригли его по специальному разрешению командира дивизии. Сейчас массовик о чем-то таинственно разговаривал с Беспрозванных, и Верхозин не без восхищения подумал о нем: «Ишь, чертяка, красавец какой!» Но внимание Верхозина отвлек начальник станции. Размахивая папкой с бумагами, он гнался за большой пестрой коровой.

— Куда вы? — окликнул его Верхозин.

Начальник остановился, виновато развел руками:

— Безобразие! Сотруднички коров распустили.

— Оставьте ее, — с озорными искорками в карих глазах прокричал Верхозин. — По народным приметам — пестрая корова к счастью.

Начальник станции с недоумением посмотрел на генерала, не понимая, шутит тот или говорит всерьез; мотнул головой и, улыбаясь, зашагал к станции.

Верхозин наблюдал, как остающиеся бойцы жали руки уезжающим, называли их «разведчиками» и «квартирмейстерами» и наказывали выбирать квартиры «потеплее, с мягкими перинами и парным молоком».

Раздались звонки. Верхозин и майор Королев — командир полка, который отправлялся первым, крепко обнялись и по старому русскому обычаю трижды расцеловались. Не дожидаясь, когда тронется эшелон, Верхозин пошел вдоль вагонов. Вдруг в чистом морозном воздухе поплыла незнакомая протяжная мелодия. И сразу будто все затихло на маленькой станции. В одном из вагонов сильный голос, то тоскующий и переливчатый, то призывный и звонкий, выводил:

Эх, прощай, сторонушка, сторона родная...

Верхозин остановился, прислушался. Десятки голосов дружно подхватили:

Эх, прощай, сторонушка, сторона родная,
Горы голубые, батюшка-Байкал,
Реки серебристые и тайга густая,
Снежные вершины неприступных скал.

Сильный подголосок звенел, легко взлетал ввысь и уносился далеко к сопкам. А потом низкие, густые голоса твердо и отчетливо выводили припев:

Путь к сраженью труден,
Путь к победам грозен,
Славу мы добудем,
Нас ведет Верхозин —
Сибирский генерал.

«Ишь ты, что сочинили»,— подумал Верхозин и заглянул в вагон. Посредине, размахивая руками и встряхивая русой шевелюрой, стоял массовик дивизионного клуба.

Эшелон тронулся, и из всех теплушек генералу прощально замахали руками. Песню заглушил духовой оркестр. Верхозин возбужденно вскинул руки вверх, потом прижал их к груди и стоял так, пока эшелон не скрылся за выступом крутолобой сопки. С повлажневшими глазами он подошел к Трегубенко, стоявшему на платформе с Беспрозванных, и с гордостью сказал:

— А умеют забайкальцы идти на войну!

— Га-арные хлопчики! Народ веселый, почти как на Украине! — растирая рукавицей мясистый, озябший нос, ответил Трегубенко.

* * *

Сложное хозяйство дивизии грузилось вот уже третьи сутки. К маленькой станции подходили эшелон за эшелоном, принимая на свои платформы трехтонные автомашины и мощные тракторы-тягачи, прессованное сено и крупнокалиберные орудия, глядящие жерлами вверх. Подходили крытые вагоны, и в них по трапам поднимались клейменные, ко всему привыкшие армейские лошади. Грузился санитарный батальон: носилки, защитного цвета кованые ящики с красными крестами, тюки простыней, халатов, одеял, полевые операционные столы, белые табуретки и бог весть какое имущество. И всему этому не было ни конца, ни края. Работники дивизионного клуба вначале хотели взять с собой библиотеку, все «культимущество», а его было немало. Хозяйственным клубным работникам жаль было оставлять годами накопленное богатство;

все эти оркестры народных и джазовых инструментов, патефоны, тысячи пластинок, театральные костюмы всех эпох, времен и народов, шахматы и шашки, домино, чудесные бархатные «задники» и «падуги» на сцене. Они решили все это прихватить с собой и паковали в специальные ящики. Только вмешательство Трегубенко положило конец ретивым заботам клубных работников.

— Все разложить, развесить по местам, сделать опись и сдать новым хозяевам,— гласил его приказ.

Взяли самое необходимое, строго по «фронтовой норме», и только в отношении баянов и гармошек сделано было исключение. Новые хозяева клуба пока не заявлялись. Верхозин и Трегубенко зорко смотрели за тем, чтобы военный городок был оставлен в полном порядке.

Полк уходил, казармы оставались с целой электропроводкой, с полным комплектом коек, столов, ружейных стоек, с марлевыми занавесками на окнах и наклеенными на них, вырезанными из цветной бумаги контурными рисунками. Последние дневальные мыли полы, украшали портреты вождей свежей хвоей, и только тогда казарма считалась готовой к сдаче. Вот тут-то, во всей этой кажущейся сутолоке и неразберихе и сказывалось то качество, которое отличало «въедливость» комиссара Трегубенко. Непосвященному человеку могло показаться непостижимым, как это можно было за 24 часа полку целиком сняться с места, а главное, сделать все это в образцовом порядке и такой же порядок оставить после себя во всех помещениях полка.

Наконец на третий день прибыли новые хозяева военного городка. Во главе целой группы командиров приехал приятель Верхозина — генерал-кавалерист.

Старый генерал с «буденовскими» седыми усами, успев поздороваться, сейчас же уехал на машине Верхозина осматривать военный городок. Пожалуй, впервые за свою долгую службу в армии он принимал в таком идеальном порядке помещения и территорию военного городка. Опытным глазом он сразу же это оценил и, вернувшись к Верхозину, искренне сказал ему:

— Спасибо, брат, хорошее ты мне оставляешь хозяйство.

Верхозин весело усмехнулся.

Когда уезжали Верхозин и Трегубенко, утро выдалось ясное, морозное, и маленькая станция с тремя стройными высокими соснами и несколькими молодыми елями выглядела по-праздничному весело и нарядно. Разлапистые ветви елей, отягощенные снегом, свисали к окнам станционного здания. Снег на платформе был утоптан тысячами ног и густо усеян сеном, овсом, соломой.

Щедрое забайкальское солнце, как в весенние дни, освещало небо с ослепительно-белыми облаками в далекой вышине. Дальние аквамариновые и синие сопки, могучие лиственницы, скрывающие строения военного городка, и праздничные ели у самой станции — все, все купалось в лучах этого удивительного, негреющего, но яркого и праздничного солнца.

«Наше забайкальское солнце,— шутил Верхозин,— седьмое чудо в мире».

Провожать Верхозина пришло много друзей и знакомых.

— Ну-ну, хватит, помяли бока и руки — и уходите, дайте с женой проститься, — грубовато отмахивался он от провожающих, но они не уходили. И вдруг на станцию прибежали дети, а вскоре пришла и учительница.

Генерал часто заглядывал в школу. Не имея своих детей, Верхозин знал в гарнизоне всех мальчишек и девчонок. Матери настолько привыкли к тому, что Верхозин интересуется жизнью их детей, что запросто приходили к нему и жаловались на непослушных. Один вихрастый паренек лет тринадцати прославился на весь гарнизон тем, что разговаривал с генералом с глазу на глаз целых два часа, и после этого мать вихрастого утверждала, что паренька словно подменили. Мальчики и девочки бывали необыкновенно горды, когда генерал на виду у всех останавливался и здоровался с ними за руку.

И теперь желающих идти на проводы генерала оказалось много.

— Пришли пожелать вам счастливого пути, — строго поглядывая из-под очков, сказала пожилая учительница, закутанная в платки. Верхозин как-то го-

ворил Трегубенко, что перед этой женщиной он испытывает чувство робости.

— Ну надо же так походить на мою первую учительницу. Если бы не она, — рассказывал он, — я бывал бы в школе еще чаще, а то увижу эту, в очках, и дрожь меня охватывает: вот-вот, думаю, скажет: «Опять горбишься, Верхозин, где руки держишь?»

Ребята подошли вплотную к Верхозину, и учительница стала потихоньку выталкивать вперед девочку Асю Иванову. Девочка держала в руках голубой вышитый кисет и беспомощно оглядывалась на своих товарищей. Верхозин понял, что кисет был предназначен ему. Оттого, что в этот момент все смотрели на девочку, она совсем растерялась... Учительница явно начинала сердиться.

— Иванова! Говори же! — зловеще прошептал кто-то из ребят. У Аси на глазах выступили слезы. Генерал дружелюбно посмотрел на учительницу и взял девочку на руки. Осмелевшая Ася нагнулась к самому уху Верхозина, что-то сказала и отдала ему кисет.

В то время как Верхозин был занят детьми, жена его умоляюще смотрела на Трегубенко и, держа того за пуговицу шинели, наказывала:

— Остап Тарасыч! Голубчик! Береги Демьяна Трофимовича. А случится что — не томи, напиши правду...

Трегубенко неловко переминался с ноги на ногу. Больше всего на свете боялся он женских слез. Смущенно и торопливо проговорил:

— Ладно, Мария Михайловна! Ладно! Можешь положиться на меня...

Между тем генерал подошел к Трегубенко и жене.

Заметив на глазах жены блестевшие слезинки, он шутливо сказал:

— Ну-ну, Маша! Не первый раз. Пора и привыкнуть. Солдатская жена!

Мария Михайловна привстала на носки и обняла генерала за шею.

— Голову там пригибай. Береги себя!

Генерал рассмеялся.

...Когда вслед за низкорослым Трегубенко Верхозин взошел на площадку вагона и встал рядом с ним, широкоплечий, улыбающийся, в серой каракулевой папахе, низко надвинутой на глаза, в дубленом полу-

шубке, в валенках,— жена поймала его взгляд и крикнула:

— Берегите друг друга!

Трегубенко сдернул с головы ушанку и замахал ею в воздухе. Его русый хохолок растрепался на ветру. Кто-то, стоявший рядом с женой генерала, глядя на плавно удаляющийся поезд, продолжал кричать:

— Счастливого пути, победы!

В окнах замелькали поля то занесенные снегом, то оголенные ветрами. И поплыли перед глазами эти изумительные леса и перелески, пади и «тянигусы»[1], сопки, то густо усеянные зелеными шапками хвои, то покрытые слепяще-белым убранством тонкоствольных берез, то с «лысыми», обдутыми ветрами вершинами, то сплошь заросшие мелким молодым кустарником, точно нарочно подстриженным и ровным, то с гранитными обрывами, то в узорной росписи белого известняка. И поплыли перед глазами забайкальские долины, идущие между двумя грядами хребтов сплошной широченной полосой, на которой умещаются вспаханные поля, почти не покрытые снегом, массивы озимых, полноводные реки и точно пьяные, заблудившиеся речонки, железнодорожные станции, с серебристыми дворцами-элеваторами; села в одну улицу на несколько километров и деревушки с новыми водяными мельницами. И сколько бы ты ни стоял у окна вагона, сколько бы ни старался запомнить, навсегда вобрать в память и сердце эту красоту, как бы ты ни был чуток к изумительным краскам неба и земли,— никогда тебе не насмотреться досыта. Все знакомо и все ново, всегда радостная встреча и печальное расставание.

Через день проезжали Байкал. Поезд быстро нырял в тоннели, извивался по каменистому крутому берегу. Местами вагоны так близко проносились около воды, что капли не замерзшего еще Байкала попадали на стекла вагона. Байкал тяжело колыхался, словно дышал. В воздухе местами держался густой сизый туман. Хотелось увидеть всю ширь байкальских вод, синеющую полосу гор на той стороне озера, так хорошо различимую в ясную летнюю погоду.

Беспрозванных стоял рядом с Верхозиным. Он

---

[1] Так забайкальцы называют дороги, идущие в сопки.

смотрел в окно задумчивый, сосредоточенный.

— Да ведь я забыл, что ты из рыбаков,— положив руку ему на плечо, проговорил Верхозин.

Беспрозванных кивнул, все такой же задумчивый и строгий. Трегубенко спал на средней полке, подложив обе ладони под щеку и подтянув почти к самому подбородку колени. Беспрозванных покосился на него и сказал с обидой в голосе:

— И как только можно спать у Байкала!

— Пусть он выспится, Михайла, пусть. Здоровьишко у него не ахти какое, — сказал Верхозин.

Беспрозванных с минуту помолчал, вздохнул и больше сам себе сказал:

— Сети у нас вяжут, к рыбалке готовятся.

— Самая пора,— оживляясь, поддержал Верхозин.

На станции Беспрозванных выскочил с жестяным чайником за кипятком. Круто, как любил Верхозин, заварив чай, он пригласил генерала присесть на лавку.

Расстегнув ворот гимнастерки и сбросив с себя ремень, Беспрозванных разливал чай и рассказывал:

— Моя бабка, товарищ генерал-майор, уходила с дедом в море и в семьдесят лет добывала нерпу.

Трегубенко проснулся, свесился до половины с верхней полки и, усмехаясь, сказал:

— Что, хлопчик, плохо заливаешь? Чего там — семьдесят, скажи — сто!

— Нет, Остап Тарасыч, он правду говорит,— вступился за лейтенанта Верхозин...

О предстоящем говорили мало. Толковали больше о том, как теперь разместится в новом гарнизоне кавалерийская дивизия, вспоминали последний день перед отъездом, оставшихся друзей.

Перед Красноярском генерал стал заметно волноваться. Когда поезд остановился на знакомой маленькой станции, генерал застегнул на все пуговицы китель и, оставив Трегубенко с Беспрозванных доигрывать партию в шахматы, вышел погулять.

В защитном кителе с золотыми звездами на петлицах, в серой папахе Верхозин, заложив руки за спину, не спеша прогуливался по перрону, и люди бросали на него любопытные взгляды, осматривали его лицо с шрамами и широкую грудь, увешанную орденами.

Воспоминания охватили Верхозина. Он не замечал ни окружающих людей, ни холода и, меряя большими шагами занесенный снегом перрон, смотрел вдаль.

Впереди виднелся большой сибирский город с ровными прямыми улицами. Широкий Енисей сверкал на морозном солнце вздыбленными замерзшими торосами.

Двадцать четыре года не бывал Верхозин в этих местах. В далекой деревне, где он родился, в устье бурливой и холодной Ангары, сливающейся с Енисеем, не осталось и родных, но куда бы Верхозин ни ездил — был ли это Кавказ или Крым, Средняя Азия или Волга,— он тосковал по родным местам. Отдыхая в Крыму, он говорил:

— Хорошо, но декорация.

Служил на Волге, тосковал по Сибири:

— Слов нет — неплохо, но леса скудноваты.— И всегда ему казалось, что он вот-вот снова вернется на далекий мысок, станет так, чтобы были видны сразу обе реки, и широко, всей грудью вдохнет воздух, густо насыщенный запахами кедровой смолы, меда и рыбы.

— Товарищ генерал, отправление дали,— услышал он голос Беспрозванных.

— Ладно, Михайла, иди к себе, а я перегон в теплушке поеду.

Генерала подхватили из вагона много рук.

Верхозин присел к печке и, греясь, проговорил:

— Ну, что, гармонист, приумолк?

С нар поднялся боец с гармошкой в руках. Верхозин узнал его и даже назвал по фамилии.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Иванов,— обрадованно, как старому знакомому, сказал генерал.

Бойцы стали переглядываться: оказывается, генерал знал парторга роты Иванова.

— Как живете здесь? — спросил генерал.

— Дружно живем, товарищ генерал. Думаем, как воевать будем!

— Да, как воевать будем... — многозначительно повторил генерал и обратился к бойцу-буряту:

— Ну, а как вы воевать будете?

Боец встал и, держась за плаху нар (вагон сильно раскачивало), неопределенно ответил:

— Однако будем...

— Он плохо разговаривает по-русски, товарищ генерал, — ответил за него Иванов, — его фамилия Гамбоев.

— Что-то знакомая фамилия, — задумался генерал.

Парторг Иванов почему-то смутился. Он вспомнил, как боец Гамбоев пробовал заговорить с ним о вступлении в партию, а он прямо ответил, что в партию ему вступать рано, что политически он не подготовлен, а однажды за него краснели бойцы всей роты...

Очень решительно, не желая скрывать, Иванов сказал генералу:

— Так вы его знаете, товарищ генерал, помните на занятиях по истреблению танков он сплоховал у нас.

И тогда генерал, что-то действительно вспоминая, сказал:

— Ну, ничего, с кем не бывает. В другой раз научится.

— Так, что умолк, гармонист? — повторил генерал.

— Если разрешите, товарищ генерал-майор, можно сыграть, — сказал Иванов.

Иванов одернул гимнастерку, выпятил широкую крепкую грудь и быстрыми, ловкими пальцами пробежал по ладам гармошки.

Тихо, раздвигая меха, боец начал наигрывать знакомый мотив «По диким степям Забайкалья»... Сначала нерешительно, потом уверенно гармонисту стали подпевать, и скоро пел уже весь вагон. Гармонист и генерал запели разом, вплетая свои голоса в общий хор.

Когда песня была спета до конца и замолкли последние звуки, стало так тихо, что слышался только перестук колес.

— Эх, до чего за душу хватает! — наконец воскликнул кто-то из бойцов.

— Да, грустеба... — сказал генерал.

* * *

Воинские эшелоны шли со скоростью курьерских поездов. Как правило, они останавливались только для набора воды и смены паровозов. «Зеленая улица»

была открыта для них до самой Москвы. Пока проезжали Сибирь, эшелоны редко останавливались на крупных станциях. А бойцы из дивизии Верхозина почти сплошь были родом из этих мест. Какими путями узнавали матери, отцы, жены о следовании эшелонов — трудно сказать. Вероятно, кто-то успевал дать несколько телеграмм, а там весть разносилась от дома к дому, от сердца к сердцу.

Сутками простаивали люди в ожидании эшелонов. И часто из открытых освещенных дверей теплушек летели в ночь, наугад, чемоданы и солдатские пожитки с письмами. Зачем они теперь нужны были бойцам? А главное, только таким образом можно было сообщить, что ты уже проехал на фронт.

Заботливые руки собирали чемоданы в одно место на станциях, иногда это были уже разбитые и разрозненные вещи, которые подчас несли незнакомые люди за несколько километров на своеобразные сборные пункты. И в каждой вещи, в каждом таком чемодане, была для кого-то желанная весточка.

«Свое» узнавали по надписям на вещах, по книгам с автографами, по вложенным письмам и по тысяче других примет.

А эшелоны шли и шли навстречу фронту, навстречу войне. Случалось иногда и невозможное. Эшелон вдруг не пролетал мимо станции, а останавливался, и какой-нибудь счастливец переходил из объятий в объятия сначала родных, а потом знакомых и незнакомых людей.

Где-то под Барабинском эшелон встал в чистом поле. Трегубенко и Беспрозванных пошли узнать причину задержки. Оказалось, что впереди обнаружен лопнувший рельс. Путевого обходчика, старичка с могучей бородой, мигом окружили бойцы. Среди них нашлось немало путейцев. Посоветовались и решили пока закрепить рельс костылями. Кто-то взял у деда его молоток, похожий на кайлу, и, сплюнув на ладони, с профессиональным шиком стал играючи вгонять костыли в шпалы. Седобородый дед неотрывно смотрел на этого парня и отчего-то вздыхал.

— Чего вздыхаете, дедушка? — спросил Трегубенко.

— Как не вздыхать, товарищ начальник, — помедлив, ответил путевой обходчик, — свою силу вспомнил, молодость вспомнил. Моя сила по каторгам да по

ссылкам развеяна, спасибо царю да жандармам. А вот его силу фашист хочет взять. А ему разве воевать надо? Он же, товарищ начальник, работать любит, ишь как махает, как махает!

— Он, если его заденешь, и воевать сможет, — рассмеялся Беспрозванных.

— Это так, это я признаю. Сам таким был. Только уж думалось мне, что мы за всех отстрадали и отвоевали. Ан, выходит, — нет, выходит, что самое трудное опять ему достается. Разве не обидно! Как тут не вздохнешь!

Великан-боец уже кончил работу, его широкая грудь ровно поднималась и опускалась, и тесноватая гимнастерка, плотно облегавшая всю его сбитую фигуру, натягивалась, точно ее раздували мехами.

— Спасибо, — сказал дед, принимая молоток и не глядя почему-то на парня, — спасибо тебе за помощь.

— И тебе спасибо, что заметил повреждение, — сказал парень.

— Мое дело — служба, мое дело пустяковое, стариковское.

— Не-е, не скажи, вот мы вам всем нашим эшелоном благодарность пришлем, — вмешался Трегубенко и приказал Беспрозванных записать фамилию путевого обходчика, его адрес. Но старик и слышать не хотел.

— Вот еще, что вздумалось вам, товарищ начальник. Нет, не будет вам моей фамилии, — закладывая за спину молоток, почти сердито произнес он.

Но от Беспрозванных не так легко было отделаться.

— Не будем задерживать движение, дедушка, раз приказано узнать вашу фамилию, то, как говорят, кровь из носу, а я обязан это сделать!

— Ишь ты, настырный какой! Ну раз такое дело, то пусть вон помощник мой — и он указал рукой на бойца, вбивавшего костыли, — тоже дает мне свою фамилию. Так еще могу согласиться. Я ему на фронт, может, тоже свою благодарность хочу послать.

— Это можно, — добродушно ответил парень, — моя фамилия очень даже обыкновенная — Иванов Василий Иванович, а почтовый ящик две тыщи один.

— Но-о, неужели Иванов? — изумился дед, —

тогда и говорить не об чем, сразу бы так. Мы, сынок, выходит, одной с тобой фамилии. Оба мы Ивановы, только я буду не Василием зваться, а опять же Иваном, а по батюшке, ну что ты на это скажешь, — весело рассмеялся дед, — по батюшке я, как и ты, буду Ивановичем. Выходит, что родня мы с тобой. Ты, что же, железнодорожник?

— Потомственный.

— Путеец?

— Дорожный мастер.

— Скажи ты! И в партии состоишь?

— С 1932 года, да я парторг роты, дедушка!

— Но-о! — изумился старик, — значит, по всем линиям ты мне прямой начальник и должен я буду тебе рапортовать, как я тут службу несу. А?

— Это можно, товарищ Иванов.

Беспрозванных записал адрес путевого обходчика, и все стали тепло прощаться со стариком.

— Рельс-то менять надо, — сказал на прощание Иванов-младший.

— А как же, вот вы сейчас тихонько проползете, а я своему начальнику по всем правилам рапорт — вот так, мол, и так. Это уж, как положено. Сорок пять лет толкусь на этих трех километрах. Вот уже и вижу плоховато, так думаю, что и без глаз я тут каждый камушек знаю, каждую рельсу и шпалу. Иду себе постукиваю, как музыкант, или, знаешь, раньше в церкви, камертон был, чтобы хор не сбивался, и каждая рельса, болтик отвечают мне. А вдруг ответит, да не так, голос больной, простудный. Вот и сегодня...

Старик проводил бойцов до вагона. Эшелон медленно тронулся вперед, а рядом, по второму пути, все шел путевой обходчик. Он снял шапку, ветер трепал его седую бороду.

Трегубенко позвал к окну Верхозина, чтобы тот взглянул на старика.

— Почетный дед, как бог Саваоф, бородища-то! — удивленно произнес Верхозин.

— Железняки — крепкий, хороший народ. Ты бы посмотрел на этих Ивановых! И почему я не поэт, черт возьми, — с сожалением, очень серьезно воскликнул Трегубенко, — вот о чем надо стихи писать, Михаил, а ты? Все о голубых глазах да косах.

— А я этому деду письмо в стихах напишу, вот увидите, — решительно сказал Беспрозванных, и, видимо, эта мысль ему самому очень понравилась.

— Вот это ты правильно,— поддержал его Верхозин,— напиши, а мы все подпишемся.— Он лукаво прищурился.— Если, конечно, позволит качество стихов. Чтоб не стыдно было...

* * *

В первых числах ноября полки дивизии один за другим стали прибывать в Москву. Не успел эшелон, с которым ехали генерал Верхозин и комиссар дивизии Трегубенко, остановиться, как на подножку вагона вскочил командир полка Королев — красивый, по-юношески стройный майор. Он рапортовал генералу о благополучном прибытии полка. Королев отошел вместе с Верхозиным и Трегубенко в дальнее купе вагона и очень тихо сказал им что-то такое, отчего оба они пришли в необыкновенное волнение.

Бледный, торжественный Верхозин приказал своему адъютанту Беспрозванных немедленно согнать с платформы машину, а через тридцать-сорок минут, оставив комиссара распоряжаться на станции, вместе с Беспрозванных мчался на автомашине по окраинам города. Шофер, большескулый, с маленьким разрезом глаз — типичный забайкалец — впервые был в Москве. Он петлял по каким-то улочкам и переулкам, минуя старинные дома и новые красивые здания, крашеные деревянные заборы и узорчатые железные решетки.

Если бы Верхозин, сидевший с ним рядом, не был так занят своими мыслями, то он без труда заметил бы по лицу шофера все его переживания. Верхозин сидел, устремившись вперед, точно подгоняя машину. Постепенно улицы становились шире, длиннее, дома выше.

Верхозин коротко бросал: «налево», немного погодя: «направо», «прямо».

Верхозин хорошо знал Москву. Здесь он когда-то был курсантом Кремлевской школы; здесь через много лет командовал полком; здесь кончал Военную академию. В свое время он исколесил улицы Москвы вдоль и поперек, обошел пешком ее пригороды, кото-

рые особенно любил. На пути в Москву Верхозин подготовил себя к тому, что, конечно, он не увидит сейчас той изумительной, единственной и неповторимой Москвы, какой он привык ее видеть.

И вот он пристально вглядывается в улицы, в окна домов, крест-накрест обклеенные полосами белой бумаги, примечает отвалившуюся штукатурку, треснутые стены, наскоро загороженные после бомбардировок развалины.

Шоферу хочется смотреть не только на асфальт, который, что греха таить, пока больше всего пленил его воображение. Ему поминутно не терпится глядеть то на ту, то на другую сторону улицы и задирать голову вверх.

— Вот это да, вот это дорога! — говорит он и мысленно сравнивает ее с забайкальскими. Про себя он думает, что, вероятно, езда по асфальту — это самое большое счастье, которое только может выпасть на долю человека.

Верхозин, наконец, замечает, что с его шофером творится что-то неладное, и говорит:

— Спокойнее. Ты так на кого-нибудь наедешь.

Шофер с сожалением сбавляет газ и приходит в себя.

Беспрозванных так же, как и генерал, весь напружинился и устремился вперед, так же, как и шофер, он во все глаза смотрел на улицы незнакомой Москвы.

У себя в Забайкалье он тщательно скрывал от всех, что ни разу не был в Москве. Перед самой войной он наконец собрался ехать в отпуск и провести его в столице. Был уже выписан и проездной литер, получены отпускные документы и деньги, но он задержался на три дня в Чите у своих приятелей, и в это время началась война.

На одной из улиц, где вместо асфальта были выложены отливающие вороненой сталью каменные бруски, Верхозин сказал:

— Вот и Кузнецкий мост.

Беспрозванных посмотрел во все стороны, но никакого моста не увидел. Не увидел этого моста и шофер, который заметил только горбатую улицу, выложенную отшлифованным камнем. Конечно, и тому, и другому стоило бы спросить у генерала, что

это за невидимый Кузнецкий мост, но они постеснялись. Автомашина выехала на большую площадь, и генерал все так же лаконично произнес:

— Площадь Дзержинского.

Здесь в центре Верхозин пристально вглядывался в людей. Было много военных. По Охотному торопливо проходили женщины в ватных штанах, в телогрейках, в рабочих сапогах. Нет, тут не было больше ни одного гуляющего человека.

Через улицу, подгоняемый девушками в шинелях, катился на колесиках огромный аэростат. Девушки шли сосредоточенно, в кирзовых сапогах с короткими голенищами и в светлых чулках.

— Вот там Красная площадь, — сказал генерал шоферу, как показалось Беспрозванных, взволнованным голосом, показывая налево.

Впереди и влево шла площадь, возвышалась такая знакомая кремлевская стена — с угловой башней, звездой в защитном чехле...

Минут через десять Верхозин приказал остановиться около огромного желтого здания с колоннами. Он вылез из машины и ушел.

Оставшись наедине, Беспрозванных и шофер вдоволь поделились своими впечатлениями. Шофер с уважением относился к адъютанту и был высокого мнения о его знаниях. Он расспрашивал Беспрозванных о Москве, и тот, не желая уронить себя в его глазах, без зазрения совести выкладывал все, что сохранила его цепкая память о столице из читаных книг, из бесед с друзьями, наконец, из киножурналов, фотоснимков и газетных отчетов о празднествах.

Шофер смотрел на Беспрозванных доверчивыми глазами.

...Через час генерал вышел из помещения, и Беспрозванных распахнул перед ним дверцу машины. А еще через час, в вагоне, Верхозин собрал командиров частей и в торжественной обстановке объявил им: два стрелковых полка дивизии примут участие на параде 7 ноября в честь 24-й годовщины Великого Октября.

* * *

В ночь на шестое ноября под Москвой повалил снег. Грозная, без единого огонька, вся настороженная

и непримиримая была в эти часы Москва. Такой ее чувствовал Беспрозванных, и казалось, что разбушевавшийся свирепый ветер только дополнял суровый облик столицы. На рассвете шел мелкий сухой снег. Ветер подхватывал его и могучими пригоршнями бросал в лица людей. И этот московский снег порадовал сердце Беспрозванных, так напомнив ему начало забайкальской зимы.

Утром крыши домов уже были белы, только на мостовых снег куда-то таинственно исчезал. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой.

В полках в эту ночь мало кто спал.

В Забайкалье дивизия генерала Верхозина славилась своей строевой подготовкой. Еще в мирное время она не раз занимала первые места на окружных смотрах строевой подготовки и строевой песни. Но то было в Забайкалье, а здесь полкам предстояло пройти по Красной площади... И завтра — первый бой, первая встреча с врагом на полях Подмосковья.

Враг рядом, в 30—40 километрах! Говорят, гитлеровцы в своих листовках бахвалятся: «Советской Москве осталось жить считанные часы...» Да, рука врага уже занесена над столицей.

Все эти дни и ночи, после выгрузки дивизии из эшелонов, генерал Верхозин проводил в штабах, получал боевые задачи, изучал обстановку, вникал в мельчайшие детали развернувшегося сражения за Москву. Он чувствовал, как с каждым днем, с каждым часом усиливается сопротивление врагу. Каждый шаг вперед стоит гитлеровцам все больших и больших потерь. Нет, Москвы не отдадим!

* * *

На Красную площадь Беспрозванных вступал через ту широкую улицу, которую он видел несколько дней тому назад в ветровое стекло автомашины.

Вот выступ кирпичного здания, кажется, Исторического музея. И жадным глазам Беспрозванных предстала Красная площадь, столько раз виденная в кино, на фото газет и журналов и потому будто давным-давно знакомая. И все же сердце взволнованно и тревожно бьется.

...Ну же, гляди во все глаза! Вспоминай все то, что тебе уже здесь знакомо, и заново запоминай! Это на всю жизнь. Может, много раз еще ты попадешь на Красную площадь, но вот этот день никогда не повторится: все, все здесь так, как ты себе представлял, и... все не так. Ну вот стоят около зубчатой кирпичной стены знакомые тебе сибирские ели, такие же, как на том разъезде, откуда ты уезжал.

Почему же они так тебя поразили, почему тебе их яркая зелень в серебряных блестках свежего снега, их ровная стройность и прямота показались такими необыкновенными?

Вот он, Мавзолей: строгий, величественный, отливающий благородным блеском мраморных плит. И часы на Спасской башне в бронзовой оправе. Ты стоишь теперь лицом к Мавзолею, и тебе хорошо видны буквы, из которых составляется одно слово: ЛЕНИН. А выше на гранитном барьере — две небольшие коробки — микрофоны.

Ты думаешь и о том, что завтра-послезавтра первая встреча с врагом, твой первый бой за эту Красную площадь, за Москву...

Тихо, очень тихо на большой площади. Стоят бойцы в шинелях и в новом зимнем обмундировании, в полушубках и ушанках, в полном боевом снаряжении. Минуты заполнены таким напряженным ожиданием и волнением, что просто странно, как не слышно громкого стука тысяч сердец. На Мавзолей поднимается Сталин. Он подходит к микрофону. Он в фуражке и шинели. На фуражке маленькая звездочка. И вдруг громко, на всю площадь, начинают бить куранты. Их серебряный звон заставляет тебя взглянуть налево, где из Спасских ворот на резвом скакуне выезжает Буденный. Его нельзя не узнать — героя твоего детства. Навстречу Буденному скачет генерал — командующий парадом, рапортует ему, и они вдвоем объезжают войска.

Вот Буденный подъезжает вплотную к строю и здоровается. Ты отвечаешь ему громовым ура во всю силу своих легких.

Скоро, очень скоро в шеренгах забайкальских стрелков ты пройдешь мимо Мавзолея. Еще несколько минут... И вот наступает эта секунда. Ты стал

огромным, могучим, точно выросли тысячи ног и рук.

Ты кричишь со всеми «ура», но уже нет ни своего голоса, ни своего сердца: громовой бас, тысячная поступь, налитые нечеловеческой силой руки. Всем существом ты слился с теми, кто рядом.

* * *

В тридцати пяти километрах от передовой линии беззаботно лаяли собаки, и во дворах висело промерзшее белье.

— Мм-да! Значит, верят нам, не трогаются с места, — с расстановкой произнес генерал Верхозин.

Вместе с Трегубенко они стояли на крыльце маленького бревенчатого домика. Месяц освещал небольшой двор с деревцами и палисадник.

— А то як же! Послушай-ка, как здесь сибиряков ценят, — помолчав, отозвался Трегубенко.— Вот пришла наша дивизия, и в Подмосковье теперь говорят: конец фашисту — сибиряки пришли!

Верхозин и сам слышал подобные разговоры. Чем ближе дивизия подъезжала к Москве, тем чаще он встречал приветливые улыбки и слышал восторженные слова о сибиряках... Дети, женщины, старики на станциях отказывались брать деньги за молоко и яйца, старались сказать что-нибудь теплое и приятное. И здесь, в подмосковной дачной деревеньке, их встретили с большой надеждой. Оттого, что вера в силу и стойкость сибирских полков была велика, сердце Верхозина наполнялось гордостью и единственно, чего ему хотелось,— ринуться скорей в бой. После длинного пути бойцы чистили оружие, еще раз подгоняли обмундирование, в ротах проводились короткие политинформации, в штабах собирали командиров батальонов и рот, и все взволнованно ждали, ждали того, что должно было свершиться.

Но проходил день, другой, положение на фронте становилось все тревожнее, а дивизию в дело не пускали.

— Что же это будет, товарищ генерал-майор? — начинал волноваться начальник штаба.— Когда же в дело?

— А то и будет, полковник, — набивая трубку,

спокойно отвечал Верхозин.— Уж будьте уверены, без дела не останемся. Чую я, что дивизия приберегается на важный случай. Главное — спокойствие.

Но сам генерал был далеко не спокоен. Слава, которая в этих местах шла о сибиряках, была ему не только приятна, но и вызывала тревогу. Он чувствовал какую-то неловкость за то, что дивизия бездействовала. Правда, все эти дни не проходили бесполезно. Дивизия была приведена в полную боевую готовность.

Верхозин и Трегубенко все время находились в полках, беседовали с бойцами и командирами, проверяли штабы. У обоих было такое ощущение, будто время остановилось.

— Зубы стиснули, драки ждут,— заключал Трегубенко.

Посоветовавшись, они решили собрать актив коммунистов дивизии и поговорить о их роли в предстоящих боях. На этом собрании выступил Трегубенко.

Он говорил неторопливым баском. Так же, как и всегда, перед ним лежали аккуратно исписанные длинные листки бумаги, в которые он по-прежнему почти не заглядывал.

Беспрозванных сидел на скамейке в тесно набитом помещении пригородного кинотеатра, в котором проходило это собрание. Было настолько тесно, что Беспрозванных чувствовал, как ему мешают его широкие плечи.

Он очень внимательно слушал Трегубенко, так же внимательно, как и все остальные, но часто ловил себя на мысли, что комиссар сегодня слишком часто смотрит именно на него, Беспрозванных, что читает какие-то самые сокровенные его мысли и произносит их вслух. Трегубенко говорил вначале так, словно перед ним была не огромная аудитория, а всего несколько человек и он к ним обращался запросто, задавал им вопросы. Но именно эта сдержанность, отсутствие всяких громких фраз, эта ясность мысли и цели заставляли Беспрозванных слушать затаив дыхание. Через некоторое время для него перестала существовать теснота, он с какой-то радостью ощущал близость своих соседей.

А Трегубенко вел простую задушевную беседу

о роли коммуниста в бою, о смелости и о боевых традициях забайкальцев.

Беспрозванных был молодым коммунистом, и с первого своего партийного собрания, когда он рассказывал свою автобиографию, а потом лес рук возвестил ему, что все эти люди принимают его в свою семью, он приходил на каждое новое собрание, точно на праздник.

Он любил эти минуты ожидания, любил, когда избирался президиум и несколько раз сам выдвигал в его состав людей, которые, на его взгляд, особо заслуживали этой чести. Он даже любил, когда председательствующий объявлял, чтобы коммунисты проверяли друг у друга партийные билеты. Он с удовлетворением подавал соседу свой партбилет и, в свою очередь, тщательно проверял его билет. Здесь, на собрании, он каждый раз узнавал что-то новое, значительное, над чем следовало подумать, что надлежало сделать нормой всей своей жизни и поведения. Иногда происходили очень суровые разговоры, кто-то стоял с повинной головой, кто-то в чем-то, пусть в малейшем, отступал от коммунистических норм, — тогда Беспрозванных или печалился, находя в самом себе такие же недостатки, или радовался, что он от них свободен. Партийное собрание для него было всегда святыней. Здесь невозможно было не быть честным, правдивым, искренним перед собой и перед другими. Выполнение партийных поручений, изучение истории партии — все это, вместе взятое, приучало его к самодисциплине, к высокому душевному настрою и идейной ясности. Пусть у него был еще маленький партийный стаж, но даже с высоты этого небольшого стажа и опыта он уже видел многое такое, чего никак не мог видеть раньше. И вот сегодняшнее собрание, слова Трегубенко как бы подводили итог всем собраниям, всему, что узнал, чему научился Беспрозванных в партии.

Он готов был первым, вслед за Трегубенко, встать и сказать самые торжественные слова в своей жизни, слова-клятву. Он подал записку и попросил, чтобы ему дали выступить в прениях. Он так и написал «в прениях», потом ему стало смешно, — привычное слово сегодня никак не подходило. Перечеркнув все, он

заново написал: «Прошу слово. Лейтенант Беспрозванных».

Но вот один коммунист выступал за другим, а этого, так желанного слова Беспрозванных не предоставляли. Какими короткими, лаконичными были сегодня речи, и в каждой из них была и та торжественность, и те мысли, и та клятва, и те слова, которые собирался сказать Беспрозванных.

С чувством удовлетворения, точно у него кто-то подслушал слова, казавшиеся ему единственными и неповторимыми, слушал он выступления своих товарищей по партии.

Потом кто-то предложил дать слово генералу Верхозину и на этом закончить.

Генерал Верхозин встал за столом президиума и гладил рукой красное сукно на столе. Он молчал, может быть, всего несколько секунд, ничем, кроме этого произвольного движения рукой, не выдавая своего волнения. Взглянув на лица людей, сидящих в зале, на Трегубенко, он громко произнес: «Товарищи!» Потом так же продолжал:

— Друзья мои и товарищи! Я слушал сегодня здесь нашего комиссара, слушал, как вы отвечали ему, и скажу прямо: горжусь, что я состою членом большевистской партии! Горжусь, что у нас в дивизии такие коммунисты. Вы только подумайте, какая в нас заключена сила! Вы, как цемент, скрепляете нашу дивизию. И поэтому перед великими боями, в которых суждено многим из нас увидеть победу, обращаюсь к вам.

Вспомнился сегодня мне один случай из времен гражданской войны. Бились мы за одну деревню. В момент боя нужно было перебежать через улицу, которая простреливалась из пулемета. И тут дрогнули некоторые красноармейцы. Побежит боец, с углом дома поравняется — и на землю. И тогда я сказал себе: «Ты же коммунист, Верхозин, тебе первому надо перебежать эту улицу». И пошел я, страшно мне было, но улицу перебежал.

Может быть, с того дня я и научился подавлять в себе страх. И, не хвастаясь, говорю вам, как человек, не раз побывший в боях, что никогда не позволял и не позволю страху проникнуть в свою душу.

Трегубенко неотрывно смотрел на Верхозина. Что же, Верхозин, как и все здесь, был членом партии и, как и все, он имел право ответить на вопрос, «как ты будешь вести себя в бою?»

— В этой войне много машин и много техники,— продолжал Верхозин, — но коммунист не должен забывать, что ему необходимо в тяжелые минуты боя уметь сжать свое сердце, подавить страх и либо умереть героем, либо победить. Нас встретили здесь с радостью и верой. В каждом из нас готовы видеть героя. И вот теперь, перед грозными боями, скажем прямо друг другу: давайте держаться за руки! Не посрамим славы сибиряков! Умножим славу коммунистов! Умрем, но не пропустим врага к Москве! Мы были с вами в один из самых исторических дней в истории человечества на Красной площади! Потомки будут завидовать нам; но потомки никогда бы нам не простили, если бы мы не отстояли Москвы. Весь народ, народы всего мира доверили нам защищать надежду и светоч трудящихся — нашу Москву!

Пусть это вселит в нас такие силы, перед которыми дрогнет враг, не выдержит и в панике побежит туда, откуда он пришел.

Верхозин на мгновение остановился, перевел дух и, возвысив голос, закончил:

— Я верю вам, боевые товарищи! Я верю, что Родина узнает новых героев, которыми она будет гордиться вечно. Мы не можем не победить. С этой верой и пойдем в бой, а там увидим, кто чего стоит. Я кончил...

Секунды собрание молчало. Потом стали аплодировать.

Председатель собрания, тот самый Иванов-младший, которого запомнил Беспрозванных еще с Барабинска, желая соблюдать обычную форму, внушительно откашливаясь, спросил:

— Так какая, товарищи, будет наша резолюция?

На некоторое время установилась чуткая тишина. На самом деле, если было собрание, слушали вопрос, то нужна была и резолюция. Кто-то из задних рядов, выражая общее мнение, звонко выкрикнул:

— А резолюция такая: стоять насмерть под Москвой, не отдать Москву!

Собрание бурно зааплодировало.

— Как, товарищи, смотрите на такую резолюцию? — аплодируя, улыбаясь и понимая, что спрашивать вовсе не надо, все же строго выполняя свои обязанности, говорил Иванов.

— Есть добавление,— приподнимаясь с места, серьезно проговорил Трегубенко,— разъяснить резолюцию в ротах. В каждом взводе. В каждом отделении. Каждому бойцу!

— Голосую с добавлением, — продолжал председатель.— Принято единогласно.

После партийного собрания дивизия снялась с места и отправилась на передовую линию нашей обороны.

* * *

Пятнадцать дней дивизия не выходила из непрерывных боев. У Трегубенко совсем провалились и без того глубоко сидящие глаза. Он еще больше осунулся и похудел.

Лейтенант Беспрозванных тоже не спал ночей, разъезжал с поручениями, бывал с генералом под обстрелами, но постоянно чувствовал неудовлетворенность. О себе он думал с горькой усмешкой: «Одно слово, порученец».

Своей неудовлетворенности лейтенант не скрывал. Ему хотелось большего. Генерал от него только отмахивался — навоюешься, мол, успеешь! Но однажды Беспрозванных встал перед генералом и твердо попросил у него разрешения поехать с комиссаром Трегубенко в полк Королева. Генерал подумал немного и дал согласие. Перед отъездом, задержав Беспрозванных у выхода из блиндажа, Верхозин кивнул в сторону удаляющегося Трегубенко:

— Ты там, Михайла, в случае надобности, присмотри.

Произошло это в один из тех дней, когда гитлеровцы особенно нажимали на полк майора Королева и разведкой точно было установлено сосредоточение на этом участке двух полков «СС».

Оставив машину в лесу, Трегубенко вместе с Беспрозванных под минными разрывами доползли до командного пункта полка. Здесь неподалеку разме-

щался батальон капитана Дашимпилона. Мины свистели и падали вокруг, в воздухе низко кружился немецкий самолет, а Трегубенко надтреснутым баском, крепко прижимая телефонную трубку, говорил по очереди с командирами батальонов.

— Я слышал, что собираетесь отступать? Откуда? Да слухом земля полнится. Без приказа не будете? Вот услышите, что хотя бы я отдал приказ об отступлении, скажите, что, мол, не верю, что комиссар мог отдать такой приказ. И стойте! Стойте! У нас теперь некуда отступать: там москвичи, которые верят нам, надеются на нас. Передайте всем бойцам по цепи, что буду драться вместе с вами, — и он тряс в воздухе смуглым костистым кулачком!

Смысл этих слов, если не точно, то верно передавали во все батальоны. И не успел еще Трегубенко закончить разговор с последним комбатом, как Беспрозванных и все, кто с ним был рядом, увидели, как вражеский самолет, виляя из стороны в сторону и оставляя за собой длинный след дыма, стал падать на землю.

— Вот молодцы! Это третий батальон! — с завистью сказал кто-то из красноармейцев. Этот эпизод подбодрил бойцов, и они заметно оживились.

— А ну, будем добираться в окопы, — проговорил Трегубенко и весело взглянул на Беспрозванных.

Сопровождаемые капитаном Дашимпилоном, они поползли, не чувствуя холода, местами перебегали, потом попали в ход сообщения и по нему, почти во весь рост, пришли в окоп.

Беспрозванных не ощущал страха. Пока его разбирало любопытство и он высовывался из окопа, стараясь разглядеть, что там делается за пригорком.

Голос Трегубенко, прозвучавший у него над ухом, показался неожиданным.

— Давай-ка, лейтенант, закурим, а то потом будет некогда.

Беспрозванных удивленно взглянул на комиссара, но отказаться не посмел. Курить ему совсем не хотелось, и он только делал вид, что курит. Зато Трегубенко затягивался дымом и счастливо щурил глаза.

Эсэсовцы, выпустив много снарядов и мин, и, види-

мо, ободренные тем, что им отвечали редко и неохотно, пошли в атаку.

Гитлеровцы шли во весь рост и на ходу стреляли из автоматов. С каждым их шагом вперед сердце Беспрозванных билось все сильнее и сильнее. Врагов было много, всюду, куда хватал глаз, виднелись перебегающие фигуры в темных шинелях. И, наблюдая за ними, Беспрозванных почувствовал, как нарастает зло, поднимается в душе азарт.

А враг, обходя убитых, смыкая вновь ряды, подходил все ближе и ближе. Беспрозванных показалось, что все это он когда-то уже видел и переживал. Он вспомнил эпизод из кинокартины «Чапаев».

...На Анку-пулеметчицу с сигарами во рту идут офицеры. Анка припала к пулемету и ждет...

Чем ближе подходил противник, тем больше было шума и треска. Но когда заговорили наши пулеметы и автоматы, Беспрозванных мог поклясться, что эти звуки прозвучали для него, как самая волнующая и желанная музыка.

— Гады, как в кино! Падают и идут! — вслух подумал Беспрозванных. Лейтенанту хотелось быть таким же спокойным и рассудительным, каким был комиссар. Трегубенко стоял молча. Но вот он ловко прищелкнул пальцами, отбросил в сторону окурок папиросы, по-деловому нахлобучил до самых глаз большую шапку.

Слева и справа стали усиленно бить пулеметы.

— Братцы! Покажем фашистам, как в Сибири волков гоняют! — нагибаясь и стреляя из пистолета, Трегубенко стремительно кинулся вперед.

— Вперед!

— За комиссаром! Ура! — пронзительно прокричал Дашимпилон. Беспрозванных не помнил потом, какая сила сорвала его с места, только он услышал впереди и позади себя топот ног и неоконченное ура, разлившееся по всему полю.

— А-а-а-а! — потрясая винтовкой, во все горло кричал Беспрозванных. На одно мгновение он увидел Трегубенко.

Вокруг него было плотное кольцо людей. Они бежали стремительно, легко, словно не чувствовали под собой земли. Рядом падали бойцы, раздавались пред-

смертные стоны, но все это еще больше поднимало ярость. Вырвавшись вперед, Беспрозванных лицом к лицу столкнулся с немцем. Как на ученье, лейтенант сделал выпад и, как на ученье, штык вошел в мягкое, податливое тело.

Беспрозванных не успел даже рассмотреть лица убитого. Он заметил только светлую пряжку ремня и продолговатый черный фонарик со стеклышком. Штык вошел в тело между фонариком и пряжкой. В одно время Беспрозванных ощутил и торжество победителя и чувство гадливости к поверженному противнику.

Наконец фашисты не выдержали и повернули обратно. Батальон преследовал отступающих эсэсовцев. Беспрозванных заметил, что рядом с ним уже никто не падал, а наши бойцы все чаще и чаще спотыкались о тела немецких солдат.

Тяжело дыша, Трегубенко заботливо подул в дуло пистолета и положил его в кобуру. Потом он убрал со лба мокрую прядь волос, пальцами взбил свой хохолок и, держа в обеих руках шапку, довольно сказал:

— Та-ак! Хорошо гнали!

Повернувшись к Дашимпилону, Трегубенко продолжал:

— Молодец, капитан! Батальон замечательный! Закрепляйтесь и назад — ни шагу.

Прибыв на командный пункт дивизии, Трегубенко сказал Верхозину, с тревогой ожидавшему его:

— Все в порядке, Демьян Трофимыч! Стóящий народ твои земляки.

Генерал в тон ему ответил:

— А то як же! Страшно дело по почину. — И неожиданно закончил: — Спасибо тебе, товарищ!

И кажется, это слово, сказанное с задушевной теплотой, больше всего тронуло Трегубенко.

— И тебе спасибо, Демьян Трофимыч! Дорого мне от тебя это услышать!

Успокаиваясь, Верхозин устало прошелся по блиндажу. Остановившись у карты, он сказал:

— Завтра будем от дороги отгонять!

Наклонились над картой, испещренной пометками и жирными линиями красного и синего карандаша.

— Да, забыл совсем, — отрываясь от карты, проговорил Трегубенко. — Я дал батальону Дашимпилона однодневный отдых, хотя думаю, что к утру гитлерюги попытаются выбить нас с занятого рубежа.

— Ну, что ж, правильно. Королеву мы сегодня подмогу пошлем. Я с ним уже говорил по телефону. А батальон Дашимпилона сейчас идет сюда. — Взглянув на часы, Верхозин поднялся. — Я, однако, поеду ему навстречу.

В машине Верхозин быстро уснул. Закинув голову на сиденье, он дышал тихо и размеренно.

Шофер потуже подвернул в кабине ветровые стекла и вел машину бережно, поминутно поглядывая на Верхозина. Но предосторожность была излишней — генерал безмятежно спал.

Верхозин спал урывками — по одному-два часа в сутки, сидя в машине, на лошади, или в штабе, положив голову на стол. И в этот раз спать генералу пришлось недолго. По изъезженной, разбитой дороге навстречу их машине шли бойцы. Шофер остановил машину и, не решаясь будить генерала, с минуту смотрел на его спокойное лицо.

— Товарищ генерал-майор!

Не поднимая головы, Верхозин приоткрыл глаза. Услышав знакомый глухой топот ног, он вышел из машины, стряхивая с себя остатки сна. Еще издалека генерал узнал низкорослого капитана Аюшу Дашимпилона. Тот шел впереди батальона, неуверенно ставя ноги, как ходят кавалеристы. Поравнявшись с генералом, Дашимпилон повернул к нему голову, вскинул руку и отдал рапорт. Широкие скулы Дашимпилона блестели, точно их нарочно смазали маслом. Дашимпилон был аккуратно затянут в ремни.

«Даже выбрит», — отметил с удовольствием Верхозин. Батальон Дашимпилона был многонациональным. Были здесь буряты и якуты, эвенки и русские. Все они проходили мимо генерала, четко отрывая шаг и улыбаясь ему.

— Ура первому батальону, — прокричал Верхозин. Ответили ему надорванными голосами, но дружно и громко.

Затем Верхозин пристроился к батальону и заша-

гал рядом с бойцами. С радостным чувством Верхозин сказал коренастому красивому бойцу-буряту:

— Хороший у вас командир!

Слова Верхозина были мигом услышаны и переданы из уст в уста.

Шагая рядом с бойцами малорослыми, но крепкими, одетыми добротно и тепло, генерал Верхозин выделялся среди них могучим телосложением.

— Ну, как дрались, товарищи? — глядя на шеренгу, спросил Верхозин.

Ему ответил бодрый веселый голос:

— А ничего, товарищ генерал-майор. Отогнали немцев. Хорошо бегают! Красиво выходит!

Красноармейцы дружно засмеялись.

— Однако, ничего дрались, товарищ генерал-майор, покурить только охота.

Верхозин понял — с табаком дело дрянь.

— Видно, стали в тюку, что ни трубки, ни табаку,— подшутил он и, подымая полу шубы, полез в карман. Оттуда он извлек пачку табаку, а вместе с ним голубой кисет. Кисет он хотел положить обратно, но, подумав, улыбнулся и высыпал в него весь табак.

— Нате-ка. Хоть тут вам на один зубок, но немного отведете душу, — проговорил он, передавая кисет вместе с неразлучной трубкой бойцам, а капитану Дашимпилону сказал:

— На месте за выдачей табака проследите сами.

Десятки рук протянулись к генеральской трубке. Верхозин подбадривающе кивнул головой. Трубку недоверчиво вертели в руках и осторожно, под ревнивыми взглядами товарищей, делали короткие, но глубокие затяжки. Тех, кто успел уже курнуть, спрашивали:

— Скусно?

— Прямо мед, паря!

— Распрекрасна трубочка! — причмокивая губами, воскликнул с восторгом один боец.

— Еще бы! Двадцать лет ее курю,— с усмешкой сказал Верхозин.

За несколько лет генерал хорошо изучил характер Аюши Дашимпилона. Стараясь делать поменьше шаги, он вскользь посматривал на Дашимпилона и не знал, чем объяснить его унылый вид. Батальон отличился

в бою, сам Дашимпилон, по отзывам Трегубенко, проявил смелость и распорядительность, и тем не менее капитан был чем-то расстроен.

— Вы что, капитан, недовольны боем? — спросил его тихо Верхозин.

— Боем, товарищ генерал-майор, доволен, — четко ответил Дашимпилон.

— Но? — кратко спросил Верхозин.

— Позорный случай произошел в моем батальоне. Пока мы сидели в окопах, двое моих бойцов ноги отморозили.

Верхозин улыбнулся, но Дашимпилону ничего не сказал. Ему очень понравилось, что капитан это так близко принимает к сердцу.

«Живуча сибирская гордость», — подумал Верхозин.

Дашимпилон, должно быть, заметил, что его сообщение не произвело на генерала особенного впечатления, и, ободренный этим, принялся подробно рассказывать о бое. По-русски капитан говорил хорошо и старался держаться с солидностью. Верхозин заметил в его голосе какие-то знакомые интонации, а, прислушавшись внимательнее, уловил нотки комиссарова баска. «И сколько у этого Трегубенко подражателей».

Капитан заговорил о нехватке портянок, рукавиц...

— Вот, кажется, мелочь, а как мы без них? — спрашивал Дашимпилон.

— В армейской жизни мелочей нет, капитан!

Чувствуя, что ему чего-то не хватает, он машинально начал шарить по карманам.

И вдруг, вспомнив, что трубку он отдал бойцам, Верхозин крикнул:

— Эй, орлы, где моя трубка?

Когда через сотни рук голубой кисет дошел до генерала, то вместо табака в нем лежала пустая трубка. Кто-то предусмотрительно очистил ее от пепла. Верхозин, весело подмигнув, сказал Дашимпилону:

— Не грустите, капитан, подтянем интендантов, — будет и табак, и портянки, и рукавицы.

Напор трех дивизий сдерживали забайкальцы. Все планы врага на этом участке обороны провалились.

Беспрозванных давно уже перестал замечать время. Он заметил, что на фронте при всех опасностях, невзгодах, неудобствах, недоедании и недосыпании — время летит быстро. Дни и ночи мешаются, но вот спросите фронтовика через несколько лет, и он вам без запинки назовет день и час своего первого боя.

Пройдет много лет, прежде чем боец все вспомнит, все передумает и, если встретится с однополчанином, если вернется боец домой и от него будут ждать рассказов, тогда он вспомнит и свой первый бой, и окопчик где-нибудь под Наро-Фоминском, где он вместе с полушубком и валенками покрылся льдом и безуспешно отковыривал его непослушными руками. Вспомнит он и свой первый страх, и свою первую храбрость.

Трудное отлеживание в окопах, утомительные переходы — все забывается довольно быстро. Иногда для этого хватает суток. И в этом тоже великое солдатское счастье. Если бы бойцу все держать в памяти, все помнить, обо всем кручиниться и тужить — не выдержало бы ни одно, даже самое крепкое, сердце.

А пока бойцу прожить бы день — и это такая большая жизнь, что если бы описать ее подробно, то хватило бы на целую книгу. А назавтра уже надо думать о завтрашнем, так можно ли помнить и держать в сердце каждый такой большой и короткий фронтовой день.

...Полк майора Карасика два дня отбивался от немцев и не давал им выйти на шоссейную дорогу.

У Верхозина при мысли о Карасике всегда болело сердце. Правда, пока у Карасика все обстоит благополучно. И вдруг майор прислал донесение с просьбой помочь танками и людьми.

— Ты ему передай, Михайла, мою записку и на словах скажи — приеду, мол, через пару часов сам, — не глядя на Беспрозванных, говорил Верхозин. — А танков нет. С танками каждый сумеет воевать. Да побывай там в подразделениях, посмотри, что и как,

с народом поговори, потом приеду — расскажешь.

С этим поручением генерала Беспрозванных поехал в полк. На командном пункте майор Карасик читал записку, долго шевелил толстыми губами, вытирал рукавом полушубка струящийся с носа пот и, точно ища сочувствия у Беспрозванных, громко и жалобно говорил:

— Ну, что же такое будет? Сегодня третий раз отбиваем атаки, а он все прет, все прет.

Беспрозванных отвернулся в сторону и несколько секунд молчал, чтобы не сказать громко то, что думал. Он видел, что майор нервничал, суетился, и эта его суетливость возмущала лейтенанта. С нескрываемой издевкой в голосе, он сказал:

— Вам это лучше знать, вы командир полка.

— Да, командир полка, — зачем-то повторил Карасик, потом спохватился, посмотрел на Беспрозванных и махнул рукой.

— Вот генерал приедет, вы ему все и доложите, — уже сдержанно сказал Беспрозванных.

Карасик сразу стих, присел к столу и снова стал вчитываться в записку генерала.

«Майор, — размашистым почерком писал Верхозин, — вы забыли, что у меня нет сейчас ни танков, ни людей! Вы забыли, что танки и люди вместе с комиссаром Трегубенко выполняют приказ наркома, и вот уже три дня дерутся за город. Но если вы отдадите шоссе, то поставите под удар врага эти подразделения».

— Товарищ майор, я намерен отправиться в батальон к капитану Пальшину, — сказал Беспрозванных.

Карасик поднял голову от записки, непонимающими глазами посмотрел на него, потом в знак согласия закивал головой.

Из блиндажа Беспрозванных вышел с раненным в руку комбатом Пальшиным и его ординарцем, высоким, рябым парнем.

Комбату на вид было не больше двадцати пяти лет. Он отпустил усы нежные, пушистые, с закрученными вверх концами, шел вразвалку, коренастый, малорослый, и, видимо, очень гордился тем, что, несмотря на ранение, остался в строю.

Комбат и его ординарец шли впереди, и чувствова-

лось, что за время боев они крепко сдружились... Комбат с ординарцем увлеченно о чем-то разговаривали. Беспрозванных чуть насторожился и услышал: «Омули»... От этого слова повеяло родным, близким, и, ускорив шаги, он приблизился к Пальшину и ординарцу.

— ...Дорвешься до нее, до проклятой, не оторвешься,— рассказывал рябой боец,— а тут ночь и главное,— грести надо тихо, а то, неровен час, на «имальщиков» наскочишь. Омули, не поверите, — стеной стоят. Руку в воду опустишь, тянешь... и в руке не менее фунта, а он весь, черт, трепыхается!

Ординарец вздохнул и, изобразив, как голой рукой вытаскивают рыбу, замолчал.

— Ну? — нетерпеливо произнес Пальшин.

Рябой боец смачно прищелкнул языком и продолжал с серьезным видом:

— Ну, едем, весла в воде чуть мочим, а рулевым у нас дед Еким, старик злой и жадный. Один раз меня чуть до смерти не зашиб за то, что зашумел веслами. А сами знаете, раз рыба идет метать икру — значит, ловить ее нельзя. Охрану там всякую устанавливают — мы их «имальщиками» зовем. А имальщиков прямо на десятерых по одному: отберут и сеть, и лодку, и рыбу, да еще засудят. Я в то время дурак был, молоденький, вот и уговорил меня дед Еким на браконьерство идти. Главное, говорит, это имальщиков обмануть. Они, говорит, сами рыбу отбирают, а государству не отдают, себе оставляют. Да-а, а я, значит, первый раз в таком деле... Вот, как вспомню об этом случае, до сих пор уши от стыда горят.

Ну, в общем, ловим рыбу. Раз закинем сеть — полная, опять закинем — и того больше. А они, омули, гладкие, на луне аж серебром переливаются. Лодка ажно вся осела и чуть бортами воду не хлебает. А дед Еким крестится и говорит: «Еще разок, дитятки мои, закинем, а там с богом и погребемся». Ну, и только мы стали сеть тянуть, Митька, братенник мой, возьми и поскользнись на омулях, да в воду. Мы с дедом за ним. А только когда я вынырнул, слышу, дед Еким так и понукает Митьку, так и кастерит! Я это воду отплевываю и шепотом кричу: «Дедушка, тише, на берегу услышат», а он: «Только доплыву

до берега, убью, говорит, сукина сына, такую лодку, сеть загубил, все добро ко дну пустил». Я плыву, а сам думаю: где же ему доплыть, старому. Селенга-то широкая, а ему на девятый десяток перевалило. Только со зла, что ли, а доплыл он. Доплыл, на берег сел, весь мокрый, черный, как ворона, руками коленки поджал, бородой трясет и говорит: «Обожди, собачья твоя порода, отдышусь и в кровь выпорю».

— Ну, а он как,— выпорол? — заинтересовался Пальшин.

— А это уж как полагается. Но невзлюбил я с тех пор деда Екима. Мне-то в той ловле озорство было, охота испытать все рогатки да опаски,— все вроде приключения. А жадности во мне ни на столько не было. Потому и опротивел дед Еким. Пошел я и заявил в сельсовет и на него, и на себя.

— И что же было вам?

— Мне по малолетству простили, да ведь еще и сам с повинной пришел, а деду Екиму штраф большой дали. Я ему, чертяке такому, потом отрабатывать помогал. Старик все же...

Ординарец замолк.

Батальон Пальшина размещался за шоссе, в густом сосновом бору. Сюда доносилось эхо артиллерийской перестрелки, кругом было удивительно спокойно и даже ветер за деревьями не так пронизывал, и мороз от этого казался более легким.

Возле командного пункта батальона, прислонившись к сосне, лейтенант, щуря синие глаза, с удовольствием рассматривал лица своих земляков: широкие, скуластые, обветренные и добродушные. И лезли ему в голову всякие хорошие мысли. Они до того радовали, что хотелось ему обнять всех этих парней, каждому сказать приветливое слово, каждого по-дружески похлопать по плечу. Стоял лейтенант большой, красивый, и доброта излучалась из его глаз. «Сибиряки»,— с гордостью думал он, и вспомнилась ему родина. Рыбаки на Байкале в тихие ночи на ровной глади; осенние вечера на деревенской улице, когда земля становится рыжей от листьев и они хрустят под ногами, и мягкие звуки гармошки где-то у околицы села, и зовущие девичьи голоса.

* * *

— Как там генерал воюет? — услышал лейтенант чей-то голос.

К штабу батальона подошла большая группа бойцов и стояла в ожидании приказа. Беспрозванных вначале не понял, что вопрос обращен к нему, но, заметив выжидающие взгляды бойцов, неторопливо сказал:

— Генерал жив-здоров. Третьему батальону поклон посылает.

Правда, Верхозин не приказывал передать поклон, но Беспрозванных решил, что из-за спешки и занятости.

Комбат Пальшин, слыша это, озорно улыбался и, поглаживая кончики своих усов, прохаживался перед бойцами.

«Ах, какой молодец!» — восторженно, не без зависти подумал Беспрозванных о комбате. О Пальшине шла слава по всей дивизии. «Геройский комбат!» — с первых дней боев называли его бойцы, и эта кличка сразу пристала к нему.

Пули долго облетали Пальшина. Когда все же его ранило во время атаки, он на минуту остановился, упрямо сжал тонкие губы и, оставляя за собой пятна крови, побежал дальше.

Беспрозванных прошел по сосняку к разведчикам, недавно вернувшимся из разведки. Вокруг валялись, точно поломанные бурей, деревья и огромное количество пустых гильз.

У края большой воронки, обнявшись с винтовкой и засунув руки в рукава полушубка, беззаботно лежал боец. Другой боец сидел около него на корточках и, держа замерзшими пальцами иголку с белыми нитками, зашивал лежащему разодранные стеганые брюки.

Боец лежал не шелохнувшись, крепко прижимая к себе винтовку. Не поднимая головы, он смотрел на небо в просвет между деревьями и мечтательно сказал:

— А небо, как будто и войны никакой нет. Небо везде, брат, одинаковое. Такое же, как у нас в Забайкалье.

* * *

Подъехав в бронетранспортере к штабу полка, генерал, пригибаясь в низких дверях, быстро прошел в блиндаж. Беспрозванных только что возвратился

из третьего батальона и теперь непонимающими глазами смотрел на штабную суетню. Верхозин вошел в блиндаж, как входит человек в свой дом, где все ему знакомо до мелочей. Он сразу заполнил собой узкое пространство, и Беспрозванных почувствовал, что вокруг все успокоилось и стало по своим местам.

За три часа в штабе произошло много событий. Когда Беспрозванных уходил из батальона, там было все спокойно, а придя в штаб полка, узнал, что комбат Пальшин убит, а майор Карасик приказал батальону отойти за высоту на два километра.

Майор бегал по блиндажу, нервничал. Люди вокруг него также нервничали, он их дергал, то отдавал приказания, то отменял их, не переставая на кого-то сердиться.

И только начальник штаба полка, капитан Ильин, во всей суете выделялся спокойствием и уверенностью. Придерживая двумя руками трубку телефона, он то выкрикивал грубые слова, то кого-то хвалил.

Верхозин поздоровался, быстро подошел к карте и склонился над ней. Майор Карасик сбивчиво объяснил генералу, как произошел отход третьего батальона. Генерал, казалось, не слушая его, разглядывал карту, потом выпрямился, и все увидели, что глаза его налились кровью, а на израненном подбородке мелко-мелко дергаются жилки. Верхозин был страшен, таким еще никогда не видел его Беспрозванных.

— Почему вы не выполнили мой приказ? — в упор глядя на Карасика, сквозь зубы спросил Верхозин. Майор, опять торопливо захлебываясь и не договаривая слова, стал повторять то, что он уже говорил до вопроса генерала. Батальон остался без комбата, артиллерийский обстрел высоты был настолько сильным, что он, Карасик, опасаясь погубить весь батальон, отвел его на старые позиции.

Верхозин успел уже опытным глазом оценить опасность, которая теперь грозила другим полкам. Третий батальон не мог долго продержаться на открытой местности и неминуемо должен был отойти за шоссейную дорогу. При этой мысли у Верхозина на лбу выступили крупные капли пота. В блиндаже царила тягостная тишина. И вдруг, разрывая это тяжелое молчание, майор Карасик сказал, что за высотой осталась мино-

метная батарея, а на высоте взвод автоматчиков и они пока удерживают позиции. Верхозин чуть склонил голову, точно прямо не мог рассмотреть Карасика, и, отрубая слова, сдавленным голосом сказал:

— Так! Совсем хорошо! Значит, оставили минометы в подарок немцам?! Ну, знаете, вы преступник! — задыхаясь от ярости, прокричал Верхозин. — Я приказывал вам — не отступать. Чего вы испугались? Почему отвели батальон назад? Почему все бессовестно напутали так, что и сами разобраться теперь не можете?!

И, не дожидаясь ответов Карасика, решительно сказал:

— Отстраняю вас, майор, от должности. Капитан Ильин, примите командование полком!

Генерал несколько минут разговаривал с капитаном, длинным негнущимся пальцем водил по карте, потом достал из планшетки свою карту и нанес на нее изменения. Снова пряча карту, он взглянул на Беспрозванных.

— Идем, Михайла, в третий батальон. — Быстро окинув взглядом понуро опустившего голову майора Карасика, он побарабанил пальцами по крышке планшетки и, делая ударение на последних словах, сказал: — И вы пойдете с нами, майор, будете за проводника.

Беспрозванных, майор Карасик и небольшая группа бойцов еле поспевали за генералом. За всю дорогу Верхозин не проронил ни одного слова. Было такое впечатление, что дорогу он знает лучше своих проводников. Командный пункт батальона Пальшина разместился в цветочной оранжерее. До этого в ней, видимо, несколько дней не топили, и цветы поникли на своих высоких стеблях. В оранжерее стоял приторный запах умирающих цветов и чернозема.

Еще несколько дней тому назад глубокое овощехранилище на всякий случай приспособили под блиндаж и соединили его подземным ходом с оранжереей. Но в блиндаж никто не уходил: оранжерея казалась более обжитой, а главное, здесь было светло и тепло.

Генерал выслушал рапорт молоденького младшего лейтенанта, такого юного, с такими нежными щеками и застенчивым выражением глаз, что ему на минуту стало не по себе.

— Сколько вам лет, младший лейтенант? — почему-то спросил Верхозин.

— Двадцать два... скоро будет.

— Это хорошо, — удовлетворенно сказал он и прошелся в длину оранжереи.

— Не дурно устроились. Цветочки...

Генерал поднял голову кверху, откуда через стеклянные рамы и наброшенные на них соломенные маты проникали лучи солнца,— совсем не плохо, как на курорте,— с недобрыми нотками в голосе повторил он.

— Мы выполняли приказ, — густо заливаясь румянцем, сказал младший лейтенант. — Я свой взвод отвел в полном порядке и только тут узнал, что комбат убит.

— А ну расскажите, как это случилось? — расстегивая свой красный дубленый полушубок, спросил генерал.

Глядя на Верхозина снизу вверх, младший лейтенант коротко и неторопливо рассказал о смерти Пальшина. Он говорил монотонно, задумчиво, и ни один мускул не пошевелился на его лице. Только сошел со щек румянец и вместо него выступили синеватые круги. Беспрозванных глядел на него, и он сейчас казался ему уже не таким молодым.

Не смущаясь присутствия генерала, один из бойцов точно подумал вслух:

— Да, жалко комбата. Будь он с нами, не ушли бы мы с высоты.

Генерал повернулся к нему всем корпусом.

— А, здравствуйте, товарищ Иванов,— узнав в говорившем парторга роты, проговорил Верхозин, здороваясь за руку с бойцом.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал? — спросил Иванов.

— Слушаю вас.

— Разрешите, товарищ генерал, мне с группой бойцов вернуться к автоматчикам на высоту?

Генерал не ответил, что-то раздумывая. Он прислушался к выстрелам. Отсюда было слышно, что автоматчики и минометчики в лесу еще держались.

— Лейтенант Скобин разговаривает,— сказал Беспрозванных.

— Товарищ генерал-майор, — обратился снова к нему Иванов, — разрешите...

Верхозин посмотрел на него внимательно, точно взглядом своим измеряя его силу и стойкость.

— Нет, не годится. Вы пойдете в рощу все, но только затем, чтобы оттуда ударить по врагу, — проговорил он. — Майор, — обратился Верхозин к одиноко стоявшему майору Карасику, — приказываю вам принять командование батальоном. Займите прежние рубежи на высоте! Может быть, вы хоть частично искупите вину.

— Слушаюсь! Благодарю, товарищ генерал! — взволнованно сказал майор Карасик.

— Сумеете?

— Умру, но приказ будет выполнен.

— Умирать не надо, — жестко произнес Верхозин, — и не надо громких слов, майор. Займите прежний рубеж.

* * *

Майор Карасик сдержал слово. Батальон занял свои прежние позиции. Вскоре на НП полка вслед за Верхозиным притянули связь, и генерал приказал артиллерийскому дивизиону вести огонь по огневым точкам противника. Как раз в это время началась одиннадцатая по счету атака немцев на третий батальон.

Вначале показались танки. Их было более десятка. Выкрашенные в белый цвет, они сливались со снегом, и различить их можно было только в бинокль.

В минуты боя у Верхозина всегда нервы напрягались до предела. За много лет боевой жизни он никак не мог научиться тому внутреннему спокойствию, которое, казалось, должно было войти в привычку. Каждый раз перед атакой его сердце сжималось щемящей тревогой. Зато мозг и в это время не прекращал своей холодной, расчетливой работы. Ни на что в жизни Верхозин не променял бы этих боевых минут. Ломать волю врага, путать его планы, а потом ошеломляюще ударить его и гнать — было высшим наслаждением для Верхозина.

Он очень твердо знал, что, когда идет бой, — никто

не имеет права его ослушаться. Но для того чтобы сказать человеку «умри», для того, чтобы он пошел на смерть во всякую минуту, по мнению Верхозина, нужно было уметь сделать это самому. В этом была чистота совести полководца, этим он приобретал право покорять своей воле сотни и тысячи других.

...От майора Карасика поступило донесение, что он послал группу бойцов, в том числе парторга роты Иванова, уничтожить танки. Генерал приказал капитану Ильину доложить ему, как только будут получены новые сведения об истребителях танков.

...Верхозин с НП полка в бинокль следил за эсэсовцами. Они двигались медленно. Вражеские орудия через голову своей пехоты начали усиленно обстреливать минометчиков. Сильные порывы ветра подняли снег, и он закружился в воздухе, закрывая наступающих.

Томительно шли минуты. Генерал взглянул на часы. С того момента, как ушел Иванов, прошло сорок пять минут.

Из батальона не поступило за это время никаких сообщений. Генерал больше не опасался за то, что майор Карасик может снова отступить. Командуя теперь батальоном, он бы скорее умер на месте, но выполнил свое слово.

Майор Карасик был кадровым командиром и в свое время, командуя батальоном, был на хорошем счету.

«Полк для него много, не по силам, не по размаху,— думал Верхозин,— он растерялся от одной ответственности».

Танков теперь не было видно. Они были скрыты за пригорком и почему-то прекратили огонь. Возможно, они сосредоточивались для прорыва.

Иван лежал в индивидуальном окопчике, не по росту мелко отрытом. На 25 метров от него по обе стороны в таких же окопчиках расположились бойцы. И дальше на таком же расстоянии друг от друга лежали на изготовке истребители танков.

Окопчик был отрыт на скорую руку. Приходилось стоять на коленях, чтобы из-за бруствера не виднелась голова. Зато в передней стенке окопчика была вырыта небольшая ниша — «полочка», куда Иванов уложил весь свой боевой запас: три противотанковые

гранаты и пять бутылок с зажигательной жидкостью, или, как их окрестили бойцы, «зажигалки».

Иванов чувствовал под коленями бугорки земли, он несколько раз пытался примоститься половчее; все дно окопчика было точно в шипах. Но еще больше беспокоила мысль о Гамбоеве.

Гамбоеву было уже около сорока лет, он плохо знал русский язык, очень медленно соображал.

Сегодня, перед тем, как ползти из траншеи к противотанковым окопчикам, Гамбоев молча передал Иванову свернутую бумажку и, ничего не сказав, отошел в сторону. Иванов смог разобрать в ней всего несколько русских слов:

«...болшевиком считай, если помират буду...», остальное было написано хотя и русским алфавитом, но, видимо, на бурятском языке.

«Я, брат, тобой займусь, — думал Иванов, — так и скажу на партсобрании, что я сам виноват, не занялся тобой как следует».

Показались танки. Иванов сразу забыл о неудобствах окопчика. Страха он не испытывал. И не было никаких посторонних мыслей. Точно не он должен был сейчас один на один сражаться с танком, а кто-то другой, а парторг роты Иванов строго, взыскательно и подбадривающе наблюдал за этим другим, попутно не выпуская из виду Гамбоева.

Танки, выкрашенные в белый цвет, приближались. Из наших траншей начали бить противотанковые ружья. Уголком глаза Иванов увидел, как танк, который шел, казалось, прямо на Гамбоева, точно чего-то испугавшись, резко свернул влево и пошел почти что рядом с танком, который Иванов уже мысленно называл «моим». Итак, на него шло два танка. В следующее мгновение Иванов увидел, как Гамбоев вылез из своего окопчика и, держа в руках гранаты, а на спине автомат, пополз навстречу Иванову. Сердце Иванова залила теплая волна.

— Бутылха та есь ля? — спросил запыхавшийся Гамбоев.

— Есть, есть, — радостно ответил Иванов, — на, держи!

— Э-э, хахой белый танк чорна фашист делал!

На какое-то мгновение Иванову показалось, что он

видит сон, и, как это бывает, на него летит, летит паровоз. «Бросай!» — скомандовал он себе, но, оказывается, произнес это вслух.

Бутылка не долетела и упала, даже не разбившись; но броня на «гамбоевском» танке уже пылала. Однако оба танка продолжали нестись на окопчик, Иванов бросил гранату. Взрыв. Танк повернулся, прошел несколько метров в сторону и встал.

Гамбоев одну за другой послал две гранаты и тоже подбил его. Из танков стали выскакивать немцы, и Гамбоев, не давая опомниться, расстреливал их из автомата.

— Молодец, Гамбоич! — прокричал Иванов.

— Ну, да смотри — ишо танха, — ответил ему Гамбоев. И на самом деле, на расстоянии не больше чем за двести метров двигались танки, на ходу стреляя из пушек. Они точно специально задались целью отомстить за подбитые танки и шли на окопчик.

Оставалось всего две гранаты. Можно было промахнуться, и тогда танки наверняка пройдут к траншеям. Иванов взглянул на Гамбоева, хотел его о чем-то спросить, потом вдруг сказал, передавая ему одну гранату и две «зажигалки»:

— Ты оставайся здесь, а я пойду туда, — он махнул рукой в сторону танков. Иванов неловко пожал руку Гамбоева и, думая о чем-то своем, произнес:

— Эх, Гамбоич... прости, брат.— И пополз, сливаясь своим белым маскировочным халатом со снегом.

— Хах тах прости? — закричал Гамбоев и пополз вслез за Ивановым, держа в руках гранату.

— Иди назад, — оглянувшись на него, зло закричал Иванов.

— Почему назад?

— Я под танк пойду.

— Я тоже танха ходить буду.

И, перекрывая уже совсем близкий шум моторов, он прокричал так, чтобы его мог слышать Иванов:

— Пойдем танха!

* * *

Генерал Верхозин получил донесение майора Карасика:

«Восемь танков горят, четыре подбито, два лове-

нули обратно. Бойцы Иванов, Гамбоев, Свиридов погибли смертью храбрых, бросившись под танки с гранатами. Немецкая пехота численностью до двух батальонов отклонилась на обход нашего левого фланга».

— Передайте во все роты, с которыми есть связь. Парторг роты Иванов и его друзья погибли, а танков не пропустили. Вот какие у Пальшина воспитанники!

Еще через полчаса на левом фланге в атаку на два батальона эсэсовцев были подняты первый и часть третьего батальонов.

...В грудь бойцам упрямо бил ветер. Над головами жужжали пули.

Бойцы сбросили полушубки и ватные куртки. Сибиряки шли в атаку в одних гимнастерках. Эсэсовцы решили не уклоняться от боя, но с каждой минутой движение их становилось медленнее, наконец они остановились, потом повернули обратно. Враги узнали сибиряков.

Вдруг в расположение бегущих немцев стали падать снаряды. Вначале Верхозин не сообразил, кто мог вести артиллерийский огонь: снаряды взрывались в гуще отступающих, генерал инстинктивно оглянулся на капитана Ильина, и тот, словно поняв немой вопрос, прокричал:

— Это они в своих палят, товарищ генерал,— хотят остановить.

— Оч-чень хорошо, вот это хорошо, — наслаждаясь этим зрелищем, также громко сказал Верхозин,— спасибо гитлерякам за помощь.

Немцы бежали по глубокому снегу, и чем дальше, тем медленнее. От автоматных очередей они десятками падали на землю.

Остатки их скрылись в лощине и повели по наступающему батальону сосредоточенный огонь.

— Ну что же, — удовлетворенно произнес Верхозин, — ваша задача, капитан Ильин, пока держаться, а через сутки...— Он помедлил, улыбнулся, снова посмотрел в бинокль и закончил:— а через сутки, капитан, все может резко измениться. Через сутки, только дайте срок, и вы будете наступать. Представьте к награде посмертно парторга Иванова и всех, кто с ним

был. На Героев! Похоронить всех в братской могиле. Желаю успехов, капитан! — И, обернувшись к Беспрозванных, скомандовал:

— По коням, Михайла!

Он первым пошел по ходу сообщения. В некотором отдалении за ним двигались Беспрозванных и автоматчики.

У генерала было хорошее настроение: Беспрозванных не надо было много времени, чтобы определить это. И по тому, как генерал шел, не торопясь, пружинисто ставя ноги, как он запрокидывал к небу голову, точно выискивая там видимые ему звезды, Безпрозванных безошибочно знал, что настроение у генерала, как он говорил, «№ 1». «Поедет в штаб или в группу Трегубенко»,— соображал он и решил, что скорее всего быть им сегодня в большом деле. «Как теперь комиссар там?» — спрашивал себя Беспрозванных. И не успел он это подумать, как его что-то высоко подхватило в воздух и швырнуло на землю. Ощупав себя, он вскочил на ноги и, оглянувшись, увидел Верхозина, распростертого в траншее. Беспрозванных кинулся к нему и онемел от ужаса.

Генерал лежал окровавленный, заваленный землей, и только его седая голова виднелась на черной земле.

«Убит генерал» — эта мысль обожгла, он окинул взглядом фигуру Верхозина и вместо ног увидел кровавое месиво.

Беспрозванных наклонился над генералом, и ему показалось, что тот шевелит руками. Генерал был жив, он дышал. Беспрозванных сбросил с себя гимнастерку, разорвал нижнюю рубашку на куски и туго закрутил жгуты на ногах Верхозина. Потом надел гимнастерку и, накинув на плечи брошенную кем-то ватную куртку, не позволяя никому из автоматчиков помочь, сильными руками поднял тяжело раненного генерала.

* * *

Около беспомощно распростертого тела Верхозина суетились люди. Генерал лежал на узкой деревянной лавке, и его рука бессильно свисала до самого пола. Руку пробовали уложить вдоль туловища, но она

снова падала. Тогда Беспрозванных подставил стул и осторожно положил на него тяжелую руку генерала.

Все, кто был в комнате, вопросительно смотрели в глаза молоденькой женщине — врачу.

— Нужна кровь, — тихо проговорила она и начала делать приготовления, намереваясь взять кровь у себя. Увидев это, Беспрозванных запротестовал:

— Возьмите мою кровь! У меня первая группа крови — всем подходит,— решительно сказал он. Это было сказано так веско, что врач не стала возражать...

Потом Беспрозванных следил, как перекачивали его густую кровь генералу. Он глядел то на широкую руку Верхозина, то на его лицо. Верхозин не проявлял никаких признаков жизни. Черты его лица неузнаваемо заострились.

Но вдруг Верхозин медленно приоткрыл веки и еле шевельнул губами:

— Пить...

Вода текла по подбородку Верхозина и падала на грудь. В тонкой руке врача кружка с водой мелко-мелко стучала о зубы Верхозина. Беспрозванных придерживал голову генерала. Придвинувшись губами к самому уху Верхозина, он возбужденно нашептывал:

— Ничего, ничего, вы еще жить будете — я же знаю.

Но Верхозин ничего не слышал. Отвернув лицо от кружки, он вдруг увидел забинтованные обрубки своих ног, и его глаза широко и изумленно открылись. И без того бледное лицо Верхозина покрылось смертельной синевой. Из его груди вырвался глухой стон, и он снова закрыл веки. Беспрозванных очень тихо опустил его голову и неподвижно стоял с побелевшим лицом. Врач держала руку генерала и в такт биению пульса кивала головой. Видя, как неравномерно женщина делает это, Беспрозванных уже больше ни на что не обращал внимания и беззвучно вслед за ней шептал одними губами:

— Раз... два... три...

Вдруг врач повернулась к сестре и крикнула:

— Скорей камфару!

«Умирает!» — пронзила мысль Беспрозванных.

Но едва он нагнулся, чтоб заглянуть в глаза генералу, как в тот же миг отпрянул назад. По щекам Верхозина текли крупные слезы.

Глаза Верхозина смотрели совсем осознанно. Почувствовав боль от укола, он с трудом сказал:

— Зря, зря, девочка. Все равно умираю. Обидно, девочка, что мало повоевал в этот раз...

У врача на глазах навернулись слезы. И она его стала утешать, как маленького.

— Что вы! Вы будете жить...

Верхозин слушал ее, и на губах его была снисходительная улыбка. Эта улыбка как бы говорила: «Утешай, утешай, а только, чему быть, я и сам знаю». Слух и зрение его в эти минуты обострились, и он долго прислушивался, как полковник Брюханов в соседней комнате руководил разгоревшимся боем.

Дверь в комнату то и дело приоткрывали. «Ну, как?»

— Лучше, — отвечали шепотом.

Вдруг за переборкой громко завозились, застучали, забегали, потом с шумом открылась дверь и в комнату, расталкивая людей, вбежал начальник штаба полковник Брюханов. Он стал во фронт, щелкнул каблуками кованых сапог:

— Товарищ генерал!..

У Верхозина загорелись глаза, и он открыл рот, тяжело хватая воздух...

— Комиссар Трегубенко, — отчеканивая каждое слово, докладывал полковник, — сообщает: полки преследуют отступающих гитлеровцев.

Верхозин рванулся вперед, приподнялся на локте, и лицо его осветилось восторгом... Густым басом, глубоко вбирая всей грудью воздух, он восхищенно сказал:

— Я знал, что у него упрямый характер! Хорошо...— и не договорил... Вложив в эту фразу последние силы, он тяжело рухнул на скамейку.

— Генерал умер,— сказал врач, нарушая тишину. Беспрозванных снял шапку и, уткнувшись в нее лицом, беззвучно зарыдал.

Земля в Подмосковье была изрыта снарядами. Она зияла черными ямами, и редко-редко на глаза попадались белые пятна нетронутого снега. Страшно было ходить по этой земле. Как призраки, выплывали из мрака мертвые остовы машин, слепо и безмолвно глядели непроницаемо-черные дула повергнутых наземь орудий. Распластавшись распоротыми животами, как гигантские окаменевшие птицы, валялись самолеты. Деревья больше не радовали глаз и стояли немые и черные на широком искалеченном поле.

С первыми лучами окупого зимнего солнца кровавым отблеском осветилась земля. Тянуло гарью с пепелищ сожженной деревни, и сизые струйки дыма медленно поднимались в воздух. На груды развороченного кирпича взобрался танк и уткнулся в землю. Кругом все было мертво, и тишину нарушали только завывающие порывы ветра. Сюда чуть свет пришли люди, и их появление напомнило, что жизнь еще существует.

Хоронили генерал-майора Верхозина на стыке двух шоссейных дорог. Люди стояли в безмолвии. Это были делегаты от частей. Весть о смерти генерала быстро облетела полки.

Лучшие бойцы дивизии пришли отдать последний долг генералу.

Заботливые красноармейские руки сколотили гроб генерал-майору Верхозину... Весь в красном, гроб стоял в огромной воронке, вырытой снарядом. На крышке гроба лежали венки из веток зеленой хвои, переплетенные траурными лентами.

Высокие и сильные, с обветренными лицами сибиряки прощались со своим генералом. Комиссар Трегубенко, сцепив руки, маленький, взъерошенный от горя, воспаленными глазами смотрел на дно воронки. Он долго не мог оторвать взгляда от ямы и вдруг, ясно представив себе жизнь без генерала, почувствовал холодное одиночество.

Без светлого ума Верхозина, без его грубоватых шуток, без дружеских бесед с ним будет трудно. Люди смотрели на Трегубенко и ждали от него слова.

Комиссар знал, что пора начать говорить, но не мог разжать ссохшиеся губы. Наконец с трудом выговаривая каждое слово, делая длинные паузы, он вдруг очень тихо обратился к Верхозину:

— Не думал я, Демьян Трофимыч. Не думал вот так с тобой расставаться. Тяжело мне без тебя и горько. Всей дивизии тяжело. Докладываю тебе, что за два дня после твоей смерти мы уничтожили пять тысяч немцев. Но не закончен счет мести за твою смерть. Ты был моим лучшим другом, генерал, и я обещаю, что дружбы этой не посрамлю. Не знаю, останусь ли жить, но, пока я двигаюсь,— клянусь мстить и за мою поруганную Украину, и за сыновей Сибири, сложивших свои головы под Москвой. Если останусь жив, приеду сюда, из тысяч найду твою могилу и расскажу о нашей победе. А помру я — расскажут другие! Спи спокойно, генерал Верхозин, ты был честным солдатом своей страны! Мы хороним тебя в братской могиле вместе с бойцами, павшими вместе с тобой в бою! Клянемся вам...

Трегубенко встал на колени, и голос его зазвучал громко и торжественно. И было во всем этом столько внутренней силы, что бойцы тоже опустились на колени и слово в слово повторили клятву комиссара.

— Клянемся не опозорить знамена дивизии, пронести их победно через всю войну! Клянемся, клянемся...

Молча бойцы подняли вверх ружья и после команды «огонь» спустили курки. Но выстрелов не последовало. Стрелять нельзя. Фронт рядом.

Трегубенко поднялся, и вслед за ним поднялись бойцы. Слезы высушила ненависть.

Всего несколько деревьев уцелело там, где раньше был огромный сосновый бор. Бойцы срубили самое высокое, прямое дерево, тщательно отесали его и поставили на большой холм могилы.

У дороги не было больше зияющей ямы. За много километров вокруг было видно гордое, высоко взметнувшееся ввысь дерево, и на самой его макушке трепетал на декабрьском ветру красный вымпел. Люди, которые появились здесь утром, в последний раз оглянулись и ушли. Они двигались строем, и впереди

этих рослых бойцов вышагивал невысокий человек, глаза которого горели печалью и гневом.

А стройное дерево, оставшееся позади ушедших, не молчало. Каждому, кто проходил мимо, оно рассказывало историю сегодняшнего утра.

Лейтенант Беспрозванных раскаленной в огне проволокой выжег на куске доски горячие слова. Доску прибили к дереву, и глубокие черные буквы возвещали:

«ОСТАНОВИСЬ!

Братская могила генерал-майора Д. Т. Верхозина и тридцати сибирских стрелков.

После войны памятник поставить мраморный!»



Светлой памяти моего брата Алексея — солдата Отечественной войны.

Автор

И СНОВА ВЕСНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

День и ночь через весь город тянулись автобусы с ярко-красными крестами на дверцах и стеклах; медленно переваливаясь, ползли трехтонки, крытые брезентом. Быстро перебирая короткими ногами, малорослые лошади тянули громоздкие санитарные повозки.

Ночами в городе, окутанном туманом от реки, которая не замерзает даже при сорокаградусных морозах, плыли бледно-молочные светляки фар, вспыхивали зловеще-красные огоньки, а впереди шли пешие поводыри караванов — медицинские сестры и санитары. Они размахивали фонарями «летучая мышь», заглядывали под брезенты грузовиков, переговаривались с ранеными, подталкивали санитарные повозки, помогая норовистым, точно игрушечным, лошадкам тянуть непривычный груз.

Каждый день новые раненые привозили с собой в сибирский город тревожные вести о войне.

Давно уже все места в госпиталях были заняты. Но, не считаясь с тем, что нет больше коек и запасного

белья, что не хватает обслуживающего персонала, эвакопункт разгружал санитарные поезда и отправлял раненых в город.

И вот однажды вечером, когда охрипшие от пререканий врачи эвакопункта уже не ждали новых поездов и собирались разъехаться по домам — выспаться и отдохнуть,— на станцию прибыл «дикий» состав, о котором не было ни одной предупредительной телеграммы.

Попробовали было протолкнуть поезд дальше, на восток, но из этого ничего не вышло.

Поезд разгрузили, и снова через город потянулись машины и лошади, и снова ругались врачи местного эвакопункта, ломая «упрямство» начальников госпиталей, принявших уже в три раза больше раненых, чем полагалось...

У ворот одного из госпиталей сторож контрольной будки, старичок с румяным лицом, с седыми запорожскими усами, спадающими на черную засаленную стеганку, спрашивал у молоденькой девушки в коротенькой шинели с зелеными петлицами:

— А кажи ты мне, дитятко, откуда же воны приихалы?

— Из Сталинграда, дедушка.

— Тэк-тэк. А ты там случайно моих пацанов Бориса та Степана по фамилии Таранущенко не встречала?

— Что вы, дедушка, разве там увидишь... Открывайте пошире,— торопила девушка.

— Тэк-тэк,— крякнул сторож, широко распахивая ворота. И, глядя на красный глазок удаляющейся машины, вздохнул.

Машины разгружались, уходили на вокзал и вновь возвращались с ранеными. Встречая их, девушка в шинели заглядывала в дверцы автобусов, под брезенты грузовиков и все спрашивала каким-то тоскливым голосом:

— Товарищ лейтенант, вы туточки?

— Тут много лейтенантов. Вам кого? — отвечали из темноты, где вспыхивали огоньки папирос.

— Мне мово, Степу Белоноженку.

— Вот что... Нема тут Степы. А белоногих много: все в гипсе лежим.

И девушка переходила к другой машине.

— Ну, возьмем носилки,— сказал ей простуженным голосом мужчина в шубе, накинутой поверх длинного медицинского халата.

Она послушно взялась за носилки и пошла следом за мужчиной в широкие двери госпиталя.

В санитарном пропускнике весь пол был уставлен носилками с ранеными. Дежурная сестра уговаривала одного из них, молодого рыжеволосого парня, остричь волосы, а он в ответ надрывно выкрикивал:

— Ишь чего захотели! Волосы... Да мне легче ногу отнять.

— Раненый Крячков, будете лежать здесь, пока не снимете волосы, такой у нас порядок,— ровным, видимо, уже привычным тоном сказала высокая смуглая женщина — дежурный врач.

— Это можно. Я хоть год пролежу, только стекло в окно вставьте, а то дует.

— У кого есть деньги, оружие, ордена, сдавайте на хранение,— весело повторяла блондинка сестра, пробираясь между носилками.

— Комиссара бы сюда надо! Почему тут у вас из кранов вода не идет? — высовываясь из моечной, ворчал раненый строгим баском.

— Табак требуем. Пять дней не курили, а волосы приказываете стричь,— свертывая толстую самокрутку, недовольно бубнил рыжий парень.

— Так вы же курите. Да вон и мешочек полный у вас.

— Я не за себя, я за других болею.

Девушка в коротенькой шинели с зелеными петлицами стояла, прислонившись к стене. Она пристально рассматривала раненых, ища среди них своего лейтенанта.

— Сестрица! Огоньку бы, прикурить,— позвал ее рыжий парень.

Она сорвалась с места, попросила дымящуюся самокрутку в другом конце приемника и принесла ее парню.

— Спички тут дают? — деловито спросил он ее, с наслаждением вдыхая дым.

— Я не здешняя.

— А я, видишь ли, «катюшу» свою погубил: камешек потерял.

Девушка улыбнулась. Она вспомнила, что ее лейтенант, научившись курить, тоже смастерил себе «катюшу» и упорно учился добывать из нее огонь.

— А вы лейтенанта Белоноженку не знаете? — уже который раз за этот день спросила девушка.

— Не, такого не знаю. Ты что — родня ему будешь?

— Да нет, приставлена я к нему — сопровождать...

— Ясно,— понимающе сказал боец,— значит, приставлена. Да сколько же тебе лет?

— Девятнадцать,— почувствовав недоброе в голосе солдата, сухо произнесла девушка. «Экий человек, ведь обязательно плохое прицепить надо». От обиды дрогнул круглый подбородок, но девушка ничего больше не сказала и отошла к двери.

Лейтенант лежал в своей пушистой шапке, укрытый до подбородка меховым одеялом. Он сразу увидел девушку и улыбнулся:

— Настенька!

Может быть, почудилось, что он назвал сейчас ее имя, но она увидела это в его синих-синих глазах. Он всегда говорил вот так, она знала его выражение лица, и у нее каждый раз сладко замирало сердце.

— А я-то уж заждалась, а я-то уж думала, что вас в другой госпиталь увезли,— говорила Настенька, в одно мгновение очутившись у изголовья лейтенанта.

— А кто тебе велел отходить от поезда?

— Да как же, товарищ лейтенант, мне начальник эшелона приказал. Туточки людей на разгрузку не хватает.

— Ну и пеняй на себя,— равнодушно процедил Белоноженко.— Если без тебя «туточки» не могли обойтись, при чем здесь я?

— Зачем же вы передразниваете. Не туточки, а здесь, здесь, здесь! Довольны? Я вот скажу правильно, а после забуду.

Носилки лейтенанта поставили рядом с носилками того парня, которому девушка давала прикуривать. Она только сейчас заметила это и осеклась. Но тот не обратил на нее никакого внимания. Он держал в руке маленький узелок и наставительно говорил сестре-хозяйке:

— Это что? Это как же без расписки да без опи-

сания? Да в этом узелке вся моя жизнь. Медаль «За отвагу» — раз, фотография — два и трофейный фонарик от немца, которого я штыком запорол,— три, и курево опять же...

— Господи, да никуда это не денется. Вы в бане помоетесь, и я сама принесу ваш узелок в палату,— раздраженно твердила сестра.

— Не-е,— раздумчиво тянул парень,— медаль «За отвагу» — это тебе что! Медаль могу только в собственные руки комиссару вручить.

— Правильно, не отдавай. Наверняка потеряют. Тут порядком у них не пахло,— сказал Белоноженко, не глядя на соседа.

— Знамо дело.— Парень с удовольствием посмотрел на Белоноженко.

— Ну, что задумалась, Настенька? — спросил лейтенант.

А Настенька и на самом деле задумалась. Вот ведь в какую даль от фронта заехали. Ехала она санитаркой не в том вагоне, где лежал Белоноженко. Прибегала она к нему в свободное время и нередко тут же засыпала, положив кудрявую голову на край столика. Ее будили, предлагая уйти в вагон команды, но она сердилась и оставалась возле лейтенанта.

На Белоноженко смотрела такими глазами, что тот начинал ежиться и спрашивал:

— Ну, что это ты?

Про себя Настенька называла его ласково: «Любимый мой, миленький мой». А вслух выходило:

— Товарищ лейтенант, как ваша температурка?

— Настенька, да зови ты меня просто Степой, на «ты» зови,— часто говорил Белоноженко, но перебороть себя она не могла. Слишком недосягаемым казался ей Белоноженко. У нее не было слов, чтобы объяснить все свои чувства к нему.

А пришли эти чувства тогда, когда протащила она его на себе пять километров под минами. Вынесла, а потом сама не верила, что сделала это.

Назавтра она лежала в медсанбате, маленькая, бледная, и сердцу ее было тесно в груди. Старичок доктор сказал тогда:

— Сердчишко-то шалит. Сердчишко-то маленькое, а груз ты взяла непомерный.

«Груз»... Настеньке стало смешно. И опять думала о Белоноженко: «Если бы ты грузом был, разве бы я уволокла тебя».

Через три дня отошло «сердчишко», опять вроде улеглось на место, только глубоко вздохнуть не могла, что-то покалывало, как иголками. Так и осталась в сердце эта острая, но какая-то своя, близкая боль, часто напоминая о том дне, когда Белоноженко, казалось, должен был умереть, а остался жить. Из-за болезни сердца Настеньку и отчислили из армии. Едва добилась она разрешения сопровождать поезд.

Настенька все сидела на корточках у изголовья Белоноженко, пока у нее не заныли ноги. В пропускнике стоял гул, но сейчас она ничего не слышала и видела только голову Степы Белоноженко, его глаза.

— Порядочки! — едко сказал Белоноженко.— Бросили на пол, и лежи тут. Заелись в тылу. Дали бы мне их в руки, я бы сразу выучил.

Глаза лейтенанта были злыми, точно с синими холодными льдинками.

— Встаньте, дайте носилки поставить,— резко прозвучал усталый голос, и Настенька увидела высокого человека в полушубке. Он осторожно опустил на пол носилки, огляделся по сторонам, ища свободного места, и уверенно произнес:— Ну, теперь все, больше некуда. Звоните на вокзал,— обратился он к медицинской сестре.— Больше ни одного человека не примем. И так по трое на две кровати...

И, перекрывая нестихавший гул, он крикнул громко и властно:

— Товарищи! Я — комиссар госпиталя, старший политрук Черемных. Пока заполняют на вас документы, проведем политинформацию.

И сразу наступила тишина.

— Мы ведем упорные бои около Ленинграда, в Крыму,— сказал комиссар.— Вы знаете уже, что наши войска оставили Новороссийск. Наши союзники...

— Они бы лучше воевать начали, а мы бы как-нибудь без ихней колбасы прожили,— перебил комиссара солдат, сосед лейтенанта Белоноженко.

— Во-во, нам этот «второй фронт в банках» поперек горла становится,— зло отозвался другой.

— Да, они откроют второй фронт, когда увидят, что немцам будет туго,— сказал рыжий парень.— Пока немец на нас жмет, ему, союзнику-то, невыгодно второй фронт открывать, немец-то по нему стрелять начнет, а он без стрельбы любит...

Черемных знал, что отвечать на эти солдатские реплики надо прямо и честно.

— Друзья мои,— сказал он чуть насмешливо, с веселыми плутоватыми искорками в глазах,— будем благодарить наших союзников и за колбасу и за консервы, а главное, за то, что наши союзники сегодня не наши враги. Могло быть хуже.

— Ого! А ведь правильно разъяснил комиссар,— живо откликнулся чей-то голос с носилок.— Могло быть хуже, они зараз вместе с немцами могли...

Комиссар довольно улыбнулся, почувствовал, что его понимают так же, как и он понимает этих людей, что контакт с ними найден.

Но все время, пока Черемных проводил политическую информацию, пока принимал на хранение партийные билеты, его неотрывно преследовала мысль о том раненом, которого последним принесли в санитарный пропускник.

Сопровождающая сестра из поезда сказала, что у раненого началась газовая гангрена руки.

Закончив политинформацию, Черемных подошел к нему и взял с носилок полевую сумку. В ней торчала свернутая история болезни, и на титульном листе Черемных прочитал: «Юдин Николай Силыч, рождения 1917 г., член ВКП(б)». Потом перевернул страницу и прочел первую надпись, сделанную неразборчивым, размашистым почерком. Он читал и чувствовал, что ему становится трудно дышать. Юдин был без обеих ног, без всех пальцев на левой руке и теперь с гангреной правой руки.

Черемных вынул из полевой сумки Юдина партбилет, раскрыл его и увидел густые ржавые потеки от крови. Сколько он видел таких партийных билетов, пробитых пулями, разодранных осколками снарядов! Сколько могли рассказать эти свидетели подвигов о человеческих муках, страданиях и стойкости. И каждый раз, словно подтверждая, что человек этот был честен, смел и нес свой партийный билет у самого

сердца, жизнь драгоценной человеческой кровью ставила на них печати.

Юдин Николай... Вот каким красавцем ты глядишь с партийного билета, какая у тебя хорошая улыбка, чистый юношеский лоб, проникновенные добрые глаза.

Да, видно, ты был счастлив, получая свой партийный билет. Это фотография твоей души — открытой, прямой,— взглянешь на неё, и ясна вся твоя жизнь, и тебе нельзя не поверить.

Черемных оглянулся на носилки. Закрытый одеялом почти до лба, Николай Юдин внимательно смотрел на него немигающими черными глазами. Комиссару на минуту показалось, будто Юдин прочел все его мысли.

Черемных подошел к дежурному врачу, что-то прошептал ей на ухо и отдал историю болезни. Потом, обходя носилки, подошел к рыжему парню, поздоровался с ним за руку и спокойно спросил:

— Как ваша фамилия?

— Крячков. Только без подходов, товарищ комиссар. Не поможет. Это мои волосы, и... точка.

— Не спорю, товарищ Крячков. Вот мы их снимем и отдадим вам в собственность. Зачем же их на голове носить, когда крепко в руках держать можно?

Раненые засмеялись. Крячков мрачно огляделся по сторонам и невольно улыбнулся, настолько эта мысль показалась ему забавной.

— Так почему вы не хотите снять волосы? — уже серьезно спросил комиссар.

Раненый опять забубнил свое. Черемных слушал его, склонив по своему обыкновению голову.

— Неужели так тяжело расставаться с волосами? Да вы их даже и не расчесываете, вон какая копна! — И, помедлив, устало сказал: — Ну, а насчет того, что легче ногу потерять, чем волосы, вы это зря. Я вот тоже без ноги,— и комиссар постучал вечной ручкой по протезу,— а волосы, как видите, стригу.

— А я что? У меня тоже ноги нет,— опуская глаза, промямлил Крячков.

Тогда, желая окончательно убедить его, Черемных наклонился к нему и вполголоса стал рассказывать о Юдине.

Настенька сидела у изголовья Белоноженко. И до нее дошли слова комиссара.

— Ну ладно, давайте, стригите, только скорее,— согласился Крячков.

Черемных, не спеша, чуть припадая на правую ногу, опять подошел к дежурному врачу.

— Вы просто маг-волшебник, товарищ комиссар. И как вам это удается обломать таких упрямцев.

— Вы преувеличиваете мое волшебство и его упрямство: просто я показал ему свою стриженую голову, и ему, как говорят, крыть было нечем... А с этим что будем делать? — спросил комиссар, показывая в сторону Юдина.

— Его мыть не будем, прямо в палату отправим, я думаю, лучше всего в боковушку двенадцатой.

Комиссар утвердительно кивнул головой и вернулся к Юдину.

— Сейчас унесем вас в палату.

Юдин не отозвался. Он, все так же не мигая, смотрел прямо перед собой глубоко посаженными, сосредоточенными сейчас на чем-то своем глазами.

— А ну, возьмем, девушка, носилки,— сказал Настеньке Черемных.

— Товарищ комиссар! Вам же тяжело носить, давайте я,— перебила, подбежав к нему, смуглая сестра с очень красивым, восточного типа лицом, которое портила только большая горбинка на носу.

— Делай свое дело, Стелла, мы сами унесем,— и Черемных взялся за носилки.

Несмотря на то что они поднимались на второй этаж, Настенька не устала. Носилки показались ей совсем легкими.

Двенадцатая палата была уже битком набита ранеными, и Черемных прошел через нее в маленькую боковую комнату. Там стояли две кровати. Палатная сестра помогла Настеньке переложить Юдина с носилок на койку.

В комнате горела синяя лампочка, и Настенька была рада, что плохо видит лицо Юдина. Когда шли обратно в пропускник, Черемных, глуховато покашливая, сказал:

— Какой парень красивый был... Что война с людьми делает...

Едва успел комиссар перешагнуть порог пропускника, к нему бросилась крикливая девушка в шинели. Ее Настенька уже знала по санитарному поезду.

— Вы комиссар? Почему не принимаете раненых? Им что — в машинах мерзнуть?

— Тише, товарищ ефрейтор! — оборвал ее Черемных. — Кто вас научил так разговаривать со старшими по званию? — И более миролюбиво добавил: — Ведь мы звонили на станцию. Госпиталь переполнен до отказа. Все коридоры забиты, ординаторские заняты, осталась только операционная.

— Как же быть, товарищ старший политрук? На улице три машины раненых.

— Так, — сказал Черемных, что-то соображая. — Что ж, будем разгружать. Закроем санитарный пропускник, поставим здесь койку. Другого выхода нет.

Он обернулся к Настеньке:

— Ну, девушка, пойдем.

Проникаясь к этому человеку невольной симпатией, Настенька подняла свое курносое лицо в мелких золотых кудрях, выбивавшихся из-под серой солдатской шапки, и, открыто глядя в глаза Черемных, твердо сказала:

— Пойдемте, товарищ комиссар.

* * *

«...5 сентября 1942 года на Сталинградском фронте получил множественные минно-осколочные ранения (в области обеих голеней, правого предплечья, левого плеча и кисти). Первая помощь оказана сразу на поле боя санинструктором. Через два часа был на автомашине доставлен в медсанбат, где под эфирным наркозом произвели ампутацию левой голени на середине ее протяжения, ампутация правой голени на границе средней и нижней трети. Кроме того, была произведена первичная обработка ран правого предплечья, левого плеча и кисти. После операции перелито 500 куб. см консервированной крови. Правая рука иммобилирована шиной Крамера. На следующий день больной был эвакуирован в полевой подвижной госпиталь. Оттуда через двое суток в общем тяжелом

состоянии отправлен на санпоезде для эвакуации в тыловой госпиталь...

...Общее состояние больного очень тяжелое. Сознание сохранено. Резкая бледность кожных покровов и видимых слизистых. Черты лица заострены. Пульс 140—160 в 1 мин., ритмичный, несколько ослабленного наполнения и напряжения...»

Главный хирург госпиталя Семен Наумович Лязер отложил историю болезни, взял со стола черную пепельницу из пластмассы и, брезгливо выбросив в корзину окурки, стал тщательно протирать пепельницу бумагой.

— Давайте раненого Юдина в перевязочную,— произнес он, потирая лоб мягкой небольшой ладонью, и рассеянно уставился в промерзшее окно.

В форточке вместо стекла торчал плохо прикрепленный кусок фанеры, и Лязер раздраженно отвел от нее глаза.

Около самых окон второго этажа, где находился сейчас главный хирург, широко раскинулись голые ветви тополей, сникшие под тяжестью снега. Тянулось множество толстых от инея электрических проводов.

Семен Наумович долго смотрел в окно, но раздражение не покидало его. Слишком был раздосадован сегодня главный хирург госпиталя.

— Ужасно, дочки,— сказал он, обращаясь к своим ординаторам, молодым врачам Лене и Марине.— Ужасно, как могут портить человеку жизнь какие-то мелочи. Вот торчит фанера в окне. Сколько раз я просил, чтобы вставили стекло... Сейчас я буду делать операцию. Все знают, что я ростом не вышел, и не раз просил сделать подставки. Месяц я об этом толкую и все-таки буду стоять на каком-нибудь фанерном ящике. М-да... И опять Кричевский, этот... консультант. Сколько раз я говорил вам: когда нужно показать больного доктору, можно обойтись вашим старым хирургом. Вот, извольте, сегодня этот красавец опять распорядился одной жизнью. Я читаю историю болезни Николая Юдина. У этого юноши по сути осталась одна рука, а Кричевский недолго думая порекомендовал отнять эту руку. Газовая гангрена... Я вас спрашиваю: как можно с такой легкостью решать?

Девушки не отвечали. Они знали, что лучше всего

в такие минуты молчать. Раз уж зашел разговор о консультанте отдела эвакогоспиталей Кричевском,— возражать бесполезно. Сегодня была виновата Марина. Она вызвала доктора Кричевского на внеочередную консультацию. Лязер чувствовал себя плохо и два дня не выходил на работу. А тут срочная операция...

Наконец Марина собралась с духом:

— Что же было делать, Семен Наумович? Мы понимаем, что тяжело решиться на такой шаг, но больной может погибнуть.

Тогда Лязер не выдержал и забегал по перевязочной.

— Послушайте, миледи, я вас спрашиваю: когда кончится ваше увлечение роскошной бородой и римским носом Кричевского? Ну, хорошо, ну хорошо.— Он замахал короткими ручками.— Я признаю за вами право любоваться его красотой, но при чем здесь мой раненый, наш раненый? Со мной можно было посоветоваться?

— Вы же болели...

— Ну, знаете! Можно подумать, что я был при смерти...

Лязер продолжал бы ругаться, если бы в эту минуту не внесли Юдина. Пока его разбинтовывали, Лязер, сопя и отдуваясь, снова повернулся к окну и стал потирать ладонями виски, как всегда в минуты раздражения.

Хирургическая сестра Неточка, блондинка с голубыми умными глазами, бесшумно передвигалась в мягких туфлях, стучала инструментами, вполголоса отдавала распоряжения санитаркам. Начальник второго отделения Елена Александровна, высокая брюнетка, еще раз просматривала историю болезни Юдина. Она ночью дежурила и принимала этого больного, теперь ей хотелось понять, почему сердится Лязер. Он ведь еще не смотрел Юдина и, возможно, ругал Кричевского по привычке. Все в госпитале знали, как не любил Лязер этого красивого, очень аккуратного доктора. Елена Александровна была серьезным и вдумчивым молодым врачом. За ее внешней неторопливостью скрывались большая энергия и ум. Она очень хорошо знала и понимала темпераментного

главного хирурга, к которому у нее был свой, уже выверенный подход.

Елена Александровна подняла глаза на Лязера и невольно улыбнулась.

Ох, как зол был он сейчас! «Бедная» Марина, да и все мы сегодня «бедные»,— подумала она.— Вместо дочек, девочек, деток, милочек Лязер будет называть нас «миледи» и «леди», и бог знает, как долго продлится его гнев. Надо же было Марине вызвать Кричевского!..»

Лязер резко повернулся от окна и молча подошел к Неточке. Она быстро подала Лязеру длинный, до самого пола, клеенчатый фартук и завернула ему рукава гимнастерки. Лязер приблизился к операционному столу, кивком поздоровался с остановившимся в дверях комиссаром Черемных.

Правая рука Юдина, вспухшая, почерневшая, словно чужая, лежала вдоль изуродованного туловища.

Лязер поднял эту безжизненную руку, надавил ее в нескольких местах, промычал что-то неопределенное и пошел мыть руки. Марина, Елена и Неточка последовали его примеру. Они все стояли рядом, тщательно и сосредоточенно мыли руки в белых эмалированных тазах. Первой окончила Неточка и уже подавала Лязеру стерильное полотенце. Держа руки на весу, Лязер задумчиво и успокоенно сказал:

— Нет, друзья мои, все будет не так. Мы сохраним ему руку.— Он тряхнул головой.— Мы не послушаемся доктора Кричевского! Мы Юдину сделаем широкие и глубокие разрезы до самой кости. Его жизнь я беру на свою ответственность.— С этими словами он, точно провинившийся, нагнул свою голову к Неточке, и она надела ему на лицо марлевую маску.

Через несколько минут голос Лязера гремел по всей операционной:

— Леди, что вы мне подаете? Я вас спрашиваю: разве это инструмент? — И Неточка при этом вздрагивала.

Черемных стоял в сторонке с серым, землистым лицом и до боли в пальцах сжимал спинку стула. Операция началась.

В час ночи Марина Коптяева все еще сидела за столом над историями болезней. Перед ней были анализы, температурные листки, рентгеновские пленки, описания операций, записи консультаций и врачебных обходов — все эти распухшие тома, в которых сухо и однотонно рассказывалось о человеческих страданиях. Сейчас Марина с острым любопытством читала историю болезни одного своего раненого и удивлялась тому, как неинтересно и бездарно была она составлена. Марина и сама сделала в ней много таких же привычных правильных записей о самочувствии раненого, а вот что-то главное, неповторимое растворялось и погибало в сухих и приевшихся словах медицинской терминологии, которые с некоторыми вариациями вносились в сотни подобных историй. А ведь главное состояло в том, чего она не сумела записать.

Вот еще месяца два тому назад она уловила в больном Жигжитове тот переломный момент, когда борьба в его организме закончилась победой жизни, и этот молоденький бурят встанет на ноги, в этом Марина была совершенно уверена. Но выразить и обосновать эту уверенность, составляя историю болезни, она не сумела. А ведь такая интуитивная уверенность стояла вовсе не за пределами врачебной профессии, хотя ею обладали далеко не все врачи.

В истории болезни Бадмы Жигжитова Марина могла сделать очень простую и краткую запись: раненый будет жить! Правда, у него тогда была еще высокая температура, но Жигжитов уже не раз разговаривал с ней вполне осознанно и попросил даже, чтобы к его нижней рубашке пришили пуговицы.

Конечно, обосновать свою уверенность в выздоровлении Жигжитова было трудно. Аргументы Марины могли показаться неубедительными и попросту глупыми такому человеку, как доктор Кричевский.

Мысли ее перешли на Кричевского. Марина, так же как и Лязер, не любила этого человека. Он безусловно был умен, но подавлял людей своей эрудицией и высокомерием. Марина почему-то представляла себе Кричевского не иначе, как в частном врачебном ка-

бинете, принимающим от «благодарных» больных стыдливо сложенные кредитки. Он походил на того «дамского доктора», который был знаком ей по старым романам. Во всем его поведении чувствовалось пренебрежение к раненым.

— Все они одинаковы,— говорил он.— Мне достаточно видеть больного две минуты, чтобы заранее знать, что он скажет.

Казалось, этим человеком владела единственная страсть. Он любил охоту и весь преображался, когда речь заходила о ружьях, облавах, повадках дичи, собачьих экстерьерах...

Война словно не затронула Кричевского, и даже сейчас он умудрялся исчезать из города на два-три дня.

Дверь в дежурную комнату открылась, сквозняк подхватил легкую шелковую штору и надул ее парусом. Зашел Черемных, и Марина встала, приветствуя его. Он поздоровался, сел у стола и начал машинально перебирать истории болезни.

— Все пишете? — спросил он, пробегая глазами только что отложенный Мариной листок.

«Бадма Жигжитов. Призван в армию Агинским национальным окрвоенкоматом Читинской области, рождения 1922 года, член ВЛКСМ...» — читал он, и сразу перед ним возникла фигура этого подвижного, веселого юноши с культяпками вместо рук.

— Вы хоть на улице-то бываете? — спросил Черемных.

Марина в ответ с улыбкой пожала плечами. Она бывала на улице, только пробегая без пальто из своей комнаты во дворе госпиталя к главному корпусу, по утрам — в семь часов. Потом начиналась утренняя «пятиминутка» врачей, которая длилась не меньше часа, затем все спускались в подвальное помещение завтракать, потом начинался врачебный обход палат.

Сегодня в ее отделении лежали сто пятьдесят раненых вместо двадцати пяти. Всем нужно было сделать перевязки, выписать лекарства, заполнить дневники обходов. За день надо было поговорить с сестрами, выписать диету, провести в палатах беседы о санитарном минимуме, прочитать лекцию на курсах медицинских сестер...

Марина улыбнулась:

— Не до прогулок теперь, товарищ комиссар, вы бы нам хоть поход в театр организовали. Хотя, по совести говоря, в такое время даже как-то неудобно и в театр идти.

— Обязательно, обязательно надо проветриться, а то вы совсем зеленая стали.

Но, видимо, Черемных не придал значения своим словам, потому что через минуту снова заговорил о делах госпиталя.

Только что, проходя по коридору первого этажа, он увидел на койке раненого Баграда Папяна. Это был тяжелобольной. Около него стояла врач Мукменова.

— Не сегодня-завтра умрет,— шепнула она комиссару.— Мы выставили его койку в коридор, потому что он все время кричит и мешает другим в палате спать.

Черемных возмутился. Он не мог смириться с мыслью, что человека заранее приговорили к смерти.

— Откуда вы знаете, что он умрет именно сегодня? — раздраженно спрашивал Черемных, отведя Мукменову от постели Папяна.

У Мукменовой скользнула по губам усмешка. Комиссар никак не может понять, что он профан в медицине,— вот о чем говорило выражение ее лица.

А Черемных смотрел на Баграда Папяна, и его сердце болезненно сжималось. Этому юноше от силы можно дать двадцать лет. Но действительно, на его обтянутом желтом лице, в отрешенных глазах, в оскале зубов лежала печать смерти.

— У него сепсис в самой тяжелой форме,— как бы оправдывалась Мукменова.— Папяна смотрел вчера доктор Кричевский и сказал, что он все равно не выживет.

Черемных не раз наблюдал, как Кричевский осматривал раненых, и заметил одну любопытную особенность: Кричевский, подходя к каждой постели, глухо, отрывисто бросал:

— Рука, нога, бедро?

Было видно, что для него изолированно существует только эта поврежденная рука или нога. Чаще всего он, даже не взглянув на больного, осматривал

только его рану и переходил к следующей кровати.

Черемных пытался для себя составить о Кричевском мнение. Хирург? Говорят, хороший, знающий. Охотник? Еще лучше. Тут его авторитет даже среди бывалых людей — сибиряков — непререкаем. У Кричевского-охотника — много знакомых. Кричевский-хирург — нелюдим, угрюм.

«Нет, я не хотел бы лечь к нему под нож,— думал Черемных.— Черт с ним, с его знаниями, не хочет он человеку добра, он холоден и равнодушен. Для него человек — это действительно только рука, нога, бедро — операционное поле, но не друг, не товарищ, за жизнь которого надо бороться вдохновенно, самоотверженно, забывая о себе самом».

Черемных слушал Мукменову молча, медленно покачивая головой, и в ту минуту он с удовольствием подумал о Марине. Несколько дней тому назад ее принимали в партию. Тепло о ней отзывались коммунисты, и кто-то, кажется Стелла, говорил о том, как любовно выхаживает Марина тяжелораненых.

Черемных тут же решил перевести Папяна в ее отделение. За этим он и пришел к ней.

— А куда я его положу, товарищ комиссар? — выслушав его просьбу, спросила Марина.

— Ну, скажем, в боковушку вместе с Юдиным.

Марина призадумалась и вздохнула.

— Хорошо, я возьму его, но скажите об этом Елене и Семену Наумовичу. А то они у меня начальники строгие, да и Мукменова будет сердиться.

— Пусть сердится. Это что — пресловутая врачебная этика? Вот у нас некстати удивительно боятся обидеть друг друга. А ведь речь идет о жизни человека.

— Я не боюсь,— просто сказала Марина.

— Думаю, вы сделаете все для спасения Папяна. Если нужны будут какие-нибудь лекарства, из-под земли вам достану. Вот Папян огурцов зеленых попросил, и я обязательно добуду, если в городе есть хоть один свежий огурец.

В сущности, Марина знала о комиссаре очень мало. Он воевал на Западном фронте, был ранен. До войны работал секретарем сельского райкома партии здесь же в Сибири. На вид ему около сорока

лет, а на самом деле, кажется, меньше. О себе Черемных рассказывал неохотно. В районе жили его жена-учительница и сын лет десяти. Жена изредка приезжала в госпиталь, привозила чистое белье, книги, убирала комнату и с вечерним поездом уезжала. После такого визита Черемных несколько дней в разговорах вставлял слово о своем районе. Дела там шли неважно. Впервые за последние пять лет район не выполнил хлебозаготовок, в колхозах не хватало рабочих рук — все хозяйство держалось на женщинах и подростках.

— А какой это был район! — с горечью говорил Черемных, и глаза его поблескивали. Три года подряд награды получали на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Марина чувствовала в этом человеке большой житейский опыт, убежденность во всем, что он говорил и делал.

В простых словах комиссара всегда звучала искренность. Марина любила слушать его доклады и политические информации. Все события приобретали ясность, и у Марины как-то увереннее и спокойнее становилось на душе. Комиссар всегда был спокоен, пожалуй, даже медлителен. Марине казалось, что он не способен горячиться.

— Да, Марина Степановна, как быть с Юдиным? — спросил он, собираясь уходить.— Я сейчас заходил к нему. Не дает он мне покоя. Как бы худого не вышло с этой операцией.

Марина не успела ответить. Снова открылась дверь, взвихрилась голубая штора, и в комнате появился Лязер.

— Оригинально построено здание, не правда ли, товарищ комиссар? Тут и зимой и летом — всегда сквозняки. Прямо двери с петель рвет. Что вы скажете? — Тон Лязера был такой, будто в сквозняках виновен комиссар.

— Я промолчу, Семен Наумович.

— Не-ет, вы думаете, что старый Лязер совсем сумасшедший? Вот вы, миледи,— обратился он к Марине.— Я вас просил ни на минуту не забывать о Юдине.

— Я помню, товарищ главный хирург,— спокойно

сказала Марина и с упрямым выражением посмотрела ему в глаза.

Лязер крякнул, помотал головой, сквозь зубы буркнул:

— Ну, и как?

— Состояние у него очень тяжелое. Теряет сознание, а когда приходит в себя, то жалуется на сильные боли в руке.

— Не спит?

— Нет. Пробовала два раза делать инъекции морфия. Не спит.

— Пульс?

— Сто сорок в минуту, ритмичный, наполнения ослабленного.

— Хорошо. Продолжайте камфару и кофеин через каждые два с половиной часа. И стрептоцид. Я уже не пойду к нему.— Лязер повернулся к Черемных.— Подумайте только,— сказал он сокрушенно,— этому человеку надо перенести еще несколько операций. Предстоят реампутации обеих культей и операция левой руки. Конечно, если все будет хорошо.— И Лязер, чем-то обиженный и недовольный, еле кивнув головой, мелкими шажками вышел из комнаты. Снова от гулко закрывшейся двери поднялся ветер и прошелся по всем бумажкам на столе у Марины.

— Волнуется старик,— улыбнулся Черемных.

— Волнуется,— подтвердила Марина.— Я думаю, он сперва в боковушку к Юдину, а потом уже в дежурку.

— Хоть и беспокойный человек,— сказал Черемных,— но зато у меня за него всегда душа спокойна.— Комиссар повел лохматыми бровями и сверкнул из-под них озорным, умным прищуром глаз.— Я сегодня с ним долго беседовал. Собрался старик в партию вступать. И мы его наверняка примем.

— Я очень рада за него,— отозвалась Марина.— А вот ведь никому об этом не говорил, кроме вас. Видно, все вынашивал. Он нам рассказывал, как вы ему показали партийный билет Юдина. На него это очень подействовало. Да, между прочим,— спохватилась Марина,— я чуть не забыла вам рассказать. Девушка, которая лейтенанта Белоноженко привезла, как только вы зачислили ее санитаркой, побыла в па-

лате два часа, потом прибежала ко мне и просит, чтобы я посмотрела карточку передового района на Николая Юдина. Оказывается, она его вынесла с поля боя и расписалась в карточке. И вот сегодня я узнала, что она ни на минуту не отходит от его постели.

— Хорошая девушка и лейтенанта этого, видно, очень любит.

— Красивый, потому, наверное, и нравится ей.

Марина на минуту задумалась и вдруг решила рассказать комиссару о том, что лейтенант совсем загонял Настеньку, груб с персоналом и чрезмерно требователен. Марина решила об этом рассказать не потому, что она не встречала раздражительности и требовательности в других раненых, а потому, что лейтенант был несправедлив и придирчив, особенно к Настеньке...

• • •

Юдин не различал дня от ночи.

В прозрачном, тревожном забытьи, которое владело им, он чувствовал иногда, что ноги уперлись в спинку кровати. Ног не было, а они упирались в перекладину на спинке кровати. Такое ощущение, будто кровать стала мала, бывало в детстве,— он думал иногда, что это он растет во сне.

Юдин просыпался, открывал глаза и смутно видел на противоположной стене картину в коричневой раме. Картина была очень знакомой. Рыбак, упершись руками в колени, стоит возле удочек и сквозь очки, позабыв обо всем на свете, напряженно ждет, когда дернутся поплавки. У старика доброе выражение лица, старик давнишний друг, а кто он — Юдин забыл. Но все равно по ночам рыбак выходит из коричневой рамы, оставив свои удочки, и ведет длинные разговоры. Этот старик умеет успокаивать. Очень часто он начинает хитрить, отвернет лицо, а через минуту его не узнать: и тот, и не тот. Очки у него уже на лбу, торчит седой клок волос, где-то на самой макушке, и разговаривает он резким, сердитым голосом. Старик уже в белом халате, и он оказывается вовсе не рыбаком.

И сердится вовсе не он.

Он стоит тут же рядом и успокаивает кого-то другого. А тот, не переставая, кричит.

Однажды Юдин, открыв глаза, увидел над собой маленькое лицо и внимательный немигающий взгляд больших серо-зеленых глаз.

— Больно? — спрашивает его почти детский ласковый голос.

Юдин не отвечает. Он смотрит на стену: рыбак на месте, в раме. Юдин разжимает спекшиеся губы и проводит по ним языком. Лицо моментально исчезает, а потом Юдин чувствует на своих губах металл и влагу. Он медленно и неохотно пропускает глоток вина и только тогда говорит:

— Укол, сделайте укол.

Опять появляется над ним лицо с серьезными глазами.

— Да я не сестра, я санитарка. Вам нельзя уколы. Семен Наумович запретил. Это морфий, а вам вредно.

Юдин теперь знает, что Семен Наумович — это не рыбак, а главный хирург госпиталя, и в эту минуту ненавидит его. Он собирает обрывки своих разговоров с этим человеком; смешивая явь и бред, вспоминает его резкий голос и маленькие глазки. Юдин сам знает, что ему полезно, а что вредно. Лучше бы смерть, не мучиться самому и не мучить других.

Зачем такому калеке, как он, не дали умереть и вынесли его с поля боя. Поле боя... Он хорошо помнит это поле. Да как забудешь его — клочок земли, на котором давно уже осталось больше мертвых, чем живых. И все-таки нашелся человек, который отыскал его и вынес.

А вот Жарича — политрука роты — вынесли ли его? Юдин был твердо уверен, что на всем свете нет второго Жарича. Он никого еще так сильно не любил, как этого человека. В тот, теперь далекий день, пятого сентября, когда Жарич сказал, что рота будет стоять насмерть, политрук уже принадлежал не себе, даже не роте, а тому большому и прекрасному, что называется Родиной. И никогда Юдину не забыть его глаз, вобравших в себя все радости и горести человеческие.

Вот тогда-то и понял он, что Жарич — душа роты. Он понял первоначальный смысл этого определения,

ибо политрук стал его собственной душой. Пусть между ними была особая дружба, особое понимание, но только в тот день их дружба достигла того предела, когда она переходит в нерушимую верность навеки. Юдину еще суждено было видеть, как тяжело ранило Жарича, как умирали их лучшие товарищи на трехстах метрах придорожной канавы, которые защищала рота. Это и называлось полем боя. Потом кто-то, точно глухой стеной, отгородил от него все, что он так ярко видел, слышал, чувствовал...

Кто же вынес его с этого поля и где сейчас мог бы быть Жарич?

Вспомнил все это Николай Юдин, впервые очнувшись после длительного забытья.

* * *

Прошло двенадцать дней с тех пор, как ему сделали операцию. Двенадцать дней между жизнью и смертью. Юдин не знал, что происходило в эти дни, как люди боролись за его жизнь. Он хотел сейчас одного: не ощущать в своем теле острой, раздирающей боли, не думать ни о прошлом, ни о будущем и только разговаривать с этим милым рыбаком на картине.

Когда он ясно представлял свое обрубленное тело, он говорил себе, что жить таким не сможет. Раньше тело у него было сильное, натренированное. А теперь оно причиняло ему одни лишь страдания. Он был в таком состоянии, что стоило санитарке попристальней взглянуть на него, как и это причиняло ему боль.

Он сразу вспоминал, что у него нет ног, нет всех пальцев на левой руке, а возможно, не будет и правой. Он кривил губы:

— Не гляди на меня, не надо.

Санитарка отводила взгляд и вздыхала. Юдин больше не замечал ее.

А рядом с ним кто-то беспрестанно кричал, надрывно, на одной ноте. У Юдина внутри жил такой же крик — монотонный и безутешный.

Иногда он слышал через открытую дверь, как в смежной палате раненые начинали ругаться и требовать, чтобы успокоили их соседа. Видно, крики бу-

доражили в каждом его собственную боль. Тогда приходила старшая сестра Стелла.

— Перестань, Папян, кричать, здесь всем тяжело,— говорила она строгим тоном.

Папян на время умолкал.

...На стуле возле Юдина давно уже стоял остывший обед. Стелла с санитаркой вышли из боковушки, а вслед за ними появился толстый мальчишка. Он был в широких шароварах, неуклюжий, с насупленными бровями над черными угольками глаз. Мальчишка забрался на табурет, уселся и несколько секунд смотрел прямо в глаза Юдину. Потом он взял со стула ложку и начал есть его обед. Не торопясь, он съел все дочиста, деловито вытер рукавом губы и, тяжело вздохнув, не сказав ни слова, вышел из боковушки.

Поведение мальчика немного развеселило Юдина.

Скоро в боковушку возвратилась санитарка. Она виноватым тоном сказала Юдину:

— Тут мальчик обед у вас съел. Это Владька, сын старшей сестры Стеллы. Вы все не кушаете...

— Хорошо,— произнес Юдин, и санитарка увидела на губах его улыбку.

— Вам лучше? — участливо спросила она.

— Кажется, лучше.

— Настенька...— позвал кто-то из соседней палаты.

— Я сейчас,— ответила девушка и, поправляя у Юдина одеяло, пояснила: — Это лейтенант Белоноженко. Я с ним сюда приехала, он уже поправляется. Нога у него, говорят, срастается, скоро гипс снимут...

— Настенька! — более настойчиво позвал тот же голос.

Она покраснела, смущенно взглянула на Юдина, не спеша поправила одеяло и только тогда вышла.

Через несколько минут Юдин услышал в палате голос главного хирурга, Лязер поздоровался с больными и прошел в боковушку.

Юдин молча и неприязненно ответил на его приветствие. Но, видимо, это не смутило главного хирурга. Растягивая слова, резким голосом он задавал вопросы. Ему отвечала ординатор Марина Коптяева. Из ее ответов Юдин понял, что раны хорошо гранулируют (он не знал значения этого слова, но раз оно

сопровождалось таким определением, как «хорошо», значит, это и было хорошо), в сердце чистые тоны, температура первый день нормальная.

— Боль в руке чувствуете? — спросил Лязер.

И только тогда Юдин понял, что боли в руке нет. Она прошла, может быть, несколько секунд назад. Он явственно помнил, что она была совсем недавно.

— Нет,— удивленно произнес Юдин.

— Ну вот, а мне передавали, что вы просили морфий.

— Тогда болело,— злясь, ответил Юдин.

— Верю, верю, мой друг,— не обращая внимания на тон, которым отвечал Юдин, сказал Лязер, и его маленькое лицо сморщилось в улыбке.— Вы меня радуете, мой друг. Теперь я вам должен открыть ваши перспективы.

Юдин задохнулся от жесткой неприязни. О каких перспективах говорит старик? В горле комом застряли обидные слова, которые он вот-вот выпалит в глаза доктору.

— Все идет как нельзя лучше. Думаю, что одну вашу руку нам удалось спасти, а что касается второй, то и здесь не все безнадежно.

Юдин не выдержал и зло рассмеялся.

— Больше того,— невозмутимо продолжал Лязер,— думаю, что вторая рука у вас тоже будет. Дело в том, что в этом городе проживает профессор Василий Герасимович (он назвал фамилию профессора). Он из такого обрубка, как у вас, соорудит руку с пятью пальцами.— Лязер на секунду замолчал, еще шире улыбнулся, обнажив вставную челюсть, и закончил: — Сделаем вам протезы на ноги, и со временем вы будете ходить без палочки. Что вы на это скажете?

Хотя у Юдина еще не улеглось раздражение, где-то глубоко шевельнулась было надежда: ведь то, что говорил хирург,— сулило жизнь. Но перспектива была горькая и, как думал Юдин, безутешная.

* * *

О наступлении утра Юдин узнавал всегда одинаково. Угол палаты, куда он обычно глядел, лежа в одном и том же положении на спине, медленно на-

чинал отсвечивать сероватыми оттенками, потом все больше прояснялся. В коридоре санитарки стучали ведрами и перешептывались так, что лучше бы они уж говорили полным голосом: каждое их слово доносилось, как со сцены в зале с хорошей акустикой. В это время раненые спали особенно крепко, каждый по-своему. Вовка-солдат, свернувшись калачиком, полуоткрыв рот, стонал во сне редко и сдержанно; Афанасий Крячков спал на спине и невыносимо скрипел зубами; Соломон Шведик, свесив с подушки курчавую голову, шевелил мясистыми губами.

Двенадцатая палата была самой тяжелой в госпитале. Ее обитатели либо поправлялись трудно и медленно, либо перекочевывали в боковушку, откуда исчезали затем навсегда. Только редкие из них, побывав там, возвращались в палату, и тогда все понимали, что эти люди будут жить.

Когда Юдина перенесли из боковушки в палату, всем стало ясно, что с гангреной покончено и жизнь его не висит уже на волоске.

Баград Папян остался в боковушке. Очень часто оттуда раздавался его дребезжащий голос, точно стискиваемый изнутри:

— Доктор-джан, ой, доктор-джан, не могу, больше не могу.

И сейчас, как много дней подряд, он тяжко стонет.

«Отмучился бы уж скорее»,— с жалостью подумал Юдин. Но, поймав себя на этой мысли, устыдился. Он вспомнил обтянутый желтый череп Папяна, его агатовые глаза, оскаленные зубы, и еще горшая жалость к нему кольнула сердце Юдина.

На улице стояла крепкая зима. Большие стекла в окнах палаты, расписанные кружевом мороза, звенели, точно переговариваясь.

Такие окна были в их доме на берегу Байкала... В далекие невозвратимые года Юдин по утрам вот так же лежал в теплой комнате, с закрытыми глазами, и слышал, как мать старалась двигаться бесшумно, чтобы не разбудить его. Но под ее ногами громко скрипели половицы, а в окнах с тихим звоном потрескивали от холода стекла. И почему-то тогда от всего этого становилось необыкновенно весело. Он вскакивал с постели и бежал к железной печке, ста-

новился около нее, как это делал отец, расставив ноги и заложив руки за спину.

Милые, милые Семисосны,— маленькое, затерявшееся на берегу Байкала село. Все, что есть на свете хорошего, дорогого,— все связано с тобой. Каждую твою улочку, каждый дом и эти твои семь сосен на окраине села — все помнит Николай Юдин. Да мало ли что он помнит...

...Вот входит в дом бородатый отец, как дед-мороз, с нависшими засахаренными бровями и усами. Он греется у печки, потом берет на руки сына и щекочет его бородой. От него пахнет лекарствами. Это — привычный запах. Отец Николая был фельдшером.

— Расскажи сказку,— требует сын.

— Ну, ладно,— соглашается отец и, прищурив цыганские насмешливые глаза, начинает:

— Это сказка, этого никогда не было...— и каждый раз по-новому начинает рассказывать. А закончив, снова повторяет: — Это сказка, этого никогда не было.

Все это помнит Юдин, и на душе у него и светло и горько, сладко и больно...

...Это сказка, этого никогда не было...

Жил-был на свете Коля Юдин. Он рос очень тихим и скромным юношей. Характером скорее выдался в мать, только могучим телом да лицом походил на отца.

Отец хотел, чтобы сын его стал врачом, но Коля мечтал стать архитектором. И откуда пришло это желание, трудно было сказать.

С тех пор как он помнит себя еще ребенком, ему всегда хотелось строить. И каких только городов он тогда не выстроил! Какие воздвигнул чудесные дворцы и памятники. Начнет строить город из камешков, коробочек, дощечек, и длится это и день, и два, и десять. Обо всем, бывало, подумает градостроитель: и о бассейнах, и о яслях для малышей, чуть поменьше его самого, о кино, театрах, скверах, заводах, дачах для отдыха, стадионах, лыжных станциях, жилых домах с верандами и даже о скамейках — удобных решетчатых скамейках, выкрашенных светлой краской.

Когда заканчивалось созидание, Коля позволял себе мысленно пройтись по своему городу. И никто

не знал, что это идет он, архитектор, творец города.

Потом мечты уносили его в далекие, все новые и новые края. А позади оставалась благоустроенная им земля — все новые поселки, города, заводы...

Когда Коле исполнилось девятнадцать лет, он в последний раз приехал из сибирского городка, где учился в средней школе, в Семисосны, попрощался с родителями и уехал в Москву учиться.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

В архитектурном институте он ничем не выделялся среди товарищей. Постепенно он стал привыкать к новому ритму жизни, окружавшей его, к среде юношей и девушек, не менее способных и не менее увлеченных, чем он. Его письма в Семисосны становились все бодрее.

Особенно радовало, что каждый день он узнавал что-то новое, значительное.

Он уже видел, что постигнуть мудрость и искусство архитектуры не так просто, как он раньше думал. Он взрослел. И вместе с тем взрослее становилась уверенность, что специальность он себе выбрал по сердцу.

Он долго осваивался с Москвой, с ее широкими улицами и узкими переулками, с ее величественными площадями и набережными на Москве-реке, с ее бесчисленными вечерними огоньками, отражающимися, как в зеркале, на мокрых от дождя мостовых, с ее вечно не смолкающим шумом, говором, гудками и даже с тем, что простоквашу, которую он привык есть в Семисоснах из берестового туеса, здесь продают в стаканах.

В большом и малом образ этого города входил в жизнь сибирского юноши, и большое, глубинное в этом образе формировало самые сокровенные стороны души. Пока великий город создавал человека, который потом будет создавать города.

И юноша становился частицей жизни города, вживался в него. Коля любил наблюдать за московскими новостройками: растет корпус здания, окруженного лесами, вот оно, уже отстроенное, покрывается штукатуркой, и, наконец, падают леса, и, точно стряхнув все лишнее, ненужное, оно предстает перед вами, готовое принять в себя свет и тепло — вновь рожденная

клеточка сложного организма, тоже частица общего, большого мира.

Он думал о людях, которые будут жить в новом доме, и часто выбирал, на каком этаже, в какой квартире поселятся его родители.

Нежданно пришла тяжелая весть: умерла мать. Не стало на свете самого близкого человека. И вместе с горем Николая охватило раскаяние, что он так мало внимания уделял матери, так редко писал ей в далекие Семисосны, где она с такой тревогой и любовью ждала каждого его письма... Человек, теряя мать, говорит себе много горьких, обидных слов.

Но, видно, несчастье и вправду не приходит одно. Вскоре из Семисосен сообщили, что отец поехал на катере в районный центр, попал в шторм и утонул.

Как ни тяжело было Николаю, жизнь не могла остановиться, она продолжалась.

Среди людей, с которыми приходилось встречаться, его больше всех привлекал молодой преподаватель современной архитектуры Евгений Савельевич Жарич.

Жарич был атлетического сложения, точно созданный для того, чтобы прославлять силу и красоту человека. Его спокойные серые глаза пытливо смотрели на весь мир. Николаю казалось, что такие глаза никогда не могут обмануть. Они напоминали ему глаза отца. Николай часто видел, как другие студенты провожали домой Евгения Савельевича, и он шел между ними в широком пепельного цвета пальто, на голову выше всех, и ветер развевал его неприкрытые пышные волосы. Евгений Савельевич даже зимой редко носил шапку, и это всем казалось естественным, шло к нему. Этот человек с большой светлой шевелюрой действительно чем-то напоминал отца Юдина.

Николай специально ездил на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, чтобы еще и еще раз полюбоваться на павильон, построенный по проекту Евгения Савельевича. Павильон стоял в самом центре выставки, огромный, весь прозрачный, с легкими витыми из золотых колосьев колоннами, с широкими гостеприимными дверями. Творцом именно вот таких зданий из стали, стекла и мрамора мечтал стать Николай.

К концу третьего курса Николай принес в институт

проект дома отдыха на берегу Байкала, начатый им еще во время летних каникул. Евгений Савельевич долго, не поднимая глаз, очень равнодушно и спокойно рассматривал большие листы. Николай понял: все, что он придумал и вычертил с таким терпением и любовью,— никуда не годится. Ему стало мучительно стыдно.

Но вдруг Жарич поднял голову, в глазах его светились и любопытство и удивление.

— Вот не ожидал,— медленно произнес он, рассматривая детину, который стоял перед ним с опущенными руками, почему-то сжатыми в кулак.— Не ожидал,— повторил он.— Но вы, кажется, собрались меня бить? — засмеялся он, глядя на его кулаки и словно наклоненную под их тяжестью крупную нескладную фигуру Юдина.

Николай густо покраснел, сам удивленно взглянул на свои руки и рассмеялся.

— Это очень хорошо,— задумчиво и уже серьезно произнес Евгений Савельевич, глядя на проект.— Я никогда не был на Байкале и не знаю, есть ли там эти скала и водопад, но легкие беседки на скале, лестница к морю и высокая арка — все это очень, очень хорошо. Вы талантливый человек, Юдин,— как будто бы видя его в первый раз, сказал Жарич.— Здесь нет слепого подражания архитектуре Греции, Рима, тут именно свое, советское, современное восприятие и выражение.

В эту минуту Николай не знал, что Евгений Савельевич станет его первым и лучшим другом, что он будет его защитником против профессоров, преклонявшихся перед древней архитектурой. как вечным и непревзойденным образцом зодчества.

Не знал Николай и того, что в год, когда он закончит свой дипломный проект, начнется война, что он уйдет в московское ополчение и будет рядовым бойцом в роте политрука Жарича.

Не знал Николай Юдин, что ему придется лежать вот так в госпитале...

А в тот тысяча девятьсот сороковой год юного и непреклонно влюбленного в архитектуру студента Николая Юдина принимали в партию. И рекомендовал его Евгений Савельевич Жарич.

Потом как-то в воскресный день Жарич привел Николая в Центральный московский универмаг и купил ему костюм, туфли, рубашки, галстуки.

— И слушать не хочу, не отказывайся,— говорил Жарич.— Это мой тебе подарок. Ты студент, и тебе грешно отказываться от таких вещей. Вот станешь архитектором, тогда сочтемся.

Вместе они пошли к фотографу. Николаю нужны были карточки для партийного билета.

О чем они только не разговаривали в тот день. И как легко Николаю было высказывать этому человеку все свои мысли и поведать ему планы на будущее.

— Самое дорогое в тебе, кроме твоего несомненного таланта,— сказал Жарич, слушая его,— это твоя добрая, светлая душа. Ты смотришь на мир хорошими глазами.

Ведь именно так думал и Николай о Жариче.

Они подошли к дверям фотоателье, и Николай не успел ничего ему ответить. Да и не смог бы. Это была не похвала, а нечто большее и, несомненно, искреннее.

Так и сел Николай перед аппаратом, с выражением безграничного счастья на лице.

— Подумайте, для какого документа вы снимаетесь,— недовольно сказал лысый фотограф, с болезненно желтым лицом.— Надо быть серьезным, наклоните чуть пониже голову.

— Вот именно, для очень серьезного документа,— весело ответил Николай, не в силах даже на минуту изменить своему настроению...

Да было ли все это на самом деле?

Или этого никогда не было... Это сказка.

В палату вошла Настенька, чем-то встревоженная и опечаленная.

* * *

Настенька устроилась в комнатушке старшей сестры отделения Стеллы. Ей очень понравилась эта молодая женщина, быстрая, энергичная и вечно что-то напевающая. В госпитале Стелла была незаменима. Ее переводили из отделения в отделение специально

для того, чтобы наладить работу палатных сестер и санитарок. Каждый такой перевод сопровождался слезами самой Стеллы и ее подчиненных.

— Я не могу работать без вас, девочки,— навзрыд плакала она, обнимая своих «девочек», которые иногда были старше ее вдвое.— Где я найду таких сестер и санитарок, как вы?

Она сама искренне верила в то, что на этом и кончится ее слава лучшей старшей сестры госпиталя. Как побитая, Стелла спускалась этажом ниже и распухшими от слез злыми глазами осматривала «хозяйство» нового отделения. Разве оно могло идти в сравнение с ее краснознаменным отделением! Санитарки здесь еле двигались, больные не могли их дозваться, палатные сестры плохо выполняли врачебные назначения, больные нарушали режим дня — не спали после обеда, курили где попало, ходили без халатов по коридору, грубили даже врачам. В тумбочках, на кроватях, на полу был беспорядок, уборные не работали; неаккуратные санитарки забивали унитазы тряпками и костями. В общем, даже беглый взгляд на «хозяйство» глубоко расстраивал Стеллу. А когда она узнавала, что боевых листков в палатах не выпускают, что нет ни стенной, ни санитарной газеты, что утренние и вечерние линейки сестер и санитарок не проводятся,— отчаянию старшей сестры не было предела.

Но в таком состоянии Стелла находилась всего день, два. Душой она была еще там, на старом месте, но ее деятельная натура не могла мириться с тем, что делалось в новом, запущенном отделении. Постепенно ее веселый нрав брал верх. «Стелла опять поет»,— с некоторой грустью говорили оставленные ею «девочки». А Стелла тем временем собирала своих новых сестер и санитарок.

— Девочки, так работать нельзя, как вы работали. Я вам прямо должна сказать, что испугалась, когда пришла к вам. А знаете, все это можно наладить. Вы только подумайте, для кого мы работаем, кто эти больные... Разве это просто больные? Это люди, получившие раны за нас с вами. А вы? Как вы платите им за их муки и страдания?.. Но не все так работают... Нет, девочки, есть у нас в отделении санитарка

двенадцатой палаты тетя Мотя. Это же золото! Посмотрите, как она убирает палату, как кормит больных, какие у нее стены, тумбочки, кровати. Я вот вчера заметила, что только в ее палате нет клопов. А там были клопы. Но они боятся тетю Мотю. Не смейтесь. Я вам серьезно говорю: клопы боятся тетю Мотю, потому что им нет от нее покоя. Если она заметит на стене малейшее пятно от клопа, моментом принесет известки, забелит стену, обольет кипятком кровати, смажет их керосином, просмотрит и проветрит матрацы, одеяла. А как ее любят раненые! Вот с кого надо брать пример. Ведь от работы санитарки зависит чистота и порядок в госпитале.

Тетя Мотя, сухонькая женщина лет сорока, сидела вся пунцовая от смущения. Она не привыкла, чтобы ее так хвалили. То, что рассказывала здесь старшая сестра, для нее самой было открытием. Мотя не могла работать по-другому. Должность санитарки она не считала низкой, но и не считала такой ответственной, как говорила Стелла.

— Что вы, что вы...— Мотя только замахала руками и спряталась за спину новой санитарки Настеньки.

А та огромными своими глазами смотрела на Стеллу и точно впитывала в себя каждое слово.

Через пять дней Стелла уже начала поговаривать о том, что, конечно, краснознаменное отделение, откуда она пришла, неплохое, но все равно второе отделение отберет у него красное знамя.

— Вы подумайте, девочки,— шепотом, как что-то секретное, говорила она окружившим ее в коридоре сестрам и санитаркам.— Разве мы хуже их? Нам только порядок у себя навести. Посмотрите, какие у нас врачи. Марина Степановна — это же просто золото. День и ночь в отделении, милая такая, заботливая. А наш начальник Елена Александровна. Это же, девочки, замечательный врач! Вы посмотрите, у них по сто двадцать пять раненых на каждую, а полагается по двадцать пять... Но никогда, девочки, мы не наладим работу, если будете поступать так, как новая санитарка в двенадцатой палате Настя. Она все время торчит около кровати лейтенанта Белоноженко, хотя он и не нуждается в особом уходе. Какое дело

больным, что у нее с этим лейтенантом какие-то отношения. Больные обижаются.

У Настеньки на глазах выступили слезы.

— У меня нет с ним отношений,— с обидой сказала она.— Только он мне не дает отойти, он ругается. Я к Юдину и Папяну, а он сейчас же кричит, чтобы к нему шла. Как же мне? — растерянно закончила она...

В этом состоянии растерянности и обиды Настенька и вошла в палату. Юдин посмотрел на Настеньку отсутствующим взглядом. Он был еще весь во власти воспоминаний.

— Поверни меня! — послышался голос Папяна.

Настенька зашла в боковушку и стала его переворачивать. На спине, на руках и бедрах у него были синие пролежни. Настенька еле сдерживалась, чтобы не выбежать в эту минуту из боковушки.

— Ах, Настя-джан, тяжело. Не хочу умирать, эх, не хочу!

— А раз не хочешь, то и не умрешь,— сказала в дверях Стелла, держа за руку Владьку.— Все равно, Баград-джан, ты будешь жить.

Настенька села около Папяна на табурет, боясь взглянуть на старшую сестру.

— Комиссар достал тебе редкое лекарство, теперь все будет хорошо.

— Кровь горит, Стелла. Тяжело!

— Все будет хорошо, вот увидишь, Баград.

— Ты армянка, Стелла? — спросил Папян.

— Да, у меня отец армянин, а мать русская. Отца при царе в Сибирь на каторгу сослали. Он был большевик,— с гордостью сказала Стелла.

Юдин услыхал ее. Теплое дружеское чувство стало наплывать у него к этой женщине.

— Стелла — это звезда,— сказал Папян и от усталости закрыл глаза.

— Настенька! — закричал в эту минуту Белоноженко.

Настенька машинально приподнялась, но под взглядом Стеллы снова села.

Совсем не случайно Стелла взялась за Настеньку. С присущей ей стремительностью во всем, Стелла полюбила Настеньку за ее искренность, постоянство, честность и прямодушие.

Настенька ухаживала за Владькой лучше, чем сама Стелла, а главное — умела это делать мягко и непринужденно. Можно было подумать, что эта хрупкая девушка с большими серо-зелеными глазами и вздернутым носиком всю жизнь только и возилась с детьми.

Настенька, оставшись десяти лет круглой сиротой, была взята на воспитание в большую семью тетки и нянчила там ребятишек. Владька сразу почувствовал, с кем он имеет дело. Хотя он по-прежнему не уходил из отделения и отбывал там «дежурства» вместе с матерью и Настенькой, но он быстро приучился к новым порядкам: вовремя стал ложиться спать, не брал у раненых еду, пока не разрешит Настенька, не уходил в другие отделения, с охотой мылся в бане.

Комнатка Стеллы тоже приобрела другой вид: на окне появилась промереженная занавеска, на столе и тумбочке — вышитые салфетки, кровати застилались с тем умением, которое отличает хороших хозяек, посуда была чисто вымыта, и отливал желтизной крашенный, усердно натертый пол. Стелла не понимала, когда все это успевала сделать Настенька, сутками не выходившая из отделения.

Аккуратная, не знающая усталости на работе, Стелла становилась беспомощной и ленивой в своей комнате. Дома ее охватывали апатия и желание спать. Ее отношение к Владьке было в госпитале притчей во языцех. Все говорили, что она не любит, не умеет и не хочет за ним ухаживать, что он безнадзорен и неминуемо испортится. Даже Черемных, души не чаявший в Стелле, много раз выговаривал ей за плохое воспитание Владьки. Ей становилось больно и смешно. Неужели все они думают, что Владька ей не дорог? Владька был общительным мальчиком, всеобщим любимцем раненых, врачей, санитарок, и Стелла как-то смирилась с тем, что о нем заботятся другие. Стелла верила людям и знала, что Владьке с ними хорошо.

Поэтому не редки были случаи, когда Стелла не

знала, кто укладывал Владьку спать, и по трое суток не являлась в свою комнатку.

Муж Стеллы был военным летчиком. До войны Стелла уехала с ним из Сибири и жила в Москве. Сашка умел не только хорошо летать, он был добрым отцом и хозяином в доме. В выходные дни он расхаживал по квартире в трусах и готовил сказочные торты, мясные рулеты с соусом бешемель, сибирские пельмени и вообще все, что нравилось Стелле. Он баловал жену не меньше, чем Владьку, и она привыкла к этому. В больнице, где она работала медицинской сестрой, никто и не подозревал, что энергичная Стелла, преданно ухаживающая за больными, дома такой беспомощный и избалованный человек.

И вот все это кончилось. Пришла война. Эвакуация в Сибирь, скитания в эшелонах, работа в госпитале...

— Господи,— как бы шутя, говорила Стелла,— пусть бы он побыл здесь с Владькой, а я бы за него пошла на фронт. Будьте уверены, девочки, я бы там в грязь лицом не ударила. Что, разве я не могла бы быть снайпером? Кто в госпитале лучше меня стреляет? — Ее непроницаемо-черные глаза приобретали воинственность, а верхняя маленькая губа приподнималась, обнажая ряд ослепительно-белых зубов.

Почему-то все в госпитале сочувствовали Стелле именно в этом ее стремлении попасть на фронт.

— Казак-девка! — с еле скрываемым восторгом говорил Черемных. Он живо представлял себе Стеллу на фронте, в самые трудные минуты, и неизменно видел ее победительницей.

Многие девушки в госпитале мечтали попасть на фронт, но у Стеллы это желание было настолько бурным, настолько всегда захватывало ее, что и других она сумела убедить в том, что фронт — ее родная стихия.

Она очень скучала по мужу. Никто и ничто не могли ей заменить его ласковой заботы, его горячей любви, его чистой нежности. И даже его особенной, милой грубоватости.

«Ах ты, мой»,— думала о нем Стелла и в такие минуты бегала из палаты в палату, находила Владьку, ревниво хватала его и тащила куда-нибудь в угол.

Там она его целовала, пристально рассматривала его руки, вихорок на макушке, широкие насупленные отцовские брови и давилась слезами. Владька не любил мать в эти минуты и вырывался от нее.

— Плакса,— говорил он презрительно,— тю-ю, плакса. Замазала меня слезами. Пусти! Ну, пойду к тетке Малышке.

Теткой Малышкой Владька звал Настеньку. Все раненые, сестры, врачи, санитарки были для него «тетками» и «дядьками», иногда он называл их по внешним признакам: «дядька толстый», «тетка длинная», «дядька черный»... Однажды он услышал, как Черемных назвал Настеньку Малышкой, и с тех пор называл ее только так.

Стелла иной раз начинала ревновать Владьку к Настеньке. Уж слишком он ее слушался и привязался к ней. Но это было мимолетным чувством. А по-настоящему Стеллу тревожили отношения Настеньки с Белоноженко.

Стелла очень редко относилась к раненым плохо. Но Белоноженко она невзлюбила с первого взгляда. Он был неприятен ей своей изнеженностью, капризами, томными, скучающими глазами, пренебрежением к окружающим, а главное, этой хозяйской претензией к Настеньке. Белоноженко, видимо, считал себя на несколько голов выше товарищей по палате и думал, что Настенька приставлена только к нему.

— Какое безобразие с его стороны! — возмущалась Стелла, грозно окидывая Настеньку своим непримиримым взглядом.— Ты остаешься около его кровати и не идешь спать домой даже после дежурства.

— Он сердится, когда меня нет,— пробовала оправдаться Настенька.

— Сердится! Подумаешь, граф какой! Ты же больна, у тебя больное сердце, а он об этом хоть раз вспомнил?

— Ну, Стелла,— застеснявшись, возражала Настенька,— он лежит раненый да будет еще о моем сердце думать.

— Не любит он тебя. Слышишь? Я говорю, что не любит. Он плевал на всех, было бы лишь ему хорошо.

— Нет, любит,— опуская глаза, упрямо говорила Настенька.— Он не может меня не любить.

— «Не может, не может!» Только послушать тебя. Телочка ты, вот кто! Ты его с поля боя вытащила, нажила себе болезнь сердца, а он даже спасибо тебе не сказал.

— Да я в этот день пять человек вытащила. А лейтенант — он легкий.

— Вот обожди, тебе еще с ним, ох, как тяжело придется.— Стелла была бессильна что-либо доказать Настеньке, ибо у нее, кроме неприязни и внутренней предубежденности, не было никаких доводов.

Пробовала она прибегать к авторитету Черемных:

— Ты думаешь, комиссар у нас дурак? Он насквозь видит людей, видит даже, что они думают. Знаешь, что он сказал о твоем Белоноженко? Это, говорит, чистой воды эгоист, маменькин сыночек.

— У него и маменьки-то нет, так же, как и у меня,— грустно отвечала Настенька.

— Ничего не значит. Воспитать-то она его таким воспитала. Или ты этого не понимаешь?

— Нет, не понимаю,— чистосердечно признавалась Настенька, и Стелла замолкала.

Но Стелла на то и была Стеллой, чтобы стоять на своем и довести дело до конца. Она решила доказать Настеньке, что та ошибается в своем избраннике.

Она стала делать замечания Настеньке при санитарках и палатных сестрах, требовала, чтобы Настенька уделяла внимание тяжелобольным, а не Белоноженко, у которого хорошо шло сращение кости и который не нуждался в индивидуальном уходе.

Стелла пригрозила, что добьется перевода Белоноженко в другое отделение. Это больше всего испугало Настеньку.

— Ты давно его знаешь? — допытывалась Стелла.

— Нет, я в его роте санинструктором была два месяца.

— То-то и оно... А уже прилипла. У-у, бабья ваша порода! Он бы за тобой так ухаживать не стал. Это не мой Сашка. Перестань плакать, ненавижу. Он всех сестер извел, тетя Мотя из-за него уже плакала несколько раз, а ты ведь знаешь, какая она тихая и старательная. Он бросил в нее тарелкой, Семена Наумовича оскорбил, с товарищами в палате переругался. Только ты одна терпишь.

— Да он говорит, что все здесь плохие, кроме вас. Вот вы ему нравитесь.

— Подумаешь, нравлюсь. Нужен он мне! «Все плохие». Вот у таких все плохие и бывают, а сам он за собой ничего не видит, хоть и в зеркало, не переставая, смотрится.

Стелла настояла на своем, и Белоноженко перевели в другое отделение. Настенька плакала. Стелла не сдавалась.

— У меня здесь тяжелые больные, а он случайно попал в эту палату. Пусть уходит в офицерскую. Ему там положено быть.

Настенька не знала, что возразить.

Она привыкла к своей двенадцатой палате. Были здесь разные люди, но ко всем она относилась одинаково заботливо, выделяя разве лишь троих: Белоноженко, Юдина и Папяна. После перевода Белоноженко она перенесла всю свою заботу на двоих оставшихся. Особенно много она думала о Юдине.

Несмотря на то что Папян так страдал и мучился, ей всегда казалось, что с ним все будет хорошо: у него есть руки и ноги. А Юдина она сразу узнала еще в санаторном приемнике.

Она перевязывала его раны в придорожной канаве, где случайно нашла его всего окровавленного. Неподалеку от него лежал какой-то великан и тоном командира приказал ей взять Юдина. Она запомнила раны Юдина на всю жизнь. Когда в медпункте батальона Юдин пришел в сознание и увидел себя искалеченным, он только сказал:

— Надо было мне умереть там,— и закрыл глаза.

Хмурый фельдшер проворчал ей:

— Целее-то там нет?

— Что вы, товарищ военфельдшер, там в живых-то оставалось от всей роты человек пятнадцать.

Фельдшер умолк. Именно в ту минуту — Настенька это хорошо запомнила — принесли тяжелораненого санинструктора из их роты. И впервые за два месяца знакомства с лейтенантом она решилась спросить о нем постороннего человека. Санинструктор сказал, что Белоноженко ранен в ногу и пока остался на месте. Тогда она снова пошла в роту.

Настенька обнаружила Белоноженко на команд-

ном пункте роты. Он был очень растерян — не столько от ранения, сколько от разгрома роты. Двое его связных были убиты наповал. Немецкие минометы буквально не давали бойцам поднять голову. Белоноженко обрадовался приходу Настеньки и, оставив за себя командира взвода, позволил унести его. И Настенька его вынесла. Она уже устала, ей было тяжело. Она измеряла глазами каждый метр и думала только о том, чтобы не ранило Белоноженко. Ей казалось, что он ее защищает своим телом. А мины все рвались и рвались. Настенька отупела, задыхаясь, и перестала чувствовать свое тело. Она уже чувствовала только его тело, только его страдания и боль. Через пять километров их подобрала случайная машина, которая везла раненых в медсанбат.

Ради Белоноженко она приехала сюда.

Что же от нее хочет Стелла? Может ли Настенька отказаться от Белоноженко, если любит его. Не он ли говорил Настеньке, что теперь они не расстанутся никогда. Это правда, что она еще плохо его знает. Вот, оказывается, он и ругаться может, людей оскорблять. Но раньше она никогда этого за ним не замечала. Да и вообще она ничего не видела и не чувствовала вокруг, кроме охватившего ее чувства. Здесь, в госпитале, Белоноженко стал грубым, его невзлюбили в палате, он был всем недоволен, ворчал. Это очень огорчило Настеньку. Но что она могла поделать, если любила его.

После перевода Белоноженко в другое отделение она не могла найти себе места и все рвалась туда — к нему, наверх.

Сначала, чтобы доказать Стелле, что для нее все больные одинаковы, она оставалась дежурить около Юдина и Папяна. Она укладывала матрац между кроватями и спала чутко, «одним глазом», как научилась спать давно, когда еще жила у тетки. Утром она бежала домой, будила Владьку, умывала его, прибиралась в комнате и снова бежала в отделение.

Стелла была на работе уже с шести утра.

Какое-то чувство виноватости было у Настеньки перед Юдиным. Она не в состоянии была забыть его слов: «Надо было мне умереть там». А она не дала ему умереть, остановила кровотечение, вынесла его;

по ее вине он страдал и мучился, остался таким калекой, и кто знает, может быть, она спасла его затем, чтобы он умер здесь.

Чем больше Настенька думала, тем больше чувствовала свою вину перед ним. Стелла прекрасно понимала, что она страстно хотела чем-либо искупить эту мнимую вину. Стелла действовала наверняка. Утром она выстраивала всех сестер и санитарок своего отделения на «пятиминутку» и, держа перед собой тетрадь, в которой по ее собственной системе выставлялись отметки за дежурства, громко и официально отчеканивала:

— Анастасия Воропаева. За санитарное состояние палаты — пять, за уборку коридора — пять, за кормление лежачих больных — пять, уход за тяжелобольными Юдиным и Папяном — пять. Сегодня круглая отличница! Корытова Матрена, наша тетя Мотя. За санитарное состояние перевязочной — пять с плюсом...

После «пятиминуток» Настенька несмело просила у Стеллы:

— Разрешите, я побуду часа два у Белоноженко.

— Право слово, ты круглая дурочка. Иди, иди, не могу твои глаза коровьи видеть.

Настенька, запыхавшись, прибегала в офицерскую палату. Белоноженко почему-то встречал ее не так уже ласково, как раньше.

— Пришла все-таки,— говорил он укоризненно.

— Пришла,— вздыхала Настенька.— Может, вам что-нибудь сделать, товарищ лейтенант?

— Да нет, не стоит. Тут у меня свои девушки есть. Не захотела ты за мной ухаживать.

— Да разве я не захотела,— захлебывалась Настенька от обиды.— Как вы говорите. Меня же изругали за вас.

— Ну вот, взяла бы и перешла вместе со мной в это отделение.

— А меня не отпускают. Стелла все ругается из-за вас, говорит, вы плохо себя ведете.

Белоноженко капризно и насмешливо кривил губы.

— А ты так и поверила. Да эта твоя Стелла втюрилась в меня без памяти. Неужели ты не видишь? —

Он довольно смеялся, наблюдая за растерянным лицом Настеньки, видя, что попал в цель.

— Как вы так говорите! — чуть не плакала Настенька.

А на душе у нее скребли кошки. У кого ей было научиться мудрости и опыту. Неужели Стелла могла так поступить?

Но когда она спросила об этом Стеллу, та схватилась за голову обеими руками, потом молча пощупала голову у Настеньки.

— Не рехнулась ли ты? Откуда ты это взяла?

— А он мне сам сказал,— призналась Настенька.— Он говорит, что вы нас оттого и разделили, что влюбились в него.

— Вот оно что,— сказала Стелла с облегчением.— Уж я в кого влюбилась, так это в тебя, горе мое. А Сашка? — грозно спросила она.— Ты что, думаешь, я буду менять своего Сашку на всякого смазливого сопляка?

Настенька успокоилась. Действительно, она вспоминала все разговоры Стеллы о муже, об их московской жизни, о том, как Сашка любит Владьку, она вспоминала, с каким уважением отзывается о Стелле комиссар, как ценят ее в госпитале все работники и раненые. И сомнению не оставалось места. «Право слово, дурочка, круглая дурочка»,— улыбалась она.

Стелла всегда ждала писем от своего Сашки. Письма подолгу не приходили, Стелла сердилась:

— Залетался там, истребитель. Я вот ему сегодня такое письмо напишу, что не возрадуется.

Но потом сразу приходила куча писем, как будто бы их нарочно кто-то приберегал, чтобы сделать Стеллу счастливой. Один раз это даже совпало с днем ее рождения. Стелла любила себя «помучить» и иногда носила письма в кармане халата, не читая. Она часто вынимала их, смотрела на полустертые треугольники печатей полевой почты, на штампы военной цензуры, искала сроки отправления и сперва читала только самое последнее письмо, а остальные раскладывала по порядку. Она приходила в комнату после работы, прятала прочитанные письма под подушку, долго не могла успокоиться и вздыхала.

— Да прочитайте же все,— умоляла ее Настень-

ка.— Какая вы характерная. Я бы ни в жизнь не смогла так терпеть.

— А я могу,— мечтательно говорила Стелла.— Ах, как я могу. Я вот только прочитаю последнее, знаю, что он жив, здоров, а об остальных письмах я люблю подумать. А потом начинаю читать. Я же знаю Сашку. Ох, какие письма он пишет!

Утром Стелла просыпалась вместе с солнцем. Захватив с собой письма, перебиралась в постель к Настеньке и тормошила ее:

— Ух ты, чижик, просыпайся!

Настенька просыпалась и, прижав подбородком одеяло, смотрела темно-зелеными глазами в потолок. По утрам у нее глаза казались всегда зелеными.

— Ну, давай будем читать письма. Теперь можно.— Стелла смотрела конверт на свет и длинными белыми пальцами отрывала узенькую кромку.

— «Здорово, Владимировна!» — читала Стелла и счастливо поясняла:— Это всегда он так, придет с работы, поищет меня глазами по комнате и громко скажет: «Здорово, Владимировна!» А я ему отвечу: «Здорово, Владимиров». Потом он подойдет и нежно так поцелует мне руку... «Гложет меня по тебе тощища, уж поверь! — читала она дальше.— Прилечу с задания, зайду в свою палатку, отчитаюсь перед твоей фотографией: все в порядке! Задание выполнено. Я в вашем распоряжении. Большеносая ты моя галка, дражнилка. Как галчонок наш растет?..» Стелла перестала читать, комок в горле мешал ей.

— Никто так не умеет писать писем, как мой Сашка,— несколькими минутами позже говорила Стелла.— Какие он слова умеет ласковые придумывать: «галчонок, дражнилка». Правда ведь, Владька на галчонка похож.

— А «большеносая дражнилка»? — пряча под одеялом улыбку, спросила Настенька.

— Ах, ты не понимаешь, ты не знаешь, как он это умеет говорить. Сильный, хороший он у меня, Сашка. А нос действительно у меня большой,— вздыхала Стелла.— Достанется же человеку такой нос. Вот кончится война, не я буду, если не сделаю себе операцию.

— Операцию? — удивилась Настенька.

— Ну да. Ты знаешь, как у нас научились такие операции делать. Да что такие! Вот Семен Наумович сделал раненому из шестого отделения операцию. Не одну, а много. Ты понимаешь,— увлекаясь, говорила Стелла,— у этого раненого оторвало всю нижнюю челюсть. И вот нужно было сделать ему новый подбородок. Семен Наумович у него от живота вырезал лоскут кожи, отделил посредине от тела, а как только зажило, отрезал с одного конца — это называется «лоскут на ножке» — и стал приращивать выше, к груди, а потом к шее, а уже потом, через много месяцев, наложил этот лоскут — вместо подбородка и прирастил к щекам. Постепенно он стал придавать подбородку форму. Раненому из бедра поставили в ткань кость, а через несколько месяцев сделали протез на нижнюю челюсть. И вот он стал жевать пищу, а до этого его приходилось питать через трубку. Понимаешь, что должен чувствовать такой человек?

У Настеньки расширились и без того большущие глаза.

— Ой, как интересно! А он, этот раненый, еще здесь?

— Да.

— Я его обязательно посмотрю. Как интересно быть врачом.

— Вот видишь, сама говоришь, интересно. А я тебе знаешь, что скажу? Ты должна учиться. У нас ведь в госпитале открываются курсы медсестер. Я попрошу комиссара, и тебя туда примут. Вот и некогда тебе станет с твоим Белоноженко возиться. Днем будешь работать, а вечером учиться.

Настенька вся так и вспыхнула от радости.

— Ой, Стеллочка, какая вы добрая. Вы знаете, как я буду учиться! Вы не думайте, я когда курсы санинструкторов проходила, так меня все время хвалили.

— Ух ты, кнопка, ух ты, чижик,— ласково повторяла Стелла.— Я знаю, что ты старательная и умная. Кончишь курсы, будешь работать, а потом война кончится... ведь мы победим же! Вернется Сашка, переедем мы снова в Москву и тебя с собой возьмем, а там мы пойдем с тобой учиться на врачей.

— Ой, Стеллочка! — только и сказала Настенька, счастливо зажмуривая глаза.

«Нигде так человек не раскрывается, как в госпитальной палате»,— думал Юдин. Он всегда проявлял любопытство к новым людям и воспринимал свое перемещение из боковушки с чувством облегчения.

Много ли надо времени в палате для того, чтобы познакомиться с ранеными. Через двое суток он знал историю каждого. Знакомство всегда начинается с соседей. Так было и в этот раз. Слева от Юдина лежал Соломон Шведик. Он был старожилом госпиталя — с декабря сорок первого года. Получив тяжелое ранение под Москвой, он через месяц приехал в Сибирь, пролежал семь месяцев без движения и только недавно стал «ходячим». Правую руку у него напрочь оторвало снарядом, но мучила его не столько эта рана, сколько сквозное ранение легкого. Очень подвижному, веселому, неунывающему — ему было нелегко очутиться в таком положении.

— Я по профессии затейник-массовик,— рассказывал Шведик.— Представьте себе московский парк культуры и отдыха. Вы бывали там на карнавалах? Ну, тогда вам легко судить. Там меня все знали. Стоило мне появиться, как моментально становилось весело. Тогда у меня было две целых руки, которыми я дирижировал, и прекрасный голос, как раз такой, какой нужен массовику. У меня было много энергии. Вы, может быть, подумаете, что я без специальности? Нет, кроме этой своей страсти — веселить людей, я еще любил театр и окончил театральную школу. Но, как говорят, человек пошел по другой дороге, человек, наверное, был для другого рожден. Так я это понимаю.

Шведик коротко вздыхал и притрагивался рукой к груди, но, видно, грустить долго он не мог.

В клубе госпиталя часто устраивались шефские концерты; Шведик туда не ходил — боялся растравлять свою память. Но однажды актеры пришли в палату. Тоненькая девушка из вспомогательного состава театра пела чистым звенящим голоском гневные песни о войне:

Идет война народная...

Пожилой мужчина с небритым лицом аккомпанировал ей на гитаре и неотрывно смотрел на взволнованное личико девушки. Кто-то сказал, что это ее отец. Шведик подошел к раненому Крячкову, взял его ладонь и стал аплодировать, хлопая по ней своей рукой. Юдин заметил, что у девушки дрожали колени, иногда прерывался голос и она пела, стараясь никого не видеть. Палата затихла, даже самые тяжело больные перестали стонать. Кроме Шведика, Крячкова и еще одного молоденького раненого, которого все шутя звали Вовкой-солдатом, никто не мог аплодировать. Когда девушка кончила, Юдин сказал ей:

— Вы нас очень порадовали своим пением. Спасибо вам, что пришли в палату.

— Я так боялась,— призналась девушка.— Это первое мое выступление, в театре мне еще не дают ролей...

— Вам их скоро дадут,— утешил ее Шведик,— вы замечательно поете.

— Вот видишь,— обрадованно сказал гитарист с длинной бородой,— эти простые люди оценили твое пение. Спасибо вам, товарищи!

— Какие девушки есть на свете! — все еще глядя на дверь, за которой скрылись актеры, сказал Шведик.

— Ишь, как колени дрожали. Она вроде боялась нас,— заметил Крячков.

Он не хотел этим обидеть девушку, но Шведик обиделся. Между Шведиком и Крячковым часто вспыхивали споры по самым неожиданным поводам.

— Ежели Земля была бы круглая да вертелась, лучше бы тогда и не жить. Сказки! Тоже придумают. Я хоть и мало учился, а ни один учитель никогда не докажет мне это,— спокойно и весело говорил Крячков в пространство, украдкой хитро поглядывая на Шведика.

— А я докажу,— кипятился Шведик, в который раз поддаваясь розыгрышу.

— Что? Не докажешь, кишка тонка. А почему звезды на нас не падают? А почему мы сами кувырком не летим, раз она вертится?

Шведик, как умел, объяснял.

Крячков был соседом Юдина с правой стороны, и Юдин невольно прислушивался к их вечным спорам.

— Э-эх. Учитель! — ехидно парировал Крячков.— Пароход идет. Один дым видно. Ну и что? Это и человек идет шагов за сто, так его лица не видишь, потому глаза не хватает, а парохода и подавно далеко не видать. Тут все дело в глазу. А ты говоришь — круглая. А не падаешь ты почему, ежели под тобой Земля вертится? Я вот на костылях, и то стою себе.

Крячков недавно встал на костыли и учился ходить на них. У него была ампутирована нога выше колена.

— Хорошо, я тебе достану книгу, я тебе докажу,— угрожающе обещал Шведик.

— Давай, давай! — соглашался Крячков.

Шведик одной рукой привязывал к веревочке звонок и быстро вращал его.

— Видишь, это закон тяготения. Звонок проделывает круг, а стоит его отпустить, и он улетит в сторону. Вот так Солнце держит около себя Землю...

На звонок прибегала дежурная сестра. Шведик смущался, а Крячков, как ни в чем не бывало, говорил:

— Это он кого вызывает? Луну.

Но и сам Крячков любил быть учителем. Особенно он просвещал Вовку-солдата.

— Курево — это что? — спрашивал Крячков Вовку и тут же объяснял:— Яд. Для чего? Для внутренностей.

— А сам все дымишь,— тихо говорил Вовка.

— Для кого вредно? — точно не слыша Вовки, продолжал Крячков.— Для молодых организмов. Почему? А в них еще нету крепости. Тебе надо делать что? Закаляться. А почему?

— Ну, зарядил,— беззлобно перебивал его Митя Кочубей, рослый парень, у которого ноги не вмещались на кровати и лежали на табуретке,— «что» да «почему». Расскажи лучше, как ты в пожарной команде работал.

И Крячков рассказывал. Был он по профессии пожарным и до войны жил в одном из районных центров Алтайского края.

Рассказывать о тушении пожаров было его второй страстью. Но и здесь он тоже поучал:

— Пожарный это кто? Военный. Он все одно что военный. Он иногда и без дела сидит, а загорись пожар, кого потянут? Пожарного. Пожарному что надо иметь? Смелость.

Вовка-солдат иногда пускался в рассуждения о международных проблемах:

— Открыли бы второй фронт. Вот бы здорово! Что у них там, совести нет? Разве не видят, что мы одни воюем. Мне восемнадцать лет было, я кочегаром на паровозе работал, отец у меня старик, машинист, а я его одного оставил и добровольцем ушел на фронт.

— Они видят? — презрительно спрашивал Крячков.— Не-ет. Земля-то, она круглая, вон Шведик говорит: за ней не видно. Далеко. А совесть — что? Совесть есть у бедного человека, а бедный человек в заграницах власти не имеет.

— Правильно,— поддерживал его Юдин.

— Нет, если они не откроют второй фронт сейчас, то сколько людей зря погибнет; война надолго затянется, и мы никогда им этого не простим! — с сердцем говорил Вовка-солдат.

— Ишь, чем запугал буржуев. По ним, так пусть бы война вечно шла, а они торговать будут да деньги наживать. Раньше-то они продукты топили в океане,— отвечал ему Митя Кочубей.

— А все-таки хорошо бы было: собрали бы все свои силы Америка да Англия, шарахнули бы мы фрицев со всех сторон и закончили войну к Новому году,— не унимался Вовка.

— А ты еще не слышал про моего знакомого украинца? — спросил как-то Митя Кочубей, осторожно перебирая опухшие, невероятной величины пальцы на руке.— Тот украинец говорил: коли бы собрать усй моря в одно море, усй торы в одну гору, усй камни в один камень, та зализты на ту гору, та бросить тот камень в то море! — как бы воно булькнуло. Оце ж станут они открывать второй фронт! Они подождут. Недаром говорят: любит их начальство чужими руками жар загребать.

— Во-от. Правильно говорил твой украинец,— радовался Крячков.

Часто в палату заходил Черемных, здоровался с каждым. Спрашивал, есть ли к нему вопросы.

Крячков неизменно говорил:

— Есть вопросик, товарищ комиссар. Когда второй фронт откроете?

— Как сказать,— серьезно говорил Черемных.— Вы до того времени сумеете еще несколько раз остричь волосы.

— Нет, правда,— настаивал Крячков.

— Союзники обещали скоро, да ведь говорят, обещанного три года ждут.

Вдруг Черемных весь преображался и говорил:

— А вот один второй фронт начинает действовать вовсю.

И он рассказывал о партизанах Украины, Белоруссии, Югославии, Греции...

— Вот это реальный второй фронт, и то ли еще увидим,— заканчивал Черемных.

— Мужик вроде ничего,— задумчиво говорил Крячков, когда комиссар уходил.— Правильно он говорит. Воевать нам одним придется, надеяться на Америку нечего. Э-эх, обидно только...

А Юдин лежал и думал о своем. Вся его жизнь теперь сосредоточилась в этой небольшой комнате с ее обитателями. Сквозь два больших окна ему были видны только электрические провода, кусок неба и угол здания на противоположной стороне улицы. Ночами он по-прежнему плохо спал и все ждал сообщений с фронта. Он больше всех нервничал, если радио начинало хрипеть или вовсе переставало работать.

Немцы прорвались к Сталинграду, подступы к этому городу он защищал вместе с Жаричем.

Юдин никогда не был в этом городе, но никак не мог забыть того, что перед самой войной, после окончания института, по разверстке наркомата был назначен архитектором в горсовет.

Он не мог об этом забыть, когда дрался под Москвой, потому что ему так и не пришлось попробовать силы в самостоятельной работе. Он тем более не мог забыть об этом, когда дрался под Сталинградом, которого он никогда не видел, но с которым мысленно уже успел сродниться.

В какие-то минуты Юдин отвлекался мыслью от всех жестокостей войны и думал, как мирный человек-строитель. Его же так воспитали, он всегда мечтал об

украшении жизни, его сердце влюбленно дрожало при виде нового красивого здания.

И все это сейчас безжалостно рушилось.

На Волге шли ожесточенные бои. Ведь нетрудно было, следя за сводками и передвигая зловещие черные флажки — что неустанно делали Шведик и Крячков,— нетрудно было увидеть, как немцы вплотную подошли к Волге. Внутри у Юдина все напружинивалось в предчувствии грозных событий. В полудреме он продолжал драться, стрелять, а иногда настолько ощущал свою ответственность за происходившее, будто от него и только от него зависел благополучный исход великой битвы.

Он тоже думал о втором фронте. Вот именно сейчас, когда силы врага напряжены, когда нашей армии так нужна помощь, именно сейчас.

Но дни проходили, а в мире ничто не изменялось. Советская Армия, напрягая все силы, по-прежнему и оборонялась и наступала одна.

Пришли Октябрьские праздники. Палату особенно тщательно прибрали, постелили салфетки на тумбочки, повесили марлевые шторы, выкрашенные в палевый цвет. Выдали и подарки. Юдину попали стопка конвертов и почтовой бумаги, несколько пачек папирос, спички, теплые перчатки, носки, одеколон, зеркальце... Кто-то заботливо сшил атласный голубой мешочек и вложил в него короткую записку: «Милый товарищ. От души желаю выздоровления. Пусть этот день будет для тебя радостным, как и для меня. Я сегодня от папы с фронта получила письмо. Ученица 5-го-класса «В» 11-й средней школы имени В. В. Маяковского».

Кто была эта ученица, так и осталось тайной. Наверное, девочка забыла написать свою фамилию. Настенька прочитала Юдину записку и в полном порядке разложила на тумбочке содержимое подарка. На сердце у Юдина стало тепло и немного горько. Почти все, что было в подарке, ему казалось ни к чему: он не курит, писем писать некуда, перчатки и носки надевать не на что. Оставались зеркальце и одеколон. И Юдин решил распорядиться подарком по-своему. Он просто-напросто отдал его Вовке-солдату, оставив себе мешочек, одеколон, зеркальце и записку.

Вовка лежал на кровати, закованный в гипс по живот: у него были переломы обоих бедер. Его кровать стояла в ногах у Юдина, они могли видеть друг друга и переговариваться.

Вовка нравился Юдину. Нелегко так лежать без движения. Тело под гипсом невыносимо зудело и болело. Но Вовка умел держаться. Он говорил чуть-чуть наигранным баском, курил и непрестанно жестикулировал очень подвижными руками, словно радуясь, что хоть они у него целы.

Незамысловатое детское лицо с нежным пушком на подбородке и щеках, большие от худобы глаза, затуманенные болью, сегодня выглядели веселее. На щеках у Вовки-солдата появился легкий румянец, когда Настенька отдала ему большую часть подарка Юдина.

— Спасибо,— баском проговорил он и еще больше покраснел.

До чего же приятно получать подарки! Сегодня все в палате чувствуют себя немного детьми. Даже огромный Митя Кочубей, которому попали в подарке какие-то вышитые салфетки, конфеты, мазь против обмораживания, томик стихов Блока и теплое кашне,— и тот басит сильным грудным голосом, от которого больно ушам:

— Как думать, ребята, кто это нам прислал! Дети. Скажи на милость, и мазь вот прислали, чтобы, значит, я тут не обморозился.

Конфеты Митя Кочубей ел с удовольствием, угощал товарищей и рассуждал:

— Ей бы самой конфеты есть, а она их нам. И не принять нельзя. Ведь от какой души конфеты эти! Нет, ребята, на свете такого, чего бы я не сделал для наших детей. У меня их у самого пятеро...

Митя Кочубей выглядел очень молодо. Он был земляком Крячкова, любил рассказывать о своем колхозе, но никто до сих пор не знал, что у него пять человек детей. Такое признание немало повеселило палату. Митя с улыбкой выслушал все остроты и прогудел:

— А по мне, если бы не война, так я бы к сорока годам с удовольствием хоть и дюжину народил. И что ты на это скажешь: все ребята у меня один к одному. Девочки в меня, а парнишки в мать.

Это еще больше развеселило палату: все представили себе девчонок, похожих на этого верзилу, не помещающегося на койке, вообразили на детских личиках его крупный нос и большой рот. Но Митя Кочубей, видимо, этим не смущался.

— Соскучился я по ним, ребята,— гудел он.— Да что по ним, по дыму деревенскому соскучился!

Конечно, праздник не мог для палаты быть безоблачным. Каждый расстраивался на свой лад и каждый имел к этому много оснований. Кому интересно встречать такой праздник в постели. И все-таки, когда пришел Черемных и сделал небольшой доклад, когда душевно разговаривал с ними, раненые все переспрашивали, как это понять, что и на нашей улице будет праздник: уж не второй ли фронт откроется?

— Я думаю, товарищи, что речь здесь не о втором фронте идет,— пояснял Черемных,— а о том, что надо надеяться прежде всего на наши собственные силы. Сами будем себе добывать праздники.

— Это вернее,— согласился Митя Кочубей.

И с этого дня все еще более нетерпеливо ждали больших событий.

На дворе седьмого ноября светило неяркое, негреющее солнце. В палате было тепло, кормили вкусным обедом. Врачи и сестры расхаживали в белоснежных халатах. Действительно, было празднично. Но ждали еще другого праздника...

И когда Настенька подставила к лицу Юдина дареное зеркальце и он впервые за много месяцев увидел свои глаза, он не узнал их: они совсем походили в эту минуту на глаза Вовки-солдата.

* * *

Юдину снились хорошие сны. Ему не хотелось просыпаться. Но кто-то его будил. Перед ним стоял Шведик.

— Слушай, слушай, Николай: передают о Сталинграде.

Юдин слушал сообщение, а потом, опьяненный радостью, как-то сразу снова заснул. Утром на душе

было светло, а почему — помнилось очень смутно. Может быть, опять сон...

Несмело посмотрел на товарищей и спросил:

— Что-нибудь передавали ночью?

— Вот так вояка,— смеялся Шведик.— Все проспал, победу проспал! Немцы же под Сталинградом окружены!

Хорошо лечить людей такими вестями! С новой силой хочется жить, вытерпеть все страдания, все перенести...

Крячков в три прыжка добрался до карты. Он с уважением смотрел на Шведика: как быстро тот находил нужные населенные пункты и отмечал их флажками.

Госпиталь похож на улей: гудит, волнуется. Отстукивают по коридорам костыли, смеются раненые, на душе у всех легко, празднично.

В клубе ходячие больные и работники госпиталя собрались на митинг.

Шведик и Крячков подробно излагали потом выступления комиссара, раненого политрука Степуры, главного хирурга госпиталя Лязера.

Приезжал коммунист-стахановец с оборонного завода, шефствующего над госпиталем. Он передал благодарность коллектива завода всем раненым за стойкость и мужество.

— Вот они, результаты вашей любви к Родине,— сказал рабочий.— Каждая ваша рана зовет нас к мести. Вы честно защищали родную землю. Пусть же у вас будет спокойно на душе. Те, кто находятся сейчас на фронте, так же мужественно выполняют свой долг, как выполняли вы, а мы, не зная усталости, работая день и ночь, будем снабжать их самолетами, пушками, танками, снарядами.

Юдин очень пожалел, что не мог увидеть этого рабочего. «Пусть у вас будет спокойно на душе». Именно спокойно и светло. Как этот незнакомый человек мог почувствовать сегодняшнее состояние Юдина. Да только ли его. Страдания, смерти, слезы осиротевших детей, раны...— все имело смысл перенести, если дожили до такого дня. И ведь сделали это одни, против такой силы!

А тут к вечеру еще прибежала вся встрепанная Стелла, с радостными слезами и выкрикнула:

— А мой-то Сашка, Сашка мой!

Шведик взял у нее из рук газету и вслух прочитал:

— «Подвиг летчика Александра Владимирова...»

Корреспондент сообщал, что в битве на Волге летчик Владимиров сбил одиннадцатый немецкий самолет, таранив его в хвостовую часть. Подробно описывалось, как Владимиров выбросился на парашюте из горящего самолета и, вернувшись в свою часть, заявил корреспонденту:

— Все ничего, а вот машину жаль. Теперь привыкай к новой.

— Наверняка Героя получит,— авторитетно сказал Вовка-солдат.

— Не только Героя, но и дважды Героя,— серьезно возразил Шведик.— У него жена звезда — это значит звезда в груди да еще звезду на грудь дадут. А вы сама, Стелла, станете теперь у нас героиней.

Раненые улыбались.

— Сашка-то, Сашка! — все повторяла Стелла, задыхаясь. Она показывала раненым фотографию мужа. Он был снят еще в сержантской форме, с крыльями на петлицах.

Фотография переходила из рук в руки и попала к Юдину. Шведик держал перед ним карточку, с которой глядели очень молодые, немного раскосые глаза. Сквозь гимнастерку чувствовались широченные плечи. Шея, точно отлитая из металла, держала подчеркнуто гордую голову с резко выступающими скулами и раздвоенным волевым подбородком.

— Поздравляю вас, Стелла. Да он и здесь уже герой, только звезды на грудь не хватает,— сказал Юдин.

И, кажется, только теперь к Стелле вернулся дар речи.

— Вы знаете, какой он храбрый? Один раз мы купались в Москве-реке, я стала тонуть, так не успела оглянуться, как он меня вытащил.

— Это не делает тебе чести, Стелла, если ты тонула в такой реке,— засмеялся Шведик.

— Да разве только это,— не унималась Стелла.— Мой Сашка — он все может...

Чувствовалось, что Стелла никак не могла припомнить всех Сашкиных качеств. Не рассказывать же, в самом деле, как он любит ее, как усыплял, когда болела у нее голова, как нянчился с Владькой...

Стелла засмеялась, махнула рукой и выбежала из палаты, размахивая газетой. Тут она натолкнулась на Владьку и вспомнила, зачем забегала в двенадцатую палату.

— Владька, иди же сюда! — крикнула она.— Галчонок ты мой, Владимиров! Папка-то у нас какой...— выкрикнула она и, схватив Владьку в охапку, умчалась вниз по лестнице.

* * *

Настенька во сне и наяву бредила курсами медицинских сестер. Она всех умоляла проверять ее знания, и было такое впечатление, что с каждым днем она делалась все взрослее. А глаза ее, удивленные, расширенные, останавливались на раненых. «Вот обождите, я скоро буду сестрой, я уже много знаю о ваших болезнях, о лекарствах»,— словно говорил этот горящий взгляд.

Всем Настенька была довольна, мучило только отношение к ней Белоноженко. Он совсем, совсем изменился. Теперь уже шла она в его палату со стесненным сердцем. Белоноженко усвоил манеру подтрунивать над ней, и, хотя это носило безобидный характер, у Настеньки гасло жаркое и удивленное выражение глаз, точно кто-то выключал в ней источник внутреннего света.

«Что же это со мной?» — спрашивала себя Настенька и пробовала вызывать в памяти все ласковые слова, которыми она про себя называла Белоноженко. Когда ей это удавалось, она очень радовалась.

Белоноженко был всем недоволен. Он часто требовал к себе то начальника госпиталя, то комиссара, то главного хирурга. Он, не переставая, жаловался, писал заявления. Настеньку это обескураживало: в госпитале действительно порой не успевали хорошо обслужить раненых — не хватало белья, посуды, кро-

ватей; врачи, сестры, санитарки сбивались с ног, но не могли вовремя сделать перевязки, выполнить все назначения врачей.

— Какие тут могут быть трудности, в тылу? — угрюмо бурчал Белоноженко.— Не хотят работать, вот в чем дело. На фронт бы их всех.

Настенька, хоть и была на фронте, не могла согласиться с тем, что в тылу нет трудностей. Она-то знала, как живут врачи, санитарки и сестры, она-то знала, как они не щадят себя на работе.

Белоноженко отходил от нее все больше и больше.

Однажды, увидев, как он разговаривает с парикмахершей, красивой, очень общительной женщиной, уловив знакомое выражение на его лице, то самое, которое, казалось, предназначалось раньше только ей, Настенька почувствовала даже не ревность, а облегчение.

Она сказала Белоноженко, строго глядя на него потемневшими глазами:

— Прощайте, товарищ лейтенант, я больше к вам уже никогда не приду. Вы это так и знайте.

Когда Настенька передала весь этот разговор Стелле, та даже всплеснула руками и пришла в полный восторг.

— Ты ли это, Настенька? Ты ли это, кнопка моя? Ну, удивила! Значит, теперь я могу тебе сказать то, что я уже скрываю три дня. Видишь ли, твой Белоноженко уже двум нашим сестрам предлагал выйти за него замуж. Я боялась тебе это говорить. А сестры-то оказались родными сестрами и рассказали все друг другу. А потом пришли ко мне. Надеюсь, ты мне веришь?

— А вам верю, Стелла. Я, наверно, и сама теперь все понимаю.

Настенька сдержала слово, она не ходила больше наверх к Белоноженко, но слухи о его поведении доносились до нее.

Белоноженко все думал, что Настенька придет к нему. Вначале он не принял всерьез ее разговора. Ему казалось, что эта девушка слишком добра, чтобы долго сердиться. Он находил для себя всяческие оправдания, пробовал подметить в Настеньке недостатки, вспоминал, как она не пошла с ним в офицерскую па-

лату, а осталась в двенадцатой. «Уж не приглянулся ли ей там кто-нибудь»,— недоумевал он. Но этот довод как-то отпадал сам собой. Белоноженко стал нервничать.

Он и в офицерском отделении успел перессориться со всеми.

В госпитале нет секретов. Все знали об отношениях Белоноженко с Настенькой, и симпатии были не на его стороне. Случай с сестрами Нюрой и Марусей вконец подорвал к нему всякое уважение. Он почувствовал сплошную стену отчуждения и теперь стремился выписаться из госпиталя.

Но окончательно пришел в смятение Белоноженко после разговора с комиссаром. Черемных очень редко и в исключительных случаях вызывал к себе раненых. Чаще всего эти разговоры происходили тут же в палатах, около коек, в коридорах госпиталя, в лечебных кабинетах. Ему приходилось быть советчиком, утешителем, судьей, учителем, агитатором, пропагандистом. Он писал матерям раненых, поддерживал связь с предприятиями и учреждениями, в которых раньше работали раненые, он внимательно изучал инвалидов войны и выбирал для них новые профессии, он успевал следить за судьбами многих, кто выписывался из госпиталя и теперь воевал или работал в тылу. Он, наконец, не стеснялся призвать к порядку любого, кто нарушал внутренний распорядок госпиталя. «Госпиталь — это полк, но только полк раненых людей,— часто говорил Черемных,— поэтому и дисциплина здесь должна быть военной и только военной». Черемных любил делать обходы по палатам и здесь, на ходу, вникать во все, быстро реагируя на малейшие недостатки; одного подбодрить шуткой, другого пожурить, поглядеть, как третий впервые самостоятельно приподнимает с подушки голову...

Белоноженко и в голову не могло прийти, что однажды комиссар может вызвать его к себе и разговаривать с ним совсем на другую тему.

— Я хочу с вами поговорить, товарищ лейтенант, о Насте Воропаевой,— испытующе глядя на него, сказал комиссар, как будто бы заранее требуя откровенности.

— А что Настя? Что я сделал ей? Другие вон жи-

ли с девушками на фронте, а я, дурак, берег ее,— побледнев, сказал Белоноженко. И ему стало даже обидно.

— Что же, хвалиться этим будете? Экая доблесть. Вы мне лучше скажите, почему и на каком основании вы позволяете себе распоряжаться ею,— строго сказал комиссар. И у Белоноженко сразу же исчезла куда-то его обида и остались только тревога и неуверенность.

Но сдаваться он еще не хотел.

— А как это я распоряжался? Мы с ней дружим...

— Дружите? — с холодной насмешливостью переспросил Черемных.— Да полно вам прикидываться, попробуйте-ка быть честным.

«Вот оно,— подумал Белоноженко, и сердце у него стало делать перебои.— Да ему-то какое дело, на каком основании он может спрашивать».

— Это мое дело,— вслух произнес Белоноженко, но почувствовал, что сказал это очень неуверенно.

— Ваше. Не спорю. А ваше дело — всем предлагать замуж за вас выходить? Как же вам не совестно смотреть людям в глаза? Н-ну, что молчите? Ведь эта девушка вынесла вас на себе с поля боя. А вы позволяете так вести себя.

Белоноженко молчал. Со многими людьми он мог быть беззастенчиво нахален, его трудно было в чем-либо усовестить, но Черемных чем-то выбивал у него из-под ног почву. А тут дело было вовсе не в том, что комиссар старше его по званию и по возрасту, что он тоже пострадал на войне. Не это останавливало Белоноженко, который легко мог нагрубить любому, не считаясь с его положением.

— Может быть, я неправ? — спрашивал Черемных.— Может быть, Настя и заслужила у вас такое отношение? Ведь чужая душа — потемки, как говорят.

— Да что вы, товарищ комиссар!

— Это дело другое,— удовлетворенно сказал Черемных и расправил плечи, как будто бы сбросил с себя ношу.— Если вам не хочется — не говорите. Ну, а надумаете поговорить со мной, только честно,— милости прошу. А теперь можете идти.

Белоноженко не ожидал такого оборота. Ему как

раз сейчас захотелось в чем-то убедить комиссара, оправдаться, а его выставляли за дверь. Он неохотно встал, с секунду помялся на месте и понуро вышел из кабинета.

Через два месяца комиссия признала его годным к строю. Белоноженко так и побоялся пойти к комиссару, а решил лучше объясниться с Настенькой, помириться с ней на прощание и таким образом оправдаться перед всеми.

Это было в воскресный день. Настенька сидела у себя в комнате одна и готовила уроки. Стелла с Владькой с утра ушли в отделение. Приближалась годовщина Красной Армии, и Стелла тянула свое отделение изо всех сил. Она надеялась отбить переходящее Красное знамя, которое до сих пор оставалось в ее старом отделении.

Стелла ждала комиссию по проверке состояния отделения. Она и Настеньке-то сегодня дала выходной день только потому, что той предстояло сдать два зачета на курсах.

Скрипнула дверь. На пороге — в полной военной форме, одетый подчеркнуто щеголевато — стоял Белоноженко.

Сердце у Настеньки часто забилось.

— Я сегодня уезжаю, вот и зашел к тебе...

Он был совсем похож на того Белоноженко, которого она увидела впервые в санпункте полка, когда он порезал ножом палец и пришел на перевязку. У него было сейчас такое же бледное лицо.

— А вы садитесь, товарищ лейтенант,— засмущалась Настенька, видя, как он неловко мнет в руках шапку.

— Ты, в общем, прости меня.

— Да я ничего,— мужественно сказала Настенька. И рассердилась на себя за то, что ей почему-то захотелось плакать. И скороговоркой добавила: — Желаю вам успехов.

Белоноженко пожал Настеньке руку и быстро вышел из комнаты.

Она стояла несколько секунд неподвижная, прямая и смотрела на дверь. Потом присела на стул и машинально прочла в раскрытой тетради строчки, которые продиктовал на лекции Семен Наумович и

велел запомнить: «Вначале болезнь легко вылечить, но труднее заметить, потом же легко заметить, но труднее вылечить».

* * *

Семен Наумович смотрел всегда на свою жену теми глазами, какими он увидел ее сорок лет тому назад. Он смело мог сказать, что жизнь с ней прошла, как один день.

— Давно ли это было...— говорил он, глядя на свою Любу, и глаза его сами собой закрывались. Так легче вспоминать. Сорок лет прошло... Немало он ссорился с женой, немало было семейных невзгод. По сути — из-за пустяков. Это все его характер. О, он любил сорвать на Любушке свое раздражение, он часто бывал к ней несправедлив. Но, как головешка, попав в ведро воды, моментально теряет свой жар, так и у него исчезало раздражение — стоило ему встретиться с ней глазами. Сразу куда-то пропадал весь запал. Он еще шипел, но это было нормальное угасание, как любил говорить Семен Наумович. Характер у него был неважный, он это знал и удивлялся, как жена могла этого не замечать.

— Ты, Семушка, добряк, у тебя золотая душа. Ты немного нервный, это правда, но ты же отходчивый и мягкий, как воск.

Это немного обескураживало Семена Наумовича и, пока он к этому не привык, заставляло умиляться. Правда, сравнение с воском ему не особенно нравилось, но жена заслужила, чтобы он для нее был даже воском. Пусть, пока он находится в таком мягком состоянии, она из него лепит что угодно. Благо, в таком состоянии он находился не так уж часто.

— Жизнь прожить — не море перейти,— часто вздыхала Любовь Васильевна, которая почему-то была уверена, что в этой пословице нужно говорить не «поле», а «море».

Семен Наумович знал, что прожить жизнь так, как он,— и вправду не легко. Он не очень любил вспоминать свое прошлое. Но в самые хорошие минуты некоторым людям он многое мог рассказать.

В госпитале таким человеком был Черемных.

— Как я получил образование,— сказал он однажды комиссару,— этому можно только удивляться. В гимназии я учился лучше всех и получил золотую медаль. Нужно ли вам говорить, что бедный еврейский юноша не мог попасть ни в один университет. Была процентная норма для евреев, но эта норма для богатых, а я был девятым сыном в семье, где дети умирали от голода и туберкулеза.

Значит, дальше я учиться не мог, и вот я стал секретарем, библиотекарем, посыльным и бог знает еще кем — у одного известного в Кишиневе адвоката. Это был человек, влюбленный в свою профессию. Короче говоря, он не был уж таким нахалом и рвачом, каких в то время немало можно было встретить среди адвокатского сословия. Фамилия его была Краснопеев. Нужно ему отдать справедливость, он не гнался за деньгами и часто защищал таких людей, у которых за душой не водилось и ломаного гроша.

Через некоторое время я уже был в курсе многих адвокатских дел. Наслушался всяких судебных историй о сложных судебных процессах, где хорошему адвокату удавалось защитить справедливость. И мне тоже захотелось помогать бедным людям. Но судьбе было угодно, чтобы мечты мои так и остались мечтами.

У Краснопеева была дочь. Все — как в старом французском романе. Дочь влюбилась в меня, и я в нее. Но она была русской, а я евреем. Что уж это была за любовь в то время, говорить не стоит. Правда, я мог креститься, но не хотел — из гордости. Моя будущая жена меня хорошо понимала. В общем, как говорят, мы уже не могли жить друг без друга. Когда об этом узнала моя мать, горю ее не было предела. Советские люди мало знают о таких историях. Тут надо было выдержать такие битвы, что только сильные духом выходили победителями. Но что это была за победа! Пиррова победа. Такую парочку никто не хотел признавать. Мои родители отвернулись от нас. Но, к счастью, адвокат оказался достаточно разумным и, пожалуй, сердечным человеком. Он не устраивал нам безобразных сцен, а мне сказал:

— Ты мне нравишься, Семен. Не удивительно, что ты пришелся по сердцу моей дочери. Но как вы буде-

те жить — я ума не приложу. Живите как-нибудь. Я вам не помеха.

И мы стали жить. Адвокат стал моим незаконным тестем, а его дочь — моей незаконной супругой. Но я мечтал учиться дальше, я мечтал стать адвокатом. И вот моя жена уговорила тестя поехать со мной в город Юрьев и устроить меня в университет. Однако тесть решил, что из меня должен получиться не адвокат, а врач. Потом ко мне переехала Любовь Васильевна, а тесть помогал нам. Не подумайте, что мне легко было учиться. То есть учился я хорошо — пусть бы еврей-студент попробовал быть хоть немного хуже других, его вышибли бы на второй день. Как я теперь понимаю, учился я блестяще. Только потому меня и держали. Я многое претерпел, но все-таки дотянул до конца и окончил университет. Тогда не так-то легко было выбиться в люди.

Если Семен Наумович рассказывал о себе в хорошие минуты близким друзьям, то он рассказывал и о том, как его жена и он мечтали иметь детей. За всю их долгую совместную жизнь у них родилась одна девочка, и та умерла от скарлатины. После этого Любовь Васильевна заболела, и у них не было больше детей.

Жизнь сложилась так, что, кроме жены, не было у него ни одного родного человека. Семен Наумович всегда тянулся к людям, но сходился с ними чрезвычайно трудно. Нет, он не мог сказать, чтобы друзей у него было так уж много. Двадцать пять лет Лязер прожил в этом городе и теперь невыносимо тосковал о Волге, о людях, о песнях и даже о сталинградском воздухе, который, пожалуй, был хуже чистого сибирского воздуха.

Семен Наумович был врачом тракторного завода с момента его строительства.

Он непрерывно вел научную работу, защитил кандидатскую диссертацию и в последнее время перед войной заведовал кафедрой в медицинском институте. Тут он мечтал окончательно утвердиться, стать доктором медицинских наук и, что греха таить, думал, пожалуй, на этом успокоиться. Но пришла война, и он, несмотря на свой преклонный возраст, настоял, чтобы его мобилизовали в армию.

Любовь Васильевна всплакнула, увидев его первый раз в военном костюме с двумя шпалами на петлицах. Вид у Семена Наумовича был совсем не воинственный.

— Как тебе идет военный костюм, Семушка! Ты совсем помолодел,— схитрила Любовь Васильевна.

Семен Наумович твердо поджал губы.

— Ладно, ладно, знаю,— примиряюще сказал он, хорошо понимая уловку жены.— Мне давно пора ходить в военном, я же заведовал кафедрой военно-полевой хирургии.

Вскоре его послали в Сибирь и здесь демобилизовали, направив в систему госпиталей Наркомздрава. Это было очень обидно. Семен Наумович продолжал носить две шпалы, его звали: «Товарищ военврач второго ранга», но обида не проходила, не мог привыкнуть к новым людям, немного дичился их. Он сразу невзлюбил главного хирурга отдела эвакогоспиталей Кричевского за его надменное отношение к людям, за самоуверенность, за его равнодушие и даже за страсть к охоте. И Лязер беспощадно ссорился с ним.

Вскоре Семен Наумович убедился, что хорошие люди есть и здесь. Их было много рядом с ним. Но полюбил он одного Черемных. Ему нравилось в этом человеке все. Внешне не очень подвижный, комиссар мог увлекаться, а главное, доводил всякое дело до конца. Семен Наумович всегда успокаивался, когда Черемных обещал исправить что-нибудь из тех многочисленных госпитальных неполадок, которые назойливо лезли в глаза.

Однажды Семен Наумович посвятил комиссара в свой замысел организовать при госпитале пункт переливания крови. Семен Наумович давно уже пришел к мысли, что раненым нужно переливать кровь не только в случаях большой потери, но и применять переливание широко как лечебное средство. И вот за это дело взялся Черемных. Стелла через несколько дней представила комиссару список почти ста новых доноров. Это главным образом были комсомолки — медицинские сестры, санитарки, врачи, работницы кухни. Черемных рыскал по шефским организациям, выступал на собраниях в различных предприятиях го-

рода, написал о донорах большую статью в областную газету, присутствовал в «донорские дни» на пункте переливания крови и всячески поддерживал Елену Александровну и Стеллу, которые увлеклись новым делом.

Через месяц госпиталь насчитывал около четырехсот доноров, в два раза больше, чем все остальные госпитали города и области.

— Ну, с трансфузиями теперь в порядке, Семен Наумович? — спросил Черемных.

— Очень прилично. Вы, товарищ комиссар, скоро вполне овладеете всей медицинской терминологией. Я только очень опасаюсь за Елену и Стеллу — они усердно качают кровь не только у доноров.

За этот месяц каждая из них брала у себя кровь три раза и в приличных дозах... Вы же знаете Стеллу, товарищ комиссар, а Елена может поспорить с ней в упрямстве, их нужно урезонить. Все хорошо в меру.

* * *

Любовь Васильевна уехала из Сталинграда, когда его нещадно бомбили.

Чудом перебралась она через Волгу. В пароход попала бомба, и Любовь Васильевну выловил кто-то из воды уже в полумертвом состоянии. На берегу ее привели в чувство, потом она с немым ужасом смотрела на сотни трупов. Тут были молодые матери и грудные дети... А она осталась жить.

Через полтора месяца Любовь Васильевна предстала перед мужем. Она была совсем худенькая, маленькая, с седыми волосами и бровями. Месяца через два она стала поправляться, снова на ее щеках заиграл румянец, и Семен Наумович постепенно привык к ее седине.

Любовь Васильевна по-прежнему считала мужа военным, а он почему-то тщательно от нее скрывал, что это не так. Теперь она уже искренне говорила, что зеленое ему очень к лицу.

Семен Наумович целыми днями находился в госпитале, Любовь Васильевна оставалась дома. У нее теперь было больное сердце, но она хлопотала по дому, не показывая вида, что ей часто бывает плохо.

С Вовки-солдата сняли гипс. Он стал передвигаться по палате. Тогда все увидели, что он приземистый, широкоплечий, с суровой складкой на переносице. Его стали звать Вовкой-полковником. Это придумал Шведик. Но и самому Вовке прозвище понравилось.

— Обязательно буду полковником. Вот увидите. Учиться стану и добьюсь...

Юдин не сомневался, что Вовка сдержит свое слово. Вовка был сугубо положительной натурой. Только когда приходила «бабушка Люба» — так звали раненые Любовь Васильевну, Вовка чем-то напоминал Владьку.

Другие палаты посещали молоденькие девушки, иногда над палатами шефствовали даже коллективы, а «бабушка Люба» в двенадцатой палате справлялась одна. Ей только немного помогали Стелла и Настенька.

Вовка-полковник и Владька забирались на подоконник и еще издалека, среди любой толпы, узнавали на улице ее мелкую походку.

— Во-он она плывет,— оповещал палату Вовка.

— Опять кумпот несет! — радостно восклицал Владька.

Юдин живо представлял себе ее в длинном пальто, очень низкорослую, кругленькую, мелко семенящую короткими ногами. Она и по палате не ходила; а плыла — бесшумно и быстро.

Вовка-полковник и Владька провожали Любовь Васильевну глазами, пока она не скрывалась за углом. Тогда Владька скатывался с подоконника и мчался встречать ее в коридор. Вскоре они оба, держась за руки, появлялись на пороге палаты. У Владьки был такой вид, точно он говорил:

«Вот я какой. Привел вам бабушку беленькую».

А она стояла на пороге и тяжело дышала. Ей очень тяжело было быстро ходить и тем более быстро подниматься по лестницам, а медленно она ничего не умела делать.

— Бабушка пришла! — радостно кричал Вовка-полковник, словно этого не видели и без него.— Здравствуйте, бабушка!

А с бабушки Любы градом катился пот. Ее пушистые брови и волосы отливали чистейшей белизной, на щеках давно уже выступила мелкая сеть прожилок, темнел смешным пятачком подмороженный кончик носа.

Любовь Васильевна прежде всего подплывала к Юдину, ставила на тумбочку судок, потом наклонялась к постели и целовала Юдина в лоб. Следующая очередь была за Вовкой-полковником. Он сразу подставлял ей лоб. Владька же был неумолим, он не любил целоваться, и это обижало Любовь Васильевну. Она теребила его толстые щеки и что-то мурлыкала себе под нос от удовольствия. Так она делала обход от кровати к кровати, но со всеми остальными здоровалась уже за руку или приветствовала словами. Раненые ощущали какой-то особенный приятный запах, присущий только одной Любови Васильевне. От нее всегда пахло теплым, молочным. Постоянно в глухом коричневом платье, в белом халате, сшитом собственными руками, Любовь Васильевна казалась еще более седой и светящейся. Она приносила с собой свежесть улицы, капельки растаявших снежинок в волосах и так поеживалась, так бодро встряхивала плечами, словно хотела наполнить всю палату чистым зимним воздухом.

У Папяна в боковушке она просиживала долгие часы, что-то рассказывала ему, он переставал стонать. Какое для нее было блаженство видеть, как впервые встал с постели Вовка-полковник! А больше всех Любовь Васильевна полюбила Настеньку. Так как та давно уже не знала других забот, кроме заботы о двенадцатой палате, то они стали неразлучными, часто советовались друг с другом, чем еще можно скрасить раненым монотонную палатную жизнь.

— Ну, что вы хотели бы поесть? — допытывалась она у Юдина, всматриваясь в него слезящимися глазами.

Юдин от всего отказывался. Она придумывала разные блюда, чтобы возбудить его аппетит. Любовь Васильевна хорошо знала всю историю с рукой Юдина. Знала, как Семен Наумович не спал ночами и боялся, что из-за него умрет человек.

Именно таким — умным, добродушным, каков он

был на самом деле, Любовь Васильевна и представляла себе Юдина, когда знала его только по рассказам Семена Наумовича.

Семен Наумович имел обыкновение отчитываться перед женой в каждом своем шаге. По вечерам он обязан был подробно рассказывать все, что с ним произошло за день, и это было его отдыхом... Семен Наумович говорил:

— Когда я вышел из дому, я повстречал — кого бы ты думала? — нашу славненькую санитарку Настеньку. Мы с ней поздоровались. В контрольной будке дежурил все тот же дед Микола, и он пообещал сделать тебе шумовку. Он, конечно, задержал меня своими разговорами. Наконец, я пришел в госпиталь, снял пальто и прежде всего отругал Марину... Почему отругал? Потому что она первой мне попалась на глаза, а весь коридор был завален окурками. Потом я бранил старшую сестру, помнишь, ту армяночку-сибирячку, о которой я тебе рассказывал... За что? За то, что она курит. Такая хорошенькая женщина — и курит. Ты знаешь, что я ей сегодня сказал? Почему ты обязательно думаешь, что я ее оскорбил. Я женщин не оскорбляю. Я немного на них ворчу... Потом я зашел в ординаторскую и обнаружил там кучу недостатков: мои деточки ленятся делать записи в истории болезни. Они, по правде оказать, не успевают этого делать. Потом я поругался с доктором Кричевским... А что мне остается делать? Уж не думаешь ли ты, что я виноват? Для меня тот день, когда он бывает в госпитале,— самый тяжелый день. Что я могу сделать, если он меня злит, если он ко всем относится свысока, как будто он только вчера спустился с неба. Ты не думай, что Кричевский зашел к Юдину. Он избегает этой палаты. К Юдину я хожу один. Потом, как только я выпроводил Кричевского из госпиталя, я уже мог позавтракать. Это было в час дня...

После него рассказывала Любовь Васильевна. У нее были более мелкие дела, но и она не имела права ничего упустить, начиная с пустяков и кончая самым крупным событием дня: сегодня, например, она услышала по радио знакомое имя Иванова Василия Васильевича, который бутылкой с горючим поджег немецкий танк. Уж не тот ли это Иванов со

Сталинградского тракторного завода, который вечно изобретал новые приспособления к станкам.

Лязер одобрительно относился к шефской работе жены.

— Когда муж и жена заняты одним делом, это благоприятно отражается на семейной жизни,— говорил он Любови Васильевне.— Ты заметила, что уже целый месяц ты меня не ругаешь за то, что я так долго задерживаюсь в госпитале?

Любовь Васильевна приходила к нему в ординаторскую и мягко спрашивала:

— Семушка, ты сегодня не был в моей палате?

— Ты же сама хорошо знаешь, я делал обход верхнего этажа.

— Вот я об этом и говорю, Семушка: Папян плохо себя чувствует. Ты как думаешь, он будет жить?

— Я не бог, Любушка. У него сепсис, и у него пролежни всюду, где только могут быть.

— Я ему сегодня сварила куриный бульон, а он его не ел.

— Хорошо, я сейчас приду и посмотрю его, но едва ли он станет от этого есть лучше.

— Ты не сердись, Семушка, и скажи мне, когда вы будете делать операцию Юдину? Он не верит, что у него будет восстановлена левая рука.

Во время одной из таких бесед Семен Наумович вспомнил о разговоре, который у него был накануне с комиссаром: в пятнадцатой палате лежал молоденький бурят Бадма Житжитов, у которого не было всех пальцев на обеих руках. На весь госпиталь этот раненый прославился тем, что научился делать своими культяпками такие вещи, какие не всегда удаются и человеку со здоровыми руками. Комиссар просил перевести Бадму Жигжитова в двенадцатую палату и поместить рядом с Юдиным. Он уверен, что вдвоем им будет лучше, что это поднимет дух у Юдина.

— ...Видишь ли,— отвечал жене Семен Наумович.— Юдину я уже сделал за короткое время три операции. Это нелегкое дело, хотя у этого парня и превосходное сердце.

— Сердце у него доброе,— соглашалась Любовь Васильевна.— Какой это скромный юноша, Семушка,

ну просто так и берет за душу. И сирота он, один на всем свете. Как только он будет жить?

— Ты что тут мне жалость разводишь? — сердился Семен Наумович и соскакивал со своего места.— Хороший шеф, нечего сказать! Как он будет жить? Он архитектор, коммунист, человек с головой, человек с руками, и — как он будет жить? — уже кричал Семен Наумович.

— Ты зря волнуешься, Семушка, тебе это вредно. Я все это знаю, но мне его жаль. Такой молодой...

— Тебе его жаль, а другим нет? Ну, хорошо, хорошо. Ты еще увидишь его таким, что ахнешь...

— Он плохо ест,— оправдывалась Любовь Васильевна.

— Это другое дело. Человек должен есть, тогда он меньше будет думать о разных глупостях. Посоветуйся с Мэри Семеновной.

Мэри Семеновна была диетсестрой, шеф-поваром, заведующей столовой — абсолютным авторитетом в вопросах питания. Маленькую, немолодую, очень полную женщину с добрым лицом от рождения звали Марией, но она почему-то упорно настаивала на Мэри. Семен Наумович по этому поводу острил:

— Нет, я понимаю, когда у человека неприличная фамилия, имя или отчество. Вот у меня, например, совсем мерзкое отчество. Моего честного отца звали Адольфом. Он родился до Гитлера за добрых сорок лет и вовсе не знал, что этому ефрейтору тоже будет угодно носить имя Адольфа. Значит, я Адольфович, но могу ли я им оставаться, когда я антиадольфович. Не так давно я взял себе отчество моего покойного дяди Наума. Но зачем этой женщине коверкать свое имя, ума не приложу. Какая она Мэри, когда на лице у нее написано, что она настоящая Мария.

Но Семен Наумович, как и все в госпитале, прощал Мэри Семеновне ее странности. Она была кудесницей на кухне. И в других госпиталях знали о существовании Мэри Семеновны и часто с завистью говорили:

— Вам хорошо, у вас Мэри Семеновна!

И это на самом деле было хорошо.

Мэри Семеновна умудрялась готовить удивительные лечебные блюда. По всем госпиталям прошел

слух об ее печенье из молотой яичной скорлупы, содержащей много фосфора. Ее котлеты из селедки можно было принять за мясные. Ее вина, настоенные на шиповнике, свекле, сибирской ягоде облепихе, даже бывалые люди принимали за виноградные; ее щи из крапивы могли привести в восторг даже гурманов. Когда это требовалось, Мэри Семеновна умела так оформить блюда, что «даже мертвый не мог устоять против них», как любил говорить Семен Наумович. Гарнир из свежего лука в виде распустившихся роз, фаршированные яйца с такой умопомрачительной начинкой, которая буквально таяла во рту, птицы из обыкновенной говядины в прозрачном желе — это только тысячная доля того, что могла придумать и сделать Мэри Семеновна.

Дружба с Мэри Семеновной была большой честью. И Любовь Васильевна это понимала. Она знала еще и слабость знаменитой кулинарки: та была очень тщеславна. Мэри Семеновна много работала, она готова была «разбиться в лепешку», день и ночь не выходить из кухни, но об этом должны были говорить. Любовь Васильевна хвалила ее с чистой совестью, потому что Мэри Семеновна этого вполне заслуживала. Зато не было такой просьбы, какую бы не исполнила Мэри Семеновна для двенадцатой палаты.

Но каждый раз она при этом сокрушенно качала головой:

— Нет, таких едоков, как в вашей двенадцатой, я еще не видела. Не кушать этот торт — преступление.

Ничто так не огорчало Мэри Семеновну, как пренебрежение к ее изделиям. Она сама являлась в палату, сочувственно смотрела на Папяна, на Юдина и уходила с убитым видом. Ее искусство разбивалось о такую стену, против которой она оказывалась совершенно бессильной.

— Не одной едой сыт человек,— утешала ее бабушка Люба.— Они, знаете, очень любят, когда я им читаю газеты и книги или рассказываю о прошлой жизни. Я уже им все, что могла, рассказала о себе, о своем отце, о Семене Наумовиче. Они любят слушать, как дети.

— Все это хорошо,— говорила строго Мэри Семеновна,— но они должны у вас кушать. Вот не ел же

ваш Шведик, так я его заставила. Теперь он уже на общем, пятнадцатом столе.

— Придет и к ним аппетит, Мэри Семеновна.

Они расставались около лестницы, и Любовь Васильевна шла своей плывущей походкой обратно в палату.

Там Настенька, давясь от смеха, рассказывала какую-то историю: Владька не отрывал от нее восхищенных глаз.

— Вышла я сейчас во двор с помоями, играют двое мальчишек. Один взял и бросил камнем в лошадь, а второй — такой курносый, губы сердитые — так он сказал: «Ты зачем в лошадь бросаешь? Что она тебе, железная?» А тот, что бросался камнем, тоненьким голоском: «А какая же?» Курносый задумался, губы еще больше выпятил: «Она,— говорит,— шерстяная».

Все засмеялись, Владька громче всех.

— Ну, что ты так смеешься? — спросил Шведик.

— Да-а,— давился смехом Владик,— лошадь, она вовсе не шерстяная, а меховая.

— О-ох, ты,— застонал Митя Кочубей,— ой, нельзя мне смеяться... О-ох, уморишь ты меня!

Шведик вытирал слезы.

— Ну, Владька, ну, Владька! — вторил он Кочубею.

— Засмеялись, засмеялись, думаете, не знаю,— обиделся Владька.— Она сверху только меховая, а в середине мясная.

— О-ох, ты...— Кочубей заворочался, и от напряжения на лице у него выступили красные пятна.

— Что вы, что вы,— испугалась бабушка Люба.— Не смейтесь, пожалуйста, вам же может стать плохо.

— Ничего, не бойтесь. Только здоровее будем,— заверил Шведик.

* * *

Шведик стал поправляться. Его веселый нрав брал верх над всеми горькими размышлениями о потерянной руке. Когда перестала болеть грудь, он становился прежним Шведиком, призванным веселить людей.

Его широкая физиономия начинала наливаться здоровьем. Шведик все делал солидно, «на большом

серьезе», как он сам говорил, и неизменно вызывал смех у других. Только на одного Юдина его шутки не действовали. А Шведику очень хотелось его расшевелить.

— Я не могу, Коля, видеть задумчивых лиц. Ну, скажи, о чем ты думаешь? Боишься, что на твою долю достанется мало ходьбы по белу свету? Я когда-то уговаривал посетителей парка больше ходить ножками. Я подсчитывал, что если каждый из них проживет только семьдесят лет и сделает в день двадцать тысяч шагов, то и тогда он пройдет пятьсот миллионов шагов. Шесть раз вокруг земного шара! Ну, а ты на своих протезах обойдешь три раза. Разве это так уж мало?

— Я не о том думаю, Соломон,— серьезно отвечал Юдин,— шесть или три раза — это все равно. Смотря зачем будешь ходить. С потерей ног я начал мириться, а вот руки — не дают мне покоя. Правая и то плохо работает. Совсем мертвая и сухая. На перевязках я не могу на себя смотреть. А что я такое без рук? Потом, откровенно говоря, я не очень себе представляю, что будет с моей левой. Иногда мне кажется, что все эти разговоры о новых пальцах так и останутся разговорами. Ну, а тогда уже снова начинаешь думать о ногах. Тоже ведь не чужие.

— Ну, хорошо, Коля, а о чем же ты еще думаешь? — допытывался он.

— О многом. О чем не передумаешь вот так, лежа? Не бывает дня, чтобы не думал о своем друге Жариче. Он был моим другом, и я учился у него многому. Вероятно, он погиб. Думаю о делах на фронте, о свинстве наших союзников, о зверствах немцев, о том, чтобы побывать на могиле родителей. Думаю: а что я такое без рук? Мне руки нужны, как воздух. Понимаешь? Вот опять к этому и возвращаюсь... А ты говоришь, шесть раз обойти земной шар. Мне бы хотелось сделать это с пользой.

— А ты, пожалуй, и обойдешь, и сделаешь по пути немало. Вот мне не везет.— Шведик делался грустным.— Без руки я ни массовик, ни актер. Мог бы быть командующим фронтом, но талантов таких нет.

Зато с Крячковым Шведик не переставал спорить по любому поводу.

Шведик сердился, а Крячков улыбался. Он с удовольствием смеялся над шутками Шведика, и, пожалуй, только один Шведик из всей палаты не догадывался, что Крячков ведет с ним очень тонкую игру.

— Сколько ты яиц скушать можешь зараз? — ни с того ни с сего спрашивал Шведика Крячков.

— Ну, десять.

— Тю! А я один раз на спор съел пятьдесят семь штук!

— Вареных?

— Нет, сырых. Водкой запивал.

— Врешь, не верю. Это же целая миска.

— Ну вот, нашли, о чем спорить, — вмешивался Юдин.

— Нет, что за человек! — говорил Шведик. — Уж если ляпнет, так в таких дозах, что впору хоть слону.

Но иногда надоедали и разговоры, и споры, и рассказы, и шутки.

В палате становилось совсем тоскливо. Шведик играл в шахматы с Вовкой-полковником. Крячков на своей одной ноге стоял около географической карты в неизменной позе: вобрав шею в плечи и опираясь на костыли. Митя Кочубей, казалось, бездумно перебирал разбухшие пальцы рук.

Юдин прислушивался к тому, что делалось в боковушке. Оттуда больше не раздавалось стонов, и это было так непривычно, что Юдин стал беспокоиться.

Любовь Васильевна тоже сегодня долго не шла. Юдин очень любил, как она читала. Толстой и Горький были ее любимыми писателями, и эту любовь она старалась привить раненым. Уже две недели читали «Мать» Горького. И такая перед всеми вставала чистая, любящая, святая женщина, что о ней в палате говорили, как о живой. Когда библиотекарь госпиталя Нина Владимировна рассказала, что такая женщина действительно жила и Горький только описал ее, Крячков сказал:

— Эх, поговорить бы с ней.

— А мне кажется, — сказал Юдин, — что многие матери наши похожи на Ниловну. — И он с грустью вспомнил свою мать.

Сегодня Юдин с нетерпением ждал Любовь Васильевну. Сам он не мог держать книгу в руке.

Но помимо всего этого, Юдину просто хотелось слушать ласковый, убаюкивающий голос Любови Васильевны. Он хорошо помнил книгу, но в чтении Любови Васильевны для него открывались какие-то новые тонкие детали. Юдин мог бы часами смотреть на румяные щеки в мелкой сетке красных прожилок, слезящиеся глаза под седыми бровями, на движения старушечьих губ... Он уже привык, что каждое утро они касались его лба. А сегодня бабушка Люба что-то задержалась.

Владька играл под столом, связывал ножки веревками. В коридоре громко хлопали дверьми, дробно отстукивали костыли.

В боковушку прошла Марина Степановна, и через минуту, ни на кого не глядя, быстро прошла обратно.

— Сходи, посмотри, Соломон, что с Папяном,— попросил Юдин.

Шведик встал, ушел в боковушку и сразу же вернулся.

— Готов. Лежит с закрытой головой,— сказал он мрачно.

В шахматы уже больше не играли. В палате стало невыносимо душно, как в свинцовой коробке.

Владька вылез из-под стола и смотрел на всех удивленно, ничего не понимая. В боковушку прошел комиссар. Долго не выходил оттуда. «Что он там делает?» — думал Юдин. Пришла Настенька, стала у окна. Невесело смотрела на ту сторону улицы.

На мостовой прыгали воробьи, замерзая, попадали под колеса автомашин.

На улице стоял один из тех морозов, который сибиряки называют давуном.

— Хватит вам носы вешать, ребята. Отмучился человек,— вздохнул Кочубей.

Вовка-полковник задумчиво сказал:

— На фронте возле смерти ходишь, а все кажется, что дальше, чем здесь.

Крячков мрачно молчал. Шведик лежал на койке, отвернувшись к стене, и спал. «У меня когда горе, так я лучше посплю»,— сказал он перед этим.

— Хоть бы бабушка Люба пришла,— вспомнил Юдин.

— Настенька сказывала, что неможется ей сегодня,— сообщил Вовка.

К вечеру в палату необычно тихо зашла Стелла. Села на табурете около кровати Юдина. Долго молчала. Всхлипнула. Наклонилась к Юдину и прошептала:

— Бабушка Люба умерла.

Юдину показалось, что он ослышался.

— Вы что это, Стелла?

— Умерла, умерла,— уже громче зарыдала Стелла.

Разговаривали вполголоса. Кто-то сочувственно сказал:

— Как же без нее теперь Семен Наумович?

— Как же он без нее жить будет? — ужаснулась и Стелла.

— Эхма. До чего жалко бабушку. В один день с Папяном ушла,— угрюмо произнес Крячков.

А на улице мороз, пурга. Стелла прислушалась к завыванию ветра. Ветер срывал с тополей слежавшийся снег и ударял в стекла окон.

— С таким больным сердцем, а еще работала, нам помогала,— сквозь слезы сказала Стелла.

Вовка-полковник подбросил костыли под мышки и, ни слова не сказав, вышел в коридор.

* * *

Долго отогревали кострами промерзшую землю. Она была, как стекло. Два дня сторож контрольной будки дед Микола делал гробы. Тщательно тесал доски, обивал кумачом.

Через два дня бабушку Любу хоронили вместе с Баградом Папяном. Один большой и один маленький гроб поставили рядом на грузовую машину. Все, кто был свободен в госпитале от дежурства, пошли провожать отправлявшихся в последний путь.

Медленно шла машина. За ней под руки вели старика в запотевших очках. Старик все время спотыкался, волочил ноги. Шло много женщин. Несли разноцветные бумажные венки и бледно-розовые венки из стружек.

И разговоры были, как тысячи раз до этого:
— Вы бы сели, Семен Наумович, на санки.
— А? Нет, я пешком, я пешком...
— И детей у них не было? Какая жалость...
— Надо же так. В один день с Папяном умерла. Ухаживала за ним, ухаживала...
— Не подкосило бы это горе Семена Наумовича. Один как перст.
Горе, горе, кто тебя измерит! Идет такая война, гибнут миллионы молодых людей, и у старого человека сердце разрывается оттого, что вот он остался один.
— Представьте себе, товарищ Черемных,— говорил Семен Наумович,— я вовсе не думал, что она так может умереть.
— Вы простите, Семен Наумович, я не умею утешать. Знаю, как вам тяжело.
— Что вы, что вы! Разве меня можно утешить...
— Только два дня назад был такой радостный день. Вас приняли в партию! Вы так мечтали об этом. А тут такое...
— Вы говорите, я об этом мечтал. А она? Как она об этом мечтала! Как она радовалась. Да, только два дня назад я рассказывал ей об этом...
Бабушку Любу и Баграда Папяна похоронили рядом.
Вечером дед Микола и Черемных привели Семена Наумовича в его комнату. Пахло лекарствами. На столе накрыт был ужин. Кто это сделал?
— Я лягу,— виновато сказал Семен Наумович.— Представьте себе, я еще ни разу не заплакал. Или у меня каменное сердце? Хирурги вообще не плачут. Слишком много смертей прошло перед моими глазами. Слишком много... Нет, свет не зажигайте.
— На смерть, ровно на солнце, во все глаза не глянешь,— ковыляя по комнате, сказал дед Микола.— А зеркало-то забыли перевернуть,— обратил он внимание.— Нехорошо.
— Теперь уж все равно. Предрассудки,— тихо ответил Семен Наумович.
Черемных и дед Микола простились и бесшумно вышли.
Долго Семен Наумович лежал неподвижно. В его

ушах звучали тупые удары земли о крышки гробов. И он тоже бросал землю.

В дверь кто-то постучал. Семен Наумович вздрогнул. Перед ним стоял Черемных.

— Я опять к вам, Семен Наумович. Хочу у вас заночевать. У меня в комнате холодина. Не помешаю?

— Нет. Вы как раз вовремя пришли. У меня, знаете, мысли невеселые. Все равно я не буду спать. Вы ложитесь на мою кровать, а я перейду на Любушкину.

— Я, пожалуй, поживу с вами вместе недельку-две. У меня печь будут перекладывать.

Семен Наумович ничего не ответил.

Он молча встал с постели, сел около стола и попросил Черемных зажечь свет.

— Это, кажется, называется поминками? — сказал он тихо, глядя на графин.— Ну, давайте выпьем, давайте вспомянем хорошую русскую женщину. Давайте вспомянем хорошего армянского юношу. Ему было всего двадцать лет... Его родители еще ничего не знают...— Он разлил вино в рюмки.

Утром, когда рассвело, двор лежал новый, запорошенный свежим снегом.

От восходящего солнца ложились на рыхлой нехоженой белизне розовые, оранжевые и голубые тени.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Многие склонны были считать чудаком этого кряжистого человека, внешне похожего на простого крестьянина.

В госпитале он появлялся очень редко — и только в тех случаях, когда предстояло оперировать руки. Он стремительно проходил по коридору, и полы его халата развевались от ветра. Он разговаривал с ранеными только в операционной, разговаривал с такой охотой и любопытством, что те на минуту забывали, где они находятся. О нем много говорили в госпитале. Раненые интересовались его жизнью.

В 1914 году Василий Герасимович попал врачом в полевой подвижной госпиталь на Западный фронт, в 10-ю Сибирскую дивизию.

И вот тут-то и началась та часть его беспокойной

жизни, благодаря которой он и обнаружил в себе подлинного ученого.

В медицине все большие открытия связаны с желанием облегчить страдания человека. Василий Герасимович, подолгу не отходя от операционного стола, видел, как безжалостно «кромсали» руки у раненых. Если основные фаланги суставов были перебиты и пальцы болтались на кожном мостике, то раненому ампутировали такие пальцы, и он на всю жизнь оставался инвалидом. Особенно тяжело было видеть людей, которые теряли пальцы на обеих руках или кисти рук. И никто в то время не задумался над тем, чтобы попытаться сохранить или восстановить пальцы. В полевых госпиталях хирурги не успевали делать ампутации, где уж тут до разработки проблем.

И вот Василий Герасимович робко начал заниматься восстановлением пальцев. Пальцы с разбитыми основными фалангами он подшивал к кожному мостику. Над ним смеялись его коллеги, но Василий Герасимович не обижался на них и своей идеи не оставлял.

Начальство несколько раз объявляло ему выговоры «за недозволенное экспериментаторство в фронтовых условиях», и все его опыты приобрели недозволенный характер.

Василий Герасимович стал задабривать своих коллег, делая за них операции: только бы они молчали об его опытах.

Наконец Василий Герасимович увидел, что сделанные им операции увенчались полным успехом. У больных образовались коротенькие двухфаланговые пальцы. Эти люди уже не были инвалидами...

Все годы первой мировой войны ушли у Василия Герасимовича на продолжение опытов, и здесь же на фронте он написал свою диссертацию: «О восстановлении двухфаланговых пальцев рук при огнестрельных ранениях».

В 1919 году Василий Герасимович положил начало во всей русской и заграничной медицине реконструкции пальцев при полной их потере, делая новые пальцы из пястных — ладонных — костей.

Во время финской войны все бойцы и офицеры, потерявшие пальцы, направлялись из Ленинграда в да-

лекую Сибирь. В это время Василий Герасимович был единственным хирургом в СССР, занимавшимся этой сложной работой.

В начале Великой Отечественной войны Василий Герасимович пошел еще дальше. О его операциях рассказывали, как о чудесах.

Задолго до того, как Василий Герасимович впервые появился в госпитале, Юдин в достаточной степени был наслышан о нем. Юдина вообще интересовало главным образом то, что относилось к операциям рук. Лязер и Марина Степановна настолько детально просветили его, что теперь, глядя на свою руку, он мысленно представлял, как все это произойдет.

Юдин с завистью смотрел на пальцы Настеньки с ободранными ногтями и бессознательно следил за их цепкими и ловкими движениями. Он рассматривал прекрасные белые руки Стеллы и маленькие руки Владьки...

Нет, Юдин не думал сейчас о красоте своих рук. Любые пальцы! Но чтобы они жили, двигались, могли держать карандаш, брать предметы. Даже то, что у него не было ног,— Юдина беспокоило сейчас меньше.

Он был левша, и отсутствие пальцев на левой руке означало для него окончательную инвалидность. Это значило, что он должен навсегда распроститься с архитектурой. А жизнь в таком случае казалась ему пустой.

Никогда еще Юдин не ждал так встречи ни с одним человеком, как с этим незнакомым ему профессором.

В эти дни ожидания и появился в палате Бадма Жигжитов.

Приход Бадмы Жигжитова был в жизни двенадцатой палаты крупным событием.

Юдин сразу почувствовал острое любопытство к Жигжитову. У него было круглое девичье лицо с плутоватыми миндалевидными глазами и хорошая улыбка, обнажавшая два ряда белых крупных зубов. Остриженные под ежик волосы отливали синевой, и казалось, что о них можно уколоться.

И весь он был похож на ежа с голой мордочкой, на которой не было и малейших признаков растительности.

Сразу бросалось в глаза, что у него на обеих руках не было пальцев.

Жигжитов опустил узелок на койку Крячкова и весело обвел палату хитрыми, непроницаемо-черными глазами.

— Здравствуйте,— сказал он на чистом русском языке.

— Здоров, коль не шутишь,— подозрительно ответил Крячков, видя, что узелок брошен на его койку.

— Уплотняют,— подмигнул Жигжитов и пригладил своей культяпкой волосы.

— Это старшая сестра велела сдвинуть вашу койку вон с товарищем Шведиком,— виновато обратилась Настенька к Крячкову.

Не только к ее удивлению, но и к удивлению всей палаты, Крячков молча подбросил свои костыли под мышки, в два прыжка очутился около кровати Шведика и придвинул ее к своей.

— Значится, втроем?— неласково ухмыльнулся он.— Только смотри у меня, ежели лягаться будешь ночью...— И так же невозмутимо ускакал обратно к окну.

Настенька с облегчением вздохнула. Она не ожидала такого исхода. Еще с того памятного дня, когда она встретилась с Крячковым в санпропускнике и давала ему прикурить, она относилась к Крячкову очень настороженно, подчеркнуто официально, хотя тот, казалось, давно забыл о своих коварных вопросах.

Тем временем Жигжитов располагался на койке, подхватывая культяпками вещи и складывая их в тумбочку. Непостижимыми движениями он развязал узелок, достал бумагу, помогая зубами, оторвал клочок и, орудуя таким образом, скрутил себе цигарку. Зажав коробок спичек между коленями, он зажег спичку и с удовольствием затянулся дымком.

Палата молча следила за ним, а Юдин, не выдержав, сказал:

— Ишь ты, как ловко!

— Да он и не это может,— вмешалась Настенька.— Он из хлеба такие вещи делает! Да вы только посмотрите: чего у него нет?— разошлась Настенька, показывая ошеломленной палате пепельницу, трубку,

подстаканник, портсигар, дудку. Все это было сделано из хлеба.

— Колдун,— недоверчиво сказал Крячков, снова подскочив к кровати и ощупывая по очереди то портсигар, то дудку.

— Мастер!— авторитетно произнес Вовка-полковник.— Будем проходить у тебя курсы.

Настенька с удовольствием следила за Юдиным, видя, как заблестели его темные, отливающие золотом глаза.

— Ну вот, вам теперь не будет скучно,— ласково сказала она Юдину.— А завтра придет Василий Герасимович и будет вам с Жигжитовым операция.

* * *

Во время сложных операций, когда ассистенты, студенты, боясь дышать, не сводили глаз с большой руки профессора, действующей скальпелем, Василий Герасимович вдруг начинал негромко петь: «Эх, вы, кони мои вороные...» В такой обстановке это звучало весьма странно, но никто этому не удивлялся. Больше у Василия Герасимовича не было никаких странностей. Он не ругался на операциях, не был ни рассеян, ни придирчив, ни ворчлив.

Василий Герасимович расхаживал по операционной, сцепив перед собой вымытые руки. Внесли Юдина, а вслед за ним вошел и Бадма Жигжитов. Юдин, как только увидел Василия Герасимовича — с гривой седых волос, выбивавшихся из-под колпака, с ясным взглядом голубых бесконечно добрых глаз, с его, точно моряцкой, постановкой ног, стремительно-прямой фигурой и сжатыми в замок пальцами рук,— как-то сразу поверил в этого человека.

Василий Герасимович стоял около Юдина и пристально смотрел прямо ему в глаза.

В этот раз Юдину особенно тяжелы были все приготовления к операции. Остро пахло эфиром и йодом.

Профессор взял руку Юдина, осмотрел ее со всех сторон, пощупал, помял, спросил, больно ли, прищелкнул языком.

— Рука как по заказу,— удовлетворенно сказал он и подошел к Жигжитову.

Юдин не понял, что именно по заказу, но посмотрел на свою руку без пальцев с каким-то уважением.

— О! Степной орел... Вы только посмотрите,— весело обратился Василий Герасимович к Лязеру,— какая подвижность. Да, они уже живут, его пальцы, и просятся наружу. У степного орла будут когти.

Лязер не раз видел руки Жигжитова, но сейчас пошлепал его культяпки. Жигжитов улыбался бледными губами.

Черемных подошел к изголовью Юдина и шепотом спросил:

— Боязно?

— Очень боязно,— также шепотом ответил ему Юдин.

Черемных взял его руку, осторожно пожал ее.

Пока сестры возились около Юдина, укутывая его в простыню таким образом, что снаружи осталась только искалеченная рука, Юдин увидел в дверях Настеньку. У нее были очень испуганные глаза. Она смотрела на него и, видимо, боялась зайти в операционную. Юдину очень захотелось, чтобы именно Настенька держала его за руку. Он с тоской и призывом взглянул на нее, но вошла Марина Степановна и загородила Настеньку.

К Юдину подошел Василий Герасимович.

— Ну, сынок, соорудим сейчас тебе пальцы, на этой руке у тебя будет пять настоящих пальцев. Коротких, но настоящих. Рука будет сжиматься в кулак, и если ты злой драчун, то сумеешь даже им драться.

«Он меня зовет на «ты»,— подумал Юдин. Ему это почему-то очень понравилось и показалось, что они давно знакомы с этим широкоплечим седым профессором.

— Я никогда в жизни не дрался,— все так же серьезно сказал Юдин.

— Ну вот, будет в новинку. Ты кто по специальности?

— Архитектор.

— Скажите!— изумился Василий Герасимович.— Такой молодой. Значит, совсем рука нужна. Может, ты мне после войны клинику построишь, а? Ну-с,— Василий Герасимович многозначительно посмотрел на Марину Степановну. Она сегодня давала наркоз.

Руки Марины Степановны успели по этому знаку придвинуть к лицу Юдина маску с эфиром, и он глубоко вдохнул в себя пряный, обволакивающий сознание воздух.

Ему еще хочется говорить с Василием Герасимовичем, ему хочется сдернуть с лица тяжелую маску, которая давит на него многопудовым грузом, ему хочется...

«Эх, вы, кони мои вороные...» — поет мужской голос. И все кругом затихает.

* * *

Он открыл глаза и прежде всего увидел Настенькину голову на своей подушке. Настенька сидя задремала, косынка сползла с ее волос. Он видел только затылок. Волосы пахли скошенной травой и полевыми цветами. Казалось, что сейчас это единственный воздух, которым он может дышать.

Операция позади. Возможно, что это была последняя его операция...

* * *

Прошло восемнадцать дней.

Рано утром Марина Степановна сняла с его руки повязку. Юдин с удивлением смотрел на руку и не узнавал ее. Нежно-розовые разрезы. Короткие пальцы. Да, все пять пальцев. И почти неподвижные. Такие же пальцы у Жигжитова. Бадма ими шевелит и любовно разглядывает их.

Рукой нужно бесперебойно работать. Вот почему вчера Василий Герасимович сказал: «Теперь ваша судьба от меня не зависит, теперь она в ваших собственных руках». И Юдин отдается этой работе почти с таким же терпением, как Бадма. Ему приносят деревянную плашку с выемкой для ладони и пальцев. Юдин, разъединяя свои короткие пальцы, помещает каждый из них в гнездо и начинает сгибать и разгибать кисть руки. Он делает это так долго, пока не начинает неметь не только рука в плече, но и грудь, и шея. Бадма улыбается озорными глазами и таинственно сообщает ему:

— Вот обожди, приедет моя мама...

От удовольствия его веки закрываются, но и в это время он не перестает двигать пальцами. Он сделал себе из хлеба шарики, насадил на нитку и теперь перебирает их.

— Хочешь, тебе сделаю?— предлагает он и великодушно отдает свою нитку с уже блестящими, точно отполированными, шариками.

Смешно это — лежать и перебирать четки. И невольно являются думы — длинные, безостановочные... Но Юдин не забывает о руке. Даже во сне он теперь двигает пальцами.

Впервые, когда он их растопырил и глазами постороннего взглянул на свою руку, она показалась ему похожей на лапу гуся. Но чем дальше, тем больше рука становилась осмысленной. Она уже приобретала привычки, у нее появлялся «характер». Мертвые ладонные суставы должны были начать жить.

И Юдин теперь верил, что настанет такой день, когда рука будет целиком подчиняться ему.

Однажды он предложил:

— Знаешь, Бадма, давай строить из хлеба домик!

У Бадмы от удовольствия загорелись глаза.

— Мы построим, Бадма, макет твоего будущего дома, в твоем аймаке. Хорошо?

— Давай, давай,— торопил Бадма.

Он собирал все остатки хлеба в палате и готовил ему одному известным способом массу: добавлял туда клея, слюней и бог знает чего еще,— получался состав, который был упругим, медленно засыхал, а засохнув, становился прочным, как кость. Этому его научил дед Абзай, который когда-то сам выучился у политических каторжан. Юдин выпросил у Стеллы красок и сам приготовил несколько кусков этой своеобразной глины, тщательно разминая ее с красками. На ночь две табуретки, на которых шла стройка, накрывались мокрым полотенцем. Работа была почти ювелирной. Руки дрожали, пальцы не слушались. Теперь Бадма, раскрыв рот, с обожанием следил за руками Юдина. Из мастера он превратился в подмастерье.

Дом размещался на большой доске, и там, по плану, должен был быть садик, амбар, навес, подвал,

клумбы, резной палисадник, гараж. Сам дом уже стоял с верандой, в нем было пять комнат, кухня, ванная. И все это сделано из хлеба.

Шведик раздобыл где-то желтоватый кусок слюды, они ее разделили на тонкие пластинки и пустили для отделки веранды и окон. Через двенадцать дней усадьба для Бадмы Жигжитова была готова.

Во дворе даже стоял маленький лимузин, под навесом, для большей правдоподобности, вытянула шею привязанная корова, около дома — будка для собаки, через весь двор от нее протянута проволочка. Даже веревка для коровы сделана из хлеба. Это была тонкая работа. Усадьбу приходили смотреть Лязер, врачи и сестры из других отделений. Стелла, которая могла увлечься чем угодно, забегала в палату на дню несколько раз, и ей уже не терпелось самой приложить руки к этому делу. О Владьке и говорить нечего. Он теперь почти не уходил из палаты, не отрывал глаз от рук Юдина и даже перестал есть. Он был уверен, что дом строится для него.

Крячков с завистью смотрел на их работу.

— Крыша обвалится,— заявлял он.

Но крыша не обвалилась.

— Посмотри ты: корова! — удивлялся он. Крячков имел пристрастие к коровам, он любил молоко и всегда мечтал о собственной корове.

— Корова — это что!— подзадоривал его Шведик.— Мы, брат, еще не то можем...

Крячков сначала с любопытством, а потом с нескрываемым поощрением следил за тем, как Юдин и Жигжитов добивались подвижности пальцев. Ему давно нравилось такое упорство.

— Тут дело не в докторах,— изрек он.— Им что? Их дело порезать, а я думаю — мертвую руку приставь, так и ее приучить можно. Тут не доктора, а характер. Пожалуй, это было первое его полупризнание. Шведик торжествовал, потому что Крячков продолжал рассуждать вслух:

— А как, ребята, этот ваш профессор не догадался приставлять мертвые руки? Скажем, вот у тебя, Шведик, нет руки, берут и приставляют тебе новую руку, зашивают как там надо, прибинтовывают, а потом — бац, через месяц снимают все эти бинты. Рука

приросла. Только не уставай — работай, приучай ее. А?..

Шведик сидел на подоконнике и заливался таким смехом, что дрожали плохо промазанные стекла.

— Ну, заржал жеребец,— на этот раз обижался уравновешенный Крячков.

— Нет, честное слово, ты, пожалуй, переплюнешь всех наших докторов. Ведь так и голову можно приставить.

— Голову, пожалуй, нет, а руки, ноги — свободно!

— Дети, дети, честное слово, вы похожи на детей,— говорил им Семен Наумович.— Вот лежите без дела и городите бог знает что.

Лязера пытались втянуть в этот бесконечный спор, но он только отмахивался. Когда же ему рассказывали о предложении Крячкова «приставлять руки и ноги», он не стал над этим смеяться и грустно, как всегда теперь, улыбнувшись, пошутил:

— Это все же лучше, чем о вращении Земли спорить.

После этого Крячкова как прорвало, и на него уже не действовали никакие доводы.

— Да пойми ты, голова,— запальчиво пробовал разъснить Шведик,— человек умер, ткань у него умерла, а ты будешь мертвую руку к живому телу приставлять. А кость? А кровеносные сосуды, а сухожилья. Это, по-твоему, тоже прирастет?

— Ты словечками-то не бросай. Ткань? Какая такая ткань? Мясо, мясо — оно не только от человека, а от собаки прирастет. А ты, ежели доктор, так ты все, как полагается, пришей,— и жилы, и все: Скажем, человек только помер, а у него теплую ногу — бац, оттяпали — и мне. Теплую, понимаешь? Нет,— вздыхал Крячков,— если бы мне грамоту, я бы ему, человеку, не только руку и там ногу, я бы ему и вовсе помереть не дал. Я бы придумал, честное слово!

Юдин обычно не принимал участия в этих спорах. Часто он видел, что Крячков просто-напросто прикидывается таким чудаком. Крячков страстно тосковал по своей ноге. И, конечно, он не мог свыкнуться с тем, что ноги больше нет и не будет. Едва ли его самого могли утешить эти наивные разговоры о «приставлении рук и ног», но о чем только не разговаривали за

долгие месяцы лежания в госпитале, где день кажется неделей...

Однажды ночью Юдин увидел Крячкова сидящим на постели. Он рассматривал свою культю. У него на лице было такое страдание, что Юдин разом забыл всю его сварливость, упрямство и любовь к спорам.

Из всей палаты Крячков больше всего привязался к Бадме Жигжитову. Тот ему во всем уступал и даже относился к нему с некоторой нежностью. Вначале и это не произвело на Крячкова никакого впечатления, но со временем он так к нему привык, что Бадме уже, собственно, и не приходилось уступать.

— Вот, подожди, приедет моя мать,— говорил часто Бадма,— вот увидишь...

О себе Крячков никогда и ничего не рассказывал.

К приезду матери Бадмы Крячков отнесся с интересом. Жигжитов рассказывал, что мать у него очень старая, по-русски говорить совсем не умеет, но — «вот увидишь»...— повторял он.

* * *

И мать Бадмы приехала.

Она ехала вначале верхом, на лошади, потом впервые в жизни попала на поезд. Как ей удалось в городе разыскать госпиталь, не зная ни единого слова по-русски,— оставалось загадкой.

Утром, еще до завтрака, Настенька привела ее в палату. Женщина действительно была очень старой, с седыми космами волос и грубым, почти мужским лицом. Она остановилась в дверях и долго осматривала палату. Выражение ее лица было совершенно бесстрастным. Все поняли, что это мать Бадмы, и притихли. Бадма сидел спиной к двери, и старая бурятка не могла видеть его лица.

Но она узнала его по голове. Конечно, у кого еще могла быть такая голова!

— Бадма! — позвала она грудным голосом. С удивительной для нее быстротой она очутилась около его постели и упала на колени.

Бадма растерянно мигал глазами и гладил ее голову.

— Ах, мама, ах, мама! — повторял он и быстро, захлебываясь, говорил что-то по-бурятски.

Мать все не поднимала головы и, не шевелясь, лежала, уткнувшись лицом ему в колени, потом осторожно, точно боясь спугнуть видение, приподняла голову, закачала ею из стороны в сторону. Она все еще не могла произнести ни одного слова.

— Ничего, ничего,— зачем-то сказал Юдин. У него от этой немой сцены в горле остановился ком.

— Ая-я-я, я-я,— причитала мать.

И было странно, что при этом ее глаза оставались совсем сухими, лицо бесстрастным. Но наконец она заговорила, все так же раскачивая головой, с закрытыми глазами. И палата слушала этот непонятный гортанный язык. А она все говорила и говорила, не повышая и не понижая голоса. О чем она могла говорить?

Бадма потом пробовал передать:

— Ах, как долго я ждала тебя, Бадма! Две зимы прошло, а тебя все не было. Из нашего улуса много ребят не пришло. Матери сильно плачут. Я тоже думала, что ты пропал на войне. Но твой старый дед Абзай не велел мне плакать. А я все думала: пусть бы одна голова твоя с войны пришла (она это так и сказала), век бы за ней ходила. Как же мне поверить, что это ты передо мной, Бадма! А-я-яй, как тяжело мне было без тебя жить! Дед Абзай стал совсем старый. Ему давно уже исполнилось сто зим. Он и женскую работу не может делать, ни барана остричь: руки трясутся. В колхозе у нас остались женщины да старики, такие, как дед Абзай. Вот сделали меня теперь кладовщиком. Говорят: «Ты, Дарима Жигжитова, женщина честная, у тебя сын на фронте, ты у народа воровать не будешь». Счетовод в колхозе ушел на фронт, а я безграмотная. Выдам продукты, а записать не могу. Мясо, шерсть, шкуры, масло — все тебе на фронт посылала, а мальчик Намжил записывал. Много записывал. Колхозники велели все посылать — у каждого там сын, брат, отец.

Поехала я к тебе — колхозники говорят: «Возьми ему, Дарима, сметаны, масла, муки — саламат сделай...»

Это и еще многое другое говорила старая Дарима

Жигжитова и все боялась открыть глаза, боялась не увидеть сына. А Бадма гладил ее натруженные коричневые руки. И, видно, почувствовав что-то неладное, мать взглянула, увидела руки сына, и глаза ее широко раскрылись. Ужас сковал ее лицо. Бадма инстинктивно отдернул руки и спрятал за спину.

— Ничего, ничего,— опять сказал Юдин. Он больше не мог молчать. Ему вдруг страстно захотелось объяснить этой женщине, что Бадма у нее очень хороший юноша, что и с этими руками он не калека и будет работать.

Настенька молча подошла, поставила «усадьбу Бадмы» на тумбочку, осторожно приподняла мать и усадила ее напротив сына. И только тогда Бадма снова начал быстро что-то говорить, размахивая руками, показывая свои пальцы, двигая ими. Юдин сразу успокоился и повеселел. Он понял, что Бадма все объяснит лучше, чем это сделал бы он.

Юдин обвел глазами палату. Увидел, что Крячков сидел на излюбленном месте — на подоконнике и, отвернув голову, задумчиво смотрел в окно.

За все время он не проронил ни одного слова. Шведик, положив голову на спинку кровати, не сводя больших карих глаз, смотрел на мать Бадмы. И у Настеньки тоже было это выражение задумчивой сосредоточенности и сочувствия. Кажется, все в палате прониклись в эти минуты одинаковыми чувствами.

Бадма решил познакомить мать с товарищами. Оказывается, он рассказывал ей не только о себе, но и обо всех раненых в палате. Он поднялся со своего места и вместе с матерью подошел к Юдину. Николай почему-то протянул ей левую руку. Она взяла ее, положила в свою ладонь и осторожно погладила другой рукой.

— Ай-я-я-я,— она ласково раскачивала седой головой и приветливо улыбнулась.— Коля!— повторила она за сыном.

Когда она отошла от его постели, Юдин приподнял голову и посмотрел на свою руку.

«А ну!»,— сказал он себе и, превозмогая боль в суставах, медленно, с трудом, начал сжимать пальцы. Впервые он почувствовал, что маленькие пальцы коснулись друг друга.

* * *

— Мама приехала,— сообщал всем Бадма, хотя и так большинство раненых уже знало об этом.

Да и как можно было не заметить эту женщину. В палате через два дня она была уже своей. Не стесняясь того, что ее не понимают, она грудным голосом разговаривала со всеми. При этом ее широкое лицо было олицетворением бесстрастия. Ей отвечали невпопад, и она, прикладывая руки к груди, показывала, что все понимает.

Ни одной минуты Дарима Жигжитова не сидела без дела. Вначале Бадме, а потом всем раненым в палате она пришила заново пуговицы к рубашкам и кальсонам.

— Шурбеген-хап[1],— говорила она, показывая, как это крепко пришито.

Ночевала у Стеллы. Она никого не стесняла, внешне оставалась ко всему безучастной. И хотя Дарима Жигжитова совсем не была похожа на бабушку Любу, Юдин, все время их сравнивая, думал, что и впрямь все матери чем-то похожи друг на друга. И эта бурятская мать через некоторое время стала ему очень близка и необходима...

В маленькой комнатушке у Стеллы Дарима Жигжитова все же умудрилась приготовить саламат. Что это было за блюдо! Юдин съел три столовые ложки и сразу насытился. На вид это была белая творожная масса, плавающая в масле, на вкус она напоминала свежую рыбью печенку, сваренную в собственном жиру. Саламат таял во рту.

Бадма просвещал палату, объясняя способ приготовления. Способ был очень прост. Старая Дарима через Настеньку выпросила на кухне у Мэри Семеновны кастрюлю, налила туда сметаны и стала ее кипятить на плите. Сметану все время нужно было размешивать. Когда же она достаточно прокипела, Дарима ложку за ложкой сыпала в нее белую муку. Чтобы лучше выделялось масло, она добавляла немного холодной воды. Все это надо посолить, и блюдо готово.

---

[1] Шурбеген-хап — нитки из сухожилий животных, отличающиеся исключительной прочностью.

Угощая, Дарима раздувала щеки, и Юдин понимал, что если он часто будет есть саламат, то станет очень толстым.

Крячков осторожно чайной ложкой попробовал эту еду, и, видимо, она ему понравилась. Но съесть много он не мог и с тоской смотрел, как за обе щеки уплетали саламат Бадма и Шведик. Дарима одобрительно кивала головой. Ей нравилось, как ели эти двое. Она что-то весело сказала Бадме, показывая на Шведика. Шведик ей очень нравился. Он был черным, как бурят, ел саламат с аппетитом и все время улыбался красными, блестевшими от жира губами. Приходили пробовать саламат Лязер, Марина Степановна, Стелла и даже Мэри Семеновна.

Она важно отставила мизинчик и профессиональным взглядом посмотрела на кушание.

— Каша с маслом,— иронически сказала она, улыбаясь.

Все смотрели на руку Мэри Семеновны с отставленным мизинчиком и понимали, что от приговора этой женщины до некоторой степени зависит судьба саламата. Мэри Семеновна могла сказать, что саламат плох, и сметана, мука и масло, которые послал колхоз, в таком случае пошли бы на общий госпитальный склад.

Мэри Семеновна, наконец, поднесла ложку ко рту и несколько раз почмокала губами.

— Интересно, как это готовится?— спросила она безразличным тоном и зачерпнула из тарелки еще одну ложку. Это был первый случай, когда она спросила, как готовится блюдо.

Дарима и ей широко улыбалась, раздувая щеки. Пусть она ест саламат и будет еще толще. Бадма снова рассказал о способе приготовления саламата.

— Это вкусно и питательно,— заключила Мэри Семеновна.— Если бы были продукты, я с удовольствием кормила бы всех таким кушаньем. Чего проще. Вот я вам готовила какие блюда, и вы не ели, а к этому у вас появился аппетит.

И она ушла, несколько обиженная. Короче говоря, саламат был узаконен, и палата торжествовала.

Лязер и Марина Степановна во время утренних

обходов находили в тарелках свою порцию и тоже пристрастились к этому блюду.

Настенька быстро научилась готовить саламат, и, когда кончилась сметана, бегала на базар менять на сметану привезенное Даримой мясо.

Двенадцатая палата на первый взгляд оставалась той же. Но уже многое изменилось. Ничего для этого не делая и ничего не говоря, Дарима вполне заменила бабушку Любу и объединила около себя раненых. Скоро к ней настолько привыкли, что, казалось, она была здесь всегда.

Ее пробовали обучить русскому языку. Особенно рьяно старался Крячков. Ему и здесь нравилось быть учителем.

— Со-ло-мон,— прикрыв глаза, тщательно повторяла за ним Дарима, но звала Соломона «Шведха». Несмотря на свое трудное имя, он ей был очень по душе.

— Красная Армия,— повторяла Дарима, глядя в окно.

Мимо окон в полном боевом снаряжении уходила на фронт Сибирская дивизия. Играл духовой оркестр. Дарима в такт качала головой. Крячков с помощью Бадмы пытался ей объяснить положение на фронтах, но это было очень трудно. Он подходил на костылях к большой географической карте и, показывая красные флажки, говорил:

— Красная Армия...

Дарима радостно кивала головой. Это она понимала. Она научилась по утрам и в дневные часы неотрывно смотреть на черный круг репродуктора и вместе со всеми слушала сводки Совинформбюро. У нее вошло в привычку подходить потом к карте и смотреть, как передвигаются флажки. Красная Армия наступала, и флажки медленно подвигались к тому коричневому пятну, которое она звала «фашисты».

Крячков по собственной инициативе написал в палатный «Боевой листок» заметку. Он долго пыхтел на своем подоконнике и потом с излишней поспешностью сунул бумажку Шведику — редактору «Боевого листка». Заметка называлась: «Спасибо нашей маме». Шведик исправил: «В палату приехала мама». Юдину принесли доску, прикололи к ней кнопками чистый

лист бумаги. Он должен был сделать заголовки, рисунки и переписать текст заметок. Кстати, там была не только заметка Крячкова, но и заметка о Крячкове.

Дарима подолгу сидела около Юдина и смотрела, как он рисует левой рукой. Пальцы уже начали подчиняться ему. Они подхватывали карандаш, кисти, ручку и свободно водили ими по бумаге. В одном из рисунков она узнала себя, в другом — Крячкова. Она была восхищена работой Юдина и не знала, как ему угодить. «Боевой листок» вывесили для обозрения. Крячков был обозлен и грозился сорвать его. На зеленом шаре, который вертелся вокруг своей оси, был нарисован Крячков с летящими во все стороны костылями, кроватью, подушками. Заметка называлась: «Крутится-вертится». В скобках стояли шесть огромных вопросительных и восклицательных знаков. Крячков не любил застилать свою койку, и автор заметки грозил ему, что земля не потерпит этого и не захочет его держать на своей поверхности. Лицо Крячкова было схвачено очень тонко: с его удлиненным носом и небольшими, точно удивленными, глазами.

— Надо уважать критику. Это дружеский шарж,— спокойно резонерствовал Шведик.

— Я вот тебя ошарашу костылем,— обещал Крячков. Его больше всего возмущало сходство рисунка с его лицом и то, что это действительно выглядело смешно.

Но Дариме рисунки нравились. Крячков постепенно утихомирился и мрачно попросил Бадму, чтобы он не переводил матери содержание заметки.

Так как, кроме Шведика, из палаты в баню никто не ходил, то Настенька с Даримой мыли больным головы прямо в палате.

Однако Дарима предложила «Шведхе» вымыть и ему голову. Ей очень нравились его волосы. Они были жесткие, как у настоящего бурята, и курчавые, как у овцы. Вот у Коли были совсем другие волосы, светлые и мягкие, как городской шелк на дыгиле[1] у девушек. Голова у него была круглая, и сквозь мокрые волосы виднелась розовая кожа, как у молодого теленка. Дарима водила по его голове жесткими паль-

[1] Шелковый халат.

цами и все пришлепывала ладонями. Потом она уступала место Настеньке. Та протирала волосы полотенцем и причесывала их.

Дарима ко всем в палате относилась одинаково любовно, выделяя разве только Владьку, которого звала «Валатхой», и готова была закормить его саламатом. Саламат Владька полюбил и стал отказываться от другой еды. А вот когда ему мыли голову, он начинал плакать. Тогда прибегала разъяренная Стелла и отчитывала Настеньку. Но когда дело касалось Владьки, Настенька становилась упряма и не уступала Стелле.

— У него грязная голова, Стелла. Надо же ее помыть.

— Запрещаю это делать в палате,— кипятилась Стелла.

— Но была лишняя вода, а у него грязная...

— Буду докладывать комиссару. Ясно это вам?— Стелла переходила на «вы».

Дарима тем временем подкармливала Владьку саламатом, и тот затихал.

— Не смей ходить в палату, уходи отсюда сейчас же,— набрасывалась на него Стелла, не зная, на ком выместить свое раздражение.

Но здесь уже вступались раненые.

— Что ты, Стелла?

— Ты не трогай нашего джигита.

— Да нам без него тоска смертная.

Владька для раненых был единственным представителем того милого прошлого, довоенного, домашнего и родного, о котором тосковали не только отцы семейств, но и безусые юноши. Стелла понимала это и знала, что у Владьки всегда найдутся надежные защитники.

Стелла убегала, оставив Владьку, а через минуту забывала о нем, и ее переливчатый грудной смех раздавался по коридору.

Владька, несмотря на все «проработки», по-прежнему оставался «госпитальным ребенком». Как обязательная принадлежность, он переходил за Стеллой из отделения в отделение. Раненые любили Владьку, но его не портило это взрослое общество. Владькина грубоватость, его аппетит, доброта и нежность, Вла-

дькин смех и слезы — все это было по душе раненым. Палата оживала, когда туда вваливался Владька.

Юдин бесконечно мог смотреть, как мальчуган, сидя на полу между койками и оттопырив алые губы, играл. Он умел играть один, что-то бесконечно строгал, клеил, рисовал.

Старая Дарима подолгу разговаривала с Владькой по-бурятски. Он, открыв рот, слушал ее и, кажется, все хотел понять, что же она говорит. Но так как такие беседы всегда кончались угощением, то Владька к ним вполне привык и перестал удивляться. Дарима Жигжитова любила детей, как может любить старая бурятская женщина, которая хотела иметь много детей, а родила одного Бадму. Когда от Бадмы с фронта не было писем и она, ничем не болея, стала говорить о близкой своей смерти, ее отец Абзай строго прикрикнул:

— Зачем умирать будешь, Дарима? Я совсем старик, а умирать не хочу. Бадму ждать будем. Наши старики всегда говорили: кто умрет бездетным, то огонь его потухнет. А я хочу, чтобы мой огонь всегда горел.

И она терпеливо ждала. Она могла долго ждать, как каждая мать. Видно, суждено было, чтобы огонь ее не погас. Война отняла у Бадмы пальцы, и у него стали такие руки, как у маленького «Валатхи». Она очень любила своего Бадму, но, как у всякой матери, у нее в сердце было еще много места, и она полюбила за это время, как своих собственных детей, всех обитателей палаты.

Мать просила Бадму передать Коле и Крячкову, что они могут поехать с ними в колхоз. Их примет бурятский улус как родных. У нее в доме хватит для всех места. И она будет за ними ухаживать. А как бы обрадовался дед Абзай!

Так думала Дарима Жигжитова и недоумевала, почему все они отказывались и благодарили ее. Ведь Бадма называл их братьями. А братья должны жить вместе. Бадма говорил, что у них нет дома. А у нее большой дом и богатый колхоз. Разве мало в ее колхозе верблюдов, овец, коров? Разве мало пастбищ? Разве у нее такие слабые руки, чтобы не сделать всего необходимого для троих детей?

И Дарима разговаривала с Владькой, потому что взрослые, кроме Бадмы, не могли ее понять, а Бадма хотел разговаривать со своими товарищами.

* * *

Однажды Бадма сказал матери, что они могут ехать домой. Он прошел комиссию и был снят с военного учета. Это совпало с выпиской в строй Мити Кочубея, Вовки-полковника, коренастого крепыша Аверина — забойщика из Балая, скромного и молчаливого человека. Аверин получил очень тяжёлое ранение, и никто не надеялся не только на то, что он сможет вернуться на фронт, но даже на то, что его снова увидят на ногах. Подобно Папяну, он числился в безнадежных, и казалось — дни его были сочтены.

Марина Степановна имела все основания гордиться тем, что сама сделала Аверину операцию, извлекла два осколка. Но именно ей-то было особенно очевидно, что состояние раненого почти безнадежно. Аверин лежал в самом углу палаты. Как и всех, его возили на перевязки, и только тогда Юдин видел его лицо — лицо мертвеца. Аверин умирал медленно, тяжко. Ему не хотелось уже ни с кем разговаривать. Он даже редко стонал, и можно было только удивляться его выдержке. Но однажды, во время очередного обхода, Марина Степановна долго сидела у его постели, разговаривала с ним и ушла очень радостная и веселая. В тот день, когда Аверина везли на очередную перевязку, Юдин увидел его глаза, до неправдоподобности голубые, искрящиеся. И лицо Аверина, оставаясь таким же бледным, приобретало новое, живое выражение.

В этот день Марина Степановна возбужденно говорила Лязеру, Стелле, Настеньке:

— А знаете, Аверин будет жить, я это чувствую.

Лязер верил чутью Марины, оно уже не раз оправдывалось. Но все же Семен Наумович пошел в перевязочную, осмотрел рану Аверина, поговорил с ним, увидел его ясные детские глаза и удивился, что раньше не замечал их...

Лязер по опыту знал, что такая перемена может

быть и к худшему. Однако с этого дня Аверин стал поправляться. Через месяц он встал на ноги.

Аверин по-прежнему был молчалив, но теперь он улыбался. На целые дни он исчезал из палаты. Он пристроился к кухне, помогал чистить картофель, мыл посуду, лепил пельмени, молол специальной машинкой кости, яичную скорлупу, перебирал крупу, вообще не брезговал никакой работой. Мэри Семеновна кормила его, чем только могла, и, нужно отдать справедливость Аверину, он ел с таким аппетитом, на какой способны только забойщики.

Вскоре Аверин весил уже семьдесят пять кило, и Мэри Семеновна не могла нарадоваться на цвет его лица.

— Этот теперь повоюет,— говорил об Аверине Шведик.

А на самом деле всем в палате трудно было поверить в то, что перед ними «воскресший из мертвых» Аверин. Но это как-то придавало силы и уверенности даже тем, у кого не было рук и ног.

Для двенадцатой палаты — самой «тяжелой» в отделении — сегодня был большой праздник. На фронт уходили три товарища. Вместе с Авериным, Митей Кочубеем и Вовкой-полковником Бадма направился на вещевой склад: им там подбирали обмундирование. Тем, кто снова отправлялся на фронт, выдавали все новое. Но не так-то просто было найти одежду и обувь для Бадмы. А Бадма не хотел надевать старое. Такую одежду коротко называли «БУ» — бывшее в употреблении. Рассматривая ее, Жигжитов расстроился.

— Не могу я в колхоз так приехать,— говорил он комиссару, показывая починенные гражданские брюки.— Нашли же все новое Кочубею из нашей палаты.

— А если у нас нет? Ну, скажи, товарищ Жигжитов,— убеждал его Черемных, держа в руках брюки,— скажи, как быть, если у нас не хватает, если нужно на фронт? Не забывай, что Кочубей едет на фронт, а ты — в колхоз. А в колхозе-то знают, что ты не со свадьбы едешь, а с войны. Подумай лучше.

Бадма рассказал об этом матери. Та засмеялась. Пусть Бадма берет то, что ему дают. Значит, лучшего нет. Она ведь тоже была кладовщиком и знала, что

когда нет, так и взять неоткуда. И Бадма согласился. Однако согласился с тем условием, что пусть брюки будут старые, но военные. Не со свадьбы же он ехал, чтобы быть в гражданских брюках.

Сначала палата проводила тех, кто уходил в батальон выздоравливающих. Их должны были обмундировать в нижнем этаже и строем увести в казармы.

Прощание было очень коротким. Все трое — Аверин, Митя Кочубей и Вовка-полковник — сели рядом на одну кровать и походили в эту минуту на именинников. Пришел Черемных и многозначительно, тоном наказа, сказал:

— Чтобы до конца войны выдержали, товарищи! Мы верим, что вы будете воевать не за страх, а за совесть. Вы солдаты, которым теперь ничто не страшно. Самые злые воины — те, кто получил уже от врага раны. Желаю вам счастливой службы на благо нашему Отечеству.

Черемных пожал всем руки и сам проводил их вниз.

— Теперь они поживут в батальоне месяц, другой, и на фронт,— сказал Шведик.— А потом, глядишь, пройдет десяток лет, и вдруг по улице идет полковник. Ба! Кого мы видим? А это, оказывается, Вовка-полковник, бывший кочегар, а ныне Герой Советского Союза. Ну? Представляете?— Шведик обвел палату глазами и понял, что раненые вполне представляли себе такую картину. Все улыбались.

Через час Настенька принесла в палату узел с обмундированием для Бадмы Жигжитова. Тут было все, что положено иметь солдату. Обмундирование вначале попало к Дариме. Та закрепила на нем все пуговицы своими вечными нитками и даже пришила по двугривенному на плечи. Так она делала всегда, когда покупала Бадме новую одежду. Тут Бадма не противился: мать была уверена, что это на счастье. Такие же серебряные монеты она пришивала ему к письмам на фронт: тоже на счастье.

Он надел костюм и ботинки. Крячков помог закрутить обмотки.

— Это я тебе надел, чтобы держалось до самого дома. Не снимай,— сказал он.

Бадма сидел на кровати Юдина, одетый, как жених. Свою кровать — в последний раз — он застелил по всем правилам, «конвертом». И теперь задумчиво глядел на нее. Делать больше было нечего. Впервые опустив руки, сидела и Дарима. Она смотрела на сына. Бадма был скучным, и ей стало не по себе...

Пришла Стелла с гитарой. Она иногда пела в своих палатах, и раненые любили ее слушать. На этот раз она пела: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море...» И всем стало немножко грустно. У Юдина тоскливо засосало сердце.

— Уедешь и забудешь, что вместе здесь лежали,— сказал он Бадме.

— Я-то не забуду, ты забудешь.

— Ну, у нас с тобой память крепкая,— Юдин положил свою руку на руку Бадмы.

— Я буду писать, отвечай, Коля.

— Обязательно. Давай, на счастье, с серебряными монетами, а?

— Это мама будет пришивать. От нее приветы получать будешь. Она ведь не напишет.

— Видишь, с песнями тебя провожаем, жаль, что без вина.

— Я у себя дарасуна выпью. Вас вспомню.

— Да. Бадма, а что же с твоей усадьбой делать?— вспомнил Юдин.

— Комиссар просил ее оставить на выставке работ больных. Оставь, Бадма,— попросила Стелла.— Мы из своего отделения не выпустим.

В этом можно было не сомневаться. Стелла никогда ничего не выпускала из своего отделения. Стенные газеты, боевые листки, письма к раненым, фотографии — все это тщательно сохранялось в «культшкафу». Культшкафом служил старинный купеческий буфет, говорят, из особняка миллионера Второва, чудом сохранившийся до наших дней и подаренный госпиталю какой-то кооперативной организацией. Стелла хранила в этом буфете не только культимущество, но секвестры[1] и осколки от снарядов и мин, пули, извлеченные на операциях. Она сделала несколько досок, на которых тщательным образом смонтировала все

[1] Обломки костей.

это. Под каждым осколком, пулей или кусочком кости значилась фамилия, было указано, на каком фронте получено ранение, откуда раненый родом, когда и кто делал ему операцию.

— Вы не думайте, все это пригодится. Я бы даже специальный музей сделала, чтобы потомки смотрели и видели, как люди воевали за их счастье, сколько вытерпели,— говорила Стелла.— Я бы этот музей в Москве открыла, чтобы каждый мог приехать и посмотреть. Не только наш человек, но и буржуй из-за границы. А то у них память короткая, забудут и станут говорить, что вместе страдали.

Естественно, Стелле не хотелось выпустить из своего отделения и этот чудесный домик, сделанный Юдиным и Бадмой. Но в самую последнюю минуту, когда уже будто само собой разумелось, что «усадьба» Бадмы останется здесь, Юдин сказал:

— Знаешь, что я придумал, Бадма? Давай-ка подарим макет Василию Герасимовичу. Он у нас с тобой заслужил. Ему лучшего подарка не выдумаешь. Ведь это его руками сделано.

И тут даже Стелла не нашла, что возразить. На том и порешили.

Еще слушали пение Стеллы, еще доедал последний саламат Владька, еще сидела в неподвижности Дарима Жигжитова, но все чувствовали, что подходят последние минуты и они расстанутся с этой старой доброй женщиной, похожей на мужчину, и ее сыном, похожим на девушку.

Во дворе уже запрягали лошадей. Туда ушла Настенька узнать, когда можно будет ехать на вокзал.

— Обязательно учись, Бадма,— напутствовал товарища Юдин.

— Это ты будь уверен! Зиму и лето я поработаю в колхозе, а осенью уеду в Читу, у нас там педагогический институт. И от своих недалеко.

— Может, встретимся еще. Помнишь, как в операционной лежали рядом?

Юдину хотелось неотрывно смотреть на круглое лицо этого мальчика, у которого были такие же руки, как у него.

И вот вернулась Настенька. Лошади готовы. Нача-

лось прощание. Владька ничего не понимал. Он тоже хотел ехать и не отходил от Даримы. Он держал ее за халат, а она по очереди обходила всех и молча подавала жесткую натруженную руку.

— Ая-я-я-я! Будь здоровый,— говорила она бесстрастным тоном.

Она долго держала руку Юдина, гладила, и по щекам у нее текли слезы. А лицо было по-прежнему спокойным.

Бадма наклонился и крепко поцеловал Юдина.

Через несколько минут Шведик, Крячков и Владька из окна двенадцатой палаты видели, как показались монгольские лошаденки, запряженные в санитарные повозки. На повозках, тесно прижавшись друг к другу, ехали инвалиды войны. Они смотрели в окна госпиталя и прощально размахивали костылями и тросточками. Вслед за ними строем шло человек сорок, и где-то в этом строю Вовка-полковник, Митя Кочубей и Аверин.

Выдался теплый день. Задумчиво и лениво падал снежок. На мостовой стоял дед Микола с деревянной лопатой. Он не работал, а просто стоял наготове и, видимо, ждал, когда же перестанет идти снег. А снег все шел и шел. Крыши сверкали белизной, и даже из окна было видно, какой мягкой и пушистой стала мостовая.

Владька прижался носом к окну, высматривая знакомых. И вот кто-то первый сказал:

— Наши!

На одной повозке сидели Бадма с матерью и Настенька. Дарима Жигжитова курила трубку, и все удивлялись этому. В палате ее никто не видел с трубкой. Ее сходство с мужчиной еще увеличилось. И Дарима Жигжитова, и Бадма, и Настенька смотрели на окна двенадцатой палаты и размахивали руками. Настенька сняла шапку, и волосы ее моментально стали белыми от снега. Она что-то кричала. Дед Микола сорвался с места и быстро пошел за повозкой. Он тоже снял шапку и помахал ею над головой.

В строю выделялась фигура Мити Кочубея — он был выше всех, а по бокам шагали коренастые и низкорослые Вовка-полковник и Аверин.

Юдин остро чувствовал простые радости жизни. Он ценил сон, потому что засыпал только утомленным, он ел тогда, когда был голоден. Физкультурная зарядка, умывание, баня, чистое белье — все это доставляло ему удовольствие. Так было всегда. В госпитале многое изменилось. Он уже спал по необходимости, сон не освежал головы, а по утрам появлялась вялость. Ел он без аппетита. Зря в свое время старались бабушка Люба и Мэри Семеновна, придумывая разные изысканные блюда. На вид все это казалось заманчивым, а во рту вызывало неприятный привкус. Он уже забыл, как умывался, как чистил зубы, как с удовольствием ощупывал бицепсы по утрам. Вместо всего этого лицо ему вытирали теплым полотенцем, такой же теплой водой он полоскал рот и с боязнью смотрел на свои худые руки.

Так было очень долго. Потом он стал замечать: то, что он называл «простыми радостями жизни», возвращалось к нему. Настал день, когда, склонившись над тазом, Настенька плеснула ему в лицо пригоршню холодной воды, и он попросил Настеньку, чтобы она полила воды на шею. Был день, когда он вновь взял в руку зубную щетку и почувствовал во рту освежающую прохладу мяты; был день, когда после большого перерыва он держал в руках кисть, карандаш, палитру и потом с аппетитом ел кислые постные щи. Наконец, настал и такой день, когда ему сказали, что сегодня его понесут в баню. Может быть, только тогда со всей силой он почувствовал, как зудит у него тело, как давно он не мылся по-настоящему.

Разве могут обтирания влажным полотенцем сравниться с тазом горячей, обжигающей воды.

Юдин волновался. Он вспоминал все бани, в которых ему когда-либо приходилось мыться. И бани по-черному на Байкале, и бани в сибирском городке, где он учился в средней школе, и студенческую московскую, и знаменитые Сандуновские, куда ходил вместе с Жаричем. Всюду была своя особенность. На Байкале он выскакивал из бани прямо на снег и так глубоко дышал морозным воздухом, от его разгоряченного тела валил такой пар, что казалось — тело на-

долго вбирало в себя всю свежесть зимы, всю упругость и бодрость молодого снежка.

Но особенно запомнились ему Сандуновские бани. Там Жарич показал ему, что такое настоящая баня. Он налил в таз немного воды, пустил туда кусок мыла и взбил такую пену, что она стала вываливаться через край. В этой пене Жарич выглядел, как снежный богатырь, на скорую руку сделанный ребятами. Жарич заставлял Юдина переворачиваться на лавке, пригоршнями кидал на него мыльные хлопья и равномерно растирал тело мочалкой. Но этим не кончалось. Было еще обливание ледяной водой, еще сидели на мягком диване, закутанные в новые хрустящие простыни, и пили пиво.

Перебирая теперь все в памяти, Юдин просто начал бредить баней. Ему казалось, что и снаружи и внутри у него образовалась какая-то корка.

Сегодня был небанный день. Юдин должен был мыться один. Его раздела крупная женщина с рябым добрым лицом. Он стеснялся ее, но она грубовато сказала:

— Вот еще нежности! Не видала я тут вашего брата. На всю жизнь насмотрелась.

Она подхватила его на руки и, тяжело ступая большими мокрыми шлепанцами, понесла в моечную.

Вслед за ними приоткрылась дверь, и показалась голова деда Миколы, сторожа контрольной будки. Елейным голоском он попросил:

— Ксаночка, касаточка, ты разреши мне с хлопчиком вместе помыться. Сама знаешь, у городу в банях народу пропасть, а мне ждать некогда.

— Давай, давай, дедушка!

— Ах, спасибо тебе, касаточка.

Дед Микола разделся с чудодейственной быстротой и, жилистый, очень смешной, с длинными, как косички, усами, вертелся около Ксении.

— А ты давай, касаточка, я помою хлопчика сам. Да и мыльца у меня нет, вот мы и помоемся его кусочком.

Ксения уже обвязала Юдину белой клеенкой культи. Хотя они зажили, Стелла наказала поберечь их.

— Ну, что же, дедушка,— согласилась Ксения,— я знаю, ты мастер на это.

И дед Микола стал хлопотать около Юдина.

Тело у деда Миколы еще крепкое и очень белое, лицо румяное, обветренное, блестящая розовая лысина, по шее проходит четкая линия загара. Кажется, что голова приставлена к чужому телу.

— Ишь ты, как покалечило тебя, дитятко. Война проклятая. Ты водичку любишь горячую?

— Горячую, дедушка. Вы дайте мне таз, я мыльную пену разведу.

Дед Микола молча и недоверчиво смотрел, качая головой:

— Эх, изводишь мыло, сынок. Рази же так можно? Мыло сейчас дорогое.

— Ничего, я давно не мылся.— Юдин даже неловко почувствовал себя от такой расточительности.— Друг у меня один был, дедушка. Он научил меня. Сильно любил в бане мыться.

— Это так, а все-таки мыльца жаль. Хороший человек завсегда в бане любит помыться. Тело у него в чистоте, и на душе спокойно, и в мыслях порядок. Значит, тебя этой мыльцой и оттирать?

Юдин отдал себя на волю деда Миколы, и тот осторожно, точно боясь разбить, взял его левую руку и сокрушенно вздохнул:

— Де-ла! Какие дела! — Он медленно тер мочалкой руку и говорил:— Кость в тебе широкая, здоровая. А человек завсегда за счет кости живет.

— Мяса мало, дедушка. Поубавили меня.

— Оно так! Но на такую кость непременно мясо нарастет. Плечи у тебя, как коромысла. Видать, крепенький дубок был ты!

— Был, дедушка,— вздохнул Юдин.

— Ну, ну, дубок, дитятко, деревцо могутное, он далеко в землю корни пускает. А с корнями ни в жисть дубок не гибнет, стоит сотни лет.

— Да нет, теперь, дедушка, не погибну. Раз такое пережил, то хочу еще пожить.

— И живи, и живи, касатик мой. Ты на каком фронте ранен был?

— На Сталинградском.

— Ох, ты!— обрадовался дед Микола.— Ты случаем моих хлопчиков Бориса та Степана по фамилии Таранущенко не встречал?

И дед Микола перешел на любимую тему — о сыновьях, о себе, о людях.

Они у него, сыновья, такие же лысые, как он. Уже в двадцать лет облысели — такая порода. А здоровяки... рукастые. Дед Микола потряс ручищами, которые были удивительны на его маленьком жилистом теле. Втроем работали по плотницкому делу. Сколько домов поставили! А теперь он без них — куда годится. Вот к госпиталю и пристроился. И то сказать: здесь он хлеб даром не ест. Сутки в контрольной будке сидит, два дня отдыхает, да какой там отдых! То метлы делает, то лопаты, то снег сгребает. А кто на кухне листы для пирожков поделал? А кто эти тазы поделал? Столярное ремесло тоже из рук у него не выпадает. Комиссар попросил его — так он все гитары и балалайки склеил. Вот потребовалось Семену Наумовичу подставку сделать для ног в операционную, опять же попросили деда Миколу. Так он ему какую подставку сделал? Со ступеньками, с барьерчиком, чтобы не оступился, не упал. А щиты раненым, лежачим? Как в люльке, в этих щитах раненые лежат. Щиты разборные, легкие, и материала на них мало идет. А материал где сейчас взять? Только у него, у деда Миколы, материал есть. Каждую щепочку, гвоздик, шуруп, железину — все он приберет и сохранит. Поначалу смеялись над ним, скрягой считали, а потом уважать стали. В прошлом году картошку надо было садить — лопат нет. Опять дед Микола. Огребать надо — тяпок нет. Так он что сделал?.. Старые косы валялись, поржавевшие, поломанные, но стальные, крепкие. Вот и приспособился из них тяпки делать. Да какие тяпки! Острые, в работе легкие. Ну и благодарности ему за это было немало от сестер и санитарок. Картошка и все овощи их руками обрабатывались. И то посмотрит дед Микола — девчушки эти сильно старательные. Им бы еще в школу бегать, а они и день и ночь на работе. Они продукты возят, и уголь госпиталю заготавливают, и сено летом косят, и картошку всю зиму перебирают. Тут вот одна девушка сильно уж ему нравится. Такая ласковая, такая уважительная. Ну, как родное дитя. Настенька ее зовут. Может, сынок знает ее? А ведь на вид ей в куклы еще играть. Или вот Стелла. Эта такая добрая, все с себя

человеку отдаст. Весь интерес у нее только в работе. Горячая она, Стелка. В работе пощады себе не знает. Вот одна беда — сынишку блюсти не умеет. Повезло сейчас ей: Настенька попала, квартирантка хорошая. Она и спать его уложит, и, наконец, накормит, и бельишко постирает. Да и ему, деду Миколе, тоже по пути сполоснет портки и рубашки. Безродный он теперь совсем. Невестки в деревню жить уехали с внучатами. А с невестками без сыновей — известно какое житье. Ведь они как думают: если ему семьдесят лет, так он ляжет на печь и ухаживай за ним. Слушаться его не хотят, думают, что умнее его, старика. А у деда Миколы — гордость. Вот и живет один. Ну, в госпитале теперь узнали его. Теперь даже чужие люди зовут его к себе. Тут бурятка одна из колхоза приехала к сыну. У сынка-то тоже руки покалечило, и пальцы ему тут, в госпитале, сделали. Так вот эта бурятка как посмотрела на его, деда Миколы, работу, так и пристала: поедем и поедем к нам в колхоз. Тут один бурят-рабочий есть, ленится и спать любит. Так она его по-своему, по-бурятски так ругала, а деда Миколу зазовет к Стелле и через этого бурята уговаривает с ней ехать. У ней, у бурятки этой, тоже старичок отец есть. Вместе, говорит, с ним и жить будешь. Едой бурятской угощала. Вкусно, но продукту много хорошего идет. Саламатом это зовется. Сметана туда требуется да мука белая. Конечно, на такой еде жить можно еще лет тридцать, а то и все сорок. Порода у него долголетняя. Но уезжать ему не хочется, сильно к госпиталю привык. Да и ни в жисть его не отпустят отсюда: госпиталь без него пропал...

Дед Микола говорил своим елейным голоском, а руки его в это время не переставали работать. Он уже не дотрагивался до Юдина с осторожностью, как вначале, а растирал его тело плавными сильными движениями. И Юдин чувствовал, как расправляется тело, как исчезает в нем ощущение скованности, вялости.

— Мне главное — на людях жить,— рассуждал дед Микола,— я людей всяких люблю. Для меня нет татарина, бурята или там киргиза, был бы человек. Я и немца раньше за человека считал. Вот те честное слово! Мне комиссар газетки дает, я читаю, а глазам своим не верю, думаю, не может быть, чтобы человек

до такого дошел. Раненые приезжают, я их пытаю: мол, расскажи, как там себя немцы ведут, а они и говорить о них спокойно не могут. Где там! Фашист все забыл, все истоптал, сколько людей страдать заставил. Вот я и раскусил, что оно такое фашист... А теперь горяченькой или постуднее?

— Горяченькой, дедушка!

— Это кость у тебя отпарки просит. А кости отпаришь, все дело поправишь. Веничком бы тебя сейчас. Хорошо! Мой покойный родитель, так тот крапивкой парился. Чуток ошпарит ее и похлещет себя. Кожа — она вроде как сырая делается, а потом расправится, гладкая, красная, как второй раз родился.

— Неужели крапивой?— удивился Юдин и недоверчиво улыбнулся. Нет, не все он знает о банях, не все.

Вот бы Жаричу рассказать.

— Крапивкой, крапивкой. В ней зло есть, вот зло злом и вышибает. Человек после бани навсегда добрым становится. Душа у человека прохладу любит, а кость — жар. Вот мой покойный родитель — человек был до ужасти серьезный. Все Таранущенки такие. Ежели ты ему соврал или схитрил с ним... и-и, лучше не показывайся. Я перед ним страх до сих пор имею. А вот придет после бани — добрый, ласковый, обходительный... Ты сам-то родом откуда будешь?

— Да здесь недалеко родился, на Байкале, в Семисоснах. Может быть, слыхали?

— Нет, дитятко, не слыхал про Семисосны, не слыхал. Но все равно сибиряк. Вот у нас все говорят: сибиряк, сибиряк. Он и работать и воевать, и человек здоровый, отборный. А кто он есть такой — сибиряк? Да тот же русский человек. Или вот, как я, украинец. Откуда он такой взялся? Скажи ты мне! А вот я тебе скажу.

Дед Микола подошел к кранам, налил воды, окатил Юдина и сам уже стал разводить в тазу мыло.

— Я тебе скажу,— взбивая пену, говорил он. На его лысине выступили мелкие капли пота, на щеках играл румянец, веселые с хитринкой глазки светились лукавством.— Вот, скажем, я сибиряк, мои сыны и подавно, потому — здесь родились. Вот ты сибиряк и отец твой. Нам эту Сибирь обживать надо было,

лес корчевать, хату рубить, долгую зиму в избу загонять. Чтобы у тебя хлеб был, дрова были, сено, мясо, картошка, мед, рыба, дичина. Так вот он, сибиряк, с природой и боролся. Он и хлебопашец, и охотник, и рыбак, и плотник. И все должен уметь делать хорошо, не шаляй-валяй. Так и приучился с малолетства: что делаешь — делай лучше. Да не бойся морозов, или пути длинного, или зверя лютого. Так-то вот... Давай-ка спинку обработаю! Э-эх, хорошо, хорошо, хорошо! Венчиком бы тебя сейчас, дитятко, хватануть. Я вот начальство спрашивал: почему, говорю, в госпиталях больному человеку париться нельзя? Вредно, говорят. Это больному-то вредно... Э-эх! Понятие у них какое. Они думают так: уклади больного на кровать, дай ему лекарств, и все. А по мне, так наоборот — полок мягче перин. Я бы и веничков изделал: знай парься, знай отводи душу! Мой покойный родитель...

Но дед Микола так и не успел закончить. От двери Ксения крикнула:

— Заговоришь ты его, дедушка, и замоешь. Давай кончай, а то воду горячую выключат, сам не успеешь помыться. Ишь, как натер его докрасна, и не узнаешь человека.

— Ну, ну, Ксаночка! Мы в одну минуту. Я покличу тебя,— и снова обернулся к Юдину:— Тебе бы сейчас винца после баньки. Доктора — они против этого, а по мне, так лучшего и нет. Мир другим покажется. Вот теперь еще горяченькой тебя ополоснем, и делу конец. Так-то вот.

— Ну, что опять тут?— входя в моечную, рассерженно спросила Ксения.— Ну, и говорун ты, дед Микола. Тебя до человека хоть не допускай. Кончил мыть-то его или все побасенки рассказывал?

— Закончили, закончили, Ксаночка.— Дед Микола подмигнул Юдину.— Не сердись, касаточка. Ему, человеку больному, помыться очень пользительно. Не сердись, Ксаночка. Я тебе вот сюда решеточки на пол поделаю. А то ведь и упасть можно.

— Ну ладно,— смягчилась Ксения,— хитрый ты, дед Микола. На тебя и сердиться-то толком нельзя.

Ксения развязала на культях у Юдина клеенку, опять взяла его на руки и понесла.

— Спасибо вам, дедушка!— сказал Юдин.

Дед Микола пошел за ними и крикнул:

— А ты из какой палаты будешь, дитятко, как твоя фамилия?

— Из двенадцатой, Юдин Николай. Приходи в гости, дедушка!

— Приду, обязательно приду.

Спустя минуту Юдин держал в руках пару чистого белья.

Он сам натянул кальсоны, сложил их возле культей и завязал. Рубашку на него надела Ксения. Он похлопал себя по груди и глубоко вдохнул воздух. В груди было легко и чисто. Неужели к нему возвратились незабываемые дни, когда он мылся с Жаричем?

Он глядел на руки Ксении с белыми пальцами, изъеденными водой и мылом.

— Пальцы-то у вас попортило,— сочувственно сказал Юдин.

— Ничего, они у меня привыкли, каждый день раненых мою.

Юдин украдкой взглянул на левую свою руку. Он теперь это делал очень часто. Может быть, все сравнивал или хотел привыкнуть к ее виду. Но на этот раз она показалась ему более осмысленной, а главное, она уже не мешала.

Из моечной доносились всплески воды, кряхтение деда Миколы и восхищенные восклицания:

— А-а, хорошо, хорошо, хорошо!

Потом в дверь высунулась розовая лысая голова.

— Ксаночка, возьми обмылочек. С меня хватит.

— Ну вот,— сердито отрубила Ксения,— будешь теперь приставать с обмылочками. Бери его себе!

— Ну и спасибо, ну и спасибо,— миролюбиво сказал дед Микола.— Решеточки тебе обязательно поделаю, а то, неровен час, кто-нибудь упадет.— Голова деда Миколы осторожно скрылась.

Ксения улыбнулась и покачала головой.

— Чудак он у нас, дедушка,— ласково сказала она.— Я тут все раненых с поезда принимаю, так он каждый раз придет и осторожно так спросит: «Тут, случаем, Ксаночка, моих хлопчиков Бориса та Степана не привезли? По фамилии Таранущенко?» Как будто я фамилии его не знаю. Чудак.

В палате Юдина ждала Настенька. Она только что

принесла обед. Суп не успел еще остыть. На тарелке разложена поджаренная рыба с кружочками лука.

— С легким паром,— улыбаясь глазами и любуясь посвежевшим лицом Юдина, сказала Настенька.

«Боже мой, какие у нее глаза большие»,— подумал Юдин.

— Как помылись? Я вам тут принесла еще что-то: подарок от Мэри Семеновны.

— Помылся хорошо! Меня мыл знаешь кто? Дед Микола.

— А-а! — обрадовалась Настенька. — Дедушка Миколай,— с таким же ласковым выражением, как Ксения, сказала она.

— А подарок, Настя?

— Вот он,— она вытащила руку из-за спины и поставила на тумбочку маленький графин с темно-красным вином.

— Ах, удружила, ах, Мария Семеновна,— восхищался Юдин.— Как кстати после бани.

— Это она нарочно вам, а вы думали?..

Настенька так и светилась вся радостью. Она смотрела в черные глубокие глаза Юдина. Они блестели молодо и никогда еще не были такими красивыми.

Юдин налил вино в рюмку, взял ее в левую руку, посмотрел на свет, понюхал. Пахло превосходно.

— Ну, друзья,— обводя всю палату счастливыми возбужденными глазами, сказал Юдин,— с легким паром меня и за наше общее здоровье.

* * *

Снег давно сошел, и теперь, кажется, пришла настоящая весна. Хотя деревья кругом еще почти голые, но соседнее поле стадиона покрылось нежнейшим налетом зелени. Земля дышит теплом. В госпитале все раненые толпятся у раскрытых окон, сидят на подоконниках. Уже изобретены средства сообщения с улицей. Со всех этажей на веревочках и нитках — в спичечных коробках — то опускается, то поднимается «почта». Около госпиталя снуют ребятишки, готовые исполнять любые поручения. Проходящие мимо девушки получают записки от раненых.

Соломон Шведик просит в своих записках девушек прийти в воскресный день в госпиталь и вызвать из двенадцатой палаты именно его, Шведика. Он подробно указывает свои приметы: «черные курчавые волосы, широкоплечий, подпоясанный розовым бархатным кушаком». Видимо, приходят и ответы: смолистая голова Шведика все чаще мелькает в окне. Он строчит новые послания и вынимает из доставленных снизу спичечных коробок аккуратно сложенные треугольники.

. Глядя на него, не выдерживает и Крячков. Он тоже отправляет вниз записку весьма знаменательного содержания:

«Дорогая и малоизвестная гражданка. Вот уже восьмой месяц я томлюсь от ран, полученных в жестоких боях. Я круглый сирота, у меня никого нет. Очень желаю с вами познакомиться и провести время. Намерения мои серьезные, вы так и знайте. Из армии буду списан по чистой, а потому прошу сообщить, где вы живете, с кем, есть ли у вас родители, хозяйство. Я очень люблю заниматься хозяйством, и если мы поймем друг друга, то вы никогда не будете жалеть о сегодняшнем дне. С нетерпением жду вашего решающего слова в виде записочки на второй этаж окно от угла».

Этой записке суждено было попасть в руки Черемных.

В госпитале побаивались строгого комиссара, и, хотя в записке не была указана фамилия автора, тем не менее Крячков сразу приуныл.

Раненые, завидев Черемных, бросили свои наблюдательные пункты и скрылись в палатах. Каждый понимал, что торчать в окнах в халатах, а то и просто в нижнем белье неприлично.

Но всех тянула к себе улица. На заборы госпиталя тоже взбирались раненые и вели беседы с прохожими.

Одна женщина со слезами на глазах рассказывала раненому в тюбетейке, искусно сделанной из цветной бумаги:

— Вот получила я это письмо год тому назад. Ваш сын, пишут, ранен в голову и отправлен в госпиталь. А потом приходит другое письмо от девушки с полевой почты, а та пишет, что Вася мой ранен в грудь

и умер на поле боя. Потом получаю денежный перевод на тысячу рублей, а на обороте перевода указано: «За проданные вещи». А какие у Васи вещи могли быть, не знаю. И вот сколько с тех пор ни пишу, а ответа нет. Хоть бы извещение послали да указали, где похоронен. А сама-то поверить в это не могу. Ну как тут поверить? Вот вы были на фронте, скажите мне, как бывает?

— По-всякому, — рассудительно отвечает раненый.— Конечно, иногда и путают. Да вот посмотрите.— Он достает из халата сверток в тряпочке, вытаскивает оттуда бумажки и протягивает женщине: — Моей мамаше уже три раза извещения о моей смерти посылали, а я вот жив. А дело тут в чем? Тебя ранило, а ты попал в другой медсанбат, скажем, не твоей части, а в твоей тебя за мертвого считают. Может еще писарь спутать. Вот, значит, если верить этим бумагам, то я три раза убит. На память их таскаю. А мать что пережила! Так до сих пор не верит, что я живой, сейчас вот адрес узнала и пишет мне каждый день. Может, еще и у вас так будет.

— Ми-лый, да если бы так, я бы на край света за Васей съездила. Спасибо вам на добром слове.

Раненый взглянул в сторону, увидел комиссара. Тот стоял и невозмутимо слушал весь этот разговор. Так как висеть на заборах строго запрещалось, то парень в тюбетейке, моментально выхватив у женщины свои бумаги, скрылся за забором. Все это произошло в одно мгновение, и женщина стояла в большом смущенье и растерянности. Она все еще смотрела на то место, где минуту тому назад красовалась физиономия раненого. Туда же смотрел и Черемных.

Сомнения быть не могло — это был Шведик. Черемных только не понимал: с какой чудодейственной быстротой Шведик мог очутиться на заборе, если пять минут тому назад, без этой шутовской тюбетейки на голове, он перебрасывался записками из окон своей палаты.

Комиссар вернулся в свой кабинет и велел вызвать Шведика. Когда тот явился, Черемных рассматривал какую-то бумагу на столе, и его тяжелые руки точно придавливали маленький стол на резных ножках.

— Вы почему, товарищ Шведик, торчите в окнах,

на заборах, носите какие-то шутовские колпаки и передаете записки, которые без стыда нельзя читать?

Шведик смотрел невинными, до крайности удивленными глазами.

— Что вы, товарищ комиссар, я может, и взглянул один раз на улицу, но чтобы на заборах и, как вы говорите, колпаки какие-то носить, то, честное слово...

— Значит, по-вашему, это не вы разговаривали только что с женщиной через забор?

Шведик на секунду задумался и, видимо, решил идти напролом.

— Что вы, товарищ комиссар!

— А эту записку тоже не вы писали?

Шведик внимательно прочел записку и побагровел от возмущения.

— Да за кого вы меня принимаете, товарищ комиссар? Такую записку писать — да еще о корове спрашивать! Я не могу...

Он был не на шутку обижен, и Черемных стал уже сомневаться в его виновности.

— Значит, и на заборе были не вы, и в окне были не вы, все это напутал я?

Шведик повинно опустил большую голову и глухо закашлялся.

— Нет, не напутали. С женщиной разговаривал я. И записку писал, но не эту.

— А эту кто?

— Не знаю.

Спрашивать дальше было бесполезно, и Черемных отпустил Шведика. Тот пришел в палату с напускной веселостью и звучно выкрикнул:

— Ох, отбрили меня...

Потом он подошел к Крячкову и мрачно прошептал на ухо:

— Иди сейчас же к комиссару, он приготовил для тебя невесту с коровой.

* * *

Ночью Юдин не мог заснуть. Страстно хотел и не мог. Ему надоело лежать с закрытыми глазами, и он сел, чувствуя, как громко стучит сердце. День прошел так же монотонно и однообразно, как и многие дру-

гие — почему же так тревожно колотится сердце. Ведь ничего особенного не случилось.

Нет, неправда. Сегодня произошло то, чего он ждал очень долго. Вот здесь, рядом, стоят его протезы. Он почему-то боится на них взглянуть. Сколько раз за это время он видел себя во сне — всегда с ногами, с собственными ногами, на которых были настоящие пальцы, и они всегда шевелились.

Мать говорила, что у него «каменный» сон. Достаточно ему было лечь на подушку, и через минуту он спал. И ночь проходила как одна минута. Он просыпался утром свежий, немного удивленный, что ночь кончилась.

Теперь пришли к нему сны и бесконечные ночи. Теперь он тоже летал по воздуху, боясь задеть ногами телеграфные провода, бегал с засученными мокрыми штанами на рыбалку, ходил по горячим от солнца камешкам, купался в реке, вылезая из воды, насыпал на ноги теплый песок. Брал его в ладони пригоршнями, сыпучий, ускользающий между пальцами, и выпускал тонкими золотыми струйками на ноги. Они совсем покрывались песком, он легонько шевелил пальцами, песок осыпался, и они снова обнажались — его ноги со смешными коротковатыми пальцами, застрявший песок приятно щекотал их. И так без конца.

Но сегодня он не мог заснуть. Ноги стояли здесь рядом, чужие и страшные.

В палате, кроме Юдина и Шведика, никого не осталось. Санитарных поездов давно не приходило.

Даже Крячков, получив протез, сходил к комиссару и устроился на работу здесь же в госпитале. Он дежурил по очереди с дедом Миколой в контрольной будке и по совместительству был начальником пожарной охраны. Дело свое он любил, и вскоре все в госпитале почувствовали, что старая беспечная жизнь кончилась. Как неусыпный страж, ходил Крячков по этажам, ловил на месте преступления курильщиков и доставлял к комиссару. В коридорах появились ящики с песком, лопаточки, доски с противопожарным оборудованием, огнетушители. Крячков непрестанно наступал на комиссара, на начальника госпиталя и требовал методично, спокойно, изо дня в день «все, что положено по закону».

— Я кто? — говорил он Юдину.— Я начальник пожарной охраны. — Он поднимал палец.— Должность! Это тебе не то что на вышке стоять в районном центре.

Крячков при этом умалчивал, что в штате госпиталя он числился просто дежурным пожарным. Его это нисколько не смущало. Он сам поверил в то, что отныне он начальник, и соответственно своему положению он стал еще более спокойным и убедительным тоном разговаривать с людьми. Даже с дедом Миколой он вел себя покровительственно, как с младшим по должности. Одно смущало Крячкова: протез ему сделали на скорую руку, и он не мог привыкнуть к нему. Поэтому только в контрольной будке он был на протезе, а когда исполнял свою должность начальника пожарной охраны, то чаще всего быстро, вприпрыжку передвигался на костылях.

Он часто заходил в двенадцатую палату и здесь разрешал себе быть прежним Крячковым — не начальником.

— Мне бы сейчас что? Мне бы специальность себе приобрести. Мне вон по крышам, по чердакам да по лестницам надо лазить, а я что? Душа-то у меня болит. Чердаков я не вижу. А оттуда для нашего пожарного дела все беды.

Но однажды Крячков пришел в гости веселый, возбужденный:

— Я теперь, брат, что? Я, брат, курсант. На курсы, понимаешь, пчеловодов пошел. Комиссар-то у нас! Головастый. Пооткрывал в госпитале курсов для инвалидов: тут тебе и сапожники, и, значит, трактористы, и на торговое дело обучают, и в колхозы счетоводов, и нашего брата — пчеловода. Ты скажи на милость: пчела, букашка ведь, а какая разумная тварь. Про нее много знать надо, ох много. Но я что? Я к науке способный, жадный я к науке.

С этого времени Крячков о себе говорил не иначе, как о пчеловоде, и отдался новому делу с необыкновенным увлечением. У него снова отросли буйные рыжие волосы — прямые, жесткие, о которые ломались расчески. По ярко-рыжей шевелюре раненые узнавали Крячкова еще издали и прятали в рукава халатов папиросы. Не раз Крячков чутким носом ло-

вил подозрительный запах горелой тряпки и бегал на костылях, взъерошенный, тревожный, и его голова мелькала, как горящий костер. Но со временем Крячкова стало уже невозможно провести: он без всяких предисловий осматривал у раненых рукава халатов и находил виновного.

...Сквозь длинное узкое окно с вычурными переплетами падала полоса света на тумбочку и порог. Свет переливался золотыми бликами на медном набалдашнике палки, подаренной дедом Миколой. Видимо, взошла луна, Юдин соскользнул с кровати и на коленях пополз в боковушку. Там он сел на тумбочку и уставился в небо. Оно нависло совсем низко над самыми крышами, отяжелевшее от мерцающих спелых звезд. Юдину вспомнилось, как однажды в летнюю ночь он пошел на охоту и лежал на высоком берегу Байкала, смотрел в звездное небо. Небо вверху и небо внизу. Он лежал так несколько часов, и было чувство, что он парит в воздухе. Мимо неслись могучие кучевые облака. Они опускались на самые кроны горных кедров, точно насаживались на них. В ту ночь падали звезды. Казалось, что они, косо прорезая мглу, летят прямо в Байкал, совсем рядом. Это был звездный дождь. К утру над восточным Шаманским кряжем забрезжило солнце, и в его еще холодноватом нерешительном свете показались две дикие козы. Коричневые, с точеными мордочками, на тонких ногах — они показались ему тогда вестниками дня. В их глазах отражались солнце, Байкал и звезды. Они стояли, точно изваяния, и огромная окрашенная солнцем скала была как пьедестал для их грациозных тел. И невольно Юдин глянул в ту сторону, куда смотрели козы. А там только безбрежная, спокойная гладь, да где-то далеко пароход, от которого тянулся густой пояс дыма...

И опять возник в памяти ласково-насмешливый голос отца:

— Это сказка, этого никогда не было...

Юдин толкнул створку окна, она легко распахнулась, впустив упругие ветви тополей. И точно не он, а они сами, как живые руки, открыли сейчас окно в этот свежий мир.

В мире сейчас была тишина, та чудесная, насторо-

женная тишина, которая навещала город в ночные часы.

И вдруг Юдину показалось, что над самым его ухом кто-то легонько прищелкивает языком. Он даже оглянулся и увидел на стене знакомую до мелочей фигуру рыбака, склоненную над удочками. Старик точно вышел из картины и, как раньше в бреду, разговаривал сейчас с ним. Нельзя было не улыбнуться старому знакомому. Однако не он же на самом деле щелкал языком.

А странные звуки все продолжались, они были где-то совсем рядом.

Всходило солнце. Все больше прояснялся мир и нес свои новые краски, запахи и откровения. И только тогда Юдин понял: этой ночью лопались почки на тополях, лопались почки и на тех ветках, что были в его окне. Он всем телом подался вперед и дрожащей рукой дотронулся до шершавой поверхности только что рожденных побегов. От прикосновения к ним ощущение давно не испытанной радости вдруг охватило все его существо.

Очень далеко нарастал шум моторов. Все явственней и отчетливей слышалось его приближение. Наконец вынырнул открытый «газик», и у Юдина сердце ухнуло куда-то вниз. Он еще не успел всего осознать. В машине рядом с шофером сидел широкоплечий человек без шапки с необыкновенной и неповторимой гривой волос.

Юдин не успел опомниться, как машина скрылась из виду. Если бы можно было, то Юдин выпрыгнул бы сейчас в окно. В отчаянии он готов был закричать. Неужели это был Жарич? И как он мог сюда попасть? Неужели, неужели...

Позади, из репродуктора раздались хрипловатые звуки.

Зазвучали торжественные позывные, которые отдавались в ушах, как песня собственного сердца. Юдин замер. Он ждал, ждал с упрямым нетерпением и желанием, похожим на жажду.

В боковушку зашла Настенька и укоризненно сказала:

— Что же это вы не спите, товарищ Юдин?

Он ей ничего не ответил, да и она, кажется, забы-

ла о своем вопросе. Оба они замерли в напряжении. Оба чутко ловили позывные из репродуктора. Это было очень долго. Может быть, пять минут, час или вечность. Кто измерит?

Что же принесет следующее мгновение? Какая радость затопит сердца? Какая счастливая весть еще больше озарит мир и долетит сюда — в боковушку двенадцатой палаты одного из многих госпиталей, разбросанных в городах и городках далекой Сибири?

* * *

Как-то вечером Лязер сказал Юдину, что завтра они пойдут гулять в город. И Юдина охватило такое волнение, словно назавтра предстояло идти в бой. Несколько дней подряд с шумом катились по горбатой улице дождевые потоки. Это походило на бедствие. Люди снимали обувь и босиком, по колено в воде переходили улицу. И вот сразу, как по мановению волшебной руки, вся вода сошла, и улица лежала умытая, желтая от песка, отогретая солнцем.

Юдин попросил Настеньку открыть окно. Хотя во всем отделении давно уже выставили рамы, но в двенадцатой палате боялись сквозняков и пользовались только форточками. Настенька спросила разрешения у Елены Александровны и с большим кухонным ножом и тряпкой пришла выставлять «первую раму».

Юдин смотрел, как она работала, и чему-то улыбался. Настенька тщательно соскребала наклеенную бумагу, вынимала гвозди, вскакивала на табуретку, чтобы достать верх большого венецианского окна. Она приподнималась на цыпочках, тогда ее голые икры с мелкими красноватыми пупырышками напрягались и под тонкой, очень нежной кожей вырисовывались ровные мышцы. Юдин смотрел на ее совсем детские ноги с розовыми пятками, с крошечными пальцами, на которых ногти походили на перламутровые пуговички. Под самой крупной пуговичкой, на большом пальце левой ноги, чернел синяк. Юдин хотел спросить, откуда у нее этот синяк, но постеснялся.

Настенька, выпятив губы, усердно возилась с рамой, мыла ее. Откуда у нее была эта исключительная

аккуратность, сметка, хозяйственность! Сколько раз Юдин видел, как она делала самую черную работу. Два раза в день она мыла палату, и всегда он замечал, как тщательно протирает она ножки кроватей, наводит порядок в тумбочках, стелет по всем правилам — «конвертом» — постели ходячих больных. И никогда не было случая, чтобы она упрекнула кого-нибудь или выразила хотя бы малейшее неудовольствие.

— Почему же ты босиком ходишь, Анастасия? — думая о другом, спросил Юдин.

— Мне так легче, — Настенька повернула к нему разгоряченное лицо с прилипшими ко лбу тонкими волосами, посмотрите, какая у меня нога! — она поставила ногу на пятку и покрутила ею, как будто бы вызывая на танец. — Не нога, а смех один. Тридцать третий номер. А мне выдали тапки — сорок третий. Ну, да мне и так хорошо, я привышная.

— А как подвигаются дела на курсах?

Настенька, считая, должно быть, логичным такой переход от разговоров о тапках к курсам, еще больше разрумянилась и стала рассказывать, как она сдала анатомию самому Семену Наумовичу, как он поставил ей четверку, а потом переправил на пятерку. Она говорила без умолку, словно самый процесс разговора доставлял ей колоссальное наслаждение.

За эти полгода Настенька неузнаваемо изменилась. В ней стало меньше наивной непосредственности, она заметно осунулась. Но все же от каждого ее движения, от каждого слова веяло по-прежнему молодостью. Она всегда чем-то неуловимым успокаивающе действовала на Юдина. Он часами мог бы смотреть, как она работает или в свободное время готовит уроки. В такие минуты ее лицо жило особенно напряженно. Упорная работа мысли преображала его.

Настенька легко начинала восторгаться или возмущаться. Вот, оказывается, сколько в человеке живет микробов и разрушает организм, а человек иногда и не подозревает, какой недуг мешает ему чувствовать все радости жизни. Но хуже всего, что врачи не всегда умеют выжить этих микробов...

— Как бы я хотела быть врачом, — задумчиво говорила Настенька. — Как бы я людей жалела, выдумывала бы для них новые лекарства.

Она бурно радовалась, когда узнала о свойствах сульфидина. И тут же загрустила:

— Вот бы это лекарство моей матери. Она ведь от воспаления легких померла.

Юдин, глядя на Настеньку, понимал, что именно из таких людей и должны воспитываться настоящие врачи. Настенька — врач! Как это было невероятно еще несколько месяцев назад и насколько возможным казалось теперь.

Но невозможным казалось другое: то крепнущее чувство, к которому весь прислушивался Юдин. Однако только одна Настенька нужна ему была из всех девушек, которых он знал, только ее он хотел видеть рядом с собой, с нею быть постоянно. Он боялся этого чувства и дрожал при мысли, что она все узнает. И в то же время хотелось, чтобы узнала. Иногда ему казалось, что и она тянется к нему. «Жалеет,— думал он. От этого становилось тяжело.— Разве она меня может полюбить. Сколько раз она меня видела беспомощным, ухаживала за мной... Зачем только она попала в эту палату санитаркой...» Но стоило Настеньке снова появиться, и он забывал о своих ногах, руках, ему хотелось бежать за ней, защищать от чего-то и рассказать ей о своей любви.

Да, это была любовь.

Мысленно Юдин много разговаривал с Настенькой, учил ее и сам учился у нее, ибо она росла, росла у него на глазах. Ему нетрудно было представить: вот она уже врач, серьезный, вдумчивый, она знает, что в мире много страдающих людей, которым нужна ее помощь, и отдает им весь жар своей неистощимой любви и преданности. Юдин уже не мог быть без Настеньки и чувствовал себя то самым счастливым человеком на свете, то бесконечно несчастным.

В палату вошел Шведик и своей одной рукой помог Настеньке снять на пол раму.

— Что такое гастрит? — храня на лице строгое выражение экзаменатора, спросил Шведик, вытирая руку о полу теплого синего халата.

Настенька часто замигала глазами, и на лице ее появилось упрямое выражение. Она всегда просила раненых задавать ей вопросы, но если Юдин это делал серьезно, то Шведик всегда чуть иронически. А все,

что касалось медицины, на взгляд Настеньки, было свято. Поэтому и сейчас, уловив в плутовских глазах Шведика насмешку, она укоризненно отпарировала:

— Вы все шутите, Соломон. Я вам не буду отвечать, а вот товарищу Юдину, если он спросит,— отвечу. Я прб гастрит все знаю.

— Оч-чень хорошо, товарищ курсант! Тогда расскажите что-нибудь о жизни, о счастье, о любви.

— Вот еще,— засмеялась Настенька и толкнула от себя створки рамы.— Вот вам и жизнь, и счастье, и любовь!

В палату ворвался терпкий весенний ветерок — запах стаявшего снега, жухлых прошлогодних трав и распускающихся почек.

— Вот вам...— повторила Настенька, увидя в дверях Владьку в его обычных широких штанах. Она мигом подхватила мальчугана и поставила его на подоконник.— Вот вам и жизнь, и счастье, и любовь!

Владька сейчас же завертел во все стороны большущими глазами, увидел на мостовой старичка с вислыми украинскими усами и закричал ему:

— Дедка Микола, лови меня, я сейчас прыгать буду!

Настенька крепко схватила Владьку за штаны.

— Отпусти меня, отпусти! — вырываясь от нее, сердито кричал Владька.

Все смеялись, только Настенька была бледной и растерянной.

— Ага, испугалась,— солидно и удовлетворенно сказал потом Владька,— испугалась, я вижу. А я бы не стал прыгать, там убьешься, это я нарочно. Почему — как зайду, так хватаешь? Не держи, я не буду прыгать! — опять закричал он.— Честное ленинское...

Настенька облегченно вздохнула, выпустила из рук Владьку и тоже засмеялась.

Владька в душе торжествовал. Сколько раз проверял он на людях эти чудодейственные слова. Он хотел, чтобы ему верили все взрослые, а они всегда сомневались в его словах. Даже принести из кухни товарищу Юдину компот и то не доверяли. Может быть, они думали, что он сам его съест, или прольет, или отдаст в другую палату? И тогда Владька говорил свое «честное ленинское», и компот моментально

оказывался в его руках. Сколько потом трудов стоило устоять перед запахом компота... Владька шел, отвернув чуть в сторону голову, и, не расплескав, приносил компот в палату. Юдин сейчас же отдавал ему компот, и вот тут-то начиналось настоящее испытание.

— Не хочу, я сытый,— говорил Владька.

— Компот это же не еда, ты сам говорил, что его можно хоть ведро съесть,— настаивал Юдин.

— Сытый, меня целый день тетка Маруся компотом кормила,— глотая слюну, стоял на своем Владька.

— Значит, никак?

Владька отрицательно качал головой. Он знал, что если съест сейчас этот желанный стакан компота, то навсегда «честное ленинское» перестанет действовать на весь госпиталь. Для Владьки госпиталь был целым миром. Значит, весь мир перестанет ему верить. А он уже не представлял себе, чтобы люди не верили «честному ленинскому»...

Владька обвел глазами палату, с тайной мукой вдохнул сладковатые запахи весны, струившиеся в открытое окно, и обратился к Юдину с вопросом. Наученный Шведиком, сделал он это по-военному:

— Разрешите обратиться, товарищ Юдин?

— Обращайся.

— Ноги вам привезли, товарищ Юдин?

— Привезли.

— Теперь будете бегать?

— Обязательно.

— Орехи пойдем покупать?

— Пойдем.

— Сейчас пойдем?

— Пойдем. Вот обождем Семена Наумовича и пойдем.

— Хорош,— с сожалением произнес Владька от кого-то услышанное слово.

* * *

В коридоре раненые с ожесточением стучали костяшками домино по столу. Юдину казалось, что он на всю жизнь возненавидит домино. Просьбы играть тише обычно ни к чему не приводили. Тот же Шведик с виноватым видом говорил:

— Без стука нет игры, лучше совсем отказаться, если кругом такие слабонервные.

И неумолчный грохот продолжался с утра до самого отбоя, с редкими перерывами на еду, перевязки и врачебные обходы.

Юдину захотелось выйти из палаты. Он приподнялся, встал на протезы и еще раз почувствовал себя как в детстве на ходулях. Так же перехватывало дыхание, было такое же ощущение высоты и желание продержаться в воздухе как можно дольше. Он пошел, переставляя непослушные, чужие ноги, и чувствовал только боль в культях.

Он представил себе, какая на них нежная, тонкая розовая кожа, и боль стала сильнее.

— Пойдем, Владька,— глухо сказал он мальчику и протянул ему левую руку с короткими пальцами.

Владька с явным удовольствием ухватил эту руку, ощупывая ее замысловатые, непривычные для него формы.

— За орехами пошли? — заглядывая снизу вверх, спросил Владька.

— Нет, пока походим по коридору.

— Ладно,— грустно отозвался Владька, не переставая перебирать пальцами руку Юдина.

В коридоре перестали стучать костяшками, и кто-то покровительственно крикнул:

— Валяй, дружба, поучись у Владьки ходить. Да ты не загребай ногами, подымай их выше.

Настенька шла сзади, шлепая босыми ступнями по линолеуму.

— Вы их не слушайте, товарищ Юдин. Если не знать, что вы на протезах, то и незаметно,— попробовала она утешить его.

— Ну, ну, Анастасия...

«Ах ты, миленький мой,— с нежностью думала Настенька, ощущая замирание своего чувствительного сердца.— Ах ты, ласковый, какая же я Анастасия, я Настенька...» Но ей почему-то было приятно, что он зовет ее этим строгим, немного чужим именем, которое делало ее в собственных глазах более значительной и солидной.

Юдин шел, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, а Настенька готова была в любое мгновение

протянуть руки, чтобы удержать его от падения. Сердце у нее билось очень часто, и на лице блуждала счастливая улыбка. «Все равно как дитя малое, учится ходить»,— радостно думала Настенька и чувствовала в себе прилив той самоотверженной нежности, которая всегда появлялась в ней, когда людям надо было оказать помощь.

Но Юдин продолжал идти по коридору, потом опустился по лестнице, прошелся по нижнему этажу — и только тогда, с подчеркнутой медлительностью, опустился на диван. Коленки у него дрожали. Чтобы скрыть это, он положил ногу на ногу и прикрыл коленку ладонью. Владька и Настенька стояли перед ним. На лице Настеньки была теперь написана привычная готовность услышать от него просьбу. Но Юдин только растерянно и виновато улыбался, отдыхая от неимоверного физического напряжения.

— Пожалуй, рановато идти в город, а? — выпытывал он у Настеньки, заглядывая ей в глаза.

— Ну-да, ну-да,— с поспешностью согласилась Настенька.

Владька еще больше насупился и тяжело, как взрослый, вздохнул.

— Вот видишь, Анастасия,— засмеялся Юдин.— А говорила: если не знать, то и незаметно.

* * *

«Вылазка» в город состоялась только через несколько дней.

Три часа промучился Юдин, а вместе с ним и Владька, пока Лязер покончил со своими делами. Настенька, не переставая, хлопотала об одежде: то не было кладовщика, то пришлось занимать фуражку, то на один протез Юдина не надевался ботинок — пришлось растягивать на колодке в мастерской.

Наконец со всем было покончено. Юдин стоял в отглаженном, немного широковатом для него обмундировании, в начищенных ботинках и, видимо, специально для Настеньки в небрежно картинной позе опирался на палку деда Миколы. Настенька успела пришить к его гимнастерке золотые полоски — знаки тяжелых ранений — и сейчас, чуть прищурив большие глаза

с длинными ресницами, смотрела на Юдина так, как разве смотрит художник на только что оконченную свою работу.

И она осталась довольна осмотром. Юдин был высок, широкоплеч, у него было одно из тех открытых мужественных лиц, какие очень нравились Настеньке. Особенно хороши были насмешливые и в то же время добрые глаза, черные, с золотыми искрами.

С радостным удивлением разглядывала его Настенька: точно это был не тот Юдин, которого она вынесла из боя, выхаживала здесь в госпитале и только что одевала,— а совсем другой...

Так стояла она перед ним, девушка-босоножка в сером халате санитарки, хрупкая, слабенькая, и ей думалось: неужели это тот самый Николай Юдин перед ней и улыбается своими чудесными глазами?

Может быть, потому, что во взгляде Юдина куда-то бесследно исчезли смешинки и он пошел к ней навстречу с готовым вопросом на губах, Настенька очень смутилась.

— Ты даже не знаешь, какая ты хорошая, Анастасия.

— Как знать, как знать,— сказал от двери Лязер, и Настенька от неожиданности вздрогнула.— Как знать, мой молодой друг, Настенька — все же особа женского пола, а они всегда знают свои преимущества.

— Тоже скажет Семен Наумович,— Настенька укоризненно опустила голову.

— Возможно, возможно, детка. Возможно, милочка. Допускаю такую мысль, что ты не знаешь, какая ты хорошая. Но у тебя еще так много времени впереди, чтобы убедиться в этом.

Лязер был в таком приподнятом настроении впервые после смерти бабушки Любы. Юдин отметил это, и ему стало еще радостнее. Лязер тоже, как и Настенька, осмотрел Юдина с ног до головы и, видимо, остался доволен его видом. Потом он хитро прищурил глаза под толстыми очками и предложил перед такой дорогой по старинному обычаю присесть.

Юдину это как раз было кстати. Ноги опять начинали побаливать.

Сидели несколько минут в полном молчании, и

Юдин с особенной остротой увидел на лице Лязера множество морщин, желтизну щек, увидел пряди седых волос, серебрившихся из-под фуражки. За три месяца после смерти жены Лязер постарел на добрых десять лет. «Чем же все-таки я им отплачу»,— снова подумал Юдин о Лязере, о Настеньке, о Стелле.

Только выйдя на улицу, он разом забыл об этих мыслях. Они с Лязером ждали, пока Настенька бегала за Владькой. Дед Микола стоял около них, опершись на неизменную метлу. Он щурился от весеннего солнца, и его розовое лицо с седыми вислыми усами так и светилось доброжелательством.

— Вышел-таки на свет, дитятко. Хорошо же тебе сробили ноги, руки, дай бог здоровьечка Семену Наумовичу.

— Пробу ему устраиваем, дед Микола,— неожиданно смутился Лязер.

— Ну, якой я вам дед, мы оба диды, та що поокрыпим один-другой десяток,— вдруг по-украински заговорил дед Микола и подмигнул.— Вот уж кому жить! —завидев Настеньку с Владькой, воскликнул он.— Ну, теперь, Коля, я тебя обязательно на реку свожу рыбу поудить. У меня там лодка, вот вздохнешь во всю грудь... Ни пуха ни пера,— напутствовал он, когда процессия тронулась по тротуару.— Палка-то пригодилась? Вот, хлопчик, и береги ее, рука у меня легкая, счастливая.

Владька забегал вперед, возвращался. Мордочка его разрумянилась, глаза блестели, и был он недоволен только тем, что взрослые шли уж очень медленно. Настенька вышагивала как-то очень старательно, большими, видимо, непривычными шагами.

Ей все время хотелось спросить Юдина, как он себя чувствует, но ее опередил Лязер.

Внутри у Юдина совершалось сейчас такое, что казалось — он только сию минуту включился всеми своими чувствами в окружающий его мир.

Неужели это он сейчас идет сам, без посторонней помощи?

Неужели это он держит в руке палку и опирается на нее? И эта левая рука в кармане тоже его?

Да, это шел он, Николай Юдин. А рядом с ним шли его друзья.

— Вы меня о чем-то спросили, Семен Наумович?

— Вам не больно идти? — повторил свой вопрос Лязер.

— Немного больно. Но очень немного,— поспешил заверить Юдин. Словно прогулка могла сейчас же закончиться.

С немым удивлением смотрел он на весеннюю улицу, залитую солнцем. Какое, оказывается, блаженство — дышать воздухом этой улицы, извиняться перед прохожими за то, что ты их нечаянно толкнул... и незаметно, тайком поддеть ботинком случайный камешек на тротуаре...

Настенька шла чему-то улыбаясь. Кажется, ей был смешон Лязер. Он был в эту минуту очень важен, высоко держал голову и всем своим видом будто говорил: «Вот посмотрите, как мы идем. А знаете ли вы, кто этот юноша рядом со мной?»

— Николай Юдин! А-а, дорогой, здравствуй! — растерянно и радостно сказал встречный смуглый паренек в шинели из новенького сукна.

— Вовка-полковник, ты! Ну, давай расцелую.

Они обнялись. Потом Вовка увидел Семена Наумовича и расцеловался с ним. Владька тормошил Вовку за ногу и требовал, чтобы на него тоже обратили внимание. Настенька скромно подала Вовке руку, тот ее секунду задержал в своей, а потом вдруг с силой притянул к губам.

— Здравствуй, и спасибо, Настенька.

Настенька поспешно отдернула руку и с опаской поглядела на Лязера и Юдина. Первый раз в жизни ей целовали руку. И как же ему не стыдно людей!

Оказалось, что Вовка еще не уехал на фронт, сегодня он получил увольнительную и как раз шел в гости к старым друзьям по госпиталю.

— И вдруг ты мне навстречу. Я глазам своим не верю...— притрагиваясь к плечу Юдина, восторженно говорил Вовка.

— А я, думаешь, верю, когда тебя таким вижу? — спрашивал Юдин.

И они с упоением, забыв о присутствующих, вспоминали деда Миколу, Шведика, операции, праздники, Бадму и его мать, бессонные ночи, хриплый репродуктор, Стеллу и Марину Степановну,— и все это ка-

залось таким теперь далеким и словно не пережитым, а только кем-то рассказанным.

Вовка пришел в полный восторг, когда узнал, что Крячков — «начальник пожарной охраны» и будущий пчеловод.

— Вот уж мне бы от него за курение доставалось, даром, что я полковник,— смеялся Вовка.

Он рассказал, что Митя Кочубей вместе с другими давно уже уехал на фронт, а его, Вовку, держат здесь и вот только вчера выяснилось, что посылают учиться на курсы младших лейтенантов.

— Ну, Вовка, это первый шаг в полковники,— радуясь за него, сказал Юдин.

Вовке давил шею узкий воротник шинели, и, разговаривая, он то и дело ворочал головой.

— Почему ты не расстегнешь крючки? — спросил Юдин.

— Нельзя, не положено,— веско ответил Вовка.

Он по-прежнему был подтянут и дисциплинирован. Юдину это очень понравилось.

Несколько раз они присаживались отдыхать на лавочки у ворот, и их оживленным разговорам не было конца.

И сквозь все это внутри у Юдина опьяняющей мелодией звучало: «И-ду, и-ду-у». Какое же это счастье — идти самому, приближаться к людям, смотреть, как они движутся тебе навстречу!

На базаре было не особенно людно. Это был обычный базар военных лет. Пожилые женщины прямо на земле раскладывали гвозди, гайки, шурупы, электрические плитки, поношенные калоши, ржавые умывальники. Продавались цветистые шали, изъеденные молью, книги с оторванными переплетами, без названий, старинные тяжелые замки без ключей и новенькие расписные, в красных вензелях, поярковые валенки. Надо полагать, эти валенки лежали четверть века без употребления: до «черного дня», пролежали и эту тяжелую зиму и, невесть почему, появились на базаре к лету. Здесь же продавались лепешки из картофеля, пирожки замысловатой формы, самодельные конфеты для ребят, выкрашенные в яркие краски, шинели, одежда — больше военного образца.

Настенька, часто навещавшая базар, чтобы купить

раненым разную мелочь, знала здесь все ходы и выходы. Она увлекла компанию к большому навесу. Тут торговали только продуктами. Буряты с темными загорелыми лицами, будто впитавшими в себя все тепло солнца, продавали мясо, нерпичный жир и соленых омулей... И во всем этом длинном ряду лишь один старичок, явно сибирского облика, распродавал остатки кедровых орехов. Юдин взял из плетеной корзинки несколько орехов, ловко стал их грызть. Орехи были хорошо прожаренные, маслянистые и буквально таяли во рту. Не задумываясь, Юдин решил купить их «оптом». Старичок не торговался, но медлил и все посматривал на руку Юдина.

— Так сколько за все возьмете, вместе с плетенкой? — переспросил Юдин.

— Не знаю, милок, зачем так, уж давай стакашками тебе отмеряю.

— Вот вы какой, право! Ну, прикиньте в уме и запрашивайте,— настаивал Юдин.

— Разреши полюбопытствовать, милок, что это у тебя с рукой? Уж больно чудная она у тебя,— неторопливо говорил старичок, словно совсем и забыл об орехах.

— Ну вот, я вам о Петре, а вы о Сидоре. Пальцы у меня на войне оторвало осколком, а вот в вашем городе нашелся добрый человек, который и сделал мне новую руку. Ну, так сколько, папаша?

— Нет, постой, милок,— оживился старик.— А вот мою видишь? — он быстро выдернул из кармана культышку без всех пальцев.— Я, милок, тоже ее на войне с немцем потерял, а доброго человека и не нашлось — без пальцев теперь в кармане таскаю.

Лязер подошел вплотную к старичку, деловито осмотрел его руку и уверенно сказал:

— Месяц сроку, и вы, товарищ, будете иметь пять пальцев. Ложитесь на операцию.

Старичок, должно быть, действительно забыл о торговых делах и все продолжал выспрашивать то Лязера, то Юдина. Для большей достоверности он даже внимательно ощупал руку Николая.

— А ну, согни этот палец...— просил он.— Ишь ты, скажи на милость: гнется.

Потом его взяло сомнение: а может быть, только

после свежего ранения можно сделать такие пальцы?

Но Лязер его убедил, что это никогда не поздно.

— Как же с орехами, папаша: оптом или в розницу? — решил напомнить Юдин.

— А? — старичок удивленно уставился на него.— Даром, даром, милок,— зачастил он.— Бери так, на здоровье бери. Я их сам со своей старухой промышлял, паданку брал. Знаешь — паданка, по первому снежку?

— Правильно, папаша,— солидно поддержал Вовка.— Вы хорошо сейчас сказали, спасибо вам.— И он энергично потряс его культышку.

Юдину неловко было получать орехи без денег, но по решительному выражению лица старичка он понял, что теперь разговаривать о плате бесполезно.

Настенька взяла корзинку, и все направились к госпиталю. Старичок, освободившись от своего товара, увязался за ними.

Когда он увидел, что Юдин идет на протезах, удивлению его не было границ.

— От-та-та, милок,— сочувственно тянул он.— Мук, милый, ты, видать, немало принял.

Настенька набила Владьке все карманы орехами, купила ему расписных лошадок-леденцов, и они медленно таяли у него в руках, растекаясь красными полосами между пальцами. Лязер уговаривал Владьку съесть лошадок, но, видимо, мальчугану это казалось чудовищным. Ему очень хотелось щелкать орехи, и с лошадками он боялся расстаться, а они продолжали предательски таять. Владька облизывал липкие пальцы, измазал лицо, рубашку, и Настенька уже не рада была своей затее.

Обратно шли еще медленнее. Старичок так и не отстал от них и без умолку разговаривал.

Несмотря на недавнюю бодрость, Юдин с трудом передвигал сейчас тяжелые ноги.

Веяло свежестью и прохладой. Потом на руках и лице Юдин почувствовал холодные капли. Он взглянул на небо. Все так же светило солнце, но с востока набегала туча. Через несколько минут она рассыпалась снегом. А солнце, не переставая, светило во всю свою мочь. Оно точно задалось целью поспорить со снегом, не хотело скрываться.

Настенька предложила посидеть на скамейке в скверике со статуей Кирова.

— Вот вам и матушка Сибирь,— нарушил установившееся было молчание Лязер.

Сказал он это скорее задумчиво, чем насмешливо. И его пленил такой необычный снегопад. «Конечно, и в Сибири есть своя прелесть»,— подумал этот убежденный волжанин.

Зато Вовка, который откровенно полюбил Сибирь, и на этот раз восхищался вслух. Старичок почему-то решил рассказать, как он добывал кедровые орехи. Юдин слушал его с интересом, хотя этот промысел хорошо знал по личному опыту.

Снегопад тем временем так же внезапно утих, как и начался.

Юдин поднялся со скамейки первый, стряхнув с себя ворох снега.

Он шел, и от его ботинок отпечатывались ровные следы. Владька старался попадать в них своими ножками, но у него не хватало шага.

Юдин повернул разгоряченное лицо к отставшим друзьям, глянул на них пылающими темными глазами, и Настеньке в эту минуту ясно вспомнился тот далекий день, когда он лежал в санитарном пропускнике. Вспомнился ей и Степа Белоноженко, и ее щеки залила густая горячая волна...

Юдин, не замечая выражения Настенькиного лица, задумчиво сказал:

— Никогда раньше не замечал, до чего приятно идти по свежему снежку.

* * *

Старичок с базара был человеком цепким и захотел продлить знакомство с новыми людьми. Он подробно расспросил Лязера о госпитале; выяснилось, что он не прочь пойти туда работать, если дадут посильное дело. Лязер пообещал поговорить с комиссаром.

В контрольной будке старичок познакомился с дедом Миколой, они быстро разговорились, словно знали друг друга очень давно. Таков уж был дед Микола, и Лязер подумал, что теперь вмешательство главного

хирурга в административную сторону дела, пожалуй, уже не потребуется: надо полагать, дед Микола сам сведет старика к комиссару и устроит его на работу.

Юдин кое-как добрался до постели, снял протезы и залез под одеяло. Он так устал, что сразу же уснул.

Поднялся он к вечеру, с телом, налитым усталостью и болью.

Сегодня был для него серьезный экзамен. Вставать с постели не хотелось. И вдруг обуял страх: «А что, если не смогу больше ходить, не смогу стоять на протезах и передвигаться?»

В палате было темно. Шведик ушел на ужин. В темноте Юдин надел протезы, долго затягивал ремни, ощупывая гладкую кожу и никелированные крепления, поблескивающие в лунном свете. Медленно встал на протезы, сделал несколько шагов по комнате и улыбнулся: под ногами трещала скорлупа от орехов. И потом, куда бы он ни шел — в боковушку, по коридору, в столовую,— везде трещала скорлупа. И было от этого необъяснимо приятно, как будто кто-то нарочно для него набросал здесь скорлупы, чтобы он мог еще больше чувствовать каждый свой шаг.

В столовой его встретила Марина Степановна, встретила без удивления, как подобает дежурному врачу при виде «новичка». Зато Мэри Семеновна моментально выкатилась из кухни на своих коротких ножках, всплескивала руками, загоняла официанток, не зная, куда усадить Юдина.

— Ваш номер двести тринадцать, нет, лучше будет триста тридцать третий! Ну, не верится, не верится, что это вы. И какой высокий!

Из неиссякаемых запасов она достала «витаминизированный напиток» — подозрительно крепкий, появилось печенье из отрубей, печенье из яичной скорлупы... Какой-то желчный раненый, который всегда задерживался в столовой дольше всех, надеясь на добавку, не преминул заметить по поводу такого неположенного ужина:

— Везет людям! Тут вот просишь, просишь и не допросишься, а ему теперь что, он теперь здоровый, как медведь.

Юдин широко улыбнулся и примирительно сказал:

— Ого! Значит, как медведь? Ну, спасибо, удружил!

* * *

Глаза у Настеньки стали совсем другими: глубокими, с расширенными, задумчивыми зрачками. Она ходила легким неслышным шагом. И во всей ее маленькой стройной фигурке появилось столько женственной мягкости, что по утрам она сама удивленно рассматривала свои белые круглые руки, словно видела их впервые.

Сердце поет то веселые, то грустные, тихие песни. Хочется куда-то бежать, стремиться, быть с людьми или сидеть одной неподвижно, не шелохнувшись, бездумно смотреть в какую-то далекую точку и слушать серебряный перезвон колокольчиков, слышный только ей.

Сколько она слышала и видела вокруг! Вся земля пела для нее, и все люди необыкновенно красивы и добры.

В госпиталь тоже приходит весна.

Дед Микола на паре лошадей съездил в лес и привез оттуда ворох багульника. В каждой палате стояли в банках из-под консервов распускающиеся ветки.

Настенька мела пол в двенадцатой палате веником из багульника. Комнату наполнял тонкий аромат — пьяный, будоражащий.

— Прислал дед Микола в палату весну,— тихо сказал Юдин, не отрывая глаз от Настеньки.— Пахнет-то как!

Настенька последний раз мела пол. Ей очень хотелось сказать об этом Юдину. Сегодня она окончила курсы медицинских сестер.

Ей было очень хорошо под его взглядом. «Милый, милый...— пело Настенькино сердце. Оно было полно любви.— Ты не знаешь, как я тебя люблю. Вот смотришь на меня, а мне сдается, что это греет солнце. И почему мне не стыдно? Хочешь, я тебе скажу, как я тебя люблю? Ты молчишь, а я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь обо мне. Я сама тебе все скажу. Зачем только ты боишься? А чего бояться, когда я вся,

вот она, здесь. Никто, никто не знает, что я люблю тебя. Даже Стелла. Даже Семен Наумович. И только тебе я об этом скажу. Первая. Я хочу увидеть, какие у тебя будут глаза, услышать, что ты ответишь...»

Настенька носила в себе это невысказанное томление осторожно, боялась расплескать его. Она была до краев переполнена своим чувством.

Это не мешало ей еще острее все воспринимать и понимать. На экзаменах она отвечала очень хорошо, даже весело. Она все помнила, все знала, и ей хотелось, чтобы люди поверили в это.

— Я сегодня уже не санитарка, а сестра,— не выдержала Настенька. Она разогнулась, убрала со лба волосы. каким-то особенно женственным движением.

— О, поздравляю тебя! Зачем же ты метешь пол?

— Так. Веник хороший. Запах-то какой сладкий от него.

Юдин проводил ее до двери глазами. Она чувствовала его взгляд и обернулась. Он сидел около стола, положив подбородок на руки.

— Дед Микола сказал, что из этих веточек цветы распускаются. Чудак он, дедушка. Вам кланяться велел и в гости к себе приглашал. Все на реку вас собирается свозить.

— Спасибо, Настя. Обязательно зайду. Ты покажешь, где он живет?

— А он в столярке, на дворе. Я вечером зайду за вами.

Трудно в госпитале остаться вдвоем с глазу на глаз. Сколько уже раз мечтал Юдин побыть с Настенькой наедине. Он не позволял себе долго думать о ней. Это были очень отрывочные и, казалось, малозначительные мысли. «Платье у нее в голубую горошинку. Какая замечательная материя...» Он совсем не знал, что это ситец. «Глаза у нее сегодня грустные. Устает она очень».

Как ни однообразна и ни тягуча госпитальная жизнь, а время промелькнет — не увидишь. И пришли другие мысли, более определенные. Он не может позволить себе расчувствоваться. Он не имеет права любить Настеньку. Но он не может ее не любить. А потому надо об этом молчать. Она хорошо к нему относится, она спасла ему жизнь, выхаживала его,

ничем не брезговала. И он обязан ей на всю жизнь. Где бы она ни жила, что бы ни делала, в какой беде ни оказалась, он найдет ее, придет к ней, протянет свою руку, всегда будет ей помогать. В мыслях он давно называл ее именем, которым в детстве звала его мать. Ягодка — маленькая, храбрая девочка, почему ты так крепко запала мне в сердце?»

Вечером он решил сказать ей все.

Раненые были в клубе, смотрели кинокартину, а Юдин с Настенькой направились в гости к деду Миколе.

Около низкой избушки, прилепившейся к огромному зданию госпиталя, они остановились.

— Сядем здесь на лавочку,— предложила Настенька.

— Я хотел с тобой поговорить, Анастасия,— сказал Юдин изменившимся, глухим голосом.

— Ой, не надо!

— Нет, почему же,— невесело усмехнулся он,— я тебе не скажу ничего лишнего. Я все понимаю. Я только хотел сказать тебе, что не знаю, как тебя отблагодарить. Ты не перебивай меня. Я скоро выпишусь из госпиталя. Буду работать. Несколько дней тому назад утром мне показалось, что я увидел в окне своего друга. Но это, наверное, ошибка. Если бы он нашелся, мне совсем бы стало легко. Я буду работать и хочу помогать тебе учиться. Ты же сама говорила, что ты хочешь стать врачом. А для этого надо иметь среднее образование. Тебе придется готовиться. Я хочу помочь тебе. Может быть, я пока останусь работать в этом городе. Я сам приготовлю тебя за среднюю школу. Вот что я хотел сказать.

— А я думала, другое,— весело проговорила Настенька.

— Что ты, что ты, Анастасия! Мы с тобой будем хорошими друзьями. Вот ты увидишь.

— Ой, Колечка! — радостно вздохнула Настенька.— Я вам скажу сама. Вы не перебивайте меня... Вы разве не видите, как я вас люблю... Нет никого на свете лучше вас, красивее вас... Вы только не думайте о Белоноженко. Вас, вас я люблю!

— Что ты говоришь? Что ты говоришь? Не может быть этого... Настя?

— Может, может!

— Что ты говоришь? — задохнулся Юдин.

— Все равно, Колечка, я же не могу по-другому. Это нехорошо так говорить?

— Настя, ну как же мне поверить в это?

— Давайте я поцелую вас. Первая. Сколько раз я хотела поцеловать вас! Правда, я не умею целоваться... Вы только не думайте о Белоноженко. Вы у меня один... На всю жизнь... Самый первый...

Она подняла к нему лицо и смотрела на него счастливыми глазами, в которых отражалась луна.

Они в этот вечер не пошли к деду Миколе.

Рядом с ними качался от ветра молодой тополь, недавно сюда высаженный.

— Надо бы подпору ему, а то он сломается,— сказала Настенька, обхватив тополь руками.— Это дедушка Микола сюда посадил, любит он возиться, все устраивать. А подпору забыл сделать...

— Ничего, тополек гибкий, свежий. В нем силы сейчас много. И с двух сторон дома его защищают.

Все, что они сейчас говорили, приобрело для них особый смысл. Они надолго замолкали. Снова начинали говорить. Они думали, а им казалось, что они говорят. Они говорили, а им казалось, что они так одинаково думают.

— Завтра с утра я уже надену белый халат. Ты посмотришь на меня и не узнаешь. Я знаю, ты скажешь: неужели это ты, Настя? Ты — медицинская сестра?

— Неужели это ты, Настя?

— Да, я.

— Кому мы скажем, Настя?

— Стелле.

— Хорошо. И Семену Наумовичу?

— Хорошо. И дедушке Миколе?

— Хорошо. И Марине Степановне, Настенька. Всем, напишем в батальон Вовке-полковнику.

— Всем скажем,— засмеялась Настенька.— Всем, всем. Пусть все знают.

Она все держала одной рукой тополь, словно не хотела оставить его без опоры, а в другой была левая рука Юдина. Золотые волосы Настеньки пахли цветами и скошенной травой. Они были очень пушистые

на висках и на затылке. Тяжелыми дорогими кольцами они лежали на круглой головке.

— Я хочу, чтобы у тебя были большие косы. А то ты похожа немного на мальчишку. Сделаешь это для меня? — зарывшись лицом в ее волосы, говорил Юдин.

— Я все для тебя сделаю! Все, что ни попросишь...

Они забыли, что весь госпиталь уже давно спал, что дежурный врач ищет Юдина. Они забыли, что завтра на утренней линейке дежурный врач будет докладывать о первом нарушении дисциплины раненым Николаем Юдиным и медицинской сестрой Анастасией Воропаевой.

* * *

Да, так оно все и было. Утром дежурный врач докладывал на линейке о нарушении режима раненым Николаем Юдиным и медицинской сестрой отделения Анастасией Воропаевой.

Почему-то все улыбались. Даже Черемных, который больше всех боролся с такого рода нарушениями.

— Вот он какой! Только успел на ноги встать — уже бегает по ночам, — сказал строго Семен Наумович.

Все равно врачи улыбались.

— А Настенька, только подумать, такая тихоня...

— О, вы ее плохо знаете, — заметил Семен Наумович.

— Хорошая она все-таки, эта нарушительница режима, — легонько вздохнула Марина Степановна.

— Ладно, я с них взыщу, — уверенно проговорил Черемных. — Дисциплина есть дисциплина!

После линейки он вызвал к себе Настеньку. Она нисколько не боялась его, хотя он и строго разговаривал с ней.

— А мы же с Коленькой женимся, товарищ комиссар, — сказала она светло и радостно. — Разве вы не знаете? Об этом все знают. Колечка сам вам хотел сказать.

Черемных спрятал улыбку.

— Ну-ну! Пока он находится в госпитале — он военный человек. Чтобы это было в последний раз.

— Я больше не буду, товарищ комиссар, — виновато и совсем по-детски ответила Настенька, и на ее

щеках едва показались ямочки — точно на секунду проскользнула умная, понимающая улыбка и скрылась.

«Вы же добрый, хороший,— думала она,— и ругать меня совсем не хотите. Я вижу. А мне теперь все равно. Если бы вы знали, какая я счастливая!»

В волосах у Настеньки играло солнце, белая косыночка сбилась на затылок.

— У вас очень отросли волосы, товарищ Воропаева, надо следить, чтобы они были под косынкой. Вы же сестра хирургического отделения.

— Я теперь косы буду отращивать, товарищ комиссар,— зачем-то сказала Настенька и впервые смутилась.

«Экий ведь я,— недовольно думал о себе Черемных,— тоже нашел, что говорить».

Раздался телефонный звонок. Черемных взял трубку.

— Да, да.— Лицо его просияло.— Вот чудесно и как раз кстати. И квартира сразу будет. Оч-чень хорошо! Ну, вот,— сказал он Настеньке, кончив разговор,— звонили мне сейчас из горкома партии: Николай Юдин назначен городским архитектором. Ему уже и квартиру приготовили.

Настенька, не произнеся ни слова, сорвалась с места и убежала, хлопнув дверью.

Потом дверь приоткрылась, показалось разрумянившееся лицо Настеньки.

— Простите, спасибо,— выпалила она и снова скрылась.

* * *

Лодка деда Миколы хранилась на водной станции. Сторож здесь был такой же старик, как и дед Микола, и, видимо, между ними давно уже была большая дружба. Впрочем, трудно было найти знакомого деду Миколе человека, с которым бы он не дружил.

Дед Микола возился с удочкой, развернул свой узелок, достал мушки, проверил рулетку. От реки несло свежестью. Мимо легко скользила прозрачная зеленоватая вода.

В воздухе стоял тонкий серебряный звон, точно

в воду кто-то опускал пригоршнями монеты, и они ударялись о камни.

Черемных, Юдин и Настенька сидели на берегу молчаливые, задумчивые и непроизвольно прислушивались к этим мелодичным звукам.

Дед Микола, найдя себе слушателей, по своему обыкновению, без передышки разговаривал.

— Ну, как же, дитятко мое, ну, как же,— сыпал он скороговоркой,— харюзочков здесь ловить можно хоть каждый день. Река здесь и-их, красавица! В ней рыба сладкая, да и сама она, как сахар. Хлебнет ее человек глотка два, и такая в нем бодрость взыграет. Это тебе, Коля, харюзочков ловить надо. Ты уж, Коля, дитятко мое, не побрезгуй стариком. Я тебя научу рыбку ловить. У меня тайн от людей нет. Много не поймаем, а уж по десятку на душу завсегда.

— Да, тайны, тайны,— отвечая своим мыслям, говорил Черемных.— У этой реки много тайн, дедушка. Здесь должна быть самая мощная в мире электростанция. Если бы не война, река уже открыла бы все свои тайны. Вот и сейчас, слышите, какой звон стоит? А откуда он? Тоже тайна.

— Нет уж, дитятко, здесь какая же тайна! Во-он, видишь, забереги угольком завалены? Тут уголек возили да складывали, а он и на ледок попал. Вот солнышко-то ледок в этих местах сверху и не берет. А теперь, значит, вода снизу подмывает, льдинки-то и забирает с собой. Ишь ты, как песню поет!

Это и был тот звон, словно в реку пригоршнями сыпалось серебро. Воздух от него казался еще прозрачнее и чище. И чудилось, будто кто-то играет на гуслях веселые русские песни.

Настенька тоже слышала серебряные колокольчики, но она не удивлялась и, подобно деду Миколе, не видела в этом тайны. Правда, она думала, что только ей одной слышны эти чудесные перезвоны. Она не удивлялась, ибо давно уже они звучали в ее сердце.

* * *

— Красавец мост,— спокойно, с горделивой ноткой в голосе, рассуждал дед Микола, глядя из-под руки на изогнутый полукружием великолепный мост,

легко перекинутый через реку.— Чего только человек не сделает своими руками!

— Ну, давай выезжай на реку,— торопил его сторож водной станции.— И так, наверное, клев прозевали.

— Куда она от нас уйдет, рыба,— так же невозмутимо отозвался дед Микола. И все неотрывно смотрел на мост.

Его седые запорожские усы пошевеливал ветерок, и на черной стеганке, освещенные солнцем, они сверкали необыкновенной белизной.

— Я, вишь ты, высматривал машину ту. Комиссар-то повез Колю Юдина да дивчину Настеньку квартиру показывать. Коля-то на Волге насмерть с немцем дрался. Может, с моими хлопчиками Борисом та Степаном рядком в окопах лежал...

— Да не тревожь ты себе душу, Микола, опять расстроишься. Уж смирись, пропали, верно, твои сыновья.

— Н-но! Ты это брось,— строго оборвал дед Микола,— ты мне не указчик. Волен я каждый день вспоминать сынов своих. Не могут они на войне пропасть. Все Таранущенки вояками были. И мои такие. И вон, видал...— дед Микола взмахнул рукой, показал на мост, расправил усы, лицо его приняло торжественное и строгое выражение.

По мосту шел знакомый госпитальный «газик».

— И вон, видал? — повторил дед Микола.— Это раненый мово госпиталя, у меня все они такие. Они, брат, живучие, до жизни жадные... Брось ты, слышь, такое мне говорить! — уже кричал дед Микола.— Видел ты Колю Юдина?! Так знать ты должен, он сам мне то говорил: рядом он с моими сынами Борисом та Степаном под тем самым Сталинградом лежал, и остались они живы, сыны мои! А письма напишут. Еще некогда им. Сам я наказывал: разобьете ворога — тогда и письма отписывайте. Все Таранущенки такие... Во-он, смотри, они, ребята наши, через реку переехали. Давай и мы теперь выезжать будем.

* * *

В солнечный майский день Юдин уезжал из госпиталя.

Черемных подъехал на потрепанном «газике» и ждал, стоя около него, когда выйдет Юдин. Был еще ранний час утра и, кроме нового сторожа контрольной будки — старичка без пальцев на руке — да деда Миколы, который сдал дежурство и собрался на реку рыбачить, во дворе никого не было.

Черемных задумчиво смотрел вокруг.

В это время Семен Наумович Лязер сидел наедине с Юдиным.

— Что я вам могу пожелать на прощание? — говорил он тусклым, усталым голосом.— Вы нашли себе богатство: вы нашли себе Настеньку. Женитесь на ней и живите счастливо.

— Мы с Настенькой решили год обождать,— вставил Юдин.

— Вот этого бы я не стал делать. Глупо что-нибудь откладывать на день, а на целый год — тем более. Я бы на вашем месте пересмотрел это решение. Ведь не поздно?

— Нет, конечно, Семен Наумович, не поздно,— улыбнулся Юдин.— Только идет война, потом Насте надо готовиться в институт... Это, собственно, я придумал. Настя-то возражает.

— Ага, вот видите, возражает. Война. Война это большой кусок жизни, а жизнь не бывает без любви. Это я вам говорю, Коля. Это вам скажет ваша умница Настенька. Уж поверьте моему опыту, Настенька — это золотая головка. Если бы мне иметь такую дочку, большего бы на свете я и не хотел.

— Спасибо вам, Семен Наумович, за все. И передайте еще раз благодарность Василию Герасимовичу.

Юдин смутно догадывался, что происходит с Лязером. Но на душе у Юдина было празднично, и ему хотелось, чтобы так же было у всех.

— Идите вниз, Коля, я туда тоже приду,— сказал Лязер и отвернулся к окну.

На улице спешили люди. Сегодня воскресенье, а они спешат,— им некогда отдыхать. Как любил раньше Лязер отдыхающую воскресную толпу. Но и сей-

час вид этой улицы немного успокоил его: меняются времена, меняются вкусы. Лязер сцепил руки и стоял несколько минут, молча раскачиваясь. Около самых окон стояли тополя, на них уже появились новые побеги. Тесными зелеными гнездышками они облепили мощные стволы тополей. Пройдет еще немного времени, и они буйно закудрявятся и покроются густой листвой.

Лязер разжал руки и резким движением открыл форточку. Пахнул ветерок с тонким пряным запахом утра.

Над улицей неугомонно носились птицы. Они резали воздух или ныряли, сложив крылышки,— черными комочками падая почти до самой земли, снова взмывали в лазоревую высь, садились на обрубленные макушки тополей, на сучки и опять срывались в воздух...

Лязер сошел вниз. Около машины уже стояли Юдин, Настенька, дедушка Микола, Черемных, Стелла, Владька, Ксения.

— А вот и Семен Наумович! — радостно сказала Стелла, обдавая Лязера светом своей улыбки.

— А вот и я,— грустно ответил Лязер.

Казалось бы, нужно ликовать, как ликует все вокруг: человек встал на ноги, вот сорвется сейчас, как эти птицы, и умчится отсюда — в новую жизнь, и в этом есть его, Лязера, доля труда и любви. А он грустит... Разве недостаточно взглянуть на смуглое лицо юноши, на золотую головку девушки, на ее широко открытые миру глаза. Лязер особенно пристально вглядывался в лицо Юдина. Он видел в его глазах то несравненное выражение, которое, сколько бы вы ни жили, не изгладится из памяти. На секунды Лязер ощутил гордость за свою профессию; даже он, глядя на Юдина, забывал об его протезах, об его инвалидности. Оказывается, не к каждому человеку подходит это слово. Юдин сейчас уходил из жизни Лязера, и именно потому, что к нему как-то по-особенному лежала душа, Лязеру казалось, что он навсегда теряет очень близкого человека. Он стоял позади всех, маленький, седой, и почему-то плохо видел сейчас сквозь свои толстые очки. Они ему сегодня определенно мешали. Он попытался облегчить себя тем, что настро-

ился на обидчивый лад: конечно, всем сейчас не до него. Он, как и все, просто посмотрит в последний раз, как покидает госпиталь молодой человек, которого он искренне полюбил. На это он имеет право. Вот тебе, Коля Юдин, и «перспективы будущего». Ну, не прав ли был старый Лязер?

Черемных принес партийный билет и, развернув его, посмотрел на фотографию.

— Ну вот, вы теперь очень похожи,— сказал он, подняв глаза на Юдина.— Только придется менять билет. Пробит и кровь... А жаль! Можно гордиться, видя такой партийный билет,— с чувством закончил он, передавая билет Юдину.

— Мы все гордимся за Николая Юдина,— вмешалась Стелла.— Ведь правда, Чижик? — обратилась она к Настеньке.

Лязер не расслышал, что ответила Настенька, но он видел ее лицо. Он был рад, что Черемных и Стелла произнесли вслух эти слова. Именно это чувство гордости вызывал у него Николай Юдин, хорошее чувство гордости за человека.

— Так будем выпускать Николая Юдина в жизнь? — спросил Черемных и обвел всех глазами.

— А я хочу с вами до реки доехать: рыбку поудить я собрался,— извиняющимся голоском наконец вставил свое слово дед Микола. Ему давно уже хотелось заявить о себе, но все не было подходящего случая.

— Пожалуйста,— распахивая дверцу машины, пригласил Юдин.

Дед Микола не стал ожидать повторения и забрался на место рядом с шофером, держа в руках разборное удилище и сверточек с рыбачьими принадлежностями.

Настенька устроилась на заднем сиденье.

Юдин тряс всем руки и тоже немного взгрустнул.

— Стелла, а ты отпусти с нами Владьку. Настя его привезет,— попросил он.

Владька, услыхав это, вцепился в его ноги, задрал к нему головенку, и глаза его настолько красноречиво выражали благодарность, что Юдин не выдержал и взял его на руки.

И тут произошло невероятное: Владька очень

серьезно и пристально посмотрел в глаза Юдину и поцеловал его.

— Ну, знаете! — Стелла всплеснула руками.— Можно ли вообразить: Владька целуется...

— Поехали, да поехали же! — торопил Владька, отворачиваясь.

Никто не мог подозревать, что творилось в душе у Владьки. Первый раз в жизни ему предстояло путешествие на легковой машине. Разве можно всерьез сравнить это с поездом или автобусом. И кто бы думал, что именно сегодня осуществится его мечта.

— Поехали, поехали,— твердил он, спрятав лицо на плече Юдина.

— Ну, что же, поехали так поехали,— сказал Юдин, передавая Владьку Настеньке.



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Андрей рванулся за поездом, пробежал несколько вагонов и остановился, когда последний вагон, щелкнув на стрелке, издали подмигнул ему красным глазком.

Что же теперь делать?

Пока бежал, он не чувствовал боли в раненом плече, но теперь боль вернулась с новой силой.

Он вспомнил хлопотливую и веселую поездную сестру, и ему совсем стало не по себе. Сестра под свою ответственность отпустила его «на несколько минуток». Пока поезд стоял, Андрей успел прочитать от заголовка до подписи редактора местную газету, освещенную в витрине электрической лампочкой. Потом он прошелся по перрону и решил перейти на ту сторону станции, где виднелись маленькие, словно игрушечные домики с ровно высаженными деревьями около окон. Должно быть, летом здесь очень хорошо, спокойно и уютно.

Санитарный поезд ушел на восток, а Андрей остал-

ся на перроне незнакомой станции. Он бесцельно шагнул к станционной двери и почти столкнулся с пожилой женщиной. Низко согнувшись, она тащила тяжелый чемодан и узел.

— Давайте помогу,— предложил Андрей.

Женщина чуть приподняла глаза на Андрея, увидела надетую в один рукав шинель, руку на марлевой повязке и мотнула головой:

— Куда тебе...

— Ничего,— сказал Андрей и протянул здоровую правую руку,— эта работает.

— Рану не нарушь,— понимающе проговорила женщина, передавая чемодан.

Андрей пошел за ней в зал ожидания, поискал глазами свободное место и поставил чемодан у стены. Женщина села на него, подтянула поближе узел и сказала:

— Спасибо тебе, сынок, садись на мягкое.

Она внимательно оглядела Андрея. Перед ней стоял высокий, худой и сутулый парень с лицом мальчика. Впалые землистые щеки выдавали в нем больного человека.

— Садись, не стесняйся,— сказала она, еще раз показывая на узел.

В полутемном зале, набитом людьми, было холодно. Пахло вокзальными запахами: дезинфекцией, дегтем от сапог, детскими пеленками и паровозным дымом, проникающим с клубами морозного пара в то и дело отворяемые двери.

— Мучение теперь ездить. И куда это только людей несет! Ты что же, милый, с фронта? — деловито спросила она.

Андрей рассказал, как он отстал от санитарного поезда. Женщина, казалось, не слушая, смотрела на его неподвижную руку, на повязку и дружелюбно сказала:

— Молоденький какой, а уже раненый. Куда ты теперь поедешь?

— Буду догонять поезд. А вы здешняя?

Она кивнула.

Вглядываясь в глаза своей соседки, Андрей стал думать о матери.

Он вспомнил лицо матери, когда она провожала

его в армию. Мать не плакала. Потемневшими глазами смотрела она на сына, уходившего от нее в такие страшные дни. Мать крепко держала его за рукав шинели, будто так и собиралась провести через фронт, через войну...

Андрей задумался и почти не слышал, что говорила ему пожилая соседка. Спохватившись, он вступил в разговор. Оказалось, что зовут ее Маргаритой Калистратовной, что зять ее на фронте, а дочь работает, что внучата ее, мальчики-двойняшки, требуют бабкиного глаза. Вот и собиралась она к своим внучатам, в областной город.

Андрей долго не решался прервать ее, но наконец встал, попрощался и направился к выходу. И пока шел до дверей, чувствовал на себе ее взгляд.

На улице Андрей быстро нашел третий подъезд и табличку с надписью: «Военный комендант». Он нерешительно открыл дверь, и до него донесся резкий, чуть хриплый голос:

— Кто здесь комендант? Я вас спрашиваю: почему вы меня не приветствовали? Как стоите?!

Андрей хотел было прикрыть дверь, но комендант уже увидел его и крикнул:

— Кто еще там? Войдите!

Перед комендантом навытяжку стоял младший лейтенант, красный от смущения. Он держал руки по швам, то сжимая, то разжимая кулаки.

— Я вас научу порядку! Разболтались здесь! Уставы забыли! — грозно разносил комендант младшего лейтенанта.

И вдруг Андрей подумал, что комендант совсем не грозен: это был шумный, суматошливый человек. Он стоял перед младшим лейтенантом с расстегнутым воротом гимнастерки. Пряжка поясного ремня съехала на бок, гимнастерка сбилась вперед. На нем были невероятно широкие галифе. Видно было, что кричал он для «порядка».

Но младший лейтенант не уставал повторять:

— Виноват, товарищ интендант третьего ранга...

Наконец комендант утих и даже чуть улыбнулся:

— То-то, виноват... Порядок надо знать! Уставы! Можете идти!

Младший лейтенант, молодцевато щелкнув каблу-

ками, вышел. А комендант, взяв с тарелки пирожок, начал аппетитно его жевать. Андрей решил напомнить о себе, глухо кашлянул, вытянулся и строевым шагом подошел к столу:

— Товарищ военный комендант, разрешите доложить?

— В чем дело?

— Рядовой Андрей Шилин. Отстал от санитарного поезда.

— Как — отстал? — не переставая жевать, закричал комендант.— Разиня! Возись с такими!

— Вышел почитать газету в витрине, а поезд ушел. Как бы догнать его? — упавшим голосом спросил Андрей, чувствуя, что сейчас разразится буря.

— Держи его теперь за хвост,— неожиданно миролюбиво ответил комендант и взял протянутую Андреем красноармейскую книжку.

— Т-а-ак! — протянул он.— А история болезни?

— В поезде.

— А поезд теперь тю-тю...— добродушно продолжал комендант, рассматривая книжку Андрея. Вдруг в глазах его блеснули смешинки:

— Ты где родился?

Андрей назвал город.

Комендант улыбнулся.

— Ну, повезло тебе, парень. Поезд-то в твой город назначен, разгружаться будет. Догоняй-ка свою историю болезни, да смотри в госпиталь явись, дома не задерживайся.

Отложив красноармейскую книжку, комендант крикнул:

— Васильев, составь акт!

Получив талоны на обед, счастливый, браво откозыряв коменданту, Андрей быстро вышел за дверь.

* * *

На третьей полке общего вагона Андрей ехал дальше на восток. В вагон он сел вместе с Маргаритой Калистратовной.

Лежа с закрытыми глазами, Андрей думал о встречах с близкими. Как все неожиданно получилось... Он увидит маму, Валю... Мог ли он мечтать об этом еще двадцать дней тому назад? Интересно, как теперь, во

время войны, в городе? Наверное, и улицы, и дома, и люди по-другому выглядят...

Сердце давила тяжесть. Еще не так давно он рисовал себе великолепную картину возвращения домой с фронта. Конечно, это должно было произойти после того, как он совершит несколько замечательных подвигов, например, захватит в плен немецкого генерала со штабными документами, подобьет гранатами несколько танков, поднимет в атаку батальон, заменив раненого командира... Разумеется, о подвигах он умолчит, но весь город узнает о них из газет.

С детских лет Андрей готовил себя к подвигам, таким, какие совершал его отец — герой гражданской войны, известный в Забайкалье партизанский командир и соратник Лазо. В 1923 году, когда Андрею было всего несколько месяцев, отец с группой товарищей был окружен и убит бандой семеновцев, налетевшей из Маньчжурии на приаргунские села. Но отец всегда жил в воспоминаниях друзей, в рассказах матери. Он смотрел с картин в областном музее, с фотографий в семейном альбоме. Именем отца были названы улица в родном городе, приисковый поселок, колхоз, средняя школа в пограничном селе. Отцу были посвящены стихи местного поэта, он был героем книги известного сибирского писателя.

Андрею казалось, что он хорошо знал требовательную строгость отца, его неукротимую отвагу и ни с чем не сравнимую доброту. Андрей привык мысленно обращаться к отцу: «А что бы сказал ты? А как бы ты сделал на моем месте?»

Андрей ходил по улице, носящей имя отца, прибегал домой возбужденный и радостный.

— Мам, на папиной улице начали строить три новых дома! А старые снесли!

Мать недоверчиво покачивала головой, когда Андрей пробовал рассказывать о каких-то своих воспоминаниях.

...Вот огромный бородатый человек, с железными лентами через грудь, появляется в дверях, берет его на руки и целует. Борода у него мягкая, приятная, и мальчик запускает в нее свои руки. Человек дает ему копченую селедку, и мальчик ест ее без хлеба. Селедка настолько вкусна, что уже на всю жизнь он не мо-

жет забыть ее запаха и солоновато-складковатого привкуса.

...Вот мальчик играет во дворе, его учат пройти по дощечке, концы которой лежат на двух бревнах. Мальчик теряет равновесие и падает на доску с гвоздями... Тогда откуда-то появляется бородатый человек и хватает его на руки. Мальчику совсем не больно, но у бородатого совсем белое лицо и дрожат губы. Вот и все. Правда, мать уверяла, что Андрей ошибается, что это был не отец, а приезжал его бывший ординарец Егор Косых.

В доме разговаривали об отце как о живом, как о человеке, который вот только что здесь был и на время отлучился. Когда люди говорили об отце, мать никогда не плакала.

Маленький Андрей мечтал о том, как он отомстит врагам. Он вырастет и отомстит! Однажды, в летние каникулы, он с несколькими школьными товарищами без разрешения матери уехал из города в колхоз, который носил имя отца.

В правлении колхоза на самом почетном месте висел не известный Андрею портрет отца: Василий Шилин был без бороды, очень молодой, худощавый. Острые глаза смотрели из-под широких бровей открыто и смело. Странно, незнакомо выглядел галстук «бабочкой». Совсем не воинственный, скромный учитель...

Андрей решил было умолчать о своей фамилии, однако подвел товарищ, громко назвал его.

Председатель колхоза, бывший партизан, пристально посмотрел Андрею в лицо, по-старчески заморгал глазами и сдавленным голосом сказал:

— Василий! Ну, вылитый Василий!

Потом он соскочил с места и закричал:

— Гость-то какой! Михаил Агеич, посмотри, кто к нам приехал!

Андрея окружили незнакомые люди.

Учителя, а потом партизанского командира Василия Семеновича помнили. Вместе с ним погибли братья, зятья, деды многих собравшихся здесь колхозников.

— Большая радость для нас, что ты приехал,— говорил председатель и шикнул на женщин.

Андрею вдруг стало очень тяжело, стало жаль отца, себя и мать, от которой он уехал тайком. Он заплакал.

— Ух, вы, сороки, растравили парня! — сердито выговаривал председатель женщинам и усадил Андрея на свой стул. — Это ж сын нашего Василия приехал, наследник, гостюшка дорогой!

* * *

На узкой полке вагона Андрей так и не мог заснуть. В вагоне было тепло, мерный стук колес путал мысли. Казалось, вот-вот заснешь, но снова и снова в памяти возникали дни и события этого года.

Пять месяцев назад, в ясный день ранней осени, расставался Андрей со своим городом. Здесь прошло его детство, здесь он вырос, здесь жили его товарищи. Но в тот памятный день все жители города казались Андрею близкими, сердечными друзьями. Все заботы и обычные интересы вдруг отошли куда-то в сторону, стали незначительными, мелкими. Он ходил по улицам, ко всему приглядываясь, стараясь все запомнить.

Пошел он проститься и с улицей имени отца. Знакомая, широкая улица! Старые, покосившиеся, уже вросшие в землю дома, и рядом с ними — новые двухэтажные, с веселыми окнами. Прямая, обсаженная деревьями улица уходила вверх, в сопки, за город. Как все здесь изменилось за несколько месяцев войны: не слышно озорных криков каменщиков на каркасе строящегося кинотеатра, посуровели шумливые мальчишки. Вон идет с вещевым мешком за плечами белобрысый призывник, и с обеих сторон его обнимают мать и сестра. Все трое похожи друг на друга. Семья!

А навстречу с громкой песней шагают под командой старшины молодые бойцы, еще в гражданской одежде. Распахиваются окна, и женщины тревожными глазами провожают их. Мальчишки выбегают из ворот и понимающе оценивают строй, пропуская роту мимо себя. Нет, ты уже неспокойна, родная улица! В тебе бьется горячее сердце воина. Навсегда ты останешься в памяти с тревожно шумящей на ветру осен-

ней листвой деревьев, с военной песней, с горестными лицами женщин.

На этой улице год тому назад Андрей познакомился с Валей, студенткой старшего курса их института. Он давно уже заприметил ее по-мальчишески стриженную голову и чуть близорукий прищур серых глаз.

Встречаясь в библиотеке, на студенческих вечерах, у раздевалки, они были и знакомы и не знакомы. Андрей знал, что она ленинская стипендиатка, капитан третьей женской волейбольной команды, чемпион института по бегу, что зовут ее Валя. Он, первокурсник, смотрел на нее как на недосягаемую институтскую знаменитость, тайно гордился ею, отчаянно болел за нее на городском стадионе.

Встретив однажды Валю на улице, он неожиданно для себя поздоровался. Она прищурила глаза и неопределенно улыбнулась, просто не узнала. Но Андрей пошел дальше с радостным чувством чего-то необычного.

Так продолжалось несколько дней. После занятий в институте он торопливо бежал вверх по улице. Валя обычно сидела на лавочке у низенького домика и уже узнавала его. Второй раз пройти мимо нее он не решался и возвращался кружным путем.

Валя, конечно, заметила смешные и неуклюжие попытки этого долговязого паренька завязать знакомство. Но улыбалась она так же неопределенно, а он проходил мимо с бьющимся сердцем, не смея остановиться или оглянуться.

Это могло продолжаться и месяц, и два, и год. Неужели это любовь? Как же можно любить девушку, если даже ни разу не говорил с ней, ничего не знаешь о ней, кроме того, что она учится в институте, занимается спортом, живет на любимой улице и острижена, как мальчишка. Но он упрямо отправлялся к знакомому домику, на ходу говорил свое «здравствуйте» и с волнением ждал следующего дня.

Однажды, увидев лавочку у домика пустой, Андрей так расстроился, что даже не заметил, как из ворот выскочил мальчишка. Он налетел на Андрея и чуть не упал.

— Держите, держите! — раздался смеющийся девичий голос, и в калитке показалась Валя.

Андрей схватил мальчика за руку.

— Ну-с, теперь признавай себя побежденным! — кричала Валя, смеясь.

— Ты бы сама догнала, а так каждый может! Догони сама, тогда признаю,— отвечал задыхающимся голосом мальчик, пытаясь освободиться из рук Андрея.

— Ах, так? Ну, хорошо. Отпустите его,— сказала девушка Андрею. Мальчик побежал. Валя задержалась на несколько секунд и пустилась вслед за ним. Она бежала легко, чуть касаясь земли носками. Мальчишка завернул за угол, Валя бросилась за ним.

Андрей сел на скамейку. Через несколько минут Валя вернулась, ведя мальчонку за руку, и усадила его рядом с Андреем.

— Ты уже не чемпион улицы! — торжествующе заявила она.

— Без судьи недействительно, свистка даже не было,— упорствовал мальчик.

— Признавай поражение, все и так ясно. А судья у нас был, ведь правда? — обратилась она к Андрею.

— Бег был честный,— подтвердил Андрей.

— Итак, ты побежден, не задирай нос, тогда я никому не расскажу, что тебя обогнала девчонка.

— Девчонка! — прыснул мальчик.— Видали мы таких девчонок на стадионе!

Он вырвал руку, присвистнул и юркнул в калитку.

— Хорошо бегает,— сказала девушка,— талант!

Так они познакомились.

Перед уходом в армию Андрей пришел проститься с Валей. Они сели на знакомую лавочку. Потом они пошли по улице, и Валя часто поворачивала к нему лицо. Бесследно исчезло обычно насмешливое выражение ее глаз. Она притихла, и нежной грустью светились ее глаза. Андрей чувствовал себя совсем взрослым, с гордостью посматривал вокруг.

Улица привела их в безлюдный парк. Они шли по желтым и красным листьям, как по мягкому ковру. Андрей взял Валины тонкие пальцы и удивился, что она не отняла руки. После он думал, что даже мог ее поцеловать. Они условились, что будут переписываться.

В вагон уже пришло дорожное утро.

Андрей стал различать на потолке многочисленные надписи: «Здесь следовал из командировки ст. агент по снабжению В. Кулагин. 10 апр. 1941 г. 6 час. веч.» Следующая надпись, обведенная химическим карандашом, гласила: «Эх, Кулагин, Кулагин, видать, пропил ты свой портфель, если едешь в бесплацкартном на третьей полке». Рядом круглым ученическим почерком, красным карандашом было выведено: «История СССР — 5, русский язык — 3, физика — 5, химия — 4. А в общем все позади. Ура! Ура! Ура! Надя П.» Пониже была нарисована красноармейская звезда и под ней выведено печатными буквами: «Еду на фронт. Прощай, Черемхово! До свиданья, друзья! С боевым приветом сержант Костя Васильев. 10 авг. 1941 г.» Уже другим почерком было написано: «Бей фашистов, Костя Васильев! Тоже еду в часть. Медсестра Нина».

Читая эти надписи, Андрей развеселился и медленно, осторожно, стараясь не задеть больное плечо, спустился с полки.

— Ты что это, Петя, заспался так? — обрадовалась его появлению Маргарита Калистратовна.

Андрей никак не мог понять, почему он стал Петей, и улыбнулся:

— Меня Андреем звать.

— Ну, прости, спутала я. Давай чай пить. Котлетку хочешь? Да ты не стесняйся, твое дело военное...

Маргарита Калистратовна быстро освободила место, хлопотливо угощала его и осторожно расспрашивала:

— Тебя что же, Андрюша, штыком поранило али пулей?

— Из пулемета...— тихо ответил Андрей.

— Сколько народу война поуродует,— сокрушенно проговорила она,— и с пулемета, и с ружья... И пушки, и самолеты, и газы, и еще какие-то мины... Чего только не выдумали... Страсти-то какие! — обратилась она к соседке.— Вот солдатик — молоденький,

рука ранена, а вчерась помог мне. Куда я одна-то с вещами...

Соседкой была моложавая женщина с седыми волосами. Она полулежала на нижней полке, и ее прозрачные глаза безучастно смотрели в одну точку. Печальное лицо застыло, а полные крупные губы словно окаменели. Она обернулась на голос, пристально посмотрела, но, казалось, ничего не видела.

Мимо прошла женщина в пестрой вязаной кофте с полотенцем через плечо, ведя за руку краснощекого мальчика лет четырех.

Седая женщина проводила их долгим взглядом, помолчала, и, видимо продолжая рассказ, заговорила ровным и глухим голосом, словно удивленно прислушиваясь к себе:

— Мимо меня бежали люди. Митенька бежал рядом... Вдруг люди закричали: «Немецкие танки!» — а потом началась стрельба. Все легли на мостовую. Я тоже. Впереди, упираясь ножками в мои плечи, лежал Митенька. Потом все поднялись. Я тоже, но Митя остался лежать. Весь правый бочок был у него в крови. Я села рядом... Митя был мертв.

Андрей, прислонившись здоровым плечом к стенке вагона, боялся шевельнуться. Он тихо отодвинул в сторону кусочек хлеба с котлетой.

А женщина продолжала:

— Потом меня кто-то схватил за руку, поставил на ноги, подтолкнул, и я побежала со всеми... Когда очнулась, то поняла, что руки мои свободны, а Митеньки со мной нет. Оставила я его на дороге... Как же это случилось? Я закричала и бросилась назад, но какой-то мужчина поднял меня, и я оказалась в кузове машины. Вот так все и было... Так началась для меня война.

Маргарита Калистратовна, вздохнув и утерев кончиком платка глаза, спросила:

— А мужу-то как, отписали про все?

— Муж на границе служил. Я уж потом узнала, что он убит.

Наступило молчание. Вагонные колеса четко отсчитывали время.

— Ох, скорее бы, скорее этого Гитлера проклятого изничтожили,— отозвалась Маргарита Калистра-

товна.— Муки какие люди терпят, разве хватит надолго человеческого сердца?

— Вы говорите, сердца нашего не хватит? — спросила седая женщина.— Сердца хватит. Должно хватить.— И, не меняя тона, будто продолжая разговор, спросила Андрея:

— Значит, вы с фронта?

— Да,— нехотя ответил он.

— А теперь куда?

— В госпиталь, отстал от санитарного поезда.

— Вот и я еду в госпиталь. Просилась на фронт, в партизанский отряд, а послали сюда.

Андрей кивнул, но не решился расспрашивать. Он поблагодарил Маргариту Калистратовну за угощение и отошел к окну. А она, глядя на его сутуловатую спину, заговорщически обращаясь к соседке, зашептала:

— Я его на вокзале встретила. Уважительный паренек. Молодой еще, а. видать, боевой фронтовик!

Андрей слышал эти слова, и ему стало тревожно, будто обманул он седую женщину и добродушную Маргариту Калистратовну. Захотелось вдруг обернуться и прямо сказать:

— Нет! Нигде я еще не воевал. Еду с войны, а войны не видел. Разве этот фронт — ночная бомбежка эшелона, километров за двести от передовой?

В последнее время его вообще не оставляло чувство какой-то неловкости перед людьми. Ведь все принимали его, судя по повязке, за бывалого фронтовика.

* * *

Поезд проходил по знакомым местам. Андрей с радостью узнавал их, мысленно здоровался с мальчишкой у переезда, с усатым стрелочником, с мелькавшими постройками и удивлялся, что все выглядит так же, как и до войны. Проходившие пассажиры то и дело задевали Андрея.

Впереди, в кольце сопок, уже виднелся дымный город.

По смутным очертаниям, по трубам и далеким крышам Андрей угадывал и узнавал дома, кварталы, улицы. Вот слева вдоль путей потянулось длинное,

заснеженное озеро. Сколько ловлено в нем карасей! Неужели на водной станции все тот же сторож — седенький, молчаливый, любимец всех мальчишек и рыбаков?

Андрей старался представить, что сейчас делают мать, Валя. Книги в его комнате лежат, наверное, по-прежнему аккуратно на полках. Мать, протирая их от пыли, как всегда, задержалась на какой-то странице: стоит посреди комнаты с тряпкой в одной руке, с книгой в другой и читает.

Вспомнив о книгах, Андрей забеспокоился. Домашняя библиотека была давно его гордостью, он собирал ее с малых лет. Все продавщицы в книжных магазинах и киосках города были знакомы ему. Теперь он тревожно думал: «Целы ли книги, не растащили ли их ученики матери?»

— Что задумался, Андрюша? Пора собираться!

Андрей обернулся и увидел уже одетых и готовых к выходу спутниц.

Он стянул с верхней полки свою шинель. Маргарита Калистратовна помогла надеть ее, аккуратно застегнула крючки и всунула в карман пустой рукав. Поезд подходил к вокзалу.

Выйдя на перрон, Андрей стал в нерешительности: куда же теперь идти? Конечно, прежде всего надо забежать домой, повидать мать. Потом к Вале, на несколько минут, а потом на эвакопункт.

Андрей зашагал к выходу. У вокзала стояло несколько автобусов и крытых брезентом грузовых машин. Прежде чем Андрей сообразил что-то, его окликнули. На подножке автобуса стояла поездная сестра. В первую минуту она рассердилась.

— Где же вы были, товарищ раненый? Ведь я за вас выговор от начальника получила! Скорее! Мы уже кончаем выгружаться.

Как ни неожиданна была эта встреча, Андрей улыбнулся. Сестра делила всех раненых на две категории: одних она называла просто по имени, к другим обращалась только официально — «товарищ раненый». К последней категории относились все нарушители порядка, люди, по каким-либо причинам несимпатичные сестре. Всю дорогу она называла Андрея по имени.

— Я отстал от вас, Сима, догонял на пассажирском поезде.

— Хорошо, товарищ раненый, будете все объяснять начальнику, а пока занимайте место в автобусе.

Делать было нечего. Вместо того чтобы идти домой, пришлось ехать в машине.

Как ни старался Андрей сквозь замерзшее стекло автобуса разглядеть улицы родного города,— он дышал на лед, отскребал его ногтем,— ничего не получалось. На стекле образовывалась проталинка — маленький кругляшок просвета,— но она немедленно снова затягивалась пленочкой льда. Андрей чувствовал, что автобус огибает углы улиц, по поворотам пытался угадать путь, но скоро сбился. Куда же везут их?

Сидевший рядом боец насмешливо, густым басом проговорил:

— Что ты, паря, вертишься, будто на ежа сел? Смотри, стекло высадишь... Сиди по команде «смирно», дальше госпиталя не увезут. А там, смотришь, с дороги и чекушку выдадут.

При слове «паря» Андрей с любопытством посмотрел на соседа, подумав при этом: «Наш, забайкальский». Лицо бойца было забинтовано так, что, кроме одного глаза и торчащего крупного носа, ничего не было видно.

Только собрался Андрей вступить в разговор, как машина резко остановилась. Открылась задняя дверца, и в просвете показалось улыбающееся лицо шофера:

— Слезай, приехали, товарищи бойцы! — весело сказал он.

Кто-то из раненых недовольно выкрикнул:

— Что ж ты улыбаешься, как майская роза, черт слепой? Так тряхнул, что нутро перемешалось. Не можешь без форсу подъехать, что ли?

В автобусе все заругались, загалдели, а кругленький сержант петушиным голосом закричал, решительно пробираясь к выходу и размахивая костылем:

— Учить вас тут надо!

Шофер с худым болезненным лицом смущенно заморгал ресницами:

— Вот канаву тут выкопали, а ее, видишь, снегом занесло...

Толстячок не унимался:

— Видишь, видишь!.. Не дрова везешь! На фронте не убили, так ты добьешь.

— Ну-ну, давай полегче, развоевался тут! На фронте тебя, видать, не шибко голодом скрутило,— уже при общем смехе осадил толстячка сосед Андрея.

Выйдя из машины и оглянувшись, Андрей удивился. Он стоял... перед входом в свою школу. Вот она, знакомая ручка двери! И даже треснувшую филенку не заменили. И те же сбитые тысячами детских ног каменные ступеньки... Здесь теперь разместился госпиталь.

Андрея остригли под машинку и с дежурной сестрой направили в палату. Здесь, к его удивлению, лежали три мальчика. Единственный взрослый сидел на койке. Это был смуглый человек с болезненным землистым лицом.

— Дядя Ваня, к нам новичок! — звонко крикнул один из мальчиков.

Тот, кого назвали дядей Ваней, с любопытством взглянул на Андрея, поднялся навстречу и, широко улыбаясь, сказал:

— Заходи, дорогой. С приездом!

Андрей подошел к свободной, свежезастланной койке и, смущенно поглядывая на детей, сел на краешек.

Ребята готовы были закидать новичка вопросами, но видя, что он отмалчивается, стали рассказывать ему о себе. Андрей тут же узнал о том, что с капитаном дядей Ваней они живут здесь уже третий месяц, так что надоело; что дядя Ваня занимается с ними диктантом, арифметикой и вслух читает им книги; оказалось, что родители Володи и Гриши убиты при налете фашистской авиации на их украинский городок, а у Генки есть отец. Когда пришли немцы, отец ушел партизанить, а однажды ночью явились полицаи, выпытывали, где отец, и убили мать. Сам Генка убежал. При переходе фронта он подорвался на мине, его выручили бойцы-саперы.

Еще узнал Андрей, что кормят здесь «подходяще», но поздно вечером включать радио в палате нельзя, поэтому Генка надевает наушники, слушает сводку Информбюро, а потом шепотом пересказывает ее: память у него здоровенная, как у диктора!

Еще узнал Андрей, что старшиной палаты у них капитан Вачнадзе, он же дядя Ваня, а по-грузински — Вано. Капитан воевал и на Халхин-Голе, и с белофиннами, и Бессарабию освобождал. Он здесь обучает военному делу санитарок и сестер. Дядя Ваня умеет даже с закрытыми глазами собрать и разобрать винтовку.

Генка был самый младший из мальчиков. Он ничего не рассказывал и все время влюбленными глазами смотрел на дядю Ваню. У Генки осколком мины оторвало ногу, и маленькие костыли, специально сделанные, переезжали с ним из госпиталя в госпиталь. Но мальчик еще ни разу не становился на них. На большой кровати он казался таким крошечным, что у Андрея при взгляде на него больно сжалось сердце. Генка смотрел на Андрея большими карими глазами из-под пушистых, будто выжженных солнцем бровей. Сросшиеся у переносицы, они старили его маленькое лицо.

«Мне будет здесь хорошо»,— подумал Андрей и устало лег на кровать. Теперь надо было дать знать о себе матери и Вале. Но как это сделать? Написать записки? А с кем их переслать? Или завтра позвонить по телефону — маме в школу, Вале в институт... Он вообразил себе их испуг, удивление, радость...

В палату шумно вошла няня с полотенцем, халатом и тапочками для Андрея. Он встал, а она, всплеснув руками, удивленно протянула:

— У-ух, и длинный же верзила! А я халат на малый росточек припасла. Обменять придется.

Няню звали Ксаной. Это была плотная женщина с широкими мужскими плечами и сильными, по локти оголенными руками. Глянцевитые ее щеки блестели, в узких щелочках век поблескивали черные зрачки.

— Она толковая! — сказал про нее Володя, старший из мальчиков и самый разговорчивый.— Гриша

ее тыквой раз назвал, а она даже не обиделась. Погрозилась уши надрать, а мы не боимся.

И уже совсем по секрету:

— Она в дядю Ваню влюбилась. Как заговорит с ним, так уши и руки у нее краснеют. А он помогает ей разливать суп и обещает выкрасть из госпиталя, на Кавказ увезти.

Ксана в это время поправляла постель и все слышала. Видимо, то, что говорил Володя, нравилось ей. Она широко улыбалась, отчего щелочки глаз совсем закрывались.

«Вот попрошу ее сходить к маме, пока на Кавказ не увезли»,— весело подумал Андрей, встал и пошел умываться.

Стоя в умывальной комнате, он тщательно растирал здоровой рукой грудь и тер ее до тех пор, пока она не покраснела и тепло не разлилось по всему телу. Он был этим так занят, что не услышал, как подошла Ксана. Она долго смотрела на него и наконец предложила:

— Давай помогу, одной-то рукой неловко.

— Спасибо, я приспособился.— И Андрей, продернув полотенце в дверную ручку, натянул его, повернулся и стал приподниматься и опускаться на носках.

— Ишь ты, сообразительный какой,— засмеялась Ксана и стала подтирать забрызганный пол. Андрей кончил свои упражнения, накинул на плечи халат и сказал:

— Не можете ли вы записку моей матери отнести? Она здесь живет, в городе.

Ксана подняла на него лицо в мелких капельках пота и посмотрела хорошим, добрым взглядом:

— Вот как? Значит, здешний! Счастье-то матери какое! Что же, давай снесу.

— И я вам буду помогать суп разливать,— предложил Андрей.

— Много вас тут помощников насчет супа. Не слушай ты этих озорников, особенно Володьку. Он тебе наговорит с три короба. Насчет капитана ты не верь, шутит Володька, для смеха... А насчет записки не сомневайся, схожу. Вот небось обрадуется мать-то, что сына увидит!

* * *

Мать Андрея была учительницей. Школой и сыном ограничивались все ее интересы. Окружающая жизнь — все, что было за пределами школы и квартиры,— пугала ее.

Она представляла себе: вот сын станет взрослым, самостоятельным, меньше забот будет... Но получалось наоборот. Чем старше становился сын, тем больше, считала она, нуждался он в ее наставлениях.

Зинаида Степановна спешила в любом случае подсказать сыну, как вести себя, стараясь предугадать все опасности, которые якобы грозили ему. «Маленький ребенок — маленькое горе, а большие дети — горя и того больше...» — поучала ее соседка, многодетная мать.

Когда началась война и Андрей твердо решил пойти добровольцем в армию, мать не стала возражать. Но разлука с сыном далась нелегко. Она потеряла интерес даже к школе. Только подчиняясь долголетней привычке, Зинаида Степановна вставала по утрам и шла на работу. На несколько часов она оживала, ее увлекала бурная детская энергия, но дома снова каменела, садилась перед фотографией сына.

Так продолжалось несколько месяцев. Очень медленно она приходила в себя. Жизнь приносили ребята, иногда прибегающие к своей учительнице. У каждого из детей кто-то был на фронте. Они с гордостью показывали Зинаиде Степановне фронтовые письма и заботливо спрашивали:

— А от вашего Андрея пришло письмо? Он кто — пехотинец или артиллерист? А на каком фронте воюет?

Слушая ребят, читая подробные и скупые, нежные и шутливые письма фронтовиков, она как бы входила в жизнь ранее незнакомых семей, ей становились близкими тревоги и заботы многих матерей и жен фронтовиков.

Идя из школы домой, Зинаида Степановна приветливо и участливо смотрела на встречных женщин; в каждой из них она угадывала тоже мать, или жену, или сестру фронтовика. И уже не столь исключительными и горькими казались ей собственные испытания.

От Андрея приходили редкие письма, короткие и торопливые. Она не расставалась с этими треугольничками, перечитывала их по многу раз, а проснувшись ночью, читала снова.

Фронтовые письма! Подолгу совершали вы свой путь! Каждое письмо было вестником жизни, каждое перечитывалось десятками людей. Но много сложенных треугольничком писем приходило тогда, когда людей, писавших их, уже не было в живых. Именно об этом думала Зинаида Степановна, раскрывая очередное письмо Андрея.

После короткой учебы в запасном полку где-то под Москвой Андрей попал на фронт. С этого времени Зинаида Степановна стала с особой пристальностью читать газеты, слушать радио. Однажды в газетном фронтовом очерке нашла она знакомое имя — Павла Золотова, своего ученика. Он подбил гранатами три вражеских танка. Неужели это тот щуплый Павлик, который так не ладил с грамматикой, носил очки и вечно возился с какими-то коллекциями насекомых?

Зинаида Степановна разыскала семью Павлика. Через месяц школьный художник с любовью нарисовал и вывесил в классе портрет Героя Советского Союза Павла Золотова.

Фронтовой карточки Павлика не было, но нашелся старый, любительский снимок, на котором пятнадцатилетний мальчик сидел на поваленном дереве в обнимку с товарищами по пионерскому лагерю. Художник очень верно скопировал детское лицо в очках, но пририсовал к нему шапку-ушанку и богатырские плечи в красноармейской шинели. На заднем фоне виднелись горящие фашистские танки с черными крестами.

* * *

...Однажды в школу пришла новая учительница географии. Зинаида Степановна мельком взглянула на девушку и отметила про себя, что та слишком вызывающе держит по-мальчишески стриженную голову. Девушка вела себя гораздо увереннее, чем когда-то Зинаида Степановна в первый день своей школьной работы.

Перед последним уроком, когда в учительской ни-

кого не оставалось, девушка подошла и смущенно спросила:

— Простите, Андрей — ваш сын? Мы учились с ним в институте...

Зинаида Степановна приветливо ответила девушке, потому что было приятно поговорить с любым человеком, знавшим Андрея. С тех пор Валя и Зинаида Степановна оставались в учительской и подолгу разговаривали.

— А я думала, что вы совсем другая,— сказала как-то Валя Зинаиде Степановне.

— А какая же?

— Я представляла вас более строгой,— ответила девушка, краснея.

В один из вечеров, когда на улицах разбушевалась пурга, Валя вызвалась проводить Зинаиду Степановну домой.

— Вот мы и дошли... Зайдемте...— предложила Зинаида Степановна, заранее радуясь тому, что ей сегодня не будет так одиноко.

Сняв берет, не раздеваясь, Валя присела на краешек стула и сразу же заметила на другом конце стола фотографию Андрея в рамке. Ей очень захотелось протянуть руку и придвинуть карточку поближе. Это желание было настолько сильным, что даже сидеть стало неудобно. Вдруг на ее плечи легли руки. Валя услышала мягкий голос:

— Раздевайтесь, Валя, у меня тепло...

— У вас очень хорошо... Очень хороший портрет Андрея,— снимая пальто, сказала Валя. Она снова подошла к столу и теперь уже без стеснения стала разглядывать фотографию.

Потом Валя подошла к книжному шкафу. Здесь, конечно, хранились сокровища Андрея. Он часто рассказывал ей о своих книгах. На столе, рядом со шкафом, она увидела большой портрет молодого человека в толстовке. Такие же, как и у Андрея, сросшиеся широкие брови, такая же детская припухлость губ и серьезные, глубоко посаженные глаза. Даже прядка волос свисла, как у Андрея. Только крепкий, твердый подбородок на этом юном лице был другим. Валя поняла, что это портрет Василия Шилина.

Своей квартиры у Вали не было. Она воспитыва-

лась в детском доме, а потом снимала «углы». Семейная квартира, в которой издавна уютно расставлены вещи, была для нее миром чужим, непонятным, возбуждавшим и любопытство и недоверие. Но, очутившись в квартире, где вырос и жил Андрей, она впервые в жизни ощущала новое чувство: «Как хорошо может быть дома».

— Вы не получаете от Андрея писем?

Валя быстро повернула голову на голос и встретилась глазами с Зинаидой Степановной. Эти глаза тоже неуловимо напоминали Андрея.

— Он раньше много писал, но уже месяца три ничего нет... А вы давно получили?

— Давно, Валечка... Тоже три месяца ничего нет.

У Зинаиды Степановны навернулись слезы. Валя решительно подошла, обняла ее.

— Зинаида Степановна, не расстраивайтесь. Один раз четыре месяца от него не было писем, а потом пришло.

— Да, да, Валечка, я надеюсь на лучшее.— Зинаида Степановна краем шали вытерла слезы.— Сегодня пурга, оставайтесь ночевать, и вообще, переезжайте ко мне...

Назавтра Валя принесла свой маленький старый чемодан, аккуратно связанную постель и портрет Маяковского под стеклом.

* * *

— Да совесть у вас есть! — возмущалась Зинаида Степановна, стоя в проходной будке госпиталя. Она уже давным-давно ни на кого не кричала. Шуметь и скандалить было не в ее характере. Но сейчас сказали, что свидания с ранеными дают только по воскресеньям. А сегодня был вторник.

— Поймите же,— строго, по-учительски проговорила она,— поймите: если бы приехала ваша мать и ее заставили ждать следующего воскресенья, что бы вы сказали?

Видимо, этот довод сильно поколебал госпитального стража, и он наконец махнул рукой, как человек рисковый: «Была не была, проходите, мамаша!»

Зинаида Степановна, даже не поблагодарив его,

пустилась бежать через большой двор к трехэтажному зданию.

Не сразу у молоденьких дежурных сестер она узнала, в каком отделении находился Андрей. К счастью, в это время проходила через просторный вестибюль уже знакомая ей Ксана. Пока Ксана бегала за Андреем, Зинаида Степановна нервно расхаживала. Она понимала, что, если Андрей может сойти вниз, значит, он ранен не опасно. «Но только бы не в лицо, не в грудь, и не в живот, и не в руки,— мучилась она.— Где же, где он?» И вдруг услышала рядом:

— Мама!

Зинаида Степановна обернулась. Перед ней стоял Андрей, коротко остриженный под машинку, в коротком коричневом халате. Мать обняла его, припала головой к груди.

— Мама, ну что ты,— глухо проговорил Андрей, и ему захотелось прокашляться: в горле стоял тугой ком.

Мать отошла на шаг и поспешно оглядела всю фигуру сына. Она увидела пустой рукав, приподнятое под халатом плечо, повязку и беспомощно повисшую на ней руку.

— Куда ты ранен? — с отчаянием спросила мать.

— В плечо и руку. Не беспокойся — не опасно.

— Я знала, что ты ранен, я чувствовала это.— И она стала жадно целовать лицо и голову Андрея.

— Мама, мама, перестань, здесь же ходят люди.

— Больше нигде не искалечило?

— Нет, нет,— улыбнулся Андрей.— Да откуда ты взяла, что я искалечен?

У них начался странный разговор, когда каждый спешит задать вопрос, но не имеет терпения выслушать ответ.

Наконец оба немного успокоились.

— Когда тебя ранили?

— Уже больше трех месяцев прошло.

— Больше трех месяцев! Почему же ты не писал? Где ранили тебя? Очень страшно было?

— Ах, мама, ничего страшного, только очень обидно, поэтому и не написал. Ведь я и боя-то не видел. Везли нас в поезде к фронту, ночью налетели самолеты, обстреляли эшелон. Все спали. Рядом со мной

лежал Миша Северин из Костромы. Мы с ним очень подружились. Он убит, а я вот ранен. Видно, нас одной пулеметной очередью... Больше никого в вагоне не задело. Сняли меня на станции. Обидно... глупо! — с сердцем сказал Андрей.

Помолчав, он добавил:

— Все дальше поехали. Замечательная у нас рота собралась. А политрук какой был! Больше уже никогда такого не увижу. Ленинградец, еще в гражданскую воевал.

Андрей вспомнил, как в московский госпиталь, где он лежал первое время, пришли работницы соседней трикотажной фабрики, принесли подарки для раненых. Он получил из рук пожилой женщины пакет с красными шерстяными носками, теплым шарфом, перчатками. На пакете крупными буквами было вышито: «Нашему герою, отважному воину». Андрей смешался, решил, что произошла ошибка, хотел было отдать сверток, но женщина ласково остановила его:

— Ничего, герой! Рука заживет, перчатки в самую пору окажутся, да и носки пригодятся.

Андрей рассказывал матери обо всем этом. Значительное в его рассказе мешалось с мелочами.

Наконец мать перебила:

— Давай сядем, Андрюша, тебе трудно стоять. Как же ты сюда попал? Попросился?

— Что ты, мама! Тоже скажешь — «попросился!». Разгружали московские госпитали, многих раненых отправляли на восток. Я даже не знал до вчерашнего дня, что здесь окажусь. Думал — санитарный поезд не довезет или пройдет дальше. В общем, скверно получилось. Вот видишь, как я повоевал...

Они уселись на скамью. Помолчали.

— Глупый ты мой! Разве в том твоя вина? Успеешь.

— Нет, мама, ты неправа, ты ничего не понимаешь,— жестко сказал Андрей и ссутулился.

— Ко! — предостерегающе произнесла Зинаида Степановна.

Андрей поспешно выпрямился и рассмеялся. Еще с детских лет, борясь с привычкой Андрея сутулиться, мать произносила «ко» — первые две буквы слова

«колесо». Андрей не хотел походить на колесо и расправлял плечи.

— Вот что, Андрюша! — сказала Зинаида Степановна строгим голосом.— Давно ли у тебя завелась дрянная привычка держать в тайне от матери свои дела? Почему ты мне ничего не сказал о Вале?

Андрей покраснел и растерянно взглянул на мать. Зинаида Степановна, довольная таким впечатлением, рассмеялась.

— Вот видишь, от матери ничего нельзя скрывать... Во-первых,— растягивая слова и заранее наслаждаясь эффектом, продолжала Зинаида Степановна,— мы с Валюшей работаем в одной школе. Во-вторых, Валя живет в твоей комнате.

Андрей вскочил, прошелся по вестибюлю и, остановившись перед матерью, тревожно спросил:

— Почему же Валя не пришла?

— Она в подшефном колхозе, вернется через два-три дня. Зря, зря ты от меня скрывал...

К ним подбежала перепуганная Ксана:

— Иди скорее. Ищут тебя везде, начальник отделения ругается! Беги скорей!

Андрей поцеловал мать и, не оглядываясь, как в былые времена, торопливо взбежал по знакомым ступенькам, ведущим в широкий школьный коридор. Только теперь Зинаида Степановна сообразила, что не успела передать ему кулечка с котлетами, пирожками и вареньем. Ксана тоже исчезла.

«И не поговорили толком...» — с огорчением подумала Зинаида Степановна.

Посидев еще немного, вздохнув, она решительно встала и отправилась искать врачебное начальство, чтобы подробно узнать о здоровье Андрея.

* * *

Утром Андрей проснулся раньше всех в палате. Первой его мыслью была Валя. Где она, в каком колхозе? Он хорошо знал окрестности города, не раз бывал в ближайших колхозах. Раздумывая, оглядывая стены, Андрей заметил большой, изогнутый полукольцом гвоздь. Он сразу вспомнил, как вбивал когда-то

гвоздь для портрета Павлика Морозова. Раньше здесь была пионерская комната.

В палате все еще спали. Всхлипывал во сне Гена. За окном, на улице, проходили редкие машины, в палату доносились паровозные гудки. В госпитальном коридоре уже началась жизнь: раздавался дробный стук костылей, санитарки гремели ведрами, кто-то сердито кричал: «Сестра! Дежурная! Няня!»

— О чем мечтаешь, дорогой? О красивой девушке мечтаешь? — неожиданно спросил с легким грузинским акцентом вчерашний смуглый капитан.

Андрей просто ответил:

— Вы угадали...

— Э-э! Я старый воробей, всегда угадываю! Вижу, молодой человек, что с дисциплинкой у вас слабовато, порядок нарушаете. В госпитальных правилах сказано: побудка в семь часов. А сейчас и шести нет. Почему не спросили у меня разрешения на побудку?

— Вы спали, товарищ капитан,— смеясь, ответил Андрей.

— Отговорочки, дорогой! Начальство никогда не спит, оно только отдыхает.

Вачнадзе в самом деле сегодня почти не спал. Ночные часы были для него самыми тяжелыми. Уже целый год возили капитана по госпиталям. Еще в октябре 1941 года, в первых боях под Москвой его тяжело ранило осколком снаряда в грудь и живот. Вачнадзе был кадровым офицером, службу в Красной Армии начал с пятнадцати лет, воспитанником музыкантской команды. Служил он и на Дальнем Востоке, и в Казахстане, и на Украине, и на Волге, исколесил всю страну. Воевал с белофиннами, переходил Дунай и видел ликующий, освобожденный народ Молдавии.

Солдаты любили Вачнадзе, видели в нем справедливого, простого человека, на горячность не обижались, но пуще огня боялись показаться ему на глаза в случае провинности.

Сам Вачнадзе не мыслил себе жизни без армии. Он любил военную службу всем сердцем, искренне удивлялся и печалился, видя, как отслужившие срок молодые красноармейцы радуются возвращению домой.

— Неужели не жалко уезжать?

Вачнадзе почти по-детски был привязан и к внешним формам армейской службы, любил лихую солдатскую песню, духовую музыку и наслаждался, слушая игру полкового оркестра. Парады были для него праздником, к которым он готовился тщательно и долго. На инспекторских смотрах его подразделение неизменно занимало первое место.

Сердце Вачнадзе радовалось, когда он встречал на улице четко шагавшую, бравую роту. Он усердно обучал подчиненных искусству красиво носить военную одежду, любил хорошую выправку, даже своеобразное солдатское щегольство.

Нет, трудно было такому человеку в госпитальных стенах.

Правда, его кипучий характер и здесь находил себе дело. Он добился разрешения изучать с выздоравливающими уставы и наставления, проводил «военный час» с сестрами и санитарками.

После короткого шутливого разговора с Вачнадзе Андрей снова заснул. В палате стало светлее.

— Дядя Ваня, а у новенького, говорят, мать здесь живет, учительница. Местный он.

— А ты откуда пронюхал? Лежишь на койке, а больше всех знаешь.

— Володя сказал. Знаете, как мы новенького зовем? Дядей Степой! Уж очень он длинный, посмотрите, даже ноги торчат.

Вачнадзе посмотрел и рассмеялся:

— Да, он правофланговый по всему госпиталю может быть. Но ты, Генка, мне зубы не заговаривай. Приказание мое не выполнил? Ночью спал? У тебя все наоборот: днем спишь, а ночью мух ловишь. Так кошки живут, Генка. Я тебе сегодня днем не дам спать. Так и знай. Радио слушал?

— Ага...

— Ну, как дела, докладывай, товарищ начальник штаба.

— Фашисты, дядя Ваня, жмут. Опять на улицах бои. Передавали, что один командир взвода написал на стене дома: «Не пустим врага за Волгу!» Десять раз за один день ходили фашисты на этот дом, с танками даже! А этот взвод сжег двенадцать ихних танков! А на другом участке, передавали, немцы продви-

нулись вперед. Неужели, дядя Ваня, Сталинград они возьмут?

— Не огорчайся, Генка! — сказал Вачнадзе.— Не возьмут! Видишь, один взвод сразу двенадцать фашистских танков уничтожил. А сколько там таких взводов? Давай буди ребят!

Но Генка не хотел будить своих товарищей — это было не так-то легко сделать. Пришла сестра, сунула всем под мышку термометры, но Володя и Гриша продолжали спать. Проснулся только Андрей.

Сестра взяла у него термометр и что-то записала в листок, покачав головой. Температура оказалась повышенной.

— Товарищ капитан,— обратилась сестра к Вачнадзе,— придется временно вас потеснить. Нижние палаты разгружаем, переведем к вам двух раненых, ходячих, из вчерашней партии.

— Почему теснить? — загорячился Вачнадзе.— Видишь, две койки пустые стоят. Давай сюда своих бойцов, сейчас мы их на довольствие поставим. Какой командир от пополнения отказывается?

Через полчаса сестра ввела в палату большого, широкого в плечах раненого с забинтованным лицом и ковыляющего за ним на костыле приземистого толстячка. Андрей сразу узнал в них вчерашних спутников по автобусу.

Сестра указала толстячку на койку около окна. Но тот немедленно вспылил:

— Ты бы меня еще на улицу выставила! И так весь организм на передовой перемерз, а ты к окну! Давай койку поближе к печке, и никаких разговоров!

— А ну, брось свою волынку тянуть! — раздался из-под бинтов бас его товарища.— Ишь чего захотел? К печке... Организм промерз... Это где же, около ротной кухни? И печки тут нет, видишь — паровое отопление.

Вачнадзе с интересом наблюдал за стычкой.

— Вот что, товарищи бойцы,— вмешался он.— О печке разговор отставить. У нас в армии порядок есть: явился в распоряжение — доложи, поздоровайся. А потом насчет печки.

Только теперь сержант Чаркин заметил, что на койках лежат три мальчика. Он растерянно взглянул на

товарища и, ища у него сочувствия, фальцетом запричитал:

— И что это за насмешки над нами строят? Ребятишек откуда-то набрали... Раненых фронтовиков в детские ясли помещают! Подавай начальство! — подступал он к сестре.

Вачнадзе вышел на середину палаты и голосом, в котором опытный слух Чаркина безошибочно угадал бывалого командира, гаркнул:

— Сержант Чаркин! Займите указанную вам койку. Это приказываю я, капитан Вачнадзе.

Чаркин опасливо взглянул на Вачнадзе, выпрямился на костыле и неожиданным баском отрапортовал:

— Есть занять койку около окна!

— Ну вот, узнаю солдата,— уже мягче сказал Вачнадзе и посмотрел на высокого бойца. Тот представился:

— Рядовой 887-го полка Тимофей Заметный. Вы уж извините, товарищ капитан, за этого Чаркина. Беспокойный он человек. Всю дорогу маюсь с ним, как с малым дитем...

Сестра, довольная благополучным исходом, убежала из палаты. Чаркин деловито стал вытаскивать из карманов халата бесчисленные предметы и раскладывать их на подоконнике. Ребята с интересом наблюдали, как на подоконник были выложены два электрических фонарика, огромной величины зажигалка в виде снаряда, плоский алюминиевый стаканчик, замысловатые ложка и вилка на одном черенке, зеркальце. Разгрузив карманы и опасливо поглядывая по сторонам, Чаркин вытащил из-под халата набитую чем-то сумку от противогаза и сунул ее за тумбочку.

* * *

...Андрей быстро свыкался с новой обстановкой. Этот госпиталь и порядок в нем ничем не отличался от других. Правда, здесь Андрей попал в необычную палату. Когда сестра в коридоре отдавала распоряжение санитарке: «Позовите новенького из детской»,— это было в порядке вещей и ни у кого не вызывало улыбки.

«Новенький из детской», ростом в 187 сантиметров,

чуть сутулясь, направлялся на прием к врачу. Снова заполнялась история болезни (опять отвечать, где и при каких обстоятельствах был ранен), делался рентгеновский снимок руки и плеча, назначались лекарства, консультации у главного хирурга. «Косточки придется почистить»,— заявила главный хирург Ася Ильинична, женщина пожилая, видимо, прежде очень красивая.— У вас неприятная история — остеомиэлит.

Андрей уже знал значение этого замысловатого слова. Как и все раненые, он быстро усвоил медицинскую терминологию. Слово это обозначало воспаление кости.

У Аси Ильиничны находился в армии единственный сын. Она тоже хотела услышать новости с фронта, и Андрей, досадуя, в который раз рассказывал о бомбежке эшелона, о Мише Северине и о своем ранении.

Ася Ильинична внимательно выслушала эту историю.

— Ничего, мы вас вылечим,— сказала она,— вылечим, и вы будете еще воевать.

Однажды в сумерки Андрей и Вачнадзе разговаривали вполголоса у окна в коридоре. Вачнадзе был таким человеком, которому можно было открыться. И Андрей рассказал ему все, что можно рассказать самому близкому человеку. Он признался, что в палате умышленно умолчал об обстоятельствах своего ранения. Он бы не струсил и честно воевал. Пусть капитан в это поверит.

— Ух, какой нетерпеливый! — рассмеялся Вачнадзе.— Все еще у тебя будет, все! И героем станешь, вот помяни мое слово. А несчастье с каждым может случиться. Война! Ты не в гости, на войну ехал. А беспокоишься — правильно! Хорошее беспокойство!

Рассказал Андрей о матери, о Вале. Он даже пытался изобразить, как Валя говорит и как волнуется. Вспомнил он и прощание с ней.

Андрей рассказывал, а Вачнадзе, обычно сам любивший поговорить, терпеливо слушал, лишь изредка вставляя словечко.

К ним подошел Володя и, молча полуобняв Вачнадзе, сообщил:

— Дядя Ваня, к нам врачиха новая пришла. Меня

постукала молоточком, а около Генки села и сейчас с ним разговаривает.

— Ты что путаешь, а куда же наша Варвара Семеновна делась? — забеспокоился Вачнадзе.— Ну, скажи на милость, за три месяца седьмого врача меняют!..

— Тебе, дядя Ваня, уезжать скоро, а мы остаемся. Твоя Варвара не любила нас, все грозилась в детскую больницу отправить. А эта только вошла к нам, сразу весело стало, а сержанту Рюмкину выговор дала, он на кровати в халате спал.

Вачнадзе расхохотался.

— Чаркин он, Володька, а не Рюмкин. Разницу понимать надо.

На улице стемнело. Хлопьями валил снег, и все трое с завистью смотрели из окна на осыпанных снегом прохожих.

— Люблю снег,— задумчиво сказал Вачнадзе.— Там, где я родился, снега нет. Зачем только торопятся эти люди? Я бы шел медленно, и пусть снег за воротник валится...

— Пойдем, дядя Ваня,— ласково сказал, заглянув ему в глаза, Володя.

Вдруг рядом раздался женский голос:

— Что же ты убежал, Володя, мне еще надо посмотреть тебя!

Андрей обернулся и удивленно отступил: перед ним стояла дорожная спутница, седая женщина. Она его узнала.

— Что же вы меня так разглядываете? Не узнали?

— Очень уж неожиданно...

— Как бы там ни было, а здороваться следует.

Андрей виновато улыбнулся и протянул руку.

— Мы ехали сюда в одном вагоне,— обращаясь к Вачнадзе, объяснила она.

— Значит, вы наш новый врач? — спросил Вачнадзе.— Ну, давайте познакомимся и мы: я — капитан Вачнадзе, помещаюсь в той же палате, где и этот боец,— он показал глазами на Володю,— и Андрей тоже с нами.

— Теперь ясно. Значит, вы и есть дядя Ваня? А кто же у вас в палате дядя Степа?

Володя виновато юркнул за спину Вачнадзе. Тот

шутливо хлопнул его рукой и, указав на Андрея, ответил:

— Вот дядя Степа. Разве не похож? Это сорванец Володька всем клички придумывает.

— Очень похож,—улыбнулась она.—Боюсь, что и мне не поздоровится. Зовут меня Галиной Ивановной, а Володя придумает невесть что. Ну, а теперь прошу в палату, товарищи. Разбежались все, а мне нужно с вами знакомиться не в коридоре.

В палате Галина Ивановна долго расспрашивала ребят, много записывала в их истории болезни, а потом подсела к Генке. Вачнадзе устроился в его ногах. В палате стемнело. Все притихли, и даже разговорчивый Володя молча прилег на койку. Галина Ивановна, низко склонившись, безмолвно гладила Генку по голове.

— Скажи, а мама твоя знает, где ты находишься? — спросила она.— Как же ты потерялся?

Генка потупился.

— Я не потерялся, маму полицаи убили. А батя в партизанах.

— У тебя очень болит нога?

— Ночью болит, а днем нет. Дядя Ваня у нас болеет сильно.

— Э, послушай, Генка, тебя об этом не спрашивают,— вмешался Вачнадзе.— Насчет моей болезни мы поговорим с Галиной Ивановной, когда до меня очередь дойдет. Понимаете,— обратился он к ней,— мне врач не нужен. Все меня лечат: Генка лечит, Володька лечит, Ксана лечит, а я давно здоров.

— Сомневаюсь в этом. Вашу историю болезни я уже читала.

— Болезнь моя не от войны... Раны залечены. А гражданская болезнь, почка, сейчас не в счет. Поболит и перестанет, я со своей почкой до Берлина свободно дойти могу.

Когда Галина Ивановна простилась и вышла из палаты, Вачнадзе заметил:

— Невеселая она. Отчего бы это?

Андрей приподнялся на кровати.

— У нее большое горе, ее уже нельзя развеселить,— тихо сказал он.— Я знаю историю Галины Ивановны.

Торопясь и волнуясь, он рассказал примолкнувшей палате все, что слышал в поезде несколько дней назад.

Теперь, когда Галина Ивановна приходила в палату, ребята, стараясь угодить ей, вели себя примерно и тихо. Даже Чаркин в ее присутствии помалкивал. И только Вачнадзе при появлении Галины Ивановны оживлялся. Андрей с удивлением заметил, что капитан в эти минуты производил впечатление совсем здорового человека. Но Галина Ивановна оставалась неизменно печальной и молчаливой, присаживалась на койку Гены и подолгу не уходила.

— Она жалеет меня, дядя Ваня, она сына своего вспоминает,— говорил Гена. Через несколько дней Гена заявил, что у него «совсем перестало болеть». Галина Ивановна недоверчиво покачала головой.

Как-то она вызвала к себе в ординаторскую Вачнадзе и долго с ним беседовала. Он вернулся в палату очень довольный и громко крикнул:

— Ну, ребята, меня скоро на комиссию назначат. Галина Ивановна говорит, что сейчас и мне воевать можно будет!

Вачнадзе был необычайно взволнован и размахивал руками. Потом, видимо от избытка радости, он подошел к Генке и три раза чмокнул его в лоб. Генка приподнялся и обнял его за шею.

— Дядя Ваня, нам без тебя будет скучно...— и расплакался.

— Послушай, Генка, я сердиться буду. Ну не плачь, не плачь, я говорю! Я писать буду, часто писать. После войны на Кавказ поедем, ишака тебе куплю, коляску сделаем, разъезжать будешь.

И он осторожно вытирал слезы с бледных, веснушчатых щек Генки.

Андрей так и не увидел, что было дальше: пришла Ксана и вызвала его к врачу.

Галина Ивановна рассеяно перелистывала исписанные листы бумаги.

— Садитесь,— сказала она Андрею.— Знаете, ваш капитан настоял-таки на своем, уговорил. Через месяц, если все хорошо пойдет, назначу его на комиссию.

— Скучно без него будет,— сказал Андрей.

— Да, скучно,— повторила Галина Ивановна,— а, в общем, он должен воевать.

— Он вернулся от вас чуть не танцуя,— заметил Андрей.

— Еще бы! Добился своего!

* * *

Зинаида Степановна любила читать с Андреем трогательные рассказы и повести, и ей казалось, что она этим воспитывает в сыне любовь к человеку. Но это были книжные люди, книжные страдания и страсти. А живые, рядом с ней существующие в жизни часто оставались ей чуждыми.

Так, однажды пришел к ним бывший ординарец Василия Шилина. Громко стуча коваными сапогами и оставляя за собой грязные следы, он подошел к столу и выставил на него бутылку водки.

— Принимай, Зинаида Степановна, гостя,— шумно сказал он.— Не забыла Егора Косых? Вот приехал правду искать. Обидели партизана, напраслину возвели. На прииске не в последних ходил, каждый праздник премию получал. А тут, как беда случилась, так сразу все забыли, под суд отдавать хотят. Прогульщик, говорят, пьяница. А какой я пьяница? Какой прогульщик? Раз только и случилось... С горя, Зинаида Степановна, с большого горя запил, три дня в шахту не выходил. Аннушка, баба моя, с маркшейдером ушла, стерва! Сколько лет с ней прожил... Все забыла, меня бросила, обоих ребятишек бросила. А я, выходит, через это пьяница, меня под суд?

Зинаида Степановна быстро вытолкала Андрея в другую комнату, брезгливо отодвинула водку на краешек стола и сказала, что пить здесь некому. Вежливо, но настойчиво она выпроводила гостя из квартиры и открыла форточки.

Андрей выбежал на лестницу и, задыхаясь, спросил:

— Дядя, вы правда у папы ординарцем были, как Петька у Чапаева?

— Правда, сынок, правда! Воевали с твоим батей за Советскую власть. Да... Он понимал народ и жизнь человеческую. Не то что некоторые...

Нагнувшись, Косых крепко расцеловал Андрея.

— Ну, прощевай, сынок, пойду койку искать...

История эта с годами забылась, но сейчас Зинаиде Степановне пришлось вспомнить о ней — Андрей попросил принести письма отца. Зинаида Степановна ответила:

— Тебе, Андрюша, неудобно будет их читать. Там много интимного...

Однако Андрей настоял на своем. Однажды она вытащила из своего пухлого школьного портфеля плотный конверт и передала его Андрею.

— Потом будешь читать, Андрюша, без меня,— просительно сказала она.

Но Андрей нетерпеливо вытащил из конверта несколько исписанных пожелтевших листков и тут же стал читать. Это были письма отца.

Зинушка моя дорогая,— читал Андрей,— женка золотая! Прости, что долго не писал, дни были трудные, по трое суток с седел не слазили, гнали и рубили семеновскую сволочь. А сейчас — передышка, благодать. Стоим почти на самой границе. Я помылся в баньке, сбрил свою таежную бороду и по-царски поужинал. Ты все спрашивала меня в письмах, как я питаюсь. Могу доложить о сегодняшнем ужине: пельмешки, грузди соленые, кусище изюбриного мяса, мороженая брусника и карымский чаек с молоком. Была и бутылка китайского ханшина. Зелье отменное!

Да, заслужили ребята такой отдых после отчаянной скачки и непрерывных боев.

Как видишь, я не только жив, но и здоров, и бодр. А ведь «чуть-чуть» в плен к семеновцам не попал. «Чуть» не разорвало восставшее нерчинское кулачье. В лесной коммуне, помнишь, отсиживался, и, открою тебе секрет, основательно тогда ранен был.

Нет, не берут меня ни пуля вражеская, ни шашка. И не возьмут! Вот уже очистили мы от врага почти все Забайкалье, и красное знамя Советской власти скоро поднимется над всем Дальним Востоком.

В счастливое время родился Андрюшка наш.

Это письмо передаст тебе мой новый ординарец Егор Косых. Так уж нелепо получилось, что Костю убило в ночном бою. Ты приласкай Егора, покорми его вкусно, человек он стеснительный, но в бою не знает страха и за товарища жизнь не пожалеет. Его отваге я многим обязан...

Андрей молча развернул другое письмо и с трудом стал разбирать полустершиеся карандашные строчки, написанные торопливо и размашисто.

Зиночка,— читал Андрей,— мы попали в скверную историю. Нас маленькая горсточка, и мы окружены со всех сторон целой сворой бандитов Семенова. Держимся третьи сутки, но трезво смотрю на обстановку: возможно, нам отсюда не выбраться. Скажу тебе слова, которые каждый из нас не раз повторял в эти годы: будем биться до последнего патрона, до последнего дыхания. Да здравствует кровью добытая наша Советская власть! Да здравствуют большевики! Да здравствует Ленин!

Мой тебе наказ: воспитай сына коммунистом, большевиком. Пусть из него вырастет новый человек, о котором я всегда мечтал. Пусть живет для народа и любит народ.

Если что случится — возьми себя в руки.

Письмо это передаст знакомый тебе Егор Косых. Он ранен, но я посылаю его с важными документами. Может быть, он проберется. Обязан пробраться...

Люблю тебя, целую

Василий Шилин.

Андрей дочитал эту записку и, опустив руки на колени, задумался. Отчетливо, до мельчайших подробностей он вспомнил тот день, когда к ним приходил Егор Косых. Отец пишет, что у него сердце отважное... Будучи раненым, он доставил и это последнее письмо...

Горькая, еще никогда не испытанная обида на мать охватила Андрея. Как она могла? Он взглянул на нее.

— Эти два письма я оставлю себе,— как о деле решенном, сказал Андрей. По всему его виду мать поняла, что возражать бесполезно.

* * *

Новость о том, что в госпиталь привезли подарки, первым узнал Володя. Он прибежал в палату, на ходу запахивая широкий и длинный не по росту халат, и крикнул:

— Ура! Есть подарки! Из района привезли... В мешочках... Я видел... Один развязался и вылетело печенье.

Гриша сразу взволновался. Генка же по-взрослому посмотрел на Володю и неодобрительно сморщил губы: видимо, считал неуместным радоваться таким пустякам.

Вачнадзе заинтересованно спросил:

— Э, послушай, ты не врешь? Я подарки люблю. Письмо прочитаю, табак с кисетом себе возьму, а печенье, конфеты — в общий котел.

— А конфет, дядя Ваня, в подарках нет, честное пионерское, табак есть, печенье.

— Плохой из тебя разведчик, Володька,— строго отрезал Вачнадзе.— Пойду-ка я разведаю, что там с подарками.

Он вышел из палаты и направился к дежурному врачу.

Оказалось, что подарки действительно привезли. Не прошло и получаса, и Ксана торжественно внесла в палату семь туго набитых мешочков. Андрею достался шелковый, малинового цвета. Когда Ксана вышла, Андрей взял с тумбочки свой мешочек, даже не заглянув в него, передал Генке:

— Возьми, Генка. Я сладкого не люблю.

Мальчик вопросительно посмотрел на Вачнадзе.

— Бери, бери, не зевай,— отозвался тот, и Генка, полюбовавшись густо-малиновым шелком, положил мешочек рядом со своим.

— Ты почему скромничаешь, не показываешь свое богатство? — смеялся Вачнадзе.— Не бойся, не отберем!

Генка развязал шнурок, с интересом заглянул в

мешочек и извлек конвертик, сложенный треугольником. Вачнадзе развернул его и громко прочитал:

— «Дорогой боец! Я и мой дед Герасим Савельич посылаем Вам свой привет, а также низко кланяемся и просим принять наш подарок от чистого сердца.

Посылаю Вам также портрет — фотокарточку. Я работаю в колхозе имени Буденного табунщицей, и растим мы для вас, дорогих фронтовиков, отличных коней. Я лично уже заработала 438 трудодней. Если Вам после излечения положен отпуск, а ехать некуда,— приезжайте к нам. Отбирал вам подарки мой дед Герасим Савельич, который сам служил в солдатах и воевал на сопках в Маньчжурии, а теперь по старости работает поваром в МТС. Он говорит, знает, что солдату нужно, потому извиняйте.

Желаем Вам скорее поправиться и скорее возвращаться на фронт, чтобы беспощадно уничтожать проклятых гитлеровцев и гнать их с нашей земли до самого Берлина.

Сообщите свой адрес, я Вам еще подарок пришлю, по своему вкусу. Если портрет мой понравится, пришлите также свой.

С уважением к Вам и вашим товарищам-бойцам

Василиса Гремайло».

Чаркин деловито сказал Генке:

— А ну, покажь портрет...

На фотографии была изображена скуластая девушка с крупным лицом, широкоплечая и полногрудая, со смешливыми маленькими глазами. Чаркину она понравилась. Он строго взглянул на улыбающегося Андрея:

— А ну, неча смеяться! Сурьезная особа, видная деваха. Видать, работящая, и дед у ней подходящий, сурьезный человек, главное, что повар...

Взрыв смеха раздался в палате. Андрей утирал катившиеся слезы, Вачнадзе хохотал заразительно, весело, а Заметный проделывал одной рукой замысло-

ватые фигуры в воздухе, а другой держался за бинты: смеяться было больно. Чаркин обиженно молчал.

Наконец сквозь смех Вачнадзе проговорил:

— Ну, Генка, с письмом и портретом надо тебе расстаться, придется отдать сержанту. Ну, а насчет другого не спеши, посмотрим раньше, как дед Герасим солдатскую жизнь понимает.

Генка, зажмурив глаза, как при игре в фантики, извлек из чудесного мешочка четвертинку спирта.

— Ого-го! — приветствовал ее Заметный.— Дед и впрямь толковый! Повезло тебе, Чаркин!

Вачнадзе сокрушенно заметил:

— А тебе, Генка, опять не повезло. Не в коня корм! Давай дальше, тащи!

Под веселый смех Генка, как фокусник, извлек из мешочка бритву. За ней появились помазок, камень для правки, мыльный порошок в железной красной коробочке из-под леденцов, большой кисет с табаком «самкроше» и, наконец, запеленутая в чистую тряпочку трубка-носогрейка, старая и хорошо обкуренная.

Довольный Чаркин, уже не спрашивая, по-хозяйски принимал подарки. Только когда он протягивал руку за трубкой и табаком, Вачнадзе запротестовал:

— Нет, шалишь, сержант, не жадничай. Ты ведь не куришь! Трубку и табак дед Герасим послал мне.

Под конец Генка вытащил огромные шерстяные носки домашней вязки и рукавицы-однопалки, рассчитанные на гиганта.

Все сразу обернулись к Заметному, но Чаркин опять протянул руку.

— Послушай, Чаркин, рано ты радуешься, дорогой,— сказал Вачнадзе.— Когда девушка вяжет, она мечтает. И всем ясно, что эта девушка вязала для Заметного, мечтала о нем.

Чаркин хмуро откликнулся:

— Пущай берет, мне не жалко.

Вачнадзе предложил:

— Вот что, дорогие, Генка-то остался ни с чем, ограбили мы его... Предлагаю: печенье, конфеты, носовые платки из всех подарков отдадим младшему поколению.

Когда госпитальный день подходил к концу, Андрей с Вачнадзе после ужина вышли в коридор.

Андрей решил рассказать капитану о письмах отца, о Егоре Косых, об обиде на мать.

Вачнадзе сумрачно молчал, не мешая ему, и против своего обыкновения ни словом, ни жестом не выражал своего отношения к рассказу. Потом осторожно и спокойно взял письмо у Андрея и прочитал.

— Хороший человек! — сказал он, возвращая письма, и снова замолчал.

Склонив голову, он стоял и думал о короткой жизни и героической смерти Василия Шилина.

— Кем был твой отец до гражданской войны? — спросил Вачнадзе.

— Учителем.

— Учитель! — повторил капитан. Трудно сказать, почему, но Вачнадзе в эту минуту вдруг подумал о своей судьбе. Как плохо, что у него в жизни никого нет. Ни жены, ни сына, ни родителей.

Василий Шилин погиб, и вот его сын Андрей думает о нем, любит его, всегда помнит и хочет продолжать его дело. Капитан понимал состояние Андрея. Без колебаний он вынес бы сразу свой приговор жене Василия Шилина: раз ты не выполнила заветов мужа, оттолкнула боевого друга мужа,— ты неправильный человек. Но внешняя сдержанность капитана объяснялась сейчас тем, что он успел составить хорошее мнение о матери Андрея. То, что эта женщина, потеряв мужа, осталась верной ему и после смерти, посвятила целиком свою жизнь сыну, уже одно это делало ее в глазах Вачнадзе необыкновенной, заслуживающей уважения. Как бы он хотел, чтобы его вот так же кто-нибудь полюбил!

Вот почему он некоторое время молчал.

— Хороший человек Косых,— проговорил Вачнадзе,— нельзя обижать такого человека. У нас так нельзя.

«Да, так нельзя»,— мысленно за ним повторил Андрей. И не потому, что капитан сказал что-то новое, а потому, что он подтвердил его собственные мысли, Андрей успокоился, как человек, наконец принявший определенное решение.

* * *

Капитан был старше Андрея почти на двадцать лет. Но если Вачнадзе выбирал себе друга, то он не смотрел на такие пустяки, как возраст. На взгляд Вачнадзе, это никакого значения не имело. Были у него друзья и значительно старше и младше его. И так уж сложилась судьба Вачнадзе, что друзья-мужчины его никогда не подводили. Жестоко обманула женщина...

Откровенный разговор с Андреем, упоминание о Косых, которого бросила жена, напомнили Вачнадзе собственную горькую историю.

...Окончив военное училище, юный Вано Вачнадзе твердо решил жениться. В свой отпуск он специально для этого поехал на родину, в Грузию. Вано Вачнадзе уже давно создал себе образ будущей невесты. Это была тонкая черноволосая красавица, скромная грузинская девушка.

Пусть любуется и завидует весь полк!

И Вано привез себе жену...

Она действительно была на загляденье красива. «Лучшая жена в гарнизоне»,— думал Вачнадзе.

Нина скучала в глухом гарнизоне, где не так-то много развлечений. Вано понимал это, но он недавно получил взвод красноармейцев, сорок человек, и был по горло занят, от подъема до отбоя не бывал дома. Нина уже сожалела, что приехала сюда. Небольшое утешение нашла она, участвуя в полковой самодеятельности. Вачнадзе был необыкновенно горд, впервые услышав, как она поет со сцены гарнизонного клуба. Сам капельмейстер полкового оркестра, который, наверное же, понимал толк в пении, не мог нахвалиться Ниной.

В гарнизонном клубе в то время не было рояля, поэтому Нина пела в сопровождении оркестра. Таким образом, она нашла себе дело и, кажется, совсем успокоилась. Во всяком случае перестала упрекать Вачнадзе его небольшим окладом, не очень теплой комнатой (Вачнадзе привык, ему не было холодно) и тем, что он так много работает. Конечно, Вачнадзе сам хотел бы побольше бывать с Ниной, но служба есть служба.

Через три месяца Нина объявила, что ошиблась

и не любит его, что она уезжает с капельмейстером оркестра...

Если бы не взвод, не эти хорошие парни, которых Вачнадзе успел полюбить за короткое время, трудно сказать, как бы он перенес свое горе.

Потом Вано переезжал из гарнизона в гарнизон, иногда сходился с женщинами, но жениться... Нет, жениться больше он не хотел: проживет и холостяком... Он, кажется, переступил ту возрастную черту, за которой мужчина вправе считать себя заядлым холостяком.

И вдруг здесь, в госпитале, им стало овладевать острое беспокойство. С тех пор как появилась Галина Ивановна, с ним действительно произошло что-то необыкновенное. Сначала он сам не отдавал себе отчета в тех сложных чувствах, которые вызывала в нем эта одинокая, замкнутая женщина.

Вачнадзе стал все больше доверять Андрею. Сегодня, например, он затеял с ним такой разговор:

— А ты, наверное, полюбил свою Валю с первого взгляда? — спросил Вачнадзе будто между прочим.— Увидел и полюбил?

— Нет, я ее часто видел, но и не думал совсем. Мы просто дружили с Валей,— отвечал Андрей.

Вачнадзе задумался.

— А у меня друг один был. До войны еще. Задолго до войны. Хороший друг. Молодым женился. Три месяца прожил, а потом его жена бросила. Не хотел больше друг жениться. Много лет один прожил. Потом увидел женщину, и как увидел, так и полюбил. Совсем еще не знал ее. Может так быть?

— Конечно, может,— убежденно сказал Андрей,— я вот читал...

— Ты совсем молодой, ты еще не можешь знать...— Вачнадзе легонько обнял Андрея за плечи.— Я уеду, ты мне письма пиши. Про ребят, про Галину Ивановну. Очень прошу тебя.

Андрей взглянул на Вачнадзе. Ни разу он не видел его таким. Лицо капитана выражало глубокую, печальную нежность. И Андрея вдруг осенило: да этот неизвестный друг, покинутый женой и полюбивший с первого взгляда, и есть сам Вачнадзе!

Андрей вдруг вспомнил поведение Вачнадзе в присутствии Галины Ивановны.

Вот почему, оказывается, Вачнадзе так волнуется и прихорашивается, когда его вызывают в ординаторскую! И тут только Андрей сообразил, что капитан знает о каждом в палате все, а они о личной жизни Вачнадзе — ничего.

— Я обязательно буду писать вам о Галине Ивановне,— пообещал Андрей.

Вачнадзе повеселел. Они, кажется, хорошо поняли друг друга.

— А Ведерников-то нашел ей квартиру,— сказал капитан.

* * *

Ночью Андрей проснулся и услышал приглушенный шепот, Володя с Гришей подтащили свои кровати к Генкиной и в одних рубашках уселись в полукруг, склонив друг к другу головы. Андрей уловил только отдельные слова: «Папа ему говорит... Р-раз!.. Застрочил... Ура-а!..»

«Все о войне, все о войне!» — подумал Андрей, но в этот миг взглянула в дверь сестра, ребята бросились в подушки и притихли. Немного погодя, они опять приподняли головы, и Володя сказал: «Ушла!»

Снова раздался шепот. Говорил Гриша:

— А вы знаете, сколько у дяди Вани орденов? Я так думаю — штук пять, а может, и больше. У дяди Степы ни одного, а дядя Ваня его любит...

— Ну и правильно, что любит,— перебил Володя,— он зря любить не будет. Это ничего, что дядя Степа орденов не имеет, зато про все знает. Ух, и много читал он! Слышал, как про книжки рассказывает? Так и режет!

Генка набросился на Гришу:

— Что ты все об орденах, да об орденах. А разве дядя Степа виноватый, что он до фронта не доехал! Ихний эшелон разбомбило. Вот мне ногу оторвало, а то бы и я в разведку партизанскую ходил. Все наши пионеры, наверно, в партизанских разведчиках. И вожатая Клава с ними. А ты — «ордена»!

Андрей завозился на своей койке. Ребята притихли.

«Эх, Генка, Генка,— подумал Андрей,— я бы тебе дал орден, хотя ты и не думаешь о нем. За все твои муки и за мужество дал бы».

Снова раздался ребячий шепот:

— Ладно об этом... Завтра-то дядя Ваня уходит,— тяжело вздохнул Генка.— Не хочу я, чтобы он уезжал...

— Ты, Генка, не плачь, он писать будет,— успокаивал Гриша.— Что ему здесь делать? Он знаешь сколько фашистов там перебьет? Если хочешь знать, он и из твоего села всех гитлерюг и полицаев выгонит. Он и адрес записывал, я сам видел, честное пионерское...

Сердце Андрея сжалось. «Да, завтра будем ужинать уже без Вачнадзе, без дяди Вани...»

Ранним утром Вачнадзе стал собираться в дорогу. И хотя все знали, что рано или поздно это должно случиться, в комнате воцарилась томительная тишина.

Сборы были короткими, гораздо короче, чем это хотелось всей палате. Вачнадзе вернулся из вещевого склада неузнаваемо изменившимся. Он получил новое обмундирование и выглядел стройным и молодым. На груди — ордена Красного Знамени, Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Володя снял с Вачнадзе накинутый поверх костюма халат, и вся палата могла полюбоваться орденами своего капитана, шпалой в петлицах и золотыми каштановыми нашивками на рукавах.

— Вот это да! — восхищенно сказал Генка.

— Ну, теперь я уже не старшина двенадцатой палаты, а снова капитан Вачнадзе,— сказал он, затягивая на своей тонкой совсем юношеской талии ремень.

— Забудешь ты нас, дядя Ваня, товарищ капитан,— вздохнул Генка и отвернулся.

— Скажи ему, Андрей: Вачнадзе,— он ударил себя в грудь,— умрет, а друзей не забудет!

Вошла Ксана и сообщила, что капитана вызывают в медицинскую часть, все документы готовы.

Не сговариваясь, все сели на койки и с минуту молчали. Наконец Вачнадзе громким голосом, гораздо громче, чем это требовалось, стал говорить:

— Прощайте, дорогие! Прощай, Генка, Андрей,

прощай, Володя, Гриша, Заметный, Чаркин и ты, Ксана!

Он закашлялся и продолжал:

— Буду вас помнить, любить буду. Друзьями навсегда станем. Хочу, чтобы помнили обо мне. Тебе, Андрей, ремень дарю. Цены ремню нет! Друга хорошего ремень. Вот пулевое отверстие, убили друга. Тебе, Генка, портупею дарю. Она миной порвана. Этой миной меня ранило. Тебе, Ксана, зеркало дарю. А тебе, Заметный, так и быть,— трубку деда Герасима. Тебе, Чаркин, совет хороший дарю: никогда не думай, что только фронтовики защищают Родину, а все остальные — ничто. Никогда не думай, что только твоя рота воюет, а остальные бездельничают. А главное — не считай, что ты самый храбрый боец в армии. Наверное, есть похрабрее тебя. Я так считаю. Раз ты воюешь за народ, так уважай народ! На мои советы не обижайся. Они от души.

Напоследок Вачнадзе аккуратно застелил свою постель, расправил под ремнем складки гимнастерки и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Пойду к Галине Ивановне.

— А ее нет в госпитале, она в своей комнате, во дворе, — отозвалась Ксана. — Показать где?

Вачнадзе усмехнулся:

— Не надо, знаю, что в комнате, сам найду,— и, не оглядываясь, быстро вышел из палаты.

* * *

Вачнадзе шел по двору госпиталя в новых поскрипывающих сапогах, в одежде, которая после госпитального халата была особенно приятна.

Он вошел в старый двухэтажный домик и поднялся на второй этаж по винтовой лестнице. Домик походил на древнерусский теремок с маленькими окнами, с резными наличниками, с тяжелой резной дверью из широких досок. В коридоре, подобрав подол, уборщица мыла пол.

— Галина Ивановна где живет? — спросил он.

Уборщица указала на одну из дверей.

— Ночью раненых принимали, не спала Галина Ивановна, сейчас отдыхает,— сообщила она.

Вачнадзе заколебался, но все же тихо постучал. Ему не ответили. Тогда он приоткрыл дверь и увидел спящую Галину Ивановну. Не задумываясь о приличиях, он вошел в комнату и встал у кровати.

Галина Ивановна спала, подложив под щеку ладонь. При виде седых волос этой молодой женщины, которой едва ли было тридцать лет, сердце Вачнадзе сжала боль. Может, это и хорошо, что она спала в эту минуту, иначе что бы он ей сказал?

Почему ни одна женщина после Нины не затронула его сердце, а вот эта, потерявшая ребенка и мужа, стала необходимой, единственно нужной на всем свете? Вот он и пришел проститься с ней. Пусть никогда не узнает она, что ее полюбил капитан Вачнадзе. И поэтому хорошо, что она спит. Мысленно Вачнадзе целовал ее тонкие руки, нежное усталое лицо, белые пряди волос...

В ту минуту, когда он собирался уже выйти, Галина Ивановна открыла глаза. Она приподнялась с постели, пригладила волосы и удивленно посмотрела:

— Вы?

— Я,— сказал Вачнадзе, боясь смотреть на нее и до боли в руках сжимая железную спинку кровати.

— Извините, я ночь не спала. Вы ведь сегодня выписываетесь?

— Да. Сегодня.

— Я встану,— заторопилась Галина Ивановна.

— Не надо. Я сейчас уйду. Прощусь и уйду.

— Вот теперь без вас в палате ребята будут скучать...

— Да, будут. Они будут скучать и я тоже.

— Вы, наверное, очень хороший человек,— искренне сказала Галина Ивановна и вдруг испугалась, взглянув на Вачнадзе. Он побледнел и проговорил:

— Это вы хорошая...

— Что с вами? — встревожилась она.

— Ничего особенного, кроме того, что я вас люблю... Вы не пугайтесь этих слов...

Вачнадзе посмотрел ей в лицо и все понял. Ему не следовало это говорить. Теперь все потеряно, и даже не останется надежды.

— Милый вы человек,— услышал он голос Галины Ивановны,— вы ошиблись, я уже никого не могу по-

любить. Вы ведь знаете...— голос ее задрожал, и она замолчала.

Вачнадзе все это заранее знал, не нужно было ее будить... Все ниже и ниже он опускал голову.

— Вы хотите отказаться от жизни?

— Зачем,— возразила Галина Ивановна.— Сейчас цель моей жизни — быть на фронте, там, где сражаются. Говорят, я неплохой хирург. Я отправила заявление. А если не пошлют, буду работать здесь, возьму себе одного из ребят из вашей палаты, а может быть, и двоих. Но другой любви у меня больше не будет.

— Как не будет? — вне себя вскричал Вачнадзе.— Как не будет? Куда меня денешь?

Это было так неожиданно, так искренне и наивно, что Галина Ивановна не выдержала и улыбнулась.

— Ничего больше не говорите,— продолжал Вачнадзе,— я скажу вам последние слова и уйду. Я буду воевать, буду мстить за вашего мужа, за вашего сына, за вас, за наших ребят. Я знаю, вы меня не любите, но я вас так сильно люблю, за двоих люблю! Писать с фронта буду, можете не отвечать. Только прошу: вспоминайте обо мне. Я все сказал!

* * *

Валя спешила в госпиталь. Она быстро переоделась, привела в порядок волосы, задержалась у зеркала, внимательно рассматривая себя. «У меня слишком горят щеки», — подумала она, прикладывая к ним прохладные ладони. Ей казалось, что Зинаида Степановна насмешливо следит за ней. Валя озабоченно говорила:

— Если бы знать, что он здесь, я бы из деревни привезла кое-что, хоть меду. Как жаль, что сейчас зима, нет цветов.

Когда Валя была окончательно готова, Зинаида Степановна еще раз оглядела ее.

— Я дома останусь, не буду мешать вам. Я у него была в прошлое воскресенье,— глядя в сторону, сказала она.— Андрей хандрит, он стал очень самостоятельным. Отвык от меня. Ну, счастливый путь, моя девочка!

Валя не шла, а мчалась по улице. Она упрекала

себя: «Почему же я иногда была так насмешлива к нему, даже невнимательна?»

«Когда возвратится мой милый, с ума я, наверно, сойду»,— напевала она про себя тут же сочиненную песенку.

Сначала Валя ничего не замечала вокруг, но, подняв голову вверх, увидела в утреннем небе кружащий самолет. И появилось такое чувство, какое бывало в большие праздники: захотелось идти торжественно, размахивая руками, чуть-чуть приподнимаясь на носках. И люди, и гудки автомашин, и самолет в небе приветствовали ее. «Меня все любят! И Андрей любит! Какой расчудесный день!»

Около госпиталя Валя приостановилась и привычным движением заправила под шапочку выбившуюся прядь волос.

На госпитальный двор выходило множество окон большого здания, и хотя за ними ничего не было видно, Валя нарочно медленным шагом пошла до центрального входа. И только когда подошла к двери, всю ее сдержанность точно ветром сдуло. Она резко рванула к себе дверь, влетела в вестибюль и сразу очутилась лицом к лицу с Андреем. Он уже стоял внизу и ждал.

Первые секунды они молча смотрели друг на друга.

— Андрей! — ошеломленно произнесла Валя. А он смотрел на нее широко открытыми глазами и наконец протянул руку. Она схватила ее и крепко сжала.

— Ты знал, что я приду? — шепотом спросила она.

— Ждал, каждый день ждал...

«Глаза-то у нее серые, серые с черными точками»,— взволнованно подумал он.

— Ах, Андрей, Андрей, — повторяла Валя, — какой ты смешной без волос, длинный как Дон-Кихот.

Она отступила на шаг, внимательно оглядела Андрея и заботливо сняла с его халата марлевую ниточку.

— Тебе очень больно, Андрюша?

— Да нет, чепуха, заживет...

Валя себя уже упрекала, что встреча эта произошла не так, как она мечтала. Была какая-то неловкость, что-то мешало Вале чувствовать и вести себя

непринужденно. Может быть, опасение, что Андрей неправильно истолкует ее переезд к матери? Но и она и мать Андрея были так одиноки...

Чтобы избавиться от неловкости, Валя стала бойко и оживленно рассказывать:

— А в институте нашем что делается! Во-первых, почти все разъехались. Наш курс выпустили на шесть месяцев раньше срока. Меня хотели послать в сельскую школу, и я была очень довольна. Некоторые девчонки не хотели ехать, плакали. А я была очень спокойна. Получила диплом и два дня ходила счастливая, ни о чем не думая. Через два дня меня вызвали и сказали: «Вас оставляем в городе». Боже мой, какой смешной был директор, когда я ему ответила, что настроилась в деревню. Он расплылся в улыбке: «Отлично, очень хорошо, что вас тянет сельская школа, но придется подождать. Здесь вы будете работать в образцовой школе. А вернется с фронта прежний преподаватель — поедете в деревню». Девчата мне завидовали. Потом мы устроили прощальную пирушку, ребята достали консервы и прекислое вино. А когда под утро шла домой, вспомнила, что сегодня день моего рождения. И так мне стало обидно, что тебя здесь нет.

Валя говорила быстро, и все время ее не оставляла тревожная мысль: «Почему Андрей так неразговорчив? Да. он, видимо, недоволен, что я живу вместе с Зинаидой Степановной».

— Что с тобой, Андрей? Почему ты такой? — в упор спросила она.— Может, я чем-то обидела тебя?

— Извини, Валя, ты здесь ни при чем. Вчера я впервые прочитал письмо отца и записку его, написанную перед смертью. Слышал я о нем много, а познакомился только вчера... Он писал обо мне, каким я должен быть. А мне кажется, что я не такой...

* * *

Когда тебя выписали из госпиталя, а в кармане лежит увольнительная записка на целые сутки и ты проведешь их с девушкой, счастливее тебя нет человека. Ты жадно глотаешь морозный воздух родного города. Приходит мгновенная слабость, не очень слушаются

ноги, кружится голова. И все-таки хорошо, так хорошо! Больше никаких перевязок, никаких лекарств. Жалко только расставаться с палатой, где ты нашел столько новых друзей, где ты начал понимать, сколько замечательного и хорошего кроется почти в каждом человеке: и в Вачнадзе, и в Галине Ивановне, и в Заметном, к которому ты вначале относился свысока. Ты узнал этих людей в тяжелые дни, и они — твои вечные друзья!

Ты, Андрей, завтра получишь назначение и уедешь в свою воинскую часть. А сегодня тебе еще предстоит встреча с родным городом, сегодня ты увидишь Валю и мать. В комнатах, где прошло твое детство, двадцать четыре часа — так много времени! — ты будешь с ними.

Будут еще расставания, боевая учеба, походы, сражения, предстоят еще суровые испытания, но всегда тебя будут согревать эти дни и часы, проведенные в кругу друзей. И ты нетерпеливо идешь навстречу испытаниям и новой, большой жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Андрей, Заметный и еще шестеро из батальона выздоравливающих получили направление в запасный полк, расположенный в пяти километрах от города, в каменных красных казармах. Андрея зачислили в седьмую роту.

Раньше Андрей иронически относился к правилам воинского распорядка. Многое его просто раздражало. «Неужели, — думал он, — если стать перед командиром навытяжку и повторить приказание, то оно будет лучше выполнено? Не все ли равно, как выслушать командира? Ведь главное — это понять. А зачем требуют, чтобы я, выслушав приказание, поворачивался через левое плечо кругом? А если через правое? Не все ли равно?» Он злился, что много времени уходит на строевое учение; будто на войне шагистикой заниматься будут! И не все ли равно, к правой или левой брови сдвинута пилотка?

Теперь смешными показались все эти былые сомнения и рассуждения. Вспоминались слова Вачнадзе:

«Солдат должен быть красивым! Надо красиво выполнять свое солдатское дело. И одежда солдата — замечательная одежда. В ней все продумано. Вот ты говоришь «строй». А понимаешь ли, что такое строй? Это не только в ногу шагать. Это понятие большое, воинское. Один ты, например, — слабый человек. А отделение таких, как ты, чудеса может сделать на войне. Если все они — как один! Есть хорошее слово «взаимодействие». А начинается это взаимодействие с одинаковой формы, с того, что пилотка к правой брови сдвинута. Понимаешь? Строй — это дружба: товарища чувствуешь, знаешь, как он будет действовать. Понимаешь?»

Раньше Андрей этого не понимал: все, что легко и просто делали другие, ему давалось с трудом. Сейчас все изменилось. В его вещевом мешке лежали ослепительно белые подворотнички, а у командира отделения он разузнал, что в их взводе есть боец, бывший портной, который за «сходную цену» так подгоняет шинель, что «сидит она на тебе, как на генерале». Андрей побывал у этого бойца, отдал ему недельный паек табака, оставил на ночь шинель.

Нары в казарме были двухъярусные. Над койкой Андрея разместился взводный весельчак Вася Царев. Свешивая голову вниз, он шепотом подолгу разговаривал с Андреем.

— Фамилия у меня известная в районе, — говорил он, — батька мой фельдшер. Вот, скажу тебе, заметная должность на деревне! Все бабы лечатся, ребят от смерти спасает, все его знают, все угощают. Мой отец всех любит, и его тоже любят. Правда, не уважает батька врачей. Не переносит. Через это неприятности имел. На деревне все знали, что к врачу в город ездить нельзя, обидится фельдшер Царев, Никодим Иваныч.

А батька выпьет, стучит себе в грудь и со слезами говорит: «Тридцать три года в одной округе людей пользую, знаю, где у какой бабы и мужика печенки лежат, все их внутренности насквозь изучил, все медицинские журналы читаю! А врачом быть не хочу, из принципа! Обидели меня. Девчонку двадцати лет начальником надо мной поставили. Она латынью сыплет, а что к чему — разве ей понять?.. От гры-

жи отворачивается. Все кровь на пробу берет, «исследует», а лечить — ни-ни! Лечиться в город посылает».

В общем, папаша мой, конечно, отсталый человек, теорию ругает, но лечить может. Эх, опоздал батя, профессором ему быть...

Царев рассказывал до тех пор, пока лицо его, наклоненное вниз, не становилось от напряжения красным. Рассказывать Царев любил. Прочитанные книги он запоминал почти наизусть и мог часами говорить о них, многое добавляя от себя. Его с удовольствием слушали. Андрей подружился с Царевым, и тот подолгу рассказывал ему «свой жизни путь».

Цареву нравились слова меткие, крепкие. В перерывах между занятиями он подсаживался к Андрею и, старательно скручивая цигарку, говорил:

— Мужчина, брат, курить должен, разговор без табачка что танцы без музыки.

Однажды утром Царев встал сумрачный, молчаливый. Это было так непривычно, что Андрей не на шутку забеспокоился. День оказался заполнен занятиями. Только к пяти часам дня, когда по расписанию стали чистить оружие, Андрей остался с Царевым с глазу на глаз. Они стояли у большого деревянного стола, обитого по краям жестью, и разбирали автоматы.

— Ну, брат, припечатал меня вчера командир роты, прижег, — признался Царев. — До сих пор не очухаюсь. Лейтенант наш мужчина видный, усатый, боевой, а понятие у него, как у молоденькой учительницы.

И Царев, перейдя на таинственный шепот, стал рассказывать.

Все оказалось очень просто. Цареву приказано было вытащить из земли столбик, который «дурой» торчал перед дверью казармы. Вася скинул телогрейку, поплевал на ладони и принялся за дело: стал долбить мерзлую землю. Но столбик оказался с норовом: покачивается, а не вытащишь. Тут Царев присел и стал этот проклятый чурбан обрабатывать «словесностью».

— Уж как я его только не крыл... Вспомнил и батькины выражения, он спец на это дело, крепко закручивает. Вспомнил и владивостокских морячков с торгового порта, те тоже мастера были. Ну, я для развлечения, значит, крою... Вдруг слышу голос сзади. Смотрю,

лейтенант Дугин стоит и так вежливо обращается ко мне: «Вы что это, просвещением чурбанов занялись?» Да как гаркнет: «Встать!» А потом тихо: «Я уж пять минут стою и слушаю ваши упражнения. Стыдно! Вы семилетку кончили, в техникуме учились, а русский язык позорите. Послушал я вас — будто жабами плюетесь». Ей-богу, так и сказал: «Бросьте,— говорит,— эту дрянную привычку. Душу воротит, когда слышишь, как такие, как вы, не стесняясь, при женщинах, матерях и детях выражаются. Проклятое,— говорит,— это наследие».

— Ну зачем ты так? — спросил Андрей.

— С дурости, что ли? — рассмеялся Царев. — Я ведь тоже от старых наслушался. Ну, а потом для куража. Вижу, нравится кое-кому, смеются... Я и давай больше. А других, по совести, самому муторно слушать.

Андрей заметил, что за все время их разговора Царев ни на минуту не прекращал своей работы: его пальцы продолжали ловко делать свое дело, ни в чем не ошибаясь.

— Хороша штука, — ласково погладив автомат, сказал Царев, — это, брат, сила! Наладиться надо короткими очередями стрелять, по три-четыре выстрела. Хватит, попугали нас фашисты своими автоматчиками. Мы теперь лучше их сумеем с этим оружием управляться.

И Царев многозначительно поднял вверх широкую бровь. Это означало, что он снова задумался.

Нравился Андрею Вася Царев.

* * *

Командир роты встретил Андрея приветливо. Покручивая усы, он внимательно прочитал его документы.

— Из госпиталя, значит, уже воевал. Студент и комсомолец... Все это очень хорошо. Будете помогать парторгу роты и мне.

Андрей смутился и ответил, что воевать ему еще не привелось, до войны в армии не служил.

— Ничего, — ободрил его Дугин, — человек с развитием быстро одолеет все премудрости. Ну, а насчет

боевого крещения? Бывает... Не повезло человеку. Однако это дело наживное, бои для нас не за горами. Здесь мы не засидимся.

Еще взглянув на документы, он заметил:

— Значит, забайкалец?

— Да.

— Не родней приходитесь партизану нашему Василию Шилину?

— Сын...

Дугин внимательно посмотрел на Андрея.

— Ну, будем знакомы. Дядя мой погиб вместе с Василием Шилиным. Уж война гражданская кончилась, двадцать третий год шел. Я-то помню! Для роты большая честь, что сын Шилина в ее строю находится. Для вас — большая ответственность.

— Скорей бы отправляли, жду не дождусь! — с сердцем проговорил Андрей.

Дугин строго сказал:

— А пока будем заниматься строевым учением, оружием, стрельбами. Ясно? И волосы снять! Будем думать, что вы скоро привыкнете к нашим порядкам.

И мягче добавил:

— Фронт! Фронт! На передовой без солдатской науки пропадете. А на фронт поедете, когда вам прикажут.

Командиром роты бойцы были довольны. Все знали, что Дугин из запасных, до войны здесь же, в Забайкалье, был парторгом крупной шахты, уже побывал на фронте, командовал пулеметным взводом.

Седьмая рота готовилась к боевой жизни. Дни проходили в поле, в походах, на стрельбище. Везде вместе с бойцами был командир роты. Ходил он легкой походкой, голову держал высоко, одежда сидела на нем ладно. Синие глаза на смуглом лице молодо блестели. Но когда он хмурился, то глаза становились иссиня-черными. Небольшие усы, черные волосы, гладкое лицо без единой морщинки — все это молодило Дугина. Только докрасна загорелая крутая шея говорила о том, что лейтенанту, пожалуй, около сорока.

Дугин был молод той заманчивой молодостью воинов, которая вызывает у мужчин зависть, у женщин — симпатию. У него была открытая улыбка, радушно оживлявшая его чуть скуластое лицо.

— Он наш казачина, забайкальский, из партизанской фамилии! Парнишкой двенадцати лет с батькой партизанить ходил, — рассказал как-то один из бойцов.

Дугин чуть заметно хромал — иногда больше, иной день меньше.

— Это его на фронте ранили, он недавно из госпиталя, — сообщил тот же боец.

* * *

Госпиталь не забывался.

Вот обронил кто-то фразу, что Дугина ранили на фронте, и невольно Андрей перенесся мыслями в госпиталь. И поплыли воспоминания недавно пережитого.

...Пришла в госпиталь мать вместе с Валей. Узнав, что Андрею предстоит операция, они очень встревожились.

— Скорее поправлюсь,— успокаивает их Андрей.

Он с нетерпением ожидает своей очереди в операционную. Госпиталь большой, Ася Ильинична оперирует десять-пятнадцать человек в сутки.

Наконец подходит очередь Андрея.

Он ходит по коридору с бьющимся сердцем, чувствуя, как к горлу подступает страх. «Неужели такое же испытывали и другие?» Он вглядывается в лица раненых, ожидающих операционной, слышит спокойный разговор и сам успокаивается: «На миру и смерть красна! Надо держаться!»

Когда подошла его очередь на операцию, он не спеша снимает ремень, халат и в одном белье заходит в приоткрытые белые двери. Без халата становится прохладно. Андрей дрожит. Галина Ивановна кивком головы подзывает его к столику и приглашает присесть на табурет. В комнате пахнет лекарствами, кружится голова.

— Боитесь? — спросила Галина Ивановна.

— Боюсь, — доверчиво отвечает Андрей, и ему становится легче от этого признания.

Из операционной комнаты раздается тихий голос Аси Ильиничны.

Санитары уже проносят оттуда двое носилок с ранеными, и Андрей завидует: у этих уже все позади.

Сестра разбинтовывает ему руку и плечо. На обычных перевязках это причиняло жестокую боль, но сейчас, взволнованный, Андрей даже не охнул. Надо было терпеть. Он часто слышал, что легче перенести три ранения, чем одну операцию. Момент ранения был мгновенен: его точно толкнули в плечо. Потом уже появилась боль. Но теперь надо было мобилизовать всю волю и сознательно подставить себя под нож...

— Готово! — слышит Андрей.

Он встает и в сопровождении Галины Ивановны заходит в операционную. Ася Ильинична устало сидит на табурете. Андрей узнает ее только по черным блестящим глазам: рот и нос закрыты марлевой повязкой.

Галина Ивановна молча подносит к глазам Аси Ильиничны рентгеновский снимок, и та внимательно всматривается.

Пока Андрея готовят к операции, Ася Ильинична выходит в предоперационную. Потом, когда он уже лежит накрытый простынями, с оголенным плечом, она возвращается, осматривает плечо и с обычной своей мягкостью в голосе говорит:

— Там Вачнадзе ваш пришел, передает привет. Вы не волнуйтесь, все будет отлично.

«Все будет отлично!» — с этой мыслью Андрей проснулся в палате.

Пока он лежал после операции, ребята заботливо за ним ухаживали. Генка, как человек, хорошо знающий, что такое боль и терпение, поучал Ксану:

— Вы, Ксана, не умывайте его, а мокрым полотенцем... Голову же тяжело дяде Андрюше поднимать...

Ничего, что температура поднялась. После операции это бывает, — авторитетно сообщил он Андрею.

Мать и Валя пришли через день. Дежурила по госпиталю Галина Ивановна.

— Я вам разрешу пройти в палату, — сказала она Зинаиде Степановне. — А вы к кому? — повернулась она к Вале.

— Мы вместе...

— Право, не знаю, что с вами делать, в палаты мы никого не пускаем, только в исключительных случаях.

— Пожалуйста, — просительно сказала Валя и так

покраснела, что Галина Ивановна быстро сдалась.

— Ну что с вами сделаешь, — улыбнулась она, — проходите.

Валя постучала в дверь палаты и услышала в ответ детский голос: «Да-да, заходите».

Зинаида Степановна хоть и знала, что с Андреем в одной палате лежат раненые дети, все же смутилась, увидав ребят в этих стенах. Старая учительница, она даже растерялась, не зная, как держать себя, каким тоном разговаривать с этими мальчиками в госпитальных халатах...

Зинаида Степановна взяла руку Андрея и молча положила на колени. Валя присела к постели Генки и стала рассматривать его рисунки в толстой тетрадке. На линованых страничках была изображена война: самолеты сбрасывали бомбы, похожие на груши, горели домики, пылали танки со знаком свастики.

— Благополучно прошла операция? — спросила у Андрея Зинаида Степановна.

— Вполне. Главный хирург Ася Ильинична сказала, что я терпелив и что она ручается за руку: будет действовать так же, как до ранения.

— Андрюша, — сказала она очень тихо, и голос ее дрогнул, — ты неверно понял письма папы, ты не так понял меня...

Андрей нахмурился.

— Нет, я верно понял. У нас так нельзя, — сказал он и вспомнил Вачнадзе. — Нельзя, — упрямо повторил он. — Ты обидела человека, который, рискуя жизнью, доставил последнее письмо папы. И вообще...

— Что ты говоришь, Андрюша! — перебила его мать. — Разве ты не знаешь, как свято для меня все, что связано с папой? Как же мне было поступить, когда пришел пьяный человек с водкой, рассказывающий какие-то неприличные истории при десятилетнем ребенке. Я же из-за тебя...

Ее голос задрожал от обиды.

— Знаю. Но не в этом дело. Не в этом. Я не такой, как он хотел... И все же я буду таким, как хотел отец, — твердо закончил он.

Андрей взглянул на Валю. Она сидела против окна, и яркий солнечный свет заставлял ее щурить глаза. У Вали чуть отросли волосы, и она их больше не под-

стригала. Отложив в сторону тетрадку, она смотрела на Андрея, на Зинаиду Степановну.

Андрей чуть улыбнулся ей. «А кем же я прихожусь Андрею?» — вдруг задала себе вопрос Валя и тут же ответила: «Любимой!» Какие бывают на свете хорошие слова... Они с Андреем ни разу не говорили о будущем, да и слово это не было произнесено. Но разве дело в словах.

Хорошо было сидеть вот так, под взглядом внимательных глаз Андрея и вести с ним безмолвный, полный значения разговор.

— У меня закружилась голова,— сказала Зинаида Степановна, осторожно положив руку Андрея на одеяло, и подошла к Генкиной кровати. Гриша и Володя мигом оказались там же. Больно сжалось ее сердце от рассказов Генки. Куда он теперь денется без ноги, не имея родных? Отец где-то воюет... Впрочем, если даже отец не вернется, из Генки получится хороший, образованный, культурный человек. Вот Валя... Выросла же она в детском доме... Но все же никакой детский дом не заменит семью, мать.

Зинаида Степановна взглянула в сторону Андрея. На стуле, где она до этого сидела, уже была Валя. Теперь она держала руку Андрея, что-то говорила. У Андрея просветлело лицо. «Я ему уже не нужна», — подумала Зинаида Степановна, но это была не ревность. Валю она уже приняла в свое сердце.

— А вы не скучаете о школе, ребята? — спросила Зинаида Степановна, отрываясь от своих мыслей.

— Еще бы! — поспешно ответил Гриша и нахмурился. — Я свой класс во сне даже вижу.

— А мне тоже снилось, что мы весной в школе деревья сажаем. У меня теперь ни одного учебника нет,— вздохнул Генка,— а раньше за все четыре класса, как новенькие, лежали. И тетради тоже.

— А ты в каком классе учился?

— В пятом.

— Я тебе принесу учебники и, если хочешь, буду ходить сюда помогать тебе и ребятам. Мы вот с Валей... с Валентиной Сергеевной, — поправилась она, — обе учительницы. Я преподаю русский язык и литературу, а она географию.

— Я больше всего люблю литературу, — доверительно сказал Генка, — потому что...

— А я географию, — перебил Гриша и с любопытством посмотрел на Валю.

— Вот и чудесно. Мы возьмем шефство над вашей палатой и будем с вами заниматься, — решительно заявила Зинаида Степановна.

В коридоре раздались быстрые шаги, и в палате с шумом открылась дверь. Показался Володя.

— Дядя Ваня пришел! — закричал он и тут же скрылся.

— Значит, не уехал еще,— обрадовался Андрей.

Все зашевелились, пришли в движение. Гриша бросился заправлять свою кровать. Заметный, притворившийся спящим, чтобы не мешать встрече Андрея с матерью и Валей, теперь поднялся. Чаркин стал поспешно убирать с подоконника свое «хозяйство» — разной формы зеркальца, зажигалки, батарейки, кусочки мыла, целлулоидные подворотнички, сержантские треугольнички, эмблемы различного рода войск. Все это торопливо сваливалось в бездонную сумку. Вачнадзе не терпел чаркинского «хозяйства».

— Это же наш дядя Ваня! Дядя Ваня! — звонко повторял Генка, нетерпеливо поглядывая на дверь.

Снова появился Володя и встал против двери. Как только Вачнадзе переступил порог, он четко ему отрапортовал:

— Товарищ капитан! В нашей палате шесть больных, все здоровы, происшествий нет. В данное время идет час свиданий.

— Вот как? Хорошо! Здравствуйте, дорогие!— приветствовал всех капитан.— Володя отличный командир будет! Голос, как у старшины!

Вачнадзе подошел к Вале, поздоровался с ней, пожал руку Андрею, пощупал у него лоб и повернулся к Зинаиде Степановне.

— Это моя мама, знакомьтесь, — сказал Андрей.

Вачнадзе крепко пожал ей руку.

— Хороший сын у вас, Зинаида Степановна, правдивый сердцем,— сказал он.

Зинаида Степановна почему-то смутилась, а Валя посмотрела на Вачнадзе с благодарностью. Всякий, кто любил Андрея, был в ее глазах уже отличным че-

ловеком. Вачнадзе продолжал разговаривать с Зинаидой Степановной.

— Вы, я слышал, педагог, учительница. Я тоже ваш товарищ по профессии — солдат учу. Характер солдата воспитываю. Знаю, как трудно бывает человеку с тепла на холод попадать. Без закалки тяжело. А ваш Андрей закалки не имел. Правдивый сердцем, а жизни боялся. Нерешительный, робкий... Спросите Андрея: обижается он на меня или нет?

Андрей горячо сказал:

— Нет, не обижаюсь, капитан, на правду не обижаются.

Зинаида Степановна, помолчав, тихо ответила:

— Я тоже не обижаюсь. Только вы поймите меня, ведь мы вдвоем жили, он один у меня был... Я совсем не обижаюсь.

— Дядя Ваня!— ревниво позвал Генка.— Вот у меня для вас есть... И он передал капитану несколько листков исписанной бумаги.

— Я вам письма писал про нашу палату, как скучно жили без вас. Ну, раз сами пришли, то возьмите...

Вачнадзе подошел к нему, взял письма и бережно положил в карман гимнастерки.

— Будем читать, — пообещал он, — а потом ответ писать.

— Ну, дорогие, пора. Зашел на минутку, попрощаться. Сегодня ночью еду. На запад. Через всю Сибирь. С дороги напишу.

Пожав руку Чаркину, он подошел к Заметному.

— До свидания, пулеметчик. Встретимся. На войне часто люди встречаются. Спасибо! Много важного ты мне рассказал.

Затем, расцеловав ребят, он сказал им:

— Вот что, ребята! Семьи у меня нет, о вас часто буду думать.— И, обратившись к Зинаиде Степановне, добавил: — Попрошу вас оказать услугу. Мальчики в этом городе останутся, видно, надолго. Разрешите прислать на ваше имя денежный аттестат для них. Вы в городе свой человек, последите за ними. А адрес ваш у меня записан.

Обе женщины переглянулись, и Зинаида Степановна ответила:

— Мы тут уже с ребятами договорились. А вашу просьбу с удовольствием выполню.

Капитан крепко пожал им руки.

— Ну, дорогой,— обернулся он к Андрею,— поправляйся. До свидания. Жив буду — гостем буду.

И капитан быстрыми шагами направился к двери. Потом обернулся и, обращаясь к ребятам, сказал:

— Не со всеми успел попрощаться. Передай, Андрей, привет Галине Ивановне. Скажи, что был. Не забудь.

Володя и Гриша провожали Вачнадзе до центральных дверей. Потом они быстро поднялись наверх, взобрались на кровать Чаркина, легли на подоконники и, прильнув к стеклу носами, стали смотреть в окно. Сюда же подошли Заметный и Чаркин.

Скоро на улице показался Вачнадзе. Он медленно шел, смотря на окна. Заметив своих, он остановился и приветственно поднял руку. Все заулыбались, закивали, замахали руками.

Один Генка не мог видеть капитана, и на лице его было глубокое страдание.

...В «детской палате» по-старому шла своя, госпитальная жизнь. Только Чаркина, после настойчивых просьб, назначили до выздоровления помощником повара на кухню. Поэтому переселился он в палату первого этажа, «поближе к производству». А Заметного перевели в специальное отделение для раненых в челюсть.

Мать и Валя часто приходили. Они занимались с ребятами и вели общеобразовательные курсы сестер и санитарок. Ксана оказалась на редкость способной и старательной ученицей. Все свободное от дежурства время она просиживала за учебниками. Иногда она занималась тут же, с ребятами за одним столом. Она не стеснялась обращаться за разъяснениями к Андрею и даже к Володе. «Капитанская команда» была охвачена учебным азартом.

Через пятнадцать дней Андрей сидел в ординаторской у Галины Ивановны. Она разбинтовывала его плечо. Раны не гноились, затянулись тонкой розовой кожей по краям и покрылись коркой.

— Можно больше не бинтовать, все в полном порядке.

Андрей готов был от радости обнять, закружить Галину Ивановну. А она заставляла его двигать рукой и плечом, отводить руку назад, поднимать вверх. И хотя чуть-чуть болело, Андрей старался не показывать этого.

— И подвижность почти восстановилась. Вы совсем молодец, Андрей. Хотите на комиссию?

— Еще бы, Галина Ивановна!

— Ну что ж... С сегодняшнего дня зачисляю вас в выздоравливающие. Побольше упражняйтесь, не пугайтесь, если вначале будет больно.

— А мне не больно...

— Не врите, больно! Должно быть больно. Не храбритесь. Но через несколько дней это пройдет.

— Да уже прошло, Галина Ивановна, давно прошло.

— Значит, Андрей, мечта ваша сбывается, будете воевать.

— Буду! И за вас буду воевать!

— Спасибо. Но я, — и Галина Ивановна вдруг громко рассмеялась, — я тоже уезжаю отсюда. И буду воевать. Наконец-то пришел приказ обо мне: рапорт мой удовлетворили, еду в распоряжение штаба партизанского движения. Думаю, что попаду в родные места, на Украину, как и просила.

Андрей никогда не видел ее такой веселой. И Андрей почему-то подумал о том, что эта скромная, замкнутая женщина будет страшна врагу: ее нельзя ни упросить, ни умолить, ни обмануть, и нет такой цены, которой можно было бы откупиться от ее возмездия. «Вот какими бывают народные мстители», — думал Андрей о Галине Ивановне.

Когда в палате Андрей сообщил, что назначен на комиссию и скоро уедет на фронт, Генка сказал:

— Я тебе, дядя Андрюша, три патрона от нагана дам, постреляй их там, гадов.

— Обязательно, Генка!

* * *

Тимофей Заметный, оказавшись в роте, сразу почувствовал себя дома. По-хозяйски возился он с оружием и снаряжением, привычно держался на учебных

маршах, стал первым в роте авторитетом для бойцов по части всех воинских дел. На занятиях в поле кажущаяся неуклюжесть Заметного исчезала. Никто лучше и быстрее его не смог отрыть в грунте индивидуальное укрытие: тремя-четырьмя ударами лопатки он делал то, на что другому требовалось две-три минуты.

Особенное восхищение вызывала его мастерская стрельба из станкового пулемета. Бил он короткими очередями, открывал огонь молниеносно. Удачно выбирая огневые позиции, он с непостижимой быстротой менял их. Запасная позиция всегда была у него на примете.

Гранаты Заметного летели в цель, как намагниченные. Бойцы удивлялись, а он, усмехаясь, гудел:

— Я еще мальчишкой тарбаганов в степи здорово камнями сшибал. Навострился.

На третий день пребывания в роте Заметный был назначен командиром отделения. Бойцы, попавшие в его отделение, хвалились: «С таким не пропадешь, он покажет фашистским гадам почем фунт лиха!»

Часто перед сном подходил Заметный к койке Андрея, присаживался, и начинались воспоминания о двенадцатой палате, о Вачнадзе. Где-то он? А как там ребята: Генка, Гриша, Володя? Валя пишет, что поправляются. Интересно, новых поселили в палату или нет?

— Другого такого доктора, как Ася Ильинична, в армии не найти. Ведь как лечила! Не так, чтобы поскорей зажило да с рук долой... Нет, она о всей жизни человека думала. «Вы,— говорит,— потерпите, Заметный, придется еще одну операцию сделать. Надо, чтобы губа на место стала да подбородок в сторону не глядел. Не то,— говорит,— после войны жена ваша на меня обижаться станет». И скажи! Все в акурат сделала,— басил Заметный, поглаживая свежие, еще розовые рубцы на губе, щеке и подбородке.

Потом, глубоко вздохнув, он недовольно говорил о том, что повар здешний не очень хорош, приварок неважный, но на фронте, конечно, будет получше. И будто без всякой связи с предыдущими словами сердито заключил:

— А как там шурует этот змей Чаркин? Извел, верно, всех? Шеф-повар, так тот и при нас грозился

сбежать из госпиталя хоть в закусочную. Зато Чаркин дело свое знает, знаменитый повар, гвардейский... И ребята рассказывали: Чаркин накормит, хоть тебе тут артналет, хоть самолеты долбят, хоть мины воют. Только шумный человек и врать силен... Характер!

И снова Заметный глубоко вздохнул. Видно, тосковал о своем беспокойном друге.

Заметный уходил спать, а Андрей принимался перечитывать очередное письмо Вали. Он получал их почти ежедневно. Валя писала о «детской палате», о торжественных проводах, который устроил весь госпиталь Галине Ивановне, о делах в школе. Лишь о матери Валя ничего не сообщала, ограничиваясь двумя-тремя словами: «Мама целует», «Мама шлет привет!»

Андрей принимал эти короткие приписки, как должное. Сама Зинаида Степановна пока не написала ни одного письма. Но каждый раз, завидя почтальона, Андрей надеялся получить конверт со знакомым почерком. Что же, значит, время еще не подошло...

С нетерпением ждал он письма, в котором Валя должна была сообщить ему номер полевой почты Вачнадзе. Очень хотелось написать капитану о своей новой жизни в седьмой роте и особенно об отъезде Галины Ивановны. Он помнил уговор.

* * *

Еще при первом построении оказалось, что Андрей был самым высоким в роте. «Верста»,— называл его Царев.— Однако мускулы у тебя жидковаты и шея тонка. Телом, брат, двигать надо». И Царев, по своему обыкновению, начал рассказывать:

— У меня, видишь, шея-то какая сейчас? А раньше — смех было смотреть! Выручил меня случай. Собрался я в город, в техникум. Купил мне батька в райцентре рубашку под галстук, с пристяжным воротничком на двух шпильках. Ну, просто горе!

Царев разразился громким смехом. Смеяться было еще не над чем, но Андрей невольно улыбнулся.

— Примерил я, понимаешь, рубашку,— продолжал Царев,— а туда хоть полторы моих шеи вставляй. Думал, думал... Что тут делать? В деревне такую рубаш-

ку кто перешьет? И опять же воротничок жалко. Ну, решил: раз шея не подходит к рубашке, придется шею под нее подгонять. И вот начал я заниматься физкультурой. Полтора месяца ломал себе шею: то поднимал на ней гири из колхозной кладовой, то палку на шею положу и ребят по очереди, как на карусели, катаю. Черт знает что выделывал. Потом, в один денек, умылся, причесался, шею рукой пощупал — вроде толще стала. Дай, думаю, теперь примерю рубашку. Примерил и, поверишь ли, в самую точку. Пошел я к дяде Сене, кузнецу нашему деревенскому, похвастаться, а он пощупал мою шею, похвалил и говорит: «Однако в Чите на базаре видел я в цирке человека. Ему на шею наковальню ставили, да два добровольца из публики по той наковальне пудовыми кувалдами били, и ничего... Держал. Только морда красная стала. Так у того шея поздоровше была». Потом еще раз дядя Сеня оглядел меня с большой дистанции и говорит: «Ты, Васька, этим зеленым галстуком всех коров на деревне распугаешь». А погодя, уже в городе, когда я стал учиться, одна девица мне сказала: у вас, говорит, плохой вкус, Вася, это не галстук, а дикость какая-то. Оказывается, дядя-то Сеня вкус имел! Вот как! А шею что? Шею нажить можно.

Глядя на то, как Царев делает все легко и просто, Андрей невольно тянулся изо всех сил, чтобы не отстать от него. Но удавалось ему это с большим трудом.

Часто занятиями руководил сам Дугин. Когда он показывал приемы штыкового боя, во всем его подобранном стройном теле не было никакого напряжения. Царев повторял все за Дугиным так ловко и сноровисто, будто знавал это раньше. А Андрей торопился и путал. Однако когда он наконец добивался своего, то радовался, как не радовался отличным отметкам в школе.

Во время инспекторской проверки стрельб Андрей неожиданно для себя занял третье место в роте. Дугин прищуренными глазами посмотрел на него, словно увидел впервые.

— Поручаю вам обучить меткой стрельбе бойца Лютикова, — сказал Дугин, будто такой приказ был для Андрея делом обычным.

— Мне?! — удивился Андрей.
— Да, вам!
— Постараюсь, товарищ лейтенант!

Женю Лютикова Андрей знал очень плохо, хотя и был с ним в одном отделении. Это был невзрачный, близорукий, совсем молоденький паренек, с маленьким лицом и большим носом, на котором неуклюже висели роговые очки. В роте знали, что в армию он пришел добровольцем из десятого класса. Несмотря на неловкость, которая обычно раздражает бойцов, к Жене относились хорошо.

Неожиданное поручение Дугина было приятно Андрею. Он уже знал, как тяжело было заслужить похвалу от командира роты. Дугин хвалил как-то по-особенному. Если его поражала в каком-нибудь красноармейце физическая выносливость или сметка, он коротко спрашивал:

— Откуда родом?
— Агинский я, товарищ лейтенант.
— А-а, это у вас там овец много?
— У нас, товарищ лейтенант.
— Чабан?
— Точно, товарищ лейтенант.— И боец расплывался в радостной улыбке.
— Ну, ну, — говорил Дугин и, как бы желая проверить, точно ли это парень тот, за кого он его принимает, недоверчиво спрашивал:
— А сколько подряд можете не спать?
— Суток двое выдержу, — отвечал боец.
— Мало, мало, — качал головой Дугин. — В Агинске, когда овец на дальние пастбища перегоняют, и по трое-четверо суток не спят.

В другой раз Дугин подходил к коренастому сержанту, известному в батальоне своим умением закладывать фугасы, и спрашивал:

— Вы шахтер, Горяев?
— Из Черемхова, товарищ лейтенант.
— Запальщик?
— Так точно. А вы откуда знаете?
— По повадке вижу. Бывал я на шахтах.

Дугин отходил в сторону, а боец, с которым он разговаривал, воспринимал это как похвалу.

Воскресным утром Дугин пришел в казарму. Он

цепко охватил взглядом все помещение и подошел к Заметному.

— Ну, как, повторим сегодня?

— Отчего же, можно, — отозвался Заметный.

— Ладно! Зайдите после завтрака за мной в штаб батальона.

Во всем этом разговоре не было ничего смешного, но Дугин почему-то весело рассмеялся. Царева очень заинтересовало, какие такие дела могут быть у Заметного с командиром роты и что им нужно было повторять. Его так и подмывало спросить об этом Заметного, но он сдержался и нарочно безразличным тоном сказал:

— Не пойти ли нам на лыжах?

Тимофей ответил не то всерьез, не то в шутку:

— Простуды боюсь.

Царев и Андрей встали на лыжи. Погода стояла безветренная. Солнце на снегу переливалось изумрудными искрами. Андрей шел по следу Царева и любовался его уверенными, чуть ленивыми движениями. Казалось, Царев не затрачивал никаких усилий на то, чтобы двигаться.

— Ты вот говоришь, зима, — как будто бы возобновляя прерванный разговор, сказал Царев и остановился. — Зима, брат, хорошая штука. Я себя зимой сильным чувствую.

Царев сдвинул на затылок шапку.

— Может, быстрее махнем, а?

Не ожидая ответа, Царев чуть пригнулся и, ловко минуя пни, помчался вперед. Андрей поспешил вслед за ним. С разбега они выскочили на край сопки. Внизу лежала замерзшая река с густыми тальниковыми зарослями по берегам. Снег вокруг был до того чистый, нетронутый, что отливал голубизной. На берегу реки стояла заброшенная избушка. В мирное время здесь размещалась лыжная база профсоюзного дома отдыха. Сейчас из трубы избушки лениво поднимался дымок. Это удивило Царева.

— Гм, солью пахнет, надо посмотреть, кто там.

Царев бесшумно скользнул под гору. Андрей немного задержался, закрепляя на одной ноге ремень, и пустился за ним. Он подъехал к избушке, когда Царев, прильнув к маленькому окну, что-то рассматривал.

— Чертовщина какая-то, — удивленно пробормотал Царев, — одежда на лавке, а людей нет.

Придерживаясь за стену, Царев глянул за угол, но сейчас же отпрянул назад.

— Голые люди на реке! — воскликнул он.

На досках около проруби стояли два голых человека. В одном из них нетрудно было по черным усам признать Дугина, а второй, судя по квадратной фигуре, был Тимка Заметный.

— Ну, брат, и чудо, — протянул Царев.

Заметный в это время взял Дугина под мышки и опустил в прорубь.

— А-а-а, жжет проклятая! — выкрикнул Дугин. Потом Заметный легко поднял лейтенанта наверх и поставил рядом с собой.

— А ноги у тебя, товарищ лейтенант, посинели.

— Ты в лицо мне смотри, а ноги у меня миной перебиты, — ответил Дугин.

— Ну, давай держи, а то под лед уйду, — спокойно сказал Заметный и полез в прорубь. Дугин придерживал его, и было видно, что это давалось ему с трудом.

— Хорошо, дьявол, а! За душу берет! — крякал Тимофей, вылезая из воды.

— Ну, айда быстро растираться, — крикнул Дугин, и они побежали в избушку.

Царев и Андрей притаились у стены. Когда Тимофей захлопнул дверь, они взяли на руки лыжи и стали торопливо подниматься на пригорок. Все, что Царев и Андрей только что увидели, очень поразило их, и они несколько минут шли молча.

На другой день во время перекура Царев сказал Заметному:

— Сон я про тебя видел, Тима. Смех один, а не сон. Ночью вот Андрея разбудил и рассказал ему. Ты понимаешь, — Царев по-дружески приблизился к Заметному, — вижу, будто бы ты не Тимка Заметный, а эдакая красивая русалка с хвостом. Морда твоя, а вся фигура женская. Будто ты голый лежишь на реке и толстым хвостом по льду елозишь, а около тебя голый кавалер с черными усами. И будто бы вы друг друга потихоньку в прорубь опускаете.

Царев не сдержался и раскатился громким смехом.

Заметный испытующе посмотрел на него, чуть при-

двинулся к Цареву и тоже захохотал. Никогда еще Заметный не смеялся так весело и долго.

— Ты врешь, паря, про сон, — добродушно сказал он.

— А думаешь, только тебе врать и прикидываться можно? — дружелюбно заметил Царев. — Ты откуда лейтенанта знаешь?

— Въедливый ты парень, Васька! Откуда да откуда? Отвяжись...

* * *

Через месяц маршевая рота уезжала на фронт.

В вагоне лежали тесно друг к другу, вели бесконечные разговоры. К фронту все ближе, поэтому люди жадно и ненасытно перебирают в памяти дни мирной жизни и дотошно расспрашивают бывалых фронтовиков. Из вагона несутся звуки баянов. Молодые голоса дружно поют: «Уходили комсомольцы на гражданскую войну», «Катюшу», «Синий платочек», «Идет война народная».

Озабоченные политруки, переходя на остановках из вагона в вагон, раздают газеты. В пути они ведут беседы, читают сводки Информбюро. На станциях из вагонов выскакивают дневальные с большими зелеными термосами в руках, бегут к вагону-кухне, мчатся к станционным водогрейкам. По протянутому вдоль состава телефонному проводу начальник эшелона отдает приказания командирам взводов.

Быстро мчится эшелон по сибирской земле. «Зеленую улицу» открывают ему железнодорожники, приветливо машут девушки на полустанках, колхозники на полях, школьники у переездов.

К вечеру в вагонах затихают баяны, песни и шутки взводных весельчаков. В теплушке полумрак. Кто-то открывает дверцу железной печки, и на нары падает красноватый отблеск огня. Но лиц не видно, только вспыхивают, мигают огненными точками цигарки. Пошли тихие душевные разговоры, когда высказывает человек самое свое сокровенное соседу, ставшему другом всего три-четыре недели назад. И в сумеречном свете, под дробный стук вагонных колес нельзя сказать неверного слова, нельзя покривить душой.

Кто-то вполголоса проговорил:

— В этих местах в первую пятилетку я на стройке работал. Эх, и дома аккуратные в поселке сложили!

— А я в позапрошлый год в городе Днепродзержинске работал, на Украине. Новый город строили. Неужели гад все наше добро там порушил? — отозвался голос.

Лишь огоньки цигарок откликнулись на эту фразу, еще ярче и тревожнее зарделись в темноте.

Днем многие глядели в маленькие оконца теплушек. Но вот эшелон остановился на большой сибирской станции.

— Впритирочку с санитарным стали,— сообщил Царев и тут же замолк. Он уставился в окошко, и по плечам было видно, что весь насторожился.

Андрей заинтересованно взглянул через голову Царева и увидел в противоположном окне санитарного поезда очертания девичьего лица. Царев и девушка смотрели друг на друга до тех пор, пока эшелон не тронулся.

Андрей заметил, как девушка медленно подняла руку и чуть заметным движением ладони попрощалась с Царевым.

Весь следующий день Вася, закинув за голову сильные руки, молча лежал. Только когда стемнело, он сказал Андрею:

— Ты видел, какие у нее глаза? Мне так и захотелось с поезда спрыгнуть. Я, брат, читал про такую любовь — с первого взгляда и на весь век... Минута какая-то, а вот девушка эта в душу запала, и теперь буду думать долго. Ты ее разглядел Андрей?

— Плохо, чуть-чуть...

— Жалко, а я вот разглядел. Об этом, брат, стихи можно хорошие писать.

— Например, «Средь шумного бала, случайно...»— весело прыснул Женя Лютиков и чуть не уронил свои очки.

— Тебя не спрашивают, Женя, ты до таких дел еще не дорос,— беззлобно ответил Царев. И, давая понять, что разговор окончен, повернулся на другой бок.

Свет станционных фонарей светлыми бликами замелькал по потолку вагона. Андрей лежал и думал о Вале.

* * *

Всю дорогу Дугин приглядывался к людям. Он переходил из вагона в вагон, заводил разговоры, покуривал с бойцами. В пути быстрее происходит сближение, а это был особенный путь — на войну! Перед каждым, кто едет на войну, неотступно встает вопрос: «Трус я или герой? Как я буду себя вести в бою? Вернусь ли домой?»

Лейтенант Дугин глубоко верил, что каждый способен на героический подвиг. И всегда жалел, если боец погибал, не успев совершить своего подвига, или если не находил себе правильного места в общем строю. Сейчас, в дороге, он испытующе всматривался в людей, искал у каждого самое важное, хорошее и нужное.

На четвертый день пути Дугин подсел на нары к Андрею. Впервые за это время между ними завязалась простая беседа. Андрей был немногословен, стеснялся. Поэтому он был благодарен, что Дугин не спрашивает ни о чем, а разговаривал так, будто думал вслух.

— Я слышал немало о вашем отце. Забайкальцы помнят и любят его. Красивая у человека была жизнь.

— Очень, — ответил Андрей, — нам бы такую жизнь!

— А у нас и того красивее... — Дугин прилег на локоть, взглянул Андрею в лицо. — Красивее и богаче!

Вдруг Андрей перебил Дугина:

— Я раньше мечтал, что, как только попаду в армию, начнется удивительная жизнь, какую представлял себе по рассказам об отце, по книгам о героях и полководцах, — как у Павки Корчагина, у Чапаева, у Лазо... А оказалось совсем по-другому. И жизнь армейская не такая. И люди не такие. Обыкновенные какие-то... Ругаются, многие о женщинах плохо говорят... А тут еще это ранение дурацкое! Скверно мне было. Но вот попал в госпиталь, познакомился в палате с капитаном Вачнадзе. Если бы вы

знали, какой это замечательный человек! И ребята, дети, особенно Генка...

— Какие дети? — удивился Дугин.

— Обыкновенные дети, раненые, со мной в палате лежали.

Дугин вытащил папиросу, присел на корточки перед печуркой, выгреб из-под золы красный уголек и, прихватив его пальцами, прикурил.

Поднявшись, он снова подсел к Андрею и уже другим тоном продолжал:

— Я хотел сказать тебе, не обижайся: в мечтах видел ты себя всегда вожаком, командиром, мысленно командовал. Так ведь? А в жизни совершают большие дела не только на командирском коне. Подумай об этом, дружище Шилин.

...Проехали Урал. Строже стала светомаскировка в эшелоне. С платформы и с паровозного тендера настороженно смотрят в небо стволы зенитных пулеметов.

Днем навстречу эшелону движутся с запада санитарные поезда, маршруты с оборудованием, переполненные пассажирские составы с выбитыми стеклами.

Москву миновали ночью, по кружной дороге. Несмотря на мороз, двери теплушек были раскрыты, все смотрели в сторону города: над темным небом колючими искрами вспыхивали и гасли разрывы зенитных снарядов. Живым огненным пунктиром медленно чертили небо трассирующие пулеметные очереди. Ночная Москва отражала вражеский налет.

...Рано утром Андрей проснулся от резкого толчка вагона. Сильно звякнули буфера, и звон их, удаляясь и удаляясь, затих где-то в хвосте состава. Андрей отодвинул тяжелую дверь теплушки, жадно глотнул свежий зимний воздух, спрыгнул на перрон, огляделся. Задорное, приподнятое настроение мигом слетело с него. Ясно стало, что через эту станцию уже прошла война. Обгорелая, с выбитыми стеклами и без крыши чернела впереди башня железнодорожной водокачки. Станционное здание было сметено, на его месте лежала груда битого кирпича, торчала печная труба. Остатки проволочных заграждений и полуразрушенные траншеи окружали станцию. На перро-

не, склонившись набок, стоял черный танк с белым крестом. Ствол его пушки будто рукой гиганта был свернут в сторону, а одна из гусениц валялась рядом. Под ногами хрустело стекло.

Андрей с острым любопытством подошел к подбитому танку.

«Так вот какие они! — подумал он. — Это о них столько пишут в газетах и то со страхом, то с яростью рассказывают бойцы... Интересно, как его подбили, кто?»

Подошли другие бойцы. Заметный объяснил:

— Видишь? Бронебойным снарядом под самый вздох ему дали. Башню заклинило. И, видать, пехота тоже в работу взяла, гусеницу сорвало не иначе как противотанковой гранатой.

Раздалась команда: «По вагонам!»

Эшелон двинулся дальше. Проплывал новый для Андрея пейзаж войны, незабываемый горький пейзаж многострадальной Смоленщины: разоренные станции, сожженные деревни, изуродованные леса. Среди снежных равнин чернели обгорелые туши танков, в кюветах вдоль дорог — ободранные остовы немецких автомашин. В некоторые пристанционные поселки уже вернулись жители и поселились в оставленных войной землянках. Над кровлями и накатами землянок и блиндажей вились голубые дымки, и странно было видеть здесь развешанное белье, женщин, ребят.

В одном месте Андрей увидел фантастическую, как во сне, картину: у топившейся печки возилась старуха, но дома не было, печь одиноко стояла с торчащей вверх длинной кирпичной трубой на пустом месте.

Бойцы хмуро смотрели на оскверненную врагом землю, изредка оживляясь при виде искалеченной немецкой военной техники.

— Здорово им тут всыпали! Дали пить сволочам!

Скоро Андрея вызвал старшина, вручил ему винтовку, двадцать патронов и приказал на ближайшей остановке перейти на платформу, сменить там бойца Чепурного.

Среди дня в небе появился немецкий самолет-корректировщик «рама», а через полчаса три немецких бомбардировщика, сделав круг, отстали от поезда,

оказались позади него, и один из них вдруг круто спикировал. Поезд, отчаянно скрипнув тормозами, резко сбавил ход. Бомбы взорвались впереди него, метрах в двадцати от полотна. Бешено строчили зенитные пулеметы, бойцы на площадках и платформах стреляли по самолетам из винтовок. Первый самолет отвалил в сторону, взмыл вверх. Вокруг него появились белые облачка, взрывы зенитных снарядов, из ближайшего лесочка по самолету била зенитная батарея.

Андрей, вспомнив свое первое ранение, инстинктивно пригнулся, втянул голову, прислонился плечом к автомашине, стоявшей на платформе, закрыл глаза.

— Ты что же не стреляешь, браток? Бей его, гада, лупи, душа из него вон! — неожиданно услышал он.

Андрей поднял глаза и увидел незнакомого бойца. Встав ногой на бортик платформы, боец возбужденно закладывал в винтовку новую обойму.

Андрей вскинул приклад к плечу и навел мушку на самолет. Вспомнив стрельбы в запасном полку, он повел мушку впереди самолета и нажал на спусковой крючок. Перезарядив винтовку, он выстрелил еще, потом еще и еще... Страх почти исчез.

Ему стало весело, он потянулся за новой обоймой. Но невдалеке раздались взрывы, фашистские самолеты, сбросив бомбовый груз вдоль линии дороги, уходили в разные стороны. Один из них летел, неловко вихляя крыльями, будто хромая. Бойцы провожали самолеты крепкими словечками, выстрелами вдогонку. Вместе с другими Андрей кричал:

— Драпают, дьяволы, уходят!.. Подбили!

Андрей сел на подножку автомашины. Рядом оказался давешний боец.

— Ну, пехота, — проговорил он, вытаскивая из кармана большой прозрачный портсигар из плексигласа, — отогнали гадов! А машинист молодец, опытный. Ловко он тормознул! И спасибо зенитчикам. Видал, как они из лесочка ударили? А подбитый самолет далеко не уйдет. Перехватят его наши зенитчики или «ястребки». Впервой на фронт-то едешь?

Только теперь Андрей сообразил, что наконец-то сбылось! Он стрелял по настоящему, по подлинному врагу! Ведь там, в самолете, сидел фашист, негодяй, который, может быть, еще вчера бомбил наши города.

Может быть, это он бомбил в тот июньский день улицу, по которой бежала Галина Ивановна со своим мальчиком?

Андрей посмотрел на добродушную физиономию своего нового знакомца.

«Ведь ни словом он не намекнет на то, что я было испугался вначале, растерялся...»

Плечо еще ныло от отдачи приклада при выстрелах, и это было приятно, как бывает приятной легкая усталость рук после дня удачной работы.

Вечером, по какому-то запасному пути паровоз подтащил состав вплотную к небольшому лесочку. Послышалась команда: «Выгружайся!» Командиры взводов и отделений засуетились. Бойцы выстраивались у вагонов и почти бегом уходили в лес.

— Не задерживайся! Быстро! — гремел где-то голос Дугина.

— Второй взвод, на выгрузку машин! — слышалось сзади.

Быстрым шагом рота уходила от железной дороги и втянулась в лес. Рядом с Заметным шагал Андрей, придерживая рукой висевшую на плече винтовку.

— Костров не разводить, кухни подойдут! — неслось вдогонку.

Поздно ночью погрузились на автомашины и поехали по лесной дороге, аккуратно выложенной тесаными бревнами, будто рельсами. «Деревянные рельсы», — удивился Андрей.

Под утро приехали в населенный пункт, где не было ни населения, ни одной целой избы. Наскоро закусили сухим пайком, напились чаю — на трех человек один котелок — и тесно улеглись в длинном сарае.

Сквозь частые прорехи соломенной крыши мигали в высоком небе колючие звезды. Андрей положил голову на пахнущий хлебом вещевой мешок, надвинул на глаза ушанку, обнял винтовку. Привалившись к широкой спине Заметного, он крепко и спокойно уснул.

* * *

Утром Дугин построил людей и повел их в видневшийся невдалеке лес. Среди редких деревьев бугрились аккуратные землянки, крытые толстыми,

в три-четыре брёвна, накатами. У некоторых землянок похаживали автоматчики. В кустах стояли две легковые автомашины, выкрашенные в белый цвет. К ним были прислонены для маскировки молодые, свежесрубленные елки. В накаты землянок местами тоже были воткнуты елочки.

По тропинке пронеслись бойцы-лыжники в белых полотняных комбинезонах поверх обмундирования, в белых капюшонах. Наискось груди у каждого висел автомат. Вид этих белых лыжников был столь непривычен глазу, что молодые бойцы из маршевой роты долго оглядывались. Командиры сердито покрикивали: «Подтянись, не зевай!» Заметный снисходительно объяснил:

— Маскостюмы... Разведчики побежали на лыжах...

Вдали послышались раскаты грома. Андрей машинально взглянул вверх, увидел заснеженные лапы елей и рассмеялся: «Да ведь это пушки!» Головы всех повернулись в сторону дальней артиллерийской канонады.

Скоро прошли расположение землянок, построились цепочкой по два и двинулись дальше, по лесной тропе. Остановились на круглой полянке, обставленной мохнатыми седыми елями. Дугин разрешил перекурить, приказал привестись в порядок, перетянуть ремни, оправить шинели и полушубки.

Через десять минут, взглянув на ручные часы, он скомандовал:

— Становись!

Бойцы поспешно выстроились. Дугин прошел по фронту, из-под нависших бровей зорко окинул всех синими глазами, приказал Жене Лютикову шапку надеть, как положено, — она вечно сползала у него на нос,— и снова нетерпеливо взглянул на часы.

В это время на краю поляны показалась легковая машина.

Не сбавляя хода, она лихо развернулась и остановилась сразу, будто пригвожденная. В окошко выглянула усатая физиономия шофера, человека пожилых лет. Из машины вышла сухонькая, небольшая фигурка в высокой серой папахе и легкой, быстрой походкой направилась к строю.

— Смирр-на-а! — звонким, непривычным голосом пропел Дугин и, ловко повернувшись, приложив руку к ушанке, побежал навстречу генералу.

— Товарищ генерал! Маршевая рота 533-го Забайкальского запасного полка прибыла для пополнения вверенной вам дивизии...

Дугин отдавал рапорт таким голосом, что официальные слова звучали торжественно и празднично. Когда Дугин, представившись, закончил, маленький генерал с хрипотцой в голосе бодро закричал:

— Здравствуйте, земляки!

— Здр-а-а-с! — дружно грянула рота.

Генерал обвел живыми глазами строй и поздравил бойцов с благополучным прибытием. Он подошел к правому флангу, остановился возле Заметного и спросил:

— Кормили вас сегодня?

— Вчерашним сыт, товарищ генерал. Нас еще на довольствие не поставили, — не смущаясь, ответил Заметный таким тоном, словно всю жизнь только и делал, что разговаривал с генералами. Генерал хмуро взглянул на офицеров, покачал головой и снова, повернувшись к Заметному, спросил:

— А вчера чем ужинали?

— Сухим пайком, товарищ генерал...

— Не ждали вас вчера. Вот, говорят, что интенданты народ расторопный, а вы оказались расторопнее их. Неладно, значит, встретили мы вас, не проявили гостеприимства... Ну-с, исправим. Разберемся. А с вами будем знакомы. Как ваша фамилия?

— Старший сержант Заметный, товарищ генерал, — подтянувшись и выпячивая грудь, громко и на этот раз более официально ответил Тимофей.

— А что, в самом деле, Заметный — фамилия подходящая. Желаю вам быть таким же в бою.

Генерал протянул руку. Заметный крепко пожал ее и, секунду помолчав, сдержанно пробасил:

— Дед у меня в турецкую войну два Георгия заслужил. Фамилия его настоящая Брюханов. Ростом он маленький был, хлипкий. А когда ему второй крест вешали, командир полка вслух возьми и скажи: «Самому заметному солдату нашего полка — ура!» Поначалу посмеялись солдаты, а потом так и при-

липло к нему: Заметный да Заметный. А с войны вернулся, так Заметным и остался. Ну, а мы фамилией по нему все пошли, только костями шире, в мамашину родову.

Генерал развеселился.

— Гляжу, лейтенант, — обращаясь к Дугину, сказал он, — потомственных солдат Сибирь шлет.

Он подошел к Андрею. Несмотря на то что Андрей был одет в ватную куртку и шинель поверх нее, он все-таки выглядел очень тонким. Генерал дружелюбно проговорил:

— Вам тоже придется свой рост оправдать. Заметный рост.

Очертив в воздухе полукруг, генерал сел на пенек. Бойцы нерешительно выходили из строя.

— Садись, садись поближе, ребята, — приглашал генерал.

Бойцы окружили его, передние присели на корточки.

Генерал, закурив, повел разговор.

— Начал я воевать еще в ту германскую войну. Пулеметчиком был. А потом орудовал в гражданскую. У вас в Сибири был с пятой армией, Колчака там били. Еще давно слышал я пословицу: «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Не верил ей. Ну, а все же пословица правильной оказалась. Учтите это, ребята.

Бойцы приняли шутку, заулыбались.

Рассказал генерал о дивизии, о проведенных ею боях. Оказывается, впервые дивизия встретилась с врагом под Москвой, на Волоколамском шоссе, потом брали Истру, получила звание гвардейской. Гнала немцев от Москвы, била их под Вязьмой, била на Варшавском шоссе, под Медынью и Юхновом.

Когда бойцы услышали, что дивизия гвардейская, что она имеет на своем счету 240 подбитых фашистских танков да тысяч пятнадцать убитых гитлеровцев, по рядам пронесся шепот.

Рассказал генерал о знаменитом снайпере якуте Григорьеве, который один уничтожил 185 фашистов.

— Ну, а чтобы вам понятнее это дело было, пусть сам товарищ Григорьев все расскажет. Я его нарочно привез с земляками повидаться. Ведь Якутия не очень-

то далека от вашего Забайкалья. Тайгой граничите,— заключил генерал.

К генералу неторопливо подошел пожилой невысокий боец-якут в ослепительно белом маскхалате. Капюшон плотно, до самых бровей, оттенял крепкое, смугло-темное лицо снайпера. Он уселся на корточки возле генерала и стал раскуривать трубку, поглядывая узкими внимательными глазами на примолкших бойцов.

Андрей приметил его необычную, будто скользящую мягкую походку. Такую он видел однажды у старика лесообходчика, в тот раз, когда ему пришлось побывать в колхозе, носящем имя отца.

— Так вот, расскажите, Роман Григорьевич, молодому поколению, как надо фашистов истреблять и какая сила заключена в вашей винтовке.

Снайпер продолжал невозмутимо дымить своей трубкой, помолчал, а потом сокрушенно ответил:

— Однако, Егорий Васильевич, мой напарник один не управится. Сейчас самое время мне с ним быть.

Генерал рассмеялся.

— Ничего, Роман Григорьевич, управится твой напарник. Кому положено, от твоей пули не уйдет. Наверстаешь! А народу ты все-таки расскажи.

Григорьев неторопливо начал:

— Однако, парни, я на родине белку промышлял. Ну, конечно, в тайге и другой зверь водится... Всякое бывает, в тайге-то... Хорошо жить стали в колхозе. Дома новые поставили, дети учиться поехали. Братан мой младший на доктора учится. Да! Довелось мне и в самой Москве побывать, на сельхозвыставке. Народ со всех колхозов туда собрался. Москва — большой город, людный. На самолете туда летели, двое суток летели...

Генерал нетерпеливо перебил его:

— Ты, Роман Григорьевич, не про самолеты рассказывай. Ребят учить надобно, как врага бить.

Григорьев удивленно возразил:

— Я же о том и говорю! Жить, говорю, хорошо было. Справно стали жить, чисто, по-колхозному. А пришли вражьи волки на землю нашу. Зачем, говорю, пришли? За добром нашим? Бить, говорю, их надо, всем народом бить.

— Все это верно, — согласился генерал, — но вот как бить, расскажи народу.

— Как бить? — вдруг осерчал Григорьев. — Повадку волчью вызнать, тропки их высмотреть, не давать спокою, чтоб носу от земли не поднимали. А высмотреть, однако, умеючи надо, хитро. Позицию выбрать, залечь, к местности приспособиться. Ну, до поры до времени себя не выказывать, не торопиться. Зверя бить — хитрым надо быть.

Генерал безнадежно махнул рукой:

— Нет, из нашего Романа Григорьевича лектор не получается... Видно, придется вам, товарищи, на практике с ним побывать. Скажу за него: недели две назад разведали мы, что фашисты собираются один из наших батальонов потеснить. Ну-с, действительно, скоро пошли они в атаку при полном параде: на бронетранспортерах, с танками, при поддержке артиллерии. А мы заранее Григорьеву место выбрали, на подходах к нашему рубежу, на ничейной земле. И вот он поодиночке, на выбор, почти всех водителей транспортеров перебил, офицеров с десяток уложил. Большое дело сделал, сильно помог. Мы его за это к ордену Ленина представили.

Царев, слушавший до этого молча, не выдержал и восхищенно бросил:

— Здорово! А как же он изловчился, товарищ генерал?

— Как? Вот тут-то и секрет. Высмотрел он в полковых тылах павшую лошадь, велел шкуру с нее содрать, вместе с головой. И вдвоем с напарником перетащили это хозяйство темной ночкой на ничейную землю, под кустарничек, с фланга нашей позиции. Ну, набил шкуру хворостом, и уполз. Просыпаются утром немцы, видят, лошадь лежит. Заподозрили было неладное. Покидали вокруг нее минами, построчили пулеметами и бросили. Привыкли. А когда началась их артподготовка, стало понятно, что враг готовит атаку, подполз Григорьев к этой шкуре, устроился в ней поудобнее, стал ждать. Пошли транспортеры, танки. А он на выбор бьет с полутораста, с двухсот метров по смотровым щелям. Кругом пальба, дым коромыслом! Откуда стреляют, немцам не слышно, не видно. А стрелок Григорьев такой: на триста-четы-

реста метров в каску безошибочно попадет. У гитлеровцев замешательство: водители многих машин убиты, остальные притормозили. С машин солдаты и офицеры выскакивать стали, а Григорьев бьет. Так дело было. И еще скажу вам: великий он мастер маскировки. Так заляжет, так замаскируется, что в двух шагах пройдете и не заметите. И куст, и кору древесную, и сугроб снежный, и дерево подходящее — все использует. — Генерал прокашлялся и повел разговор о русской винтовке и стрелковом огне... — А главное, — закончил он, — живите, ребята, и воюйте дружно, как вся наша страна живет, как все народы советские дружно живут. В этом сила наша!

Кто-то несмело спросил:

— А гитлеровцы далеко ли отсюда? — и быстро спрятался за спины впередистоящих.

Генерал насмешливо посмотрел поверх головы и ответил:

— Нам на них издалека глядеть не приходится... Расчета нет. Они, правда, норовят теперь от нас подальше держаться, ну, а мы поближе к ним, поближе стараемся...

Бойцы весело рассмеялись, а у генерала с сухого загорелого лица исчезли добродушные морщинки, между бровями пролегла глубокая складка.

— Вы, товарищи бойцы, приехали сюда со священной миссией — изгнать врага до последнего гаденыша с земли советской. Легко не будет. Это знайте! Легкого здесь не ищите. Война — беда народная... А избавиться от этой беды можно только одним — победой.

Генерал закурил и спросил:

— Вы где ночевали?

— В Петушках, товарищ генерал.

— Так вот, когда наши бойцы ворвались на прошлой неделе в эти Петушки, то сняли со стропил амбара восемь повешенных жителей, из них трое ребят лет по десяти-двенадцати... Эсэсовская дивизия против нас стоит. Ну, тут рассказывать нечего, повоюете, сами увидите.

Генерал встал. Поднялись бойцы, снова выстроились. Раздалась команда «смирно». Генерал подошел к шеренге, попрощался:

— Надеюсь, товарищи бойцы, что многим из вас будут вручать ордена.

Машина сразу рванулась с места и быстро исчезла среди деревьев.

* * *

Спустя три дня бойцы нового пополнения собирались на передовую, в свои подразделения.

Царев, Андрей, Женя Лютиков и Заметный были назначены в один полк, в один батальон. Обычно сдержанный, Заметный оживился, поминутно хлопал товарищей по плечам своей тяжелой ручищей и басил:

— Здорово, братцы, получилось! По заказу! А я-то боялся, что разведут нас в разные стороны — кого в связь, кого куда... Значит, вместе! Эх, Чаркина бы еще к нам...

Привязчивая, жадная на дружбу душа была у этого человека.

Царев, наверное, уже в пятый раз надраивал новенький автомат и серьезно говорил:

— Ну, Гитлер, теперь держись! Гураны[1] по твою душу пришли...

Дугин двумя днями раньше попрощался со всеми и отправился в соседнюю деревушку, где размещался командный резерв дивизии.

— До скорого свидания, друзья, — сказал он, пожимая каждому руку. — Может, еще вместе воевать будем. А ты, Тимофей, помогай ребятам, — обратился он к Заметному и, нахлобучив Жене Лютикову шапку на самые очки, быстро вышел на улицу.

Из стрелкового батальона за новыми бойцами явился старшина Финько. На его крепком моложавом лице чернели усики, которые он то и дело расправлял широким, плавным жестом. Старшина, следуя гвардейской моде, видимо, недавно отрастил усы, и еще не привык к ним.

В полутьме амбара старшина показался Андрею неторопливым и обстоятельным. Но когда он снял полушубок, звякнув медалями, присел на чурбачок перед коптилкой из сплющенной артиллерийской гильзы и улыбнулся, стало ясно, что старшина — человек

---

[1] Гураны — шутливое прозвище забайкальцев.

быстрый и веселый. Прежде всего он поинтересовался, нет ли земляков-ярославцев. Услышав, что большинство здесь из сибирских областей, он одобрительно заметил:

— Сибирь — страна серьезная. Ермаки-мужики! Я в вашем Забайкалье бывал, на Шилке. Как там народ говорит-то? «Паря, чо, паря, чо, паря, сердишься почо?»

Все рассмеялись, а Финько стал рассказывать. Получалось, что их батальон — первый по всей дивизии.

— Да что по дивизии! По всей армии гремим! Командир наш, майор Давыдов, — сущий Суворов, ей-богу! Под Москвой, на Волоколамском шоссе, он с двумя ротами немецкий полк задержал, из зениток прямой наводкой двадцать танков расстрелял. Лично Рокоссовский орден Красного Знамени ему вручил. А сейчас нашего майора в Москву учиться отправляют, в высшую военную академию. На генерала! Хвастать не буду, но немцам наш батальон, что кость в горле.

Старшина говорил, посматривая вокруг веселым, озорным глазом. Все на нем было ладным, даже обычная гимнастерка и валенки выглядели щеголевато.

— К примеру, скажу вам за свою роту,— продолжал он. — Гнали мы немца до этих мест от самой Москвы, а сейчас в оборону стали. Ключевую позицию занимаем. Сам генерал говорит: «Товарищи, роте вашей ключи от всей местности доверили!» Мы это понимаем и чувствуем.

Финько огляделся, быстро поднял с земли и поставил на кривой столик два котелка, положил свою шапку, придвинул кружки, вытащил кисет с табаком и, разгладив усы, стал все это расставлять и передвигать.

Андрей улыбнулся и сказал:

— Вы как Чапаев.

Финько, не смутившись, ответил:

— Ну и что ж, что Чапаев! Правильно он обстановку объяснял, всем понятно. Вот смотрите, ребята. На местности этой высотка сильно вперед выдается...— и старшина положил шапку.— А по бокам — два озера,— он выдвинул котелки.— А на самой высотке рота наша закрепилась. Ясно? Пять раз нава-

ливались на нее гитлерюги, сшибить оттуда хотели. Целым полком атаковали, танки и самоходки пускали. По тридцать самолетов насыпали. Поглядеть со стороны — ну, живой мыши там не найдешь. Весь лес начисто смело. Была высотка курчавая, лесистая, а стала голая, что твой локоть. Но рота наша вкопалась в ту высотку, уцепилась, и никакой силой нас оттуда не вышибить. Самую верхотурку взвод занимает. Ну, конечно, пулеметчики, бронебойщики. С месяц тому назад дело серьезное было. Рассказать бы вам, ребята, надо...

Старшина густо прокашлялся и огляделся по сторонам:

— Когда к вам шел, промерз маленько. Не мешало бы законных фронтовых сто граммов...

Но тут же он безнадежно махнул рукой:

— Эх, забыл я, что на это довольствие только с завтрашнего положено встать. Вы еще в строевую записку не попали. Ну, ладно, своим обойдемся, подарочным.

Он отстегнул от пояса фляжку в сером суконном чехле, вытащил из кармана складной алюминиевый стаканчик и налил в него.

— Давайте еще какую ни на есть посуду...

Женя Лютиков услужливо подал огромную эмалированную кружку. Старшина уничтожающе посмотрел на неказистую физиономию Жени, прищурившись, отлил в кружку немного водки и протянул Заметному.

— Значит, товарищи, с благополучным прибытием в давыдовский славный гвардейский батальон! Будем с вами здоровы и живы, а Гитлеру — кол осиновый!

Выпив и испытующе взболтнув около уха фляжкой, он со вздохом снова приладил ее к поясу и продолжал:

— Так вот, дело было на той высотке. Отсекла артиллерия противника все подходы к ней. Ни пройти, ни проползти. Держит под огнем каждую лощинку. А эсэсовские роты на транспортерах, с танками пошли на нас. Сверху крутятся самолеты, бомбят ту высотку, с неба не слезают. Карусель! Позицию на взлобке в тот час занимал взвод лейтенанта Дубенко. Комсомолец был, из Донбасса. Подскочили эсэсовцы на

бронетранспортерах к самой высотке. Как горох высыпали из машин — и наверх! Уложили дубенковские пулеметчики и стрелки на скатах высотки почти сто вражьих душ. Бронебойщик Файзуллин четыре танка поджег. Но не одолеть было... Как тараканы, лезут фашисты. А у Дубенко и народу почти не осталось. Сам ранен, патроны кончаются, связь перебита...

Андрей нетерпеливо спросил:

— А наша артиллерия почему молчала?

— Э, товарищ боец, какая тут артиллерия, если я говорю, что немцы впритирку к высотке подскочили, с ходу на нее полезли. На тридцать-двадцать метров от наших закрепились. Гранатами ведь перебрасывались. Ночью майор Давыдов роту на подкрепление послал. Сунулась рота — не тут-то было: немцы уже заминировали все подходы. Да... А на макушке хлопцы Дубенко все еще бой ведут, не уходят. Приполз все же связной, раненый. Говорит: «Лейтенант Дубенко приказал огонь на себя давать, весь боеприпас вышел». А командир полка понимает, что немцы уже всерьез в землю зарылись, огнем тут не поможешь, только снаряды изведешь.

— А дальше, дальше что? — спросил Лютиков. — Что же с Дубенко?

— А с ним вот что, товарищи, — продолжал старшина. — Ночь темная была, ветреная. Вдруг слышим мы взрывы. Над высоткой огонь шарахнулся, метров на двадцать вверх. Ну вулкан, ей-богу! Потом узнали: у Дубенко и у хлопцев его, кроме рук и зубов, другого оружия не оставалось. И подтащили они ящики с толом, подпустили гадов поближе да подорвались вместе с ними. Когда через день мы с майором Давыдовым всем батальоном на высотку пошли и снова заняли ее, то нашли вокруг последнего дубенковского рубежа сорок восемь мертвых эсэсовцев и погибшего Дубенко с двумя его последними бойцами. А всего на высотке, на подступах к ней уложили дубенковцы не меньше двухсот гадов. Ну, а высотка с тех пор зовется у нас Дубенковской, комсомольской. И держим мы ее крепко.

Финько надел шапку, прихватил пальцами табачок из кисета.

— Ну, товарищи бойцы, собирайтесь! — скомандо-

вал он. — Поведу я вас на Дубенковскую высотку. Туда вы и назначены.

При выходе из мелкого осинничка старшина остановил группу.

— Тут потише... Цигарки бросить, не говорить! У кого это всю дорогу котелок бренчит? Подтяни потуже.

Женя Лютиков громким шепотом взволнованно спросил:

— Здесь немцы близко?

— Недалечко. Просматривается здесь местность, понятно? Хоть и загородили мы дорогу снежным заплотом, а они, собаки, чуют.

В неровном лунном свете, поминутно затмеваемом набегающими тучками, бойцы увидели перед собой тусклую гладь озера. Слева темнела длинная полоса забора, сложенного из снежных кирпичей.

— Быстро, бегом! — скомандовал старшина. — Не задерживайся!

Полусогнувшись, цепочкой, придерживая руками оружие и котелки, все побежали за ним.

Через несколько минут Андрей почувствовал, что дорога идет вверх. Старшина поднял руку. Все остановились.

— Ну, с прибытием, товарищи. Сейчас разведу вас по землянкам спать, а завтра назначение получите.

Шагах в пяти от них, как из-под земли, вынырнули две фигуры в белых халатах, с автоматами в руках.

— Пропуск?

— Томск... Отзыв?

— Тула... Проходи, старшина. В военторг, часом, не заглядывал? Подворотничков там нет?

— Нашел что спрашивать? Это добро я тебе и здесь достану. Ну, надо ребят разместить, комроты доложиться.

Старшина повел людей вдоль косогора. Скоро они вошли в узкую траншею, завернули по ней направо, стали карабкаться и очутились перед входом в блиндаж. Старшина, пригнувшись, нырнул в него и через минуту снова появился, но уже не один. Из блиндажа вышел командир роты Дугин.

* * *

Царев был назначен командиром стрелкового отделения, а Заметный — помощником командира взвода. Но так как комвзвода был контужен и отправлен в санбат, Заметный выполнял его обязанности.

Отделению Царева была отведена свободная, вырытая в склоне высоты землянка, где раньше размещалась группа артиллерийских наблюдателей-разведчиков. Сегодня артиллеристов перевели на участок другого батальона. Землянка была аккуратная, с широкими земляными нарами, обшита изнутри тесом. В углу стояла железная бочка из-под горючего, переделанная в печь. Около нее лежал запас дровишек. Остро пахло еловым лапником, которым были устланы пол и нары. Покрыта была землянка в четыре наката толстыми бревнами.

— Генеральская хата, товарищи сибиряки, — сказал политрук Вершилов, пришедший навестить бойцов на новом месте. После короткой беседы он приказал Цареву расположить людей на отдых.

— Часа три-четыре поспать можно, а утром оглядитесь на нашей Дубенковской сопке. Так ведь по-вашему, по-сибирскому, горы называют?

Андрей был оставлен дневальным. Несмотря на усталость, он обрадовался этому. В эту ночь он все равно не уснул бы.

В землянке было жарко. Неровный красноватый свет падал из дверцы раскалившейся бочки. Сверху, с накатника, через ровные промежутки капало. Пахло свежесрубленным деревом, хвоей, махоркой. Иногда вся землянка вздрагивала от близких разрывов или пушечных выстрелов, и тогда с потолка и стен сыпались струйки сухого песка.

Люди на нарах спали, прикрывшись шинелями, надвинув на глаза шапки.

Время от времени в землянку доносилась сухая дробь пулеметной очереди. И вдруг весь воздух наполнялся злым пулеметным стрекотанием. Казалось, весь фронт проснулся и прильнул к ложам винтовок, к пулеметам.

Андрей встревоженно приподнимался, выскакивал

наружу, всматривался в дрожащее от огней ракет высокое небо. Куда только глаз хватало, взлетали эти ракеты — синие, желтые, красные... Будто на длинной тонкой шее, они взмывали вверх, свешивали вниз свои любопытные злые головки и гасли. В их мертвом, густо окрашенном свете на мгновение возникали перед Андреем изрытые склоны сопки, горбящиеся землянки, обезображенные стволы деревьев.

Через несколько минут снова становилось тихо, лишь потрескивали дрова в печурке да вдали глухо ворчали орудия.

Вскоре воздух наполнился назойливым гудением. Высоко над линией фронта через ровные промежутки времени проходили невидимые эскадрильи самолетов. Свои или вражеские?

Вдруг совсем низко, над самой землянкой, протарахтел мотор.

Андрей от неожиданности даже голову пригнул. Через секунду невдалеке раздались мелкие, частые взрывы.

В землянку заскочил боец.

— Погреюсь у тебя маленько, — сказал он Андрею. — Ишь, проклятая фанера летает, чтоб ей сдохнуть.

— Что за фанера? — удивился Андрей.

Боец объяснил, что ночами над нашим расположением летают тихоходные маленькие самолеты и бросают вниз связки ручных гранат.

— На огонек цигарки, на фонарик, на печную искру бросает, сукин сын, она ему нет. Однако и наши спуску не/дают. Цельную ночь летают наши «огородники» за фронт.

Андрей проводил бойца и посмотрел сквозь приоткрытые двери в тревожное, озаряемое вспышками небо. Прислушался... Ночь была полна звуков. Ночью фронт жил деятельной жизнью.

Утром Андрей, Царев и Женя Лютиков, проверив винтовки и захватив с собой ящик с патронами, отправились ходами сообщения на левый склон сопки. Здесь, на огневом рубеже взвода, были отрыты позиции пулеметных расчетов, индивидуальные гнездышки стрелков, глубокие, в полный рост, траншеи.

Начинался первый день боевой службы Андрея.

Все для него было в диковинку. Шумливый и разговорчивый Царев приумолк и перед выходом из землянки с серьезным лицом наводил на себя «красоту» — тщательно причесал короткие волосы, франтовато заправил складки на шинели и, внимательно расcматривая себя в зеркальце, потрогал пальцами верхнюю губу:

— Отращу-ка я, ребята, усы. У меня, однако, не хуже, чем у старшины, будут,— попытался он по своему обыкновению шутить. Но, взглянув на строгие лица товарищей, не стал больше распространяться.

Вначале шли по обратному, скрытому от противника склону сопки. Шли не пригибаясь, прыгая через окопы. Весь этот склон был изрыт, людей почти не видно.

Раздался странный звук, будто пробка из бутылки выскочила, а затем противный, нарастающий визгливый вой. Шедший впереди пулеметчик Архипов спокойно и быстро прыгнул в окоп. Все посыпались за ним. Воющая мина с треском разорвалась где-то позади.

Вслед за первой миной прилетала вторая, третья...

— Пошли траншеями, — сказал Архипов, — что-то он с утра кидать начал. Ничего, ребята, не бойсь, в ходе сообщения не зацепит.

Ход сообщения неровными зигзагами огибал высоту. От него шли ответвления, одним из которых Архипов и привел группу на боевой рубеж.

Андрей осмотрелся. Он стоял в глубокой траншее. В нишах разложены пачки с патронами, гранаты, пулеметные диски. На невысоком бруствере, обращенном в сторону противника, лежали винтовки. Некоторые бойцы дремали, присев на дно окопа и глубоко надвинув шапки на глаза. Наблюдатели посматривали в сторону противника. Лейтенант в черном полушубке возился у рогатой стереотрубы, чуть выглядывавшей своими двумя глазами к одному из наблюдателей.

Андрей подошел к нему.

— Не суйся, — строго сказал тот, — и чихнуть не успеешь, как снайпер снимет тебя.

Слева от высоты виднелось продолговатое озеро, похожее своими очертаниями на неправдоподобно огромный человеческий след. Дальше, за небольшим изуродованным леском, по словам Архипова, было еще

одно озеро. Указывая на перешеек между озерами, Архипов объяснил:

— Залезла сюда вражья сила... Сколько раз пробовали высадить ее отсюда, не дается, зарылась. Доты понастроили, заминировали кругом. Наша артиллерия, кажись, все там пристреляла, самолеты наши бомбили, раза три всем полком атаковали — ничего их не берет!

Андрей до боли в глазах всматривался в перешеек. Казалось, он вымер. В прозрачном воздухе раннего утра мрачно чернели обугленные, ободранные стволы деревьев. Безжизненный горб перешейка высился над ними загадочно и угрожающе.

Андрей обжился на новом месте. За несколько дней он до мельчайших подробностей изучил и сопку, и местность вокруг. По ночам, притаившись, лежал в боевом охранении, выдвинутом в сторону противника, в метрах ста от его траншей. Прислушивался к глухому рокоту моторов, доносившихся с немецкой стороны. Иногда улавливал неясные голоса. Однажды среди ночи фронт проснулся на всем видимом глазу протяжении. Непрерывно взлетали ракеты, ружейные и пулеметные выстрелы слились. Андрей крепко сжал ложе винтовки, плотно прильнул к земле и, стараясь не шевельнуться, напряженно смотрел в темноту. Позади рвались снаряды и мины. Низко над головой проносились длинные светящиеся линии трассирующих пуль. Но Андрей не стрелял. Он знал, что в боевом охранении нельзя преждевременно обнаруживать себя.

Скоро тревога утихла, и Андрей снова напряженно вслушивался, всматривался и, чтобы не заснуть, тихонько грыз вкусный черный сухарь.

* * *

Андрей полудремал на нарах, привалившись к чьей-то спине, укрывшись с головой в плащ-палатку. Он очнулся от внезапной стрельбы, вскочил. В землянку вбежал Заметный.

— По местам! — крикнул он. — Наверх!

Ходом сообщения Андрей через минуту добрался до своей ячейки в траншее. Внизу, в фиолетовом

свете ракеты, он увидел колышущиеся очертания темных фигур.

— Немцы! — крикнул наблюдатель. — Огонь!

Андрей открыл частую стрельбу. Быстро щелкая затвором, он перезаряжал винтовку и посылал выстрел за выстрелом.

— Куда стреляешь, ворон пугаешь! — вдруг услышал он за собой голос Дугина и оглянулся. Дугин стоял в измазанном окопной землей ватнике и, шевеля желваками крепких челюстей, всматривался в туман.

— Стреляй спокойнее, ниже. Противник залег, — сказал он и, пригнувшись, прошел дальше.

Андрей, повалившись грудью на земляной бруствер, стал стрелять реже. «Вот вам за Генку, за Галину Ивановну, фашистская сволочь! Получайте!» — мысленно говорил он при каждом выстреле.

Скоро стрельба постепенно утихла. Как потом оказалось, небольшая группа немцев, видимо случайно, наткнулась на нашу оборону. Пробирались они вдоль фронта по «ничейной» земле да наткнулись на проволочные заграждения. Бросились назад, а тут-то их и заметили.

В сумерках наступающего утра Андрей увидел на белом, свежевыпавшем снегу темневшие трупы вражеских солдат. Их было больше десяти. Дважды вылезали наши бойцы, пытаясь подобрать их, забрать документы и оружие, но немцы каждый раз открывали стрельбу.

Звезды на высоком небе поблекли. Стало очень холодно и, как всегда под утро, тихо. Андрей тряпочкой протирал обоймы с патронами, снимая с них застывшее на морозе ружейное масло. За изгибом траншеи послышались шаги, Андрей насторожился. Из-за угла показались несколько фигур в белых маскировочных костюмах. В передней фигуре Андрей узнал генерала, командира дивизии. Группу замыкал Заметный.

Генерал остановился у стрелковой ячейки Царева.

— Товарищ генерал! Отделение занимает рубеж обороны, происшествий не имеется! Докладывает командир отделения сержант Царев...

— Как там «происшествий не имеется»? — спросил генерал. — А мне докладывали, что на ваш участок

ночью немцы было сунулись. И вроде вы побили их. Только, говорят, стреляли вразброд, не залпом.

— Действительно, товарищ генерал,— замялся Царев.— Погорячились...

— Сибиряки, они из холодных краев, а оказывается, народ горячий. Вот и разберись тут,— рассмеялся генерал.— А к залповому огню отделением привыкать надо, товарищ отделенный командир. Ну-с, а теперь мне надо осмотреть хорошенько вашу местность. Кто из вас ходил вон тем бережком?— спросил генерал, показывая на чуть темневшую в предрассветной мгле лощинку вдоль замерзшего ручья.

Заметный быстро ответил:

— Я ходил, товарищ генерал, проверял боевые посты, дорогу знаю. Только метров полтораста надо на брюхе ползти, под самым бережком.

— Ничего, иногда и ногам нужен отдых, и на пузе походить можно,— усмехнулся генерал.— А правда ли, что с поворота лощинки открывается хороший обзор на оба фланга?

— Так точно, товарищ генерал,— обрадовался Заметный.— Как на ладошке все видать. И ихний чертов перешеек, и полуостров, и обе наши сопки. В акурат там хорошее место есть, укромное. В самом бережку вырыта норка, человека три уместятся. Тальник впереди растет, маскирует.

— Ну, ладно, не расхваливай, пойдем — увидим,— решительно бросил генерал. Он засунул бинокль за широкий ворот белого костюма, оглянулся, кивнул одному из офицеров:— И вы со мной, Дмитриевский!— и отправился за Заметным. Второй офицер и четыре автоматчика, сопровождавшие генерала, остались в траншее.

Андрей был озадачен.

— Ведь там опасно... зачем это генерал туда пошел?— спросил он одного из автоматчиков.

Тот, раскуривая трубку, насмешливо бросил:

— Опасно! Генеральская служба, она тоже не сахар. Должности у вас с генералом, парень, разные. Это верно. А служба одна, солдатская...— Вздохнув, он добавил:— Вот говорят, штабным автоматчикам не жизнь, а малина, греются у штабной кухни, и вся работа... Обидно даже слушать такие насмешки.

Часа через два генерал вернулся. Костюм на нем почернел. Он устало присел на дно окопа, вытащил из планшета измятую карту, развернул ее и молча стал разглядывать, время от времени вытирая пот с высокого лба. Затем, сложив карту, он обратился к Цареву:

— Ну-с, отделенный командир, накормишь нас? Завтрак уже приносили?

— Уж завтракали, товарищ генерал, однако накормим, — с готовностью ответил Царев. — Сегодня ротная кухня отличилась: пирожки, каша с консервами.

— Но?! — удивился генерал.— Неужели пирожки? Давай тащи. А людей моих покормили?

— А как же, солдат солдата не обидит, — ответил Царев и исчез. Через минуту он вернулся, неся в котелке дымящуюся кашу, в крышке котелка несколько румяных пирожков, а в другой руке котелок с чаем. Поверх каши лежал большой ломоть хлеба.

— Вот отведайте, товарищ генерал, — сказал Царев, поставив все это на патронный ящик. Нагнувшись, он вытащил из-за голенища валенка щербатую ложку, обтер ее рукавицей и протянул генералу.

— Спасибо, сержант, — сказал генерал, — ложка у меня своя, солдату без ложки никак нельзя, — и он извлек из полевой сумки алюминиевую складную ложку, в точности такую же, какую видел Андрей у Чаркина в госпитальной палате.

* * *

Генерал приказал комбату построить два дота и отрыть артиллерийский окоп на том мысочке, куда он ходил в рекогносцировку с Заметным.

— Прекрасная исходная позиция для штурма перешейка,— сказал он.— Но и уязвимое местечко, если немцы его приметят. Просочиться могут. Надо накрепко запереть его.

Доты строили по ночам. Не говорили, не курили. Молчаливые бородатые бойцы из саперного взвода — опытный мастеровой народ — с непостижимой быстротой, неслышно и невидно рыли котлованы, возводили срубы, сооружали блиндажи. Отделение Царева было послано на помощь саперам.

Андрею никогда не доводилось так много работать топором, лопатой и киркой. Никогда не думал он, что в состоянии за одну ночь перетаскать столько бревен, перекидать столько земли. По утрам трудно было шевельнуть рукой, двинуть плечом. Не верилось, что в следующую ночь сможет встать на ноги. Наступала следующая ночь. Первые шаги, первые удары лопатой давались с необыкновенным трудом, но через десять-двадцать минут он втягивался в яростную молчаливую работу.

Старший сапер сержант Конкин, невысокий вологодец с русой бородкой, поглядывая умными глазами на Андрея, говорил:

— Без рабочей руки, сынок, на войне пропадешь. Воюют не только ружьем, но и лопатой, и топором. Приучайся.

И Андрей приучался.

На третью ночь противник то ли учуял что-то, то ли «для проверки», но обрушил на берег озера артиллерийский огонь. Артналет продолжался минут двадцать и задел мысок, на котором велись работы. Снаряды ложились один за другим, запахло гарью, взрывчаткой, воздух гудел. Прямым попаданием разбило недоконченный дот. Сапера Конкина засыпало землей.

— Откапывайте, — прохрипел Царев Андрею и Жене Лютикову и, пригнувшись, бросился к берегу с ручным пулеметом в руках, ожидая вылазки немцев.

Андрей, сдвинув брови, бешено работал лопатой. Он не слышал, что с визгливым свистом воздух пронизывают осколки снарядов. Один из них, видимо уже ослабевший, «на вылете» вонзился острым зазубренным краем в валенок. Андрей почувствовал ожог в ноге. Не выпуская лопаты, он нагнулся, схватил горячий, иззубренный обломок металла, отшвырнул далеко от себя и продолжал работу.

У Жени Лютикова осколок перешиб черенок лопаты. Оставшись с палкой в руках, Женя растерянно приподнял очки на лоб, оглянулся и, опустившись на колени, стал руками отгребать тяжелую смерзшуюся глину.

Скоро показались ноги сапера. Андрей бросил лопату и, волнуясь и торопясь, разгреб землю вокруг его головы.

— Женя, бери за ноги! — крикнул Андрей. Они осторожно, с трудом приподняли тяжелое тело Конкина, перенесли его в котлован, уложили на плащ-палатку.

Сапер не дышал. Лицо его было мертвенно-бледным, рот забит землей, светлая борода, будто приклеенная, торчала вверх. Андрей опустился на колени, стал ощупывать тело Конкина.

— Я читал, что в таких случаях помогает искусственное дыхание, — сказал Женя Лютиков и, взявшись за руки сапера, стал приподнимать и опускать их. Неожиданно изо рта пострадавшего потекла струйка крови.

— Вы что тут делаете, нельзя так! — раздался над ними сердитый, но удивительно звонкий голос.

Оба подняли головы и увидели на краю котлована приземистую фигуру в туго подпоясанном белом полушубке, с большой сумкой через плечо.

Спрыгнув в котлован, девушка наклонилась над сапером, скинула огромные меховые варежки и поразившими Андрея маленькими руками стала ловко очищать от земли рот и ноздри сапера. Тот глухо застонал.

— Жив! — обрадовался Андрей.

— Конечно, жив, — так же сердито ответила девушка и добавила:

— Вам здесь нечего делать. Марш наверх!

— Но, но, мы тут по приказанию командира, — заявил Женя Лютиков. — А вы кто такая, чтобы приказывать нам?

— Я санинструктор. Покажите, что у вас там со щекой?

Женя схватился за щеку. Она была в крови, ее слегка царапнуло.

Совсем близко у своего лица Женя увидел внимательные и строгие девичьи глаза.

Она осторожно протерла щеку бинтом, смоченным в каком-то растворе, и бросила:

— Пустяки...

Ухватившись за край плащ-палатки, она с неожиданной силой и сноровкой вытащила Конкина из котлована.

— Скоро рассвет, надо скорее перебазировать его в овраг, а оттуда уж в полковой медпункт. Счастливо оставаться.

* * *

Днем отдыхали в землянке, вырытой в склоне ложбины. Как оказалось, ночью ранило еще трех человек и убило комсорга саперной роты Ваню Беляева. Саперы хмурились и немногословно ругались, обтесывая колья для проволочных заграждений.

После обеда в землянку пришел лейтенант, сотрудник дивизионной газеты. Сняв набухшие валенки и поставив их сушиться около печурки, он долго растирал натруженные ноги. Вытащив из потертой полевой сумки пухлый блокнот, он спросил:

— Где же сержант Конкин? Мы уговорились с ним, что он выступит в газете. Геройский сапер, я только недавно узнал, что это тот самый Конкин, о котором до войны во всех газетах писалось. Знаменитый строитель, стахановец!

— Ранило Конкина,— ответил мрачный бородач.— Землей присыпало. А написать о нем надо, это верно.

— Жалко, — вздохнул лейтенант, — разыщу его в санбате, может, ранен не тяжело. А что, сегодня в сильную переделку попали?

— Да нет, обычное дело. Снарядов двадцать, не больше. А трех саперов в госпиталь увезли да Ванюшку убило. Конкин из строя ден на пять вышел,— ответил все тот же бородач. — Однако дело сделали... Такие доты поставили, что никакой снаряд не возьмет... Да и траншеи ладные, неприметные.

Лейтенант оживился. Взяв в руки карандаш, он спросил:

— А кто же особенно отличился в этом деле?

Пока бородач раздумывал, Женя Лютиков, который до сих пор смирно лежал и мечтательно глядел вверх, быстро вскочил.

Он подошел к лейтенанту и, волнуясь, громко сказал:

— Вы, пожалуйста, напишите о героическом подвиге санинструктора Оли. И портрет ее поместите.

— Какой Оли? — удивился лейтенант.

— Девушка тут есть, санинструктор, герой.

Все в землянке насторожились.

— Приснилась ему эта Оля, товарищ лейтенант,— вмешался Царев,— он у нас такой мечтатель...

Женя покраснел.

— Товарищ сержант,— обиженно сказал он,— спросите хоть у Шилина. Он тоже видел, как она под огнем Конкина спасла и мне первую помощь оказала. Что, по-вашему, щека мне тоже приснилась?

Лейтенант весело спросил:

— Так что же, была Оля или нет? И как ее фамилия? И где она служит?

— Оля была,— подтвердил Андрей,— но как ее фамилия и где она служит — мы не знаем, спросить не успели. Видели ее всего минуты две.

— Вы ее найдите, пожалуйста,— попросил Женя,— она такая маленькая, а глаза блестящие.

— Вот это адрес! Приметы точные!— заметил лейтенант. Хмурые и пожилые саперы улыбались в бороды. Кто-то сказал:

— Бегает тут дочка, действительно... Хорошая деваха, ничего не скажешь. Строгая. И огня действительно не боится, а сама с вершок...

К радости Жени, корреспондент что-то стал записывать. Пошли разговоры о саперном труде, рассказы о том, как на прошлой неделе разминировали под носом у немцев проход для наших разведчиков. Рассказывали обстоятельно, все усердно дымили махоркой, обжигаясь, пили чай из больших зеленых кружек.

— Я у вас тут до вечера пробуду,— сказал лейтенант.— Как стемнеет, в третий батальон пробираться стану.

— Трудненько туда... Ложитесь, товарищ лейтенант, отдохните,— предложил Царев и освободил место рядом с собой.

Потрескивал хворост в печурке. Пахло свежей стружкой и приятным, уютным запахом махорки. Чуть колыхалось пламя в фитиле сплющенной медной гильзы. Кто отдыхал, кто винтовку смазывал, кто орудовал, вооружившись иглой и ниткой. Бородач, ловко действуя ножиком, вырезал ложку из липового бруска.

Царев невысоким тенорком тихо затянул:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Отложив в сторону незаконченную ложку, сапер вытащил из вещевого мешка маленькую вологодскую гармонь и стал тихо подыгрывать.

Все слушали молча, свесив головы.

Потом хором спели «По диким степям Забайкалья».

— Хорошо у вас тут, дружно,— сказал лейтенант.

— Что ж, четвертый день уже вместе живем, не мудрено и сдружиться,— откликнулся бородач.

Послушали еще вологодские напевы, стали говорить о лесах вологодских и забайкальских. Женя Лютиков молчал и, как завороженный, смотрел в бревенчатый потолок землянки.

— Что, Оля мерещится?— тихо спросил его Царев.— А ты девушку на станции помнишь, из встречного эшелона?

И Царев вдруг загрустил и тоже замолчал. Бойцы по очереди рассказывали «самое интересное» из жизни. И когда пришла очередь Царева, он непривычно мечтательным тоном начал свой рассказ:

— Было это, ребята, в городе Владивостоке. Город этот стоит на сопках, живет там много матросни и разного народа. Приехал я первый раз во Владивосток прямо из деревни в техникум в новой рубашке, при галстуке. Хожу по этому городу и хоть бы назло один знакомый человек. И вдруг я вспомнил, что у меня в кармане письмо лежит от моего батьки, фельдшера, к его знакомому врачу. Дай, думаю, пойду. Прихожу чин чином, ноги у порога вытираю, хотя, между прочим, на улице грязи совсем нет. Представляюсь такому кругленькому человеку. «Ах,— говорит,— как же, помню, помню, Царев, еще бы! Удивительно, что у него такой сын». Спрашивает про батьку: мол, пьет ли по-прежнему водку и чем лечит больных, а я его совсем не слушаю, смотрю в сторону. А там сидит, нога на ногу забросивши, молоденькая девица.

Доктор, видно, смекнул и знакомит нас. «Это,— говорит,— сын моего старого фельдшера Никодима Ивановича Царева, а это моя дочь Эмма». Мне навстречу встала эта самая Эмма в черных блестящих чулках, в юбочке коротенькой и подает руку. Просидел

я у них часа два, потом заявляется паренек тоненький, с прилизанными волосами, по виду — девка и девка. Парень, в общем, красивый, обходительный, но таких почему-то всегда бьют. Садится он осторожно на стул, ножку вперед выставляет и задумчиво так смотрит на эту самую Эмму. Ну, думаю, ясно — любовь.

В землянке все насторожились, предчувствуя интересную историю. Многие приподнялись со своих мест и придвинулись поближе к Цареву. Кто-то подтянул повыше фитиль светильника из снарядного патрона. Вдали гукнул одинокий артиллерийский выстрел, стены землянки чуть дрогнули, пламя светильника чуть закачалось.

— Ну вот, посидел я еще там минут двадцать, думаю, хватит, надо уходить,— повествовал Царев,— а Эмма меня задерживает: «Куда,— говорит,— Вася, торопитесь, мы сейчас с Леней гулять пойдем, пройдитесь с нами, мы вам Владивосток покажем». Вот, думаю, история, а сам вижу, что этому Лене не очень-то улыбается такая прогулка. Ну, пошел все-таки, назло ему. Вечерами во Владивостоке прохладно. На улице Эмма взяла нас под руки и рассказывает о городе... Я иду в одной рубашке и чувствую, что девушка мне руку тихонько пожимает своим локотком. Вот, думаю, история! А у самого тепло от руки пошло и сердце запрыгало. Может, мне и показалось это, только сам я ее руку уже крепче стал прижимать. Довели они меня до общежития, и она мне наказывает обязательно завтра приходить. Всю ночь она мне снилась, и чулки ее черные, и глаза такие — аж насквозь жгут. Да... Утром проснулся часов в пять и первым делом себя выругал. Думаю, вот, не успел приехать и шашни развожу с чужой невестой. Решил, что больше не пойду туда.

— Дурак,— разочарованно пробасил бородач.

— Да постой ты,— сказал кто-то недовольно,— не такой Царев парень, чтобы остановиться.

— Вот именно,— сразу как-то повеселел Царев,— именно не такой! Вечером на следующий день прихожу. Опять гуляем, на море смотрим. Леня все время разговаривает, стихи скучные читает, глаза к небу подводит, и видно мне, что я тут совсем лишний человек. Сказать мне вовсе нечего, будто язык отняли.

И вот так изо дня в день недели три ходили, и каждую ночь она мне во сне снилась.

Ну, думаю, дошел до ручки. Пишу я ей письмо и назначаю свидание без этого Леньки. Если, думаю, придет — ладно, а нет, то больше уже ша — ни одной ногой туда! Прихожу в назначенное время, и она тут. Я очень обрадовался. Проговорили мы с ней всю ночь, за морем уже солнышко показалось, когда мы домой пошли. Разговоры у нас были всякие, только не о любви. Я ей больше о своей деревне рассказываю, а она так слушала, что я готов был говорить без конца. И врал много. Спрашивает она меня: «Вы хорошо плаваете?»— «Замечательно!»— говорю. А у нас и речку-то курица вброд переходит, даже выучиться плавать негде было. «Я,— говорит Эмма,— больше всего на свете люблю водный спорт».

Дорогой она мне стала, век бы с ней не расставался. И такая она тоненькая да нежная, даже обнять и то боязно. На такую только глядеть надо и мечтать про нее. Думаю, до чего же писатели про все эти чувства дознались... А учеба моя, между прочим, хромает. Какая тут электротехника, когда кругом думы об Эмме, а тут еще ревновать я ее к этому Леньке стал! Но пришлось все терпеть. Я до такой степени был влюблен, что на все был согласен, только бы ее видеть. Один раз в воскресенье она нас с Ленькой в бухту приглашает. В полдень прихожу туда, встретились мы, она с себя платьице долой, в купальном костюме остается и весело кричит: «Василий, раздевайтесь!»

Ну, думаю, беда, сроду с девками вместе не купался, плавать не умею, засмеет она теперь меня насмерть. На нее так даже посмотреть боюсь. Но делать нечего. Снимаю с себя брюки, неловко, бочком подхожу к самой воде. Эмма забредает в воду и плывет. Леня мне и говорит: «Поплывем?» Я отвечаю, что не очень, мол, хочу. Смотрим на Эмму, как она красиво плавает. Только вдруг слышим, что она закричала, забулькала ногами и на помощь зовет. Бросился Леня в воду, плывет. А она то появляется над водой, то снова исчезает и все кричит: «Вася!»

Что тут со мной делалось! От злости на себя даже заплакал, а в воду так и не зашел. А Леня доплыл, и там они долго ныряли и, чувствую, смеялись. А я

оделся потихоньку — и ходу. С тех пор больше ей на глаза не показывался.

Царев замолчал, и вначале никто не поверил, что это конец. Потом боец из саперного взвода недовольно сказал:

— Эх, Васька, Васька, не врать бы тебе — все бы по-другому могло повернуться. И Ленька бы тебе этот был нипочем.

Видимо, у всех, кто слушал Царева, осталось такое же чувство. Никто не ожидал, что так неожиданно закончится этот рассказ.

— Да, брат, интересный твой рассказ,— заметил сапер.— Что же получается? А получается, что человек — не птица. Это птицу по перу судят, а человек... Хитрая, брат, штука человек. Иной с виду неказист, не ершист и постоять за себя не умеет, а дело придет — сто очков вперед даст! Да-а, наука нам с тобой, Василий.

В землянку вошел командир саперного взвода.

— Пора на работу,— сказал он, зябко поводя плечами и растопырив красные руки над печуркой.— Самойлов, выводи людей.

Андрей посмотрел на свою большую мозоль во всю ладонь, надел ватную фуфайку и взял лопату и винтовку.

* * *

После отдыха отделение Царева возвращалось на Дубенковскую высоту. Андрей шел туда, как в родной дом после долгой отлучки. Эта изрытая, выщербленная сопка, осыпаемая вражеским огнем, политая кровью и потом товарищей, показалась Андрею издавна знакомой каждой своей лощинкой, каждой воронкой. А воронок прибавилось здесь изрядно.

В землянке бойцов ждали новости и почта. Политрук роты Вершилов, с которым Андрей так и не успел по-настоящему познакомиться, был убит во время налета вражеской авиации на сопку. Бойцы рассказывали, что самолеты сбросили пятнадцать-двадцать бомб, но никого даже не задело, а вот Вершилова убило... Бомба угодила прямо на землянку, где размещались политрук и Дугин. Но Дугин минут за пять до этого был вызван к командиру батальона.

Андрей пожалел молодого политрука, которого всегда видел с затрепанной книжкой Маяковского в руках.

Были и другие новости. Бронебойщик казах Джамбаев сбил самолет из своего долговязого, жердеобразного ружья. Фашистский летчик выбросился на парашюте и был взят в плен бойцами второго взвода. Джамбаева вызвали в штаб дивизии вручать орден. Третьего дня ночью к сопке приползли пять немецких солдат и сдались в плен. Они привели с собой связанного лейтенанта-эсэсовца. Повару Грише прямо в открытый котел с кипящим борщом угодила мина и не разорвалась. Бойцы смеялись: «Горячий приварок». В общем, новостей было много.

Андрей получил два письма — от матери и Вали. Поколебавшись, он первым открыл Валин конверт. Как всегда, это было длинное «письмо-дневник». Нежные слова перемежались с подробностями о жизни и работе в школе день за днем, с рассказами о прочитанных книгах. Усевшись в сторонке, Андрей стал медленно с наслаждением вчитываться в каждую строчку. Он забыл об окружающих и вслух смеялся, когда читал веселую историю о проделках Валиных учеников, собравшихся было бежать на фронт. Валя писала о матери: «...после твоего отъезда Зинаиду Степановну не узнать. Пиши ей чаще, как можно чаще. Она живет твоими письмами».

Андрей вскрыл письмо матери. Зинаида Степановна сообщала коротко, что чувствует себя хорошо, работает в школе и дружно живет с Валей, часто бывает в госпитале у ребят. Сообщила она номер полевой почты Вачнадзе. «Капитан очень беспокоится о детях, прислал на мое имя денежный аттестат для них». Заканчивая, мать писала, что разыскала адрес Егора Косых, отправила ему письмо и получила от него письмо для Андрея, которое и вкладывает в этот конверт. «Молодец мама»,— с благодарностью подумал Андрей.

Торопливо развернул он сложенный вчетверо лист бумаги. Его охватило такое же волнение, как тогда в госпитале, когда он впервые увидел письма отца. Но только было он начал читать письмо Егора, как в землянку вошли Дугин и Заметный. Все встали. Ца-

рев доложил командиру роты, что бойцы отделения вернулись с выполнения боевого задания по строительству позиций, а в данное время отдыхают.

— Что пишут из дому?— спросил Дугин, увидев в руках бойцов письма.

Белоголовый смоленский парень Дима Тальников, протягивая письмо, сказал:

— Вот, почитайте, товарищ старший лейтенант.

Дима до войны учился в сельскохозяйственном техникуме на родной Смоленщине. Письмо было от матери — доярки колхозной фермы. Их колхоз гремел раньше по всей Смоленщине высокопородным стадом знаменитого сычевского скота.

Доярки и телятницы фермы, побросав все свое личное имущество, спасали колхозное богатство. Глубокой осенью 1941 года, почти из-под огня наступавших фашистских дивизий, под непрерывными бомбежками глухими лесными тропами они увели колхозное племенное стадо от линии фронта и перегнали его в далекую Куйбышевскую область.

Мать писала Диме о том, как живут они на новом месте, и о своих любимых коровах-рекордистках.

«Наша Георгина жива и здорова,— сообщала она. — Поранило ее немного, но спасибо здешнему ветфельдшеру — вылечил. Удой прежний, и здешние колхозники приходят удивляться на нее. Ждем, сынок, когда вы, наши защитники, прогоните проклятого изверга Гитлера с земли нашей. В гостях хорошо, а дома лучше. Не плохо бы к весне погнать стадо обратно. Постарайтесь, сыночки, просим. Часто вспоминает и кланяется тебе знакомая Клава Емельянова. Держит она себя аккуратно, плохого ничего не скажешь. От отца так ничего и нет. Остался он в партизанах, а жив ли,— один бог знает. Может, ты что слышал?»

— А вам, Шилин, что пишет Забайкалье?— неожиданно обратился Дугин к Андрею.— Не секрет?

— Нет, не секрет...— и Андрей протянул Дугину письмо Косых.

— Вот это письмо!— дочитав его до конца, сказал Дугин и в волнении сделал по землянке несколько шагов.— Вот что, Шилин! Это написано не только тебе, но всем нам. Я возьму его, если разрешишь, на пару дней.

* * *

В полдень веселое мартовское солнце уже давало себя знать. Глубокие снега на озере оседали, дороги почернели и набухли. К вечеру рыхлый, ослабевший снег покрывался хрустящей, ломкой корочкой.

На снегу с каждым днем обнажалось все больше пятен копоти — ожогов от рвавшихся здесь всю зиму снарядов, бомб, мин. Под голубым весенним небом все отчетливее проявлялись, как на огромной фотопластинке, сожженные немецкие танки и бронетранспортеры, трупы павших лошадей, брошенное снаряжение. На «ничейной земле», уткнувшись стволом в землю, чернел подбитый фашистский танк, раньше заметенный сугробами.

Несколько ночей подряд противник пытался увести его к себе в тыл, но неудачно: об этом говорили два разбитых тягача, видневшиеся недалеко от танка.

По траншеям и ходам сообщения стало трудно ходить. Андрей иной раз еле передвигал ноги. У бойцов намокали валенки, глина налипала на полушубки и ватники. Днем в землянке появлялась вода, приходилось вычерпывать ее котелками.

В один из таких дней Дугин был вызван на командный пункт полка. В низкой широкой землянке уже собрались командиры и политруки полковых подразделений.

Дугин уселся на корточки в угол, возле телефониста, который усердно продувал трубку и беспрестанно повторял: «Я — «Черешня», я — «Черешня»...» Дугин осмотрелся. Все обменивались многозначительными улыбками. Чувствовалось приподнятое настроение, хотя командир полка еще ничего не говорил. Насупив сросшиеся брови, он хмуро рассматривал разложенную на дощатом столике карту. Наклонились над ней и представитель штаба дивизии — подполковник в очках, и толстый танкист — майор в черном замасленном полушубке.

— Пахнет делом,— шепнул Дугину комбат.— Надоела эта чертова оборона. Не зря генерал излазил всю передовую...

Телефонист явно начинал клевать носом и все тише повторял сонным голосом свой позывной. Внезап-

но он выпрямился, встряхнул трубку, с шумом продул ее и неожиданно громко зачастил «Черешню».

— Потише со своей «Черешней»! — строго сказал командир полка и сразу приступил к делу.— Сегодня в ночь ждите приказа о наступлении. Командование дивизии возложило на наш полк серьезную боевую задачу: мы должны взломать оборону противника в районе перешейка, занять плацдарм на западном берегу озера и повести наступление на Носово-Дубовое. Ясно? К концу дня первый и третий батальоны занимают пункт Носово и оседлывают узел дорог. От исхода операции зависят дальнейшие действия всей дивизии, и не только дивизии. Ясно?

Вероятно, присутствующим это было ясно. Оглядев всех, командир полка продолжал:

— Мы получим солидную поддержку артогнем: гвардейские минометы, полк тяжелой артиллерии и прочее... Артподготовка рассчитана на двадцать пять минут. Подниматься в атаку сразу за огневым валом. В ходе наступления артиллеристы будут сопровождать нас не только огнем, но и колесами. Ясно?

И это было ясно. Все приветливо взглянули на молодого чернявого офицера-артиллериста, который при этих словах деловито посмотрел на ручные часы, будто подтверждая, что все будет исполнено минута в минуту.

— Танки уже знакомой нам бригады подполковника Гусарского войдут в прорыв с нами, проскочат дубовской лес и перекроют тракт.

Полное лицо майора-танкиста расплылось в добродушной улыбке.

Командир полка ласково посмотрел на него и заключил:

— Наконец, с воздуха нас поддержат летчики. Только чтоб без фокусов! — строго обратился он к сидевшему в углу офицеру с меховым летным шлемом в руках.— Точно договоритесь об ориентирах, следите за дымами, за ракетами. Ясно?

Все ехидно заулыбались, переглянулись, стали шептаться.

— Но-но! — прикрикнул командир полка.— Была ошибка и больше не повторится. А между прочим, в той ошибке и вы повинны, капитан Сидоренко,—

обратился он к полковому штабисту.— Прошу учесть! Перейдем к уточнению обстановки, достаньте карту лист 47—50. На карту ничего не наносить.

Все наклонились над планшетами, вытащили карты, поудобнее укладывая их на колени.

Дугин приподнялся и с любопытством взглянул на карту командира полка. На зеленоватом фоне лесов пестрели квадратики населенных пунктов, голубели очертания озер. Три коричневых, красиво изогнутых стрелы смело летели по карте через голубое пятно-озеро на юго-запад и на запад.

* * *

Бывалые бойцы уже по многим признакам, «шестым чувством» знали, что предстоят большие события. Рассказывали, что ночью по дорогам движется несметное количество артиллерии. Кто-то видел в осиновом лесочке огневые позиции «катюш». Связист Фролов, ходивший за батареями для рации в тыл полка, уверял, что там стоят орудия «длиной метров в тридцать». Ему, конечно, никто не верил. Фролов завирался часто.

Андрей с возмущением набросился на него:

— Что ты язык распустил! Если даже и видел, то зачем военную тайну выдаешь?!

Опытные солдаты усмехнулись: никакой тайны, мол, Фролов не выдает, просто брешет. Но и без Фролова ясно, что теперь уже будет наступление. Только когда и где намечен главный удар — этого никто не знает.

К вечеру в роту доставили дивизионную газету. Она имела необычный вид: через всю страницу красным шрифтом было напечатано: «Без страха на врага!» Под этим лозунгом большой рисунок: боец в развевающейся плащ-палатке, похожий на Заметного, замахнулся гранатой в поднятой руке и, увлекая за собой других, бежит в атаку.

К радости Андрея, на второй странице была помещена маленькая заметка «Золотые руки» о сапере Конкине. Женя Лютиков разочарованно вздохнул:

— Об Оле так ничего и не написали... Я вот возьму и сам о ней напишу.

Вечер был непривычно тих. Изредка взлетали в темное небо ракеты да далеко на горизонте, за немецкой обороной виднелось большое зарево.

— Видно, партизаны работают,— удовлетворенно сказал Дима Тальников.

Вместе с Андреем он сегодня был назначен в наблюдение. В амбразуре стрелковой ячейки перед ними лежал ручной пулемет. В нише были аккуратно уложены запасные диски с патронами и гранаты.

С вражеской стороны доносился отдаленный лай собак. Не слышно было даже обычного тарахтения моторов.

Андрей снова посмотрел на зарево. «А может быть, — подумал он, — это действительно партизаны? И вдруг среди них Галина Ивановна?»

Андрей посмотрел на звездное небо.

Иногда происходят удивительные вещи: такое привычное, кажется, с первого дня рождения знакомое небо, звезды на нем, облака... А когда смотришь из траншеи — небо это живет какой-то особенной, необыкновенной жизнью.

В школе он изучал карту звездного неба. Тогда это было очень интересно, хотя трудно запоминались пышные названия: созвездие Ориона, Кассиопея, Волосы Вероники... И звездочки: Персей, Пегас, Андромеда.

Андрей долго смотрел на прекрасные три звезды, на «пояс Ориона». Кажется, будто они тоже глядят на солдат, на окопы и стоят в высоком небе в дозоре.

Почему он забыл сказать Вале, чтобы она тоже смотрела на созвездие Ориона? Что делает сейчас Валя? Хотя там, в Забайкалье, сейчас день. Разница на шесть часов.

Валя, Валя! Как только выдастся свободная минута, я напишу тебе письмо, полное признаний в любви. Ведь я еще ни разу не сказал, что люблю тебя. А я тебя люблю. Беру в свидетели эти звезды, что, если я вернусь с войны... Я должен вернуться, не могу не вернуться. Я напишу тебе, Валя, чтобы ты обязательно смотрела на «пояс Ориона»... И помнила о разнице в шесть часов. Теперь-то я знаю, что со звездами можно говорить. Древние в этом понимали толк. И не только древние...

Раньше Андрей много читал о звездах. Долго любимой книжкой его была «Жизнь неба» Фламмариона. Но никогда Андрей не читал о том, что он сейчас видел и понимал. И земля не такая, какой он знал ее до войны. В школе тоже изучалась почва. Это было менее интересно, чем небо. Даже совсем неинтересно. И названия скучные: чернозем, суглинок, песок, глина... До сих пор остались в памяти раскрашенные «слои почвы» в ученической тетради: коричневая, желтая, серая... а земля совсем не такая. Это странно, но только здесь, в траншее, Андрей понял и полюбил землю. Она не черная, не желтая, не коричневая — она не имеет стойкого одинакового цвета. Мама говорила всегда с укором: ты испачкался землей, вымойся немедленно. А здесь он собственными глазами видел, как боец, умываясь, дочиста оттирал масляные руки песком. Здесь земля приставала к одежде, к лицу, к рукам, к винтовкам. И ничего, что она иногда хрустит на зубах.

Какая же она надежная, милая земля! Вот эта дубенковская земля. Комсомольская сопка.

...Скоро Андрея и Диму Тальникова сменили незнакомые им, молчаливые бойцы. Царев приказал немедленно отправляться отдыхать.

* * *

Задолго до рассвета рота была уже на ногах. Старшина Финько мелькал повсюду. Казалось, он обладал способностью двоиться и троиться, почти одновременно появляясь и в землянках, и у повозочных, и у связистов. За его спиной крыльями разлеталась плащ-палатка. За поясом ватной телогрейки торчала огромная ракетница, в кобуре — наган, на правой руке поблескивал компас, на левой — трофейные часы, на груди — бинокль.

Станковые пулеметы уже поставлены на лыжи. В окрашенные белилами легкие брезентовые лодочки уложены патроны, мотки провода, пулеметные ленты, консервы.

Старшина озабоченно осматривает каждого бойца, проверяет оружие, распределяет по взводам боепри-

пасы и сухие пайки. Бойцам взвода Заметного выданы белые маскхалаты.

Андрею он сменил прохудившиеся валенки и сказал, поблескивая из-под усов белыми зубами:

— Ну, Сибирь, держись! Больше у меня валенок не получишь до самого Берлина. Ясно?

В ответственные минуты Финько любил повторять излюбленную прискакзку командира полка.

Старшину чуть не ударила кондрашка, когда он случайно столкнулся с Женей Лютиковым. Дело в том, что каждый шаг Жени сопровождался громким стуком и перезвоном всего его снаряжения. Помимо огромного, разбухшего вещевого мешка, Женя добросовестно навесил на себя фляжку, котелок, кружку, гранаты, запасной автоматный магазин, лопатку и в добавление ко всему прицепил на пояс металлическую каску. Все это нещадно гремело.

— Вы куда собрались?— тихим от бешенства голосом спросил Финько.— Это что за маскарад? Вы что мне, представление оркестра устраиваете? Всю дивизию обнаружить хотите?

Женя испуганно уставился на грозного старшину, еще не понимая, в чем дело.

— Немедленно привести себя в порядок!— зарычал Финько.— Чтобы не слышно было всего этого барахла! Лишнее оставить! Ясно?

Он хлопнул по вещевому мешку и, как по клавишам, прошелся рукой по всему снаряжению Лютикова. Напоследок он ухватился даже за дужку Жениных очков и для проверки потряс их: не звенят ли? После этого, взмахнув крылом плащ-палатки, старшина исчез, будто провалился.

— Бешеный какой-то, — обидчиво сказал Женя, поправляя очки. Но тем не менее снял с плеч вещевой мешок, вынул оттуда томики Пушкина и Маяковского, толстую «Химию» Менделеева, три книжки «Нового мира», стопку тетрадей и деревянный ящик с шахматами. Увязав все это обрывком телефонного провода и надписав фамилию, Женя положил тючок в груду ротного имущества, которое должно было следовать на повозках в батальонных тылах.

— Оркестр... — долго не мог успокоиться. — Очки ему мои помешали...

Но все же, переснарядившись заново, он попрыгал на одном месте и спросил Андрея:

— Не слышно?

От командира роты пришли Заметный и Царев. Оба были чисто выбриты, торжественны, взволнованны.

— Выходить по отделениям!— приказал Заметный бойцам взвода.— Станковые пулеметы снести на руках, не шуметь, не говорить, не курить.

...Ночь светла. Взвод неслышно спускается с сопки, строится и шагает к месту сосредоточения батальона.

— А как же наша сопка?— встревоженно спрашивает Андрей у Царева, оглядываясь на смутно горбившуюся в темноте высоту.

— Не беспокойся, найдется кому сменить нас. Видал, связисты пять проводов на гребень тянули?

Взвод ходко двигается по подмерзшей дороге. Андрей шагает с Димой Тальниковым. Впереди покачиваются широкие, надежные спины Заметного и Царева.

Пройдя в полном молчании минут десять, колонна свертывает в молодой ельник, вначале казавшийся совсем безлюдным. Однако скоро Андрей с удивлением замечает, что ельник этот полон людей и военной техники. Среди елочек глаза его различают темные туши танков, обращенные на запад стволы орудий, тракторы, штабеля уложенных в неглубокие котлованы снарядных ящиков.

Взвод проходит мимо огневой позиции гвардейских минометов. Вверх — вперед подняты широкие металлические рамы, установленные на автомашинах. Люди замедляют шаг.

— «Катюша!»— говорит кто-то с восхищением.

Колонну нагоняет озабоченный всадник. Поравнявшись с Заметным, он круто придерживает коня и хриплым от бессонницы голосом спрашивает:

— Хозяйство майора Березова?

— Никак нет,— отвечает Заметный.

Всадник зло чертыхается, повертывает коня и скачет обратно. Андрей про себя замечает: «Верховые встречаются совсем редко, одиночками. А ведь раньше думал, что на фронте полно конников...»

Когда взвод спустился в овраг, поросший кустарником и мелкой елочкой, навстречу ему поднялась знакомая фигура Дугина. Андрей облегченно вздохнул. В свой первый бой Андрей хотел идти обязательно с Дугиным, с человеком, который все знает об отце и помнит гражданскую войну.

— Товарищ старший лейтенант! Первый взвод прибыл к месту назначения!— доложил Заметный.

Дугин отвернул рукав полушубка и поднес к глазам часы со светящимся циферблатом.

— Отлично! Умеете точно приходить. Отдохните, товарищи гвардейцы. Можно потихоньку перекурить.

Бойцы расселись по склонам оврага.

Старшина Финько подсел к Цареву и раскрыл перед ним коробку «Казбека».

— Закуривай, Сибирь!

— Казбек?—удивился Царев.—Давно не курил.

— Вчера ради наступления деваха из военторга подбросила. Из генеральского фонда... — подмигнул Финько. — А взвод ваш действительно гвардейский! Ничего не скажешь... Вот только звонарь этот, очкастый, все дело портит.

Царев нахмурился.

— Это мы посмотрим, товарищ старшина. Вперед не загадывай...

Финько с одобрением взглядывает на Царева. Ему нравится, что командир отделения постоял за своего бойца.

Раздалась команда на построение.

Бойцы быстро загасили недокуренные цигарки и сбежали вниз, на дно оврага. К строю подошел Дугин.

— Товарищи!—тихо начал он.—Сегодня мы должны выполнить приказ Родины. Пусть каждый помнит, что нашу Советскую Родину отстояли кровью своей наши отцы и старшие братья, а мы с вами трудились, строили, воздвигали, украшали ее. Вот что народ говорит нам словами забайкальского шахтера, старого партизана Егора Косых.

Дугин зажег электрический фонарик и, к изумлению и радости Андрея, стал читать письмо Егора.

Андрей слушал, стиснув зубы, сжав кулаки, весь

подавшись вперед. По-новому, будто впервые, торжественно и призывно звучат знакомые слова.

Дугин читает:

— Здравствуй, дорогой Андрей Васильевич!

Письмо это пишет знакомый тебе бывший красный партизан, боевой соратник незабвенного твоего отца, Егор Косых. Узнал я, что ты на фронте священной войны с оружием в руках защищаешь то, что добыли мы, ваши отцы, 25 лет назад, в кровавых боях с акулами мирового капитала и белогвардейскими гадами.

Помни, Андрей, завет отца своего, отдавшего горячую молодую жизнь за Родину, за дело Ленина.

Мы воевали в гражданскую войну голодные и босые, думая о вас, наших детях, чтобы счастливо жилось вам в рабоче-крестьянском государстве. Так не отдавайте ни вершка народного счастья, бейте гитлеровскую силу в душу, в кровь, насмерть! Не щадите жизни своей за землю нашу и Советскую власть.

Помни, Андрей, что народ надеется на вас. А мы здесь, скажу за весь рабочий пролетариат нашего прииска, ночей не доспим и куска не доедим, чтобы дать фронту все. Я человек израненный, семь лет до войны по инвалидности не работал, а сейчас пошел в шахту, в забой. Работаем, не зная отдыха, откуда и силы берутся.

Сын мой Василий и дочка Надя тоже на фронте.

Им я дал такой же отцовский наказ, как и тебе даю.

Прошу тебя, Андрей Васильевич, передать товарищам-бойцам мой шахтерский партизанский привет.

Остаюсь с приветом к тебе и твоим друзьям-товарищам член Коммунистической партии с 1919 года Егор Косых.

На глазах Андрея навернулись слезы. Он оглянулся и увидел в полумраке знакомые фигуры товари-

щей. Люди, казалось, отбросили все обыденное, мелкое, будничное. Лицо каждого стало по-особому красивым. В эту минуту все думали одной думой, чувствовали одним сердцем.

Всем существом Андрей почувствовал за спиной своей огромные пространства родной страны, села и города, пашни и новостройки, вплоть до далекого Забайкалья. И будто тысяча тысяч глаз смотрят сейчас с надеждой на него, Андрея, и на его товарищей, собравшихся в этом овраге.

— Товарищи гвардейцы!— говорит Дугин, закончив чтение письма.— Командование поручило мне вручить почетный знак гвардии новому пополнению нашего батальона.

Старшина Финько выступил вперед и, освещая список фонариком, вызывает людей из строя. Когда очередь дошла до Андрея, он принял из рук Дугина знак. В свете фонарика блеснули алой эмалью звездочка и красное знамя над ней.

— Сражайтесь по-гвардейски, Шилин,— говорит Дугин, пожимая ему руку.

— Служу Советскому Союзу!— отвечает Андрей и всем сердцем чувствует великую значимость этих трех коротких слов.

— Возьмите...— шепотом добавил Дугин и протянул письмо Косых.

После этого Дугин прочитал приказ командира дивизии о наступлении и объяснил предстоящую боевую задачу. Проведено было короткое, пятиминутное собрание коммунистов и комсомольцев.

* * *

Оврагом и руслом замерзшего ручья рота вышла на исходные позиции и залегла в прибрежном тальнике, вблизи замаскированных траншей, которые так были знакомы Андрею: ведь он работал здесь с саперами.

Бойцы в белых маскхалатах прижались к заснеженной земле.

Оборона противника находилась впереди, в 200—300 метрах. В лесу было тихо и настороженно.

Медленно пробивался рассвет. Стало очень холодно. Не шелохнувшись, стояли нарядные елочки, присыпанные праздничным, пушистым снежком.

— Эх, закурить бы...— чуть слышно прошептал Царев. Финько грозно оглянулся на него.

Густо повалил снег.

Андрей до боли в глазах всматривался сквозь снежную завесу вперед. Перед ним была ровная гладь озера, левее виднелась тёмная полоса. Это и был знаменитый «орешек», тот самый перешеек между двумя озерами, о котором говорил генерал.

Полку предстояло штурмовать перешеек с двух сторон. Противник засел здесь крепко, в цементных дотах, в глубоких траншеях. Перешеек горбился двумя высотками. Вперед были выдвинуты линии окопов, защищенных широкой полосой проволочных заграждений и минными полями. Для атаки этого лобового участка генерал выделил три специальные штурмовые роты. Вслед за ними должны были двинуться новой атакующей лавиной батальоны и танки.

С обоих флангов перешеек защищал некрепкий мартовский лед, но для удара отсюда были подготовлены две роты, в том числе рота Дугина.

Сейчас полки залегли на исходных в ожидании атаки. Через тридцать минут после ее начала роте Дугина предстояло совершить дерзкий бросок по льду, неожиданно ударить с фланга и проникнуть к узлу обороны врага в центре перешейка.

Рота была усилена взводом саперов, ее сопровождали снайпер Роман Григорьев со своими двумя учениками —«апостолами», как их шутливо называли, с ротой шли два радиста с походными рациями на спинах и пять легких минометов с ними.

Дугин взглянул на часы. Было пять часов с минутами. Снег чуть кружился в воздухе. «Хорошо, погода заказная!»— подумал он. Дугин испытующе вглядывался в фигуры бойцов, и уверенность в них все крепла. Там, в овраге, сорок три бойца подали заявление о приеме в партию. «А ведь никто раньше и не говорил об этом... Но вот пришла самая трудная, самая высокая минута жизни, они встали в ряды коммунистов...»

Дугин чувствовал себя не только командиром ро-

ты, но и ее политруком. Новый политрук все еще не прибыл; говорят, подорвался на мине по дороге в полк... Не везет с политруками...

Андрей поминутно вглядывался вперед, в смутные очертания дугинской фигуры, стараясь угадать по ней, как обстоят дела. Все ли идет хорошо?

Лежать надоело. Андрей стал тихонько бить валенком о валенок, стараясь разогреться. Валенки были новые, твердые, и ноги прихватывало.

— Мерзнешь, Сибирь?— шепнул ему на ухо Финько. Сам он оставил в тылах батальона свой полушубок и белый маскхалат надел прямо на ватную фуфайку.— Ты поработай, побегай вот так...— и Финько, лежа на месте, стал выделывать руками и ногами такие кренделя, что кругом рассмеялись. Царев строго шикнул, Финько сам себе погрозил пальцем.

Внезапно рвануло воздух. Сзади раздался нарастающий странный звук. И оборвался. Будто высыпали гигантские камни на железные листы. Над головами, описывая плавную кривую, понеслись в сторону врага ясно видимые огненные стрелы. На перешейке взметнулось красное зарево. С праздничных елочек посыпался снег.

— «Катюша» заиграла! «Катюша»! — восторженно крикнул Женя Лютиков и приподнялся на колено, но железная рука Царева ухватила его за ворот и прижала к земле.

Наступило короткое затишье. Андрею казалось, что вот-вот выскочит сердце.

В тылу, за лесом густо рявкнули орудия больших калибров. К ним присоединились голоса пушек справа, слева, сзади. Гром орудийной стрельбы нарастал с устрашающей силой. Скоро ухо перестало различать отдельные выстрелы. Весь воздух ревел на грозной басовой ноте.

Уши закладывало, Андрей судорожно глотал слюну. Во рту появился сладковатый, противный привкус пороховых газов. Земля содрогалась, точно живая. Над головой со свистом и шелестом проносились тысячи снарядов. Впереди встала стена дыма, ежесекундно пронизываемая злыми, огненными вспышками взрывов.

Снаряды стали падать совсем близко. В общем гу-

ле канонады послышался визг разлетающихся осколков. Андрей втянул голову в воротник полушубка: в лицо ударила упругая воздушная волна.

А враг не отвечал на артиллерийский огонь. Лишь через десять-пятнадцать минут издалека заговорили вражеские пушки. Снаряды проносились над ротой и разрывались где-то позади, в расположении наших артиллерийских позиций.

Мгновениями казалось, что канонада утихает, но через секунду она гремела с еще большей силой.

Вверху возник новый звук. Все подняли головы и увидели на небе быстрые черные тени.

— ИЛы пошли! — крикнул Дима Тальников, широко раскрывая рот, но Андрей даже не услышал его.

Семерка за семеркой низко проносились черные самолеты. Над перешейком и на том берегу озера пылало зарево, оглушительно рвались бомбы.

— Дают жизни! — восхищенно прокричал Царев.

Шла пятнадцатая минута артподготовки. Скоро за огневым валом своих снарядов, «прижимаясь к ним», как говорили командиры взводов, в атаку должен был двинуться полк.

Снова «заиграла» «катюша». Взлетели вверх красные и желтые ракеты.

— Ну, сейчас наши пойдут... Дадут! Смерть фашистам!— крикнул Финько, оборачивая к товарищам возбужденное лицо.

Андрей взглянул на Заметного. Лицо его было твердым и спокойным, лишь на скулах играли желваки. Было видно, что Заметный понимает все, что здесь творится, знает, когда и что надо делать в этом хаосе. И Андрей успокоился.

В утихающий гром артиллерийской канонады вплелся частый треск ружейно-пулеметной стрельбы. Порывом ветра донесло многоголосое «Ура-а-а-а!».

Рота заволновалась, зашевелилась. Люди вытягивали шеи, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Дугин предостерегающе поднял руку и взмахнул ею, как бы прижимая роту к земле.

Заметный объяснил:

— Нам еще с полчаса ждать. Пусть покрепче завя-

жется дело, а мы уж потом ударим под левое ребро!

Взметая горы снежной пыли, с грохотом понеслись к перешейку выкрашенные в белый цвет танки. На бортах, прижавшись к броне, сидели автоматчики в маскхалатах.

Андрей тронул Царева за плечо, сказал, что необходимо переобуться: с валенками что-то неладно. Царев коротко приказал: «Не здесь, отползи...»

Пятясь, Андрей отполз на несколько шагов назад. Пристроившись, он собрался было переобуваться, но увидел вблизи лицо бойца Перфильева, только три дня назад появившегося во взводе. Перфильев привалился к стенке маленького окопчика. Его веснушчатое лицо было бескровным. На желтой коже резко проступали веснушки. Синие губы непрерывно шевелились, испуганные глаза, казалось, ничего не видели. Винтовка и сумка с гранатами валялись поодаль.

Андрей решил, что Перфильев ранен. Забыв о своем валенке, он на коленях быстро подполз и стал трясти Перфильева:

— Что с тобой?

Но тот, судорожно уцепившись рукой за халат Андрея, бессмысленно и быстро-быстро повторял: «Ой, батюшки! Ой, батюшки!»

И Андрей все понял. Он зло оторвал от себя руку Перфильева и стал переобуваться. Покончив с этим делом, Андрей, как ни в чем не бывало, показывая на лежащие винтовку и гранаты, властно, как это сделал бы старшина Финько, приказал:

— Подобрать сейчас же! Марш вперед! Ясно?

Перфильев будто проснулся. Дико озираясь, втягивая голову в плечи при каждом недалеком разрыве снаряда, он дрожащей рукой потянулся за винтовкой.

— Ну и страх, ой, батюшки...— проговорил он сухими губами, счищая бледной рукой снег с ложа винтовки.

Андрей сурово смотрел на него.

— Вот что, Перфильев,— сказал он твердо,— немедленно иди в цепь, на исходную. Будешь рядом со мной. Если ещё раз струсишь, убью! Ясно?

Перфильев, нацепив сумку, ни слова не говоря, пополз вперед. Андрей за ним.

Пошли последние томительные минуты. Со всех

сторон доносилась мелкая скороговорка пулеметных и автоматных очередей.

Вдруг ожил вражеский перешеек. Шквал снарядов обрушился на соседний лесок. У Андрея замерло сердце: качнулась земля, упруго подбросило тело вверх. Перед глазами на снегу лежал крупный осколок, снег вокруг него шипел и таял. Медленно оседал и дым и вздыбленная земля. Сверху сыпались мелкие сучья и комки смерзшейся глины.

— Сильно!— сказал Заметный, стряхивая с халата комья.— Видать, фашисты танков испугались, их ищут.

Он погрозил кулаком в сторону врага.

— Подожди, сволочь! Только побольше обнаружь себя! Мы тебе подарочек приготовили, спасибо генералу...— и он указал большой рукавицей на замаскированные огневые позиции орудий прямой наводки.

Наконец раздался условный свисток командира роты: «Внимание!»

Заметный поднял руку с автоматом, оглянулся и приподнялся на колено. Андрей поудобнее подхватил свой автомат, переглянулся с Димой Тальниковым и строго посмотрел на Перфильева.

Рота, пригнувшись и рассыпавшись, побежала сквозь камышовые заросли под крутой берег и стала пробираться вдоль него. Впереди первого взвода бежал Конкин с отделением своих саперов, в руках у них были ножницы и шесты, в легкой лодочке — взрывчатка, лопата, топоры.

Андрей бежал, чувствуя за своей спиной учащенное дыхание Димы Тальникова.

Сзади ухнуло, раз, и второй, и третий... Это стали бить прямой наводкой наши орудия и минометы с позиций, подготовленных саперами и отделением Царева.

* * *

...Андрей плашмя бросился в снег и поискал глазами Перфильева. Тот лежал позади, утирая рукавицей круглое веснушчатое лицо, и ответил на взгляд робкой улыбкой.

Андрей никому не рассказал о случае с этим парнем, как бы взяв на себя ответственность за него.

А Перфильев увидел в Андрее свою единственную опору в это грохочущее утро страшных, непонятных событий. Андрей побежит вперед — Перфильев за ним, Андрей пригнется — Перфильев тоже. Вот с ревом и свистом пронеслась стая наших быстрых бомбардировщиков, и земля вздрогнула от бомбового удара. Перфильев сгорбился, метнул косой тревожный взгляд на Андрея и распрямился, успокоился.

Рота лежала в сугробах и воронках под обрывистым берегом перешейка. Бросок через лед сделали быстро и незаметно для врага: все внимание гитлеровцев было отвлечено боем на первых линиях траншеи, куда уже ворвались наши пехотинцы и где действовали танки. А здесь, со стороны озера, немцы ослабили наблюдение. В ту минуту, когда рота вступила на лед, наша авиация обрушила на перешеек бомбовой удар. А артиллеристы дали такой огонь, что гитлеровские наблюдатели забились в норы, залезли в бункера. Помогла роте и погода. В этот серый денек видимость была неважной, не переставая порошил снежок.

Лежа сейчас за отвердевшим мартовским сугробом и разбирая рукой тонкую корочку наста, Андрей с досадой думал: «Вот еще одна задержка... люди воюют, а мы лежим и мерзнем...»

Вдруг он вспомнил, что еще с вечера ему вручили письмо от Генки, а он его так и не прочитал: сунул письмо в карман и забыл, слишком уж много за эти часы пришлось увидеть и пережить.

Андрей вскрыл конверт и вытащил из него два листка в косую линейку, старательно исписанные большими фиолетовыми буквами.

— От кого письмо?— шепнул Женя.

— От братишки,— ответил Андрей и стал читать:

> — Смерть фашистским оккупантам!
>
> Здравствуй, дядя Степа! Сообщаю тебе, что я уже вчера ходил по коридору. Упал только раз. Ксана говорит, что я скоро научусь хорошо ходить. Новый комиссар, товарищ старший политрук дядя Коля, нашел моего папу. Я получил уже от папы письмо, и все партизаны передают мне привет. От дяди Ва-

ни, капитана Вачнадзе, тоже получил три письма, с одним лейтенантом он прислал десять плиток шоколада. Сержант Чаркин приходил прощаться, подарил мне и Володе по фонарику, а Грише трофейную фляжку в футляре. Сержант Чаркин жалел, что Заметный уехал вперед, но сказал, что на фронте его найдет. Не знаешь ли, дядя Степа, где сейчас Заметный? Если увидишь его, то передай привет от всей палаты. У нас тут есть новый дядя Степа, тоже высокий и худой, лежит на твоей койке.

К нам ходит Зинаида Степановна, твоя мама, и тетя Валя. Мы уже прошли весь четвертый класс, а Володя за пятый. Мы скоро выписываемся и будем все вместе жить у Зинаиды Степановны и тети Вали. Будем учиться по твоим учебникам.

Дядя Степа, сколько фашистов ты убил, сколько городов вы освободили? Нам интересно, как ты стрелял моими патронами из нагана? Пиши нам чаще.

Посылаем тебе и всем товарищам бойцам боевой пионерский привет.

Геннадий.

Андрей, не переставая улыбаться, нащупал в кармане гимнастерки три Генкина патрона.

В большой воронке рядом с Дугиным лежали Финько, Заметный, командир минометчиков, два связных.

— Ну, молодчага Конкин, не подвел! Ведь это он со своими ребятами еще с вечера разминировал подступы к берегу, проходы сделал. Иначе бы хлебнули тут... — тихо сказал Дугин, взглянув на часы.

Он вытащил из планшета небольшой лист, исчерченный красным, синим, коричневым карандашами, — схему вражеской обороны перешейка. Листок этот имел трудную боевую историю. Он был плодом терпеливых наблюдений и отчаянно смелых ночных вылазок разведчиков дивизии. Он стоил жизни двум любимцам полка, разведчикам Серебрякову и Кузьменко.

В нем были сведения, полученные и от угрюмых, и от угодливо-льстивых пленных «языков».

Схему эту вручили командирам взводов, рот, батарей. Глядя на нее, Дугин сказал Заметному:

— Через десять минут начнем штурм. Откроешь огонь вот по этим блиндажам и пулеметным точкам. Мой командный пункт здесь. Все по местам.

В воронке остался Дугин с радистом и связным.

Взвилась красная ракета. Раздался грохот — вздрогнули, приподнялись и медленно осели два участка высокого берега. Это сработала взрывчатка, заложенная саперами. В открывшиеся проходы с двух сторон устремились взводы. Впереди рвались снаряды нашей артиллерии.

Солдаты отделения Царева, прыгая по мерзлым комьям земли, быстро взобрались наверх. Андрей увидел еловый лесок, заснеженные лужайки, фигуры в белых халатах, бегущие к темным фигурам впереди.

Андрей скинул с руки варежку, привязанную на веревочке, и, оттянув автомат, дал длинную очередь. Он заметил, как пулеметчик Салимов со своим расчетом бросился к груде темневших бревен, и, стоя на коленях, яростно развернул в сторону врага свой «Максим».

Через головы наступавших понеслись салимовские пулеметные очереди. Застучали пулеметы с других сторон. Андрей оглянулся. Справа бежал Дима Тальников и на ходу стрелял из автомата. За ним, отчаянно размахивая рукой и волоча винтовку по снегу, ковылял Перфильев. «Дурак, сволочь!» — мелькнула злая мысль. Андрея обогнал Царев.

— Гранаты, гранаты вынимай! — крикнул он и побежал вперед.

Андрей выхватил из подсумка гранату. Под ногами взметнулась дорожка снежной пыли, возле уха тонким «фьют-фьют-фьюи» просвистели пули. Царев упал. У Андрея сжало горло. Низко пригнувшись, он бросился к нему. Но Царев махнул рукой вперед и быстро пополз к видневшейся воронке, помогая себе рукой и зажатой в ней гранатой. Андрей — за ним.

До снежного бугра, вражеского дота, оставалось

шагов пятнадцать. Оттуда стреляли, совсем близко были видны короткие вспышки.

Утерев снегом разгоряченное лицо, Царев лежа вытянулся во весь рост и выпустил несколько очередей из автомата по этим вспышкам.

— Подняться за мной, передай по цепи! — крикнул Царев. — Пусть подтянутся! Гранаты к бою!

Рядом лежал Перфильев, держа в руке гранату. На спине его расплывалось темное пятно.

— Ранен? — строго спросил Андрей. — Откатывайся в воронку.

Перфильев виновато заморгал ресницами.

— Нет, я уже с вами... с ребятами...

Этот долговязый парень Шилин, с такими холодными и требовательными глазами, окончательно подчинил его себе. С ним не страшно... Страшно отстать от него.

Женя Лютиков, услышав приказ, протер очки, старательно вложил капсюль в гранату и подвигал взад-вперед чеку предохранителя, как сказано было в наставлении... Ни на минуту не терял он своей добродушной невозмутимости. Андрею казалось, что, если под самым носом Жени взорвется бомба, он только потрогает очки и измерит карандашом глубину воронки, чтобы записать потом в свой дневник.

Все устремили глаза на Царева.

Приподнявшись на локте, Царев с силой бросил гранату, за ней вторую. Это было сигналом. Вперед полетели десятки гранат, снежный бугор окутался дымом, пулеметный огонь из дота прекратился.

Поднявшись во весь рост, Царев крикнул: «Ура-а-а!» — и бросился вперед. За ним поднялись все, кроме ручного пулеметчика Ткачева. Он остался лежать навсегда...

За дотом оказался длинный бруствер окопа. Андрей вскочил на него. Под ногами открылась темная щель с какими-то закоулками.

Поводя автоматом, он дал очередь вниз и, не раздумывая, прыгнул туда. За ним Перфильев. Со всех сторон раздавались пальба и взрывы гранат. На мгновение Андрей растерялся: «Что делать дальше? Где все?»

Он побежал направо, споткнулся о труп в длинной

зеленой шинели, валявшийся у опрокинутого пулемета. Дальше хода не было. Андрей повернул назад. Он обогнул угол и оказался в ходе сообщения. Впереди виднелись фигуры своих. Он узнал Финько и Царева. Андрей обрадовался так, будто не видел их давным-давно. Царев стоял на патронном ящике и при помощи Финько устанавливал тяжелый немецкий пулемет.

Андрей шагнул к ним, но из не видимой ранее ниши, шагах в трех впереди, высунулась голова в пилотке, обвязанной шарфом, и темная спина... Немец направил автомат в сторону Царева и Финько. Прежде чем Андрей успел что-либо сообразить, из-за его спины кто-то вырвался и с размаху обрушил винтовочный приклад на голову немца. «Перфильев!» — удивился Андрей.

* * *

О всех событиях этих суток Андрей потом не мог рассказать в точности. Сутки были обыкновенные — двадцать четыре часа. Но каждый час так наполнен действиями и событиями, каждая минута так напряженно важна, что, казалось, сутки эти длились вечность. Жизнь до этого боя, вчерашняя и позавчерашняя, отодвинулась далеко-далеко, в глубь времен...

Уже пять раз немцы контратаковали, пытаясь во что бы то ни стало сбросить роту обратно на лед. Но дугинцы врубились в перешеек, как топор в твердый сук: ни взад, ни вперед. Взводы отбили у немцев отдельные участки обороны, доты, огневые точки и крепко засели там. Трудность заключалась в том, что образовалось три группы обороны дугинцев и связь между ними оказалась прерванной.

В обширном блиндаже, где Оля разместила свой медпункт, было много раненых. Женя Лютиков успел два раза побывать там, за что получил суровый нагоняй от Царева.

Заметный послал Андрея связным к Дугину. Командный пункт группы уже перебрался в траншею. У Дугина Андрей пережидал очередной минометный налет. Радист, сидевший на корточках перед своим серым ящиком, был убит наповал.

— Возьми наушники! — приказал Дугин Андрею.— Как рация? Цела?

И горько вздохнув, он посмотрел на лежавшего ничком радиста. Андрей надел наушники. Рация, кажется, работала: были слышны свисты, чуть доносилось порывистое попискивание сигналов по азбуке Морзе. В этот шум вмешался далекий человеческий голос:

— «Байкал»! «Байкал»! Слышишь меня, дорогой? «Байкал»! Говорит «Ладога». Продолжаем разговор, Почему задержка? Действуй, дорогой, прошу тебя по-соседски...

Голос пропал, его вытеснили свисты и перестук морзянки.

Андрей замер, потом щеки его залил горячий румянец. Бесконечно знакомые нотки послышались в этом голосе. Неужели? Но здесь же улыбнулся: почудится же такое!.. Ну, и пусть не он, а только голос похож. Ведь все равно где-то жил и сражался Вачнадзе.

«Будем действовать, дорогой дядя Ваня!» — мысленно ответил Андрей.

Когда он возвращался от Дугина, немцы в шестой раз пошли в контратаку на правый фланг роты. Андрей спешил, то пробираясь ходами сообщения, то выползая на поверхность. Добравшись до какого-то заброшенного окопчика, он почти свалился на сидящего здесь снайпера Романа Григорьева. Якут не удивился, сказал только:

— Лежи, паря, тихо. Убери свой автомат, не мешай.

— Мне некогда здесь сидеть,— шепотом ответил Андрей,— донесение.

— И мне, однако, пора менять позицию,— невозмутимо заметил Григорьев. Он пополз в сторону и сразу стал невидимым. Через мгновение послышался сухой выстрел его винтовки. Андрей двинулся дальше и скоро, укрываясь за кустиками, вышел к позициям своего взвода.

Дно глубокого окопа было усеяно стреляными гильзами, немецкими ракетными патронами, обрывками иллюстрированных журналов, с каждой страницы которых глядели бешеные глаза Гитлера и его клоунские

усики. Валялись зеленые шинели, гранаты, насаженные на длинные деревянные ручки, немецкие каски. Наши бойцы у бруствера прильнули к винтовкам и пулеметам. Кто-то сидел на разбитом патронном ящике и, разув одну ногу, закатав штанину, перевязывал рану индивидуальным пакетом.

Косой ход сообщения вел из окопа к впереди лежащему блиндажу. Андрей направился туда, спустился по земляным ступенькам, открыл маленькую железную дверь.

В глубоком блиндаже было полутемно, тусклый свет падал из трех узких щелей — амбразур. У каждой амбразуры, на высоком деревянном столе был установлен пулемет. В нишах виднелись цинковые патронные ящики. Заметный сидел на высоком табурете и держал ручки пулемета.

Увидев Андрея, он радостно прогудел:

— Жив, дядя Степа, вернулся? А мы тут новую хату обживаем. Только старые квартиранты покою не дают, лезут, стервецы оглашенные. Ну, ничего, нас отсюда не выкуришь...— Он похлопал рукой по пулемету.— А Конкин — герой фронтового труда, артист! Он, понимаешь, успел уже здесь подходы заминировать, под самым огнем со своими ребятами орудовал... Силен сапер! На, возьми наган, нашли здесь...— неожиданно закончил он.

Андрей очень обрадовался нагану. Он всегда с завистью посматривал на Заметного и с большой охотой чистил его личное оружие. Заметный хорошо знал эту страсть своего бойца. Андрей надел кобуру на пояс, а наган сунул за пазуху и сразу почувствовал себя с ним гораздо увереннее, хотя в руках у него был автомат, в подсумке и в карманах — гранаты.

Раздался глухой удар, затем оглушительный треск, с перекрытия посыпался песок. Андрей, глотнув воздуха, присел на корточки. Заметный повел глазом кверху, где на рельсах лежали толстые бревна, и покачал головой:

— Скажи на милость, прямое попадание... Однако держит! Семь накатов, рельсы!

Глухо донеслась частая стрельба. Заметный пригнулся к пулемету, и спина его дробно забилась в такт мелкой строчке пулеметных выстрелов.

Через секунду он бросился к правой амбразуре, внимательно что-то высматривая и прислушиваясь к треску стрельбы.

— Товарищ Шилин! — внезапно строго и быстро проговорил он.— Бери отделение Коробова, иди на поддержку своим. Там с ними Финько. Они на старом месте. Держатся, но с трудом... Полезли на них гады... Пробирайся с тылов. Гранат захватите побольше. Бегом! Марш!

...Финько метнул взгляд на перебегающих вдали вражеских солдат в зеленых шинелях и вздохнул: плохо дело, Царев с двумя бойцами на позициях минометчиков, Перфильев ранен, Тальников убит, пулеметчик Салимов убит, Шилин еще не вернулся... Остался только с этим нескладным мальчишкой Лютиковым. Эх, труба...

— Будем держаться, Лютиков! Порядок?

— Я не знаю,— сказал Женя тихим голосом и, сняв очки, стал протирать их,— я плохо вижу...

— Беда мне с тобой...— озабоченно бросил Финько и, подкрутив ус на темном, закопченном лице, с сердцем бросил ушанку наземь, прилег к ручному пулемету и дал длинную очередь. Рядом лежала винтовка с примкнутым штыком. Женя наконец тоже пристроился и открыл огонь из автомата короткими очередями.

Они лежали в полукруглом котловане, выдвинутом впереди полуразрушенного блиндажа и узла окопов. Раньше здесь была огневая позиция немецких минометчиков. Теперь этот котлован оказался обращенным в сторону врага и прикрывал собой подступы к ходам сообщения. Финько понимал всю важность этой позиции. Стоило гитлеровцам прорваться в эти ходы, и большая опасность грозила бы всей роте.

Со всех сторон раздавалась ружейно-пулеметная трескотня, слышались разрывы гранат. Понять что-либо было трудно.

— Ну, держись, Лютиков, видишь, опять подбираются...— сказал Финько, и впервые в его голосе для Жени прозвучали не старшинские повелительные нотки, а скорее просительные.— Ты уж держи в порядке свои очки.

— Они запотевают,— виновато ответил Женя,— но ничего! Обязательно буду держаться.

— Держись! — уже не Жене крикнул Финько и послал очередь.

Женя не торопился, не волновался и, казалось, был совершенно равнодушен. Он сменил автомат на винтовку и стрелял быстро, как на стрельбище. Финько с удивлением заметил, что выстрелы Жени бьют точно, патронов он зря не тратит.

«Хорош мальчишка,— удовлетворенно подумал старшина.— Небось подействовал мой нагоняй. А у нас в запасе еще один ручной пулемет. Не пропадем!»

Просвистели — «фиу-тиу-фью» — вражеские пули. Финько схватился за плечо. По рукаву его грязного маскхалата быстро расплылось темное пятно. Теперь Финько стрелял с трудом. Женя сменил ему диск и посмотрел вперед. Не меньше двадцати гитлеровцев упрямо ползли к ним. Финько метнулся, чтобы схватить из ящика гранату. В этот момент на бруствер упала вражеская граната и разнесла пулемет вдребезги.

Старшина вдруг потерял силы. Он опустился на дно котлована и виновато смотрел на Женю своими большими карими глазами. Его лихие усики сникли. Он чувствовал, как кровь стекает по спине и животу.

Женя перестал стрелять. Он ждал. Зеленые шинели, осмелев, подбирались все ближе и наконец, полусогнувшись, бросились вперед и залегли в сугробах, метрах в десяти-пятнадцати от котлована.

— Иван, сдавайсь, Иван, ком хэр! — услышал Женя.

Он смело выглянул из котлована и выпустил длинную автоматную очередь. Удивительно хладнокровно менял Женя оружие.

— Гранату, гранату давай! — хрипел Финько.— Я их...

Но Женя ничего не слышал. Он думал только о том, чтобы снова не потерять видимость — стекла очков от дыхания запотели.

Наступило страшное секундное затишье. Женя схватил винтовку со штыком. Финько на коленях тянулся к ящику с гранатами.

Вдруг сзади раздались винтовочные выстрелы, совсем близко застрочил пулемет.

Кто-то крикнул по-русски:

— Финько! Бей гадов, кроши!

Женя приподнялся и с отчаянием, наугад бросил вперед раз за разом три гранаты в ненавистные сугробы.

Больше Женя ничего не помнил.

...Может, забытье длилось несколько часов, а может, и несколько минут. Но когда он открыл глаза, перед ним была Оля. Она смотрела на него своими удивительными огромными глазами. Где-то вдали раздавались выстрелы. Женя почувствовал странную боль в голове, будто голова его выросла до невероятных размеров. Он с трудом поднял руку и ощупал толстые бинты.

— Я же хотел каску взять,— с сожалением прошептал Женя. Но Оля ничего не услышала. Она наклонилась к самым его губам.

— Вы меня теперь узнали? Здравствуйте... Меня зовут Женя Лютиков, я о вас в газету написал. Пожалуйста, перевяжите старшину, он ранен. Найдите очки, я вас плохо вижу.

Женя понимал, что раз здесь оказалась Оля, то атака немцев отбита. Почему же Оля все смотрит на него и не идет перевязывать Финько?

— Как он? — хрипит Финько пересохшими губами. Но Оля не отвечает.

«Смотри так, Оля, смотри! Я почему-то совсем плохо вижу тебя, только глаза твои вижу. Ты действительно теперь узнала меня? Обожди, мы познакомимся еще лучше. Я тебе много писем в дневнике написал. Ты прочитай. Я очень трусил тогда, боялся попасть в плен. Уж лучше умереть. А ты всегда вовремя поспеваешь. Помнишь, тогда с Конкиным? И сейчас...»

* * *

Андрей спешил. Знакомыми ему путями он вел на выручку Финько отделение Коробова с ручным пулеметом. Шли, ползли, перебегали, прикрываясь кустарником, сугробами, пользуясь воронками, старыми ходами сообщения.

Там, в котловане, были в беде его боевые друзья, к ним надо было попасть во что бы то ни стало! Вот

так, наверное, и у отца было: к нему шла выручка и не дошла. А мы дойдем, дойдем!

Андрей укрылся в небольшой воронке, где-то недалеко от котлована Финько. Раздался близкий взрыв гранаты, и у Андрея из рук выбило автомат.

Своих бойцов Андрей не видел. Может быть, они были убиты, но ему казалось, что ручной пулемет работает: с той стороны слышны были короткие пулеметные очереди.. Что же делать?

Андрей схватился за кобуру и вытащил наган. Метров за сорок от себя он заметил врагов. «Эх, спасибо тебе, Заметный, за наган!»

Андрей вытянул руку и, прицелившись, выстрелил.

Он был весь во власти небывалого боевого азарта и опомнился, уже когда был истрачен последний патрон. Он посмотрел в сторону окопа Финько, оттуда больше не стреляли. И вдруг неожиданно Андрей увидел впереди две фигуры, ползущие к окопу друзей. Вначале он решил, что это свои, но тут же заметил грязно-зеленый цвет рукава ползущего человека, нашивку на рукаве. Тускло блеснул алюминиевый значок. «Эсэсовцы! — мелькнула догадка.— Это их значок: череп и кости... Конец Финько и Жене...»

Андрей с яростью посмотрел на бесполезный наган. Эх, еще бы два патрона, только два! Что делать?

И вдруг, обрывая крючки и пуговицы, Андрей полез в карман гимнастерки. «Генка, милый Генка»,— прошептал он пересохшими губами и вогнал трясущимися руками в барабан нагана три патрона.

Андрей прицелился и выстрелил. Один эсэсовец ткнулся в землю головой и остался неподвижным, с протянутой вперед рукой. Второй эсэсовец поднял гранату и собирался уже бросить ее в окоп Финько, Андрей, не помня себя, что-то бессвязно и дико закричал. Рука с гранатой на мгновение застыла в воздухе. Андрей выстрелил.

— Хальт, стой, гад! — закричал он хриплым, чужим голосом, выскочив из воронки. Эсэсовец поднял руки с растопыренными пальцами.

— Шилин, товарищ...— позвал Финько и громко застонал.

— Здесь я! — крикнул Андрей и ногой столкнул эсэсовца в окоп.— Здесь я, товарищ старшина!

С запада нарастал шум моторов и лязг гусениц. Это через перешеек, уже никем не останавливаемые, шли наши танки.

* * *

Финько очнулся в какой-то избе. Он бессмысленно посмотрел в потолок, и ему показалось, что темные, прокопченные доски валятся вниз. Глаза пришлось снова закрыть. Через минуту он попробовал приподняться, но это оказалось невозможным. Что-то сильно давило на лоб и виски. Финько шевельнул ногами, и сразу же застонал. Ему стало страшно от бессилия своего большого, всегда сильного тела. Но сразу же он почувствовал на лбу мягкую ладонь и скорее сердцем, чем слухом, уловил слова. Его успокаивал далекий-далекий мягкий женский голос. «В санбат попал»,— подумал он и облегченно вздохнул. Он открыл глаза, скосил их влево.

Рядом с ним на носилках, установленных на козлах, лежал Перфильев. Он встретил взгляд Финько, пошевелился, торопливо зашептал:

— Товарищ старшина, как чувствуете себя? Полегчало? Вы не отвечайте, а слушайте, вам еще говорить нельзя, а слушать можно...

И вдруг Перфильев замолк. Ему погрозила девушка в гимнастерке. С тревожным вниманием смотрел Перфильев на крупное, теперь бескровное лицо Финько и наконец с радостью увидел на нем подобие какой-то улыбки.

— Перфильев, ты скажи, где Лютиков, что с ним? — медленно и тихо проговорил старшина.

— Н-не знаю,— замялся Перфильев,— наверное, в другой избе лежит.

— А скажи, это правда, что Дугин и Заметный убиты?

— Не знаю, я только Шилина видел...

— Я же слышал, тут кто-то разговаривал. Убиты они! — застонал Финько.

— Да никто не разговаривал,— ответил Перфильев,— это вам почудилось...

К носилкам подошла девушка и негодующе по-

смотрела на Перфильева. Старшина узнал в ней санинструктора Олю.

— Вы понимаете, что он тяжелый! Зачем разговариваете? Военврач приказал, а вы нарушаете?

Оля, видимо, рассердилась не на шутку и уже кричала:

— Какой это Дугин убит? Какой Заметный?

— Да я же и говорю, что не знаю...—оправдывался Перфильев.

— Усы у вашего Дугина есть?—наступала Оля на него. Он утвердительно кивнул.

— А Заметный большой, высокий, на лице шрамы?

— Да, шрамы...

— Что же вы сказки больному рассказываете? Живы и невредимы ваши командиры. Уж я точно знаю.

— Хорошо-то как!—выдохнул из себя Финько.— Значит, мне почудилось. А Лютиков как?

— Ничего,—отводя глаза, строго ответила Оля и торопливо добавила:—А насчет Дугина будьте спокойны, я сама его видела недавно. Глаза у него черно-синие. Он вот эту деревню занял и дальше с батальоном пошел. Наступают наши. Фрицы драпают, как зайцы. Вся наша дивизия вперед пошла. И мы завтра снимаемся.

И, явно кому-то подражая, потому что у нее не могло быть такого внушительного басистого голоса, она строго закончила:

— Успокойтесь, или я вынуждена буду принять другие меры. Ясно?

— Ясно,— ответил Финько и улыбнулся глазами.

Открылась дверь, и, низко пригнувшись, через порог переступил Андрей Шилин.

— Това-арищ Шилин!—только и смог выговорить Перфильев.— Ну, как вы там, где батальон?—вместо приветствия спросил Финько.

— Отлично, товарищ старшина, жмем, наступаем!—ответил Андрей.— Все вам привет шлют.

— Дугин, Заметный?—решил еще раз проверить хитрый Финько.

— Да, и Дугин и Заметный вперед идут.

Андрей оглянулся: в тесной горнице в ряд стояли носилки с ранеными. На табуретке у стола сидела Оля. Пахло лекарствами.

— А где же Царев, Лютиков, Тальников? — спросил Андрей.

— Царева я уже эвакуировала в медсанбат. Вот жду машину и всех остальных отправлю.

— А Лютиков, Женя Лютиков где? — выкрикнул Андрей.

— Умер. Утром сегодня...— прошептала Оля.

— Да-а,— сказал Финько,— умер Лютиков,— в эту минуту старшина верил, что Женя Лютиков — это совсем не тот низкорослый, очкастый, шмыгающий носом паренек из сибирской маршевой роты, а герой Дубенковской высоты. Нет, никогда его не пробирал старшина, не делал ему замечаний... Орел солдат! Таким и только таким знал теперь старшина Финько бойца своей роты комсомольца Евгения Лютикова.

* * *

Рано утром, еще затемно, Андрей вышел из села. Он выполнил приказ Дугина, передал донесение в штаб полка. На обратном пути, по разрешению Заметного, он проведал раненых товарищей, оставленных в полковом медпункте, и теперь возвращался обратно, догоняя роту.

Хорошо накатанная дорога блестела под луной неширокой лентой. Военная дорога! Торчала на обугленных развалинах неуклюжая печь с трубой, вдоль дороги чернели снарядные воронки, в виде буквы «Л» переломилась старая большая береза, валялась опрокинутая вверх колесами немецкая автомашина. Все это были ориентиры, которые запомнил Андрей, когда шел сюда. Вот от этого дерева нужно пройти метров пятьсот, и будет скосившийся набок, уцелевший сарай с раскрытой крышей, а оттуда через километр — овражек с березовым подлеском и развилка дорог...

Так и шел Андрей торной фронтовой дорогой, чутко ко всему присматриваясь и прислушиваясь.

И оттого, что все приметы сходились, а может быть, от внутренней уверенности в себе на душе у Андрея было хорошо. Андрей спешил «домой». В этом солдатском «доме» ему бывало страшновато, неудобно, холодно, но, несмотря на все, родная рота отныне обладала для него всеми качествами хорошо обжито-

го дома, где друзья, товарищи и родные. После вчерашнего боя Андрей ощущал в себе новую силу, он переступил какую-то черту, за которой нашел свою солдатскую зрелость.

Сзади Андрей услышал цокот копыт, а еще через какое-то время тягучую песню:

Не одна-а-а, не одна-а-а
Во-о-о поле дороженька-а-а одна пролегла-а.
За-а-арастала та дорожка
Ельничком да березничком, го-о-орьким частым
А-а-осинничком.
Что не-е-ельзя, то не-е-ельзя
К любушке, сударушке, не-е-ельзя в гости
Ехать мо-о-олодцу...

Андрей отступил, уступая дорогу армейской повозке. На козлах сидел пожилой усатый ездовой. Он остановил лошадь и с волжским оканьем поздоровался с Андреем.

— Садись, подвезу,— предложил он. Андрей забрался на повозку, нагруженную мотками провода.

Ездовой, не оборачиваясь к Андрею, запел:

Из-за леса, леса темного,
Из-за садика зеленого
Собиралась туча грозная
Со снегами со сыпучими,
Со морозами трескучими.

Пел он с чувством, чуть хрипловатым голосом.

Грозно туча ворочалася,
Дочка к матке собиралася...

— Хорошо поете,— сказал зачарованный Андрей.— И песня хорошая.

— Да, песня! — откликнулся ездовой.— Ты бы послушал, когда мы ее в своем сельском хоре пели!

— В каком хоре? — заинтересовался Андрей.

— В нашем, деревенском. В Москву на смотр самодеятельности ездили. В Большом театре выступали. Вот оно как бывает, браток...

Показалась развилка дорог. Андрей спросил:

— А вы куда, папаша, едете?

— В Жаворонки.

— Это прямо? — с надеждой спросил Андрей, которому уже не хотелось расставаться ни с повозкой, ни с этим песенником-повозочным.

— Влево.

— Жаль, а мне прямо надо.

— Так,— сказал ездовой,— значит, прощевай. Тут уже ничего не поделаешь. Служба!

— Спасибо, что подвезли,— соскакивая с повозки, поблагодарил Андрей. Повозочный не спеша слез и пошел подтянуть подпругу.

— Вот так, брат, и ездим, то туда, то сюда. Да все ночью, затемно, а то эти стервецы бьют по дороге разным калибрсм. Этот кусок просматривался. Теперь заткнулись, холеры. А то вчера, до наступления нашего, не больно здесь ездилось.

— А вам далеко еще? — поинтересовался Андрей.

— Верст семь будет до Жаворонков, да за ними версты три.

— Название-то какое красивое: Жаворонки!

— Красивое! — с горечью сказал ездовой.— Было красивое, а теперь название одно осталось. Все начисто смели.

Он с силой подтянул подпругу, примерился, чуть опустил оглобли и ловко, заученным движением, завязал сыромятный ремень.

— Еду вот,— залезая на повозку, говорил ездовой,— а у самого всю душу выворачивает, и песня, понимаешь, самая, что ни на есть тоскливая идет. Там, в этих Жаворонках, сад громадный был, теплицы для цветов, как дворцы. В общем, овощной и фруктовый совхоз. «Жаворонками» назывался. Дома новые стояли, яблони, черемуха, сирень! Весной, говорят, дух такой... А теперь? Горе одно, ямы с битым стеклом да пеньки обугленные.

Ездовой умолк, взглянул на коня и продолжал:

— Сам майор, командир полка, который Жаворонки занял, сказывает, что совхоз «Жаворонками» назвали потому, что там птицы всякой видимо-невидимо было: и жаворонок, и соловей, и скворец! И вся эта живность пела, свистела, радовалась. Вот грузин этот дает теперь гитлерюге жизнь за Жаворонки эти.

— Какой грузин? — чуть не задохнулся Андрей от нахлынувшего предчувствия.

— А командир полка, я же сказал тебе.

— А фамилия его как? — спросил Андрей с бьющимся сердцем.

— Запамятовал. Разве упомнишь. Нерусская вообще...

— Не Вачнадзе? — с надеждой выспрашивал Андрей, а в ушах у него с поразительной отчетливостью звучал знакомый голос: «Действуй, дорогой!»

— Во-во! Похоже. А ты откуда его знаешь?

— Возьми меня с собой, прошу, — умоляющим голосом проговорил Андрей.— Это мой отец,— не задумываясь, закончил он.

— Ну? — удивился ездовой.— Чего ты раньше молчал? Садись давай, мне же веселее будет.

Андрея точно ветром подхватило, и он уже был на повозке.

Только когда немного отъехали от развилки, Андрей спросил:

— А как я оттуда в свою роту попаду?

— Вот еще, спрашиваешь! Раз отец там, так и отправит тебя за милую душу. Командир полка все-таки.

Но вдруг ездовой остановил повозку и недоверчиво оглянулся на Андрея.

— А ты, брат, не брешешь? Что-то не похож ты на батьку.

— Отец он мой,— радостно засмеялся Андрей,— вот увидишь,— пообещал он, еще сам неясно представляя, что должен увидеть его спутник.

Дорога шла ухабистая, тряская, на катушке провода было не так уж удобно сидеть, но Андрей ничего не замечал.

Когда повозка, на которой сидел Андрей, подъезжала к Жаворонкам, Андрей опустил воротник полушубка, затянул потуже широкий ремень, нащупал на нем круглое отверстие от пули и вспомнил слова Вачнадзе: «На войне люди часто встречаются».

Он вдохнул полной грудью воздух. Пахло талым снегом. Андрею вдруг почудились и запах цветов и пение птиц...

Ездовой шумно вздохнул и то ли одобряюще, то ли осуждающе проговорил:

— Ишь ты — солнце! Ведь никогда не опоздает.

И в самом деле, над землей показался темно-багровый диск солнца. Вокруг разлился живой оранжевый свет. Вставало утро.

РАССКАЗЫ

РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК

НА ПОБЫВКЕ

РОДСТВЕННИКИ

ЮНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ДЕВУШКИ

ДАЧА ЛУННОГО КОРОЛЯ

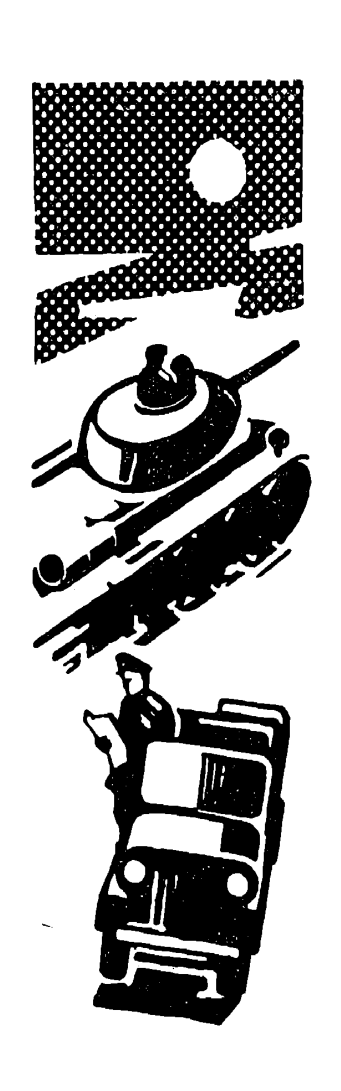
БАЙКАЛ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ

КРЕПКИЕ КРЫЛЬЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ





РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК

Отступая, полк Чумикова выбирался из окружения. Обходил населенные пункты, не зная ни сна ни отдыха. К селам приближались, только чтобы узнать о движении немцев и раздобыть продукты.

В один из таких дней лейтенант Петр Настеко с группой разведчиков привел в полк женщину-врача.

В больших, черных ее глазах были испуг и смятение.

— Товарищи, возьмите меня с собой. Не хочу оставаться у фашистов.

Командир полка майор Чумиков внимательно посмотрел на нее, баском сказал:

— Вы же скоро должны родить, а жизнь у нас, сами знаете, солдатская. Яслей выстроить не успели,— сострил он, от чего простое и суровое лицо его смягчилось и показалось женщине знакомым.

Чувствуя на себе любопытные взгляды, женщина так смутилась, что лицо ее стало совсем пунцовым.

— Извините, мадам, не женское это дело в походах таскаться! — почти со злобой пробурчал Шкредов. Женщина не понравилась ему с первого взгляда, и он живо представил, что забота о ее здоровье падет на его плечи, и он, военный фельдшер Шкредов, участник трех войн, чего доброго, попадет в акушеры!

Женщина словно не слышала слов Шкредова и, понимая, что только майор может решить ее судьбу, вся устремилась к нему.

Чумикову понравилось, что она не плачет; понравилась ее манера держаться, но он, как никто другой,

понимал, что брать с собой беременную женщину по меньшей мере рискованно.

Маленькая, вся круглая, с обиженными пухлыми губами, она пришлась по сердцу бойцам, но замолвить за нее слово никто не решался. Быть может, потому, что все молчали, а любимец майора лейтенант Настеко, который так некстати привел эту женщину, сейчас внимательно смотрел и взглядом просил его согласиться, Чумиков, немного подумав, тихо сказал:

— Ну, хорошо. Накормите ее.

С тех пор она осталась в полку, и бойцы стали называть ее по имени-отчеству — Анной Назаровной. Люди доверчиво относились к ней, и пожалуй, единственным человеком, невзлюбившим молодого врача, был фельдшер Шкредов. Когда с грехом пополам Анне Назаровне подобрали походное обмундировние, Шкредов не без ядовитости заметил:

— В таком-то виде она страшней фашистов будет.

Была Анна Назаровна человеком мягким и сердечным и привыкла, что люди платили ей всегда тем же. Чувствуя, что фельдшер относится к ней враждебно и старается при каждом случае вставить злое словцо, она терялась и не понимала, как следует себя с ним держать.

Правда, в новом наряде на Анну Назаровну нельзя было смотреть без смеха, и даже лейтенант Настеко, который с первого раза почувствовал к ней симпатию, как ни сердился на себя, как ни прятал глаза, все же, глядя на нее, улыбался. И хотя Анне Назаровне на зеленые петлицы прицепили по прямоугольнику, что означало звание военного врача третьего ранга, бойцы между собой не переставали над ней подшучивать.

Анна Назаровна старалась не замечать таких разговоров, ругала себя за то, что согласилась надеть брюки и гимнастерку, но решила, что теперь уже делать нечего. Да и в прежнем костюме при новой жизни было бы куда труднее.

Потом малу-помалу все привыкли не замечать выпирающий из-под гимнастерки живот и, как могли, старались облегчить Анне Назаровне трудности похода.

Вскоре в полку не без удовольствия заметили, что Анна Назаровна внесла в их тревожную жизнь много

теплоты и заботы. Никто не знал, когда она ложилась спать и когда вставала. Ее быстрые руки успевали лечить раны, помогать поварам, чинить бойцам белье, собирать лекарственные травы.

Бывало, идет она со скаткой за плечами, с санитарной сумкой на боку,— еле ноги передвигает. Не зная, как ей угодить, кто-нибудь предложит устроить носилки и нести ее на руках. В такие минуты Анна Назаровна не на шутку сердилась за непрошеную заботливость и продолжала упорно шагать в ногу со всеми.

Сам майор Чумиков не пропускал случая, чтобы подбодрить Анну Назаровну. Ему она рассказала всю свою несложную биографию, с ним была откровеннее, чем с другими. Нравилось ей, как этот человек умел внимательно слушать, и она с каким-то детским восторгом наблюдала тогда, как шевелятся его рыжие усы. Максиму Герасимовичу было уже за пятьдесят. Большой, нескладный, с широкой костью и длинными цепкими руками, он был похож на былинного русского богатыря.

Однажды Чумиков спросил ее о муже, но как и в первый раз, когда он напомнил о ее беременности, Анна Назаровна покраснела, низко опустила голову и невнятно произнесла:

— Не удалась у меня семейная жизнь, Максим Герасимович.

— Не огорчайтесь, Анна Назаровна. Кончим войну, и найдете себе человека по сердцу.

Вскоре случились события, которые окончательно укрепили дружбу Анны Назаровны с майором. Полк Чумикова по-прежнему избегал открытых столкновений с врагом. Майор тщательно обдумывал все детали сложной и рискованной операции, рассчитанной на прорыв вражеских позиций и выход к своим частям. И когда разведка донесла о близости линии фронта и вдалеке послышались артиллерийские выстрелы, командир полка вызвал к себе лейтенанта Настеко и, глядя на него усталыми глазами, сказал:

— Ну, Петя, на тебя надежда. Верю тебе и знаю, что не подведешь.

Так никогда еще не говорил майор со своим любимцем. Лейтенант подтянулся и посмотрел на май-

ора так выразительно, что тот на минуту замешкался. Слишком рискованное поручение хотел он дать своему лучшему разведчику, но делать было нечего.

— Ты пойдешь с разведгруппой. Необходимо нащупать слабое место и с боем прорваться через фронт. Надо предупредить наших, что завтра мы будем вырываться из окружения. Ты понимаешь, какая это сложная задача? — строго взглянув на лейтенанта, спросил Чумиков.

— Да, товарищ майор.

* * *

Эта ночь была холодной и длинной. Почти никто не ложился спать. Каждый думал о своем. И когда над синей кромкой леса показалось большое солнце, Анна Назаровна со страхом вспомнила о товарищах, которые ночью ушли на опасное дело. С досадой она подумала о своей беременности, которая связывала ее. Наедине сама с собой Анна Назаровна признавалась, что это утро страшит ее. Наступал день, когда решалась судьба полка.

Еще ночью майор привел к Анне Назаровне бойца, казаха Кутымарова, и строго наказал ему беречь ее. Коверкая русские слова, Кутымаров подсел к Анне Назаровне и, глядя на восток так же задумчиво, как и она, сказал:

— Не бояся, Ани Назаровна, будет моя с тобой хороша жизня. Я бинтовка сильно стреляю.

И был он такой спокойный, что ей захотелось поближе подвинуться и прикоснуться к нему.

В четыре часа утра Настеко связался по рации с Чумиковым, — он был уже у «мамы», «мама здорова и просит приезжать домой». Это означало, что Настеко пробился через линию фронта. Майор собрал комбатов, а через несколько минут весь полк был на ногах. Анна Назаровна шла рядом с Кутымаровым с наганом в руке, в каске. Люди двигались уверенно, стремительно, и только теперь по-настоящему Анна Назаровна поняла, что вот так плечом к плечу с товарищами и умирать не страшно.

Нападение с тыла было для гитлеровцев неожиданным, и их огонь вначале не причинил никаких потерь.

Однако, когда до врага осталось несколько десятков метров, немцы открыли шквальный огонь, и наступающие залегли, а некоторые попятились. Анна Назаровна ясно видела бегущих обратно бойцов.

«Неужели все погибло, неужели не выбьемся?»

Вдруг сзади точно из-под земли вырос Чумиков. Он стоял, широко расставив ноги, размахивая маузером, и кричал:

— Куда бежите? Куда? Куда, вас спрашиваю? Кого испугались? Там же наши из пушек бьют!

Голос Чумикова гремел, злой, охрипший, негодующий, и Анна Назаровна уже с радостью твердила про себя: «Так, так, так». Она видела, что бойцы останавливались, а некоторые, еще издали увидев Чумикова, поворачивали обратно. И в эту минуту Чумикова ранило. Он нагнулся как-то вбок и выронил из рук маузер. Анна Назаровна подбежала к нему. Серый рукав его шинели окрасился кровью.

— Ложитесь,— скомандовала ему Анна Назаровна.

— Ага, ты тут, перевязывай. Руку задело,— ровно проговорил Чумиков, а сам все озирался по сторонам.— Стоять буду. Делай так. А то ребята подумают, что убили меня. Видишь, за ум взялись.

Анна Назаровна распорола на Чумикове шинель, гимнастерку. Кутымаров и ординарец Чумикова, белобрысый детина, помогали ей.

— Ничего, рана не опасная, сквозная, артерия не задета,— успокаивающе произнесла Анна Назаровна.

— Ага, хорошо, хорошо, Аннушка! Это меня шальная пуля. Быстрей, Аннушка, быстрей. Теперь все должно ладно пойти,— точно уговаривал ее Чумиков.

Анна Назаровна работала быстро, уверенно. Сделав перевязку, она проколола в рукаве шинели дырочки и пинцетом продёрнула марлю. Стянув таким образом распоротый рукав и прилаживая на шею Чумикову повязку, Анна Назаровна коротко, почти без всякого выражения, проговорила:

— Вот теперь воюйте.

Чумиков пощупал рукав, взглянул на бледное, какое-то искаженное лицо Анны Назаровны, и точно что-то сообразив, тоном приказа жестко произнес:

— Пока ложись здесь и дальше не двигайся. Я за тобой пошлю.

В это время к Чумикову подбежал посыльный, и, ничего не сказав больше, он торопливо пошел с ним в сторону.

Анна Назаровна вначале легла на бок, но почувствовала, что так лежать неудобно. Ей почему-то стало безразлично все, что делалось вокруг, она чувствовала только эту неловкость во всем теле. Кутымаров безмолвно лежал рядом с ней, спокойный и тоже, казалось, ко всему равнодушный. Вдруг Анна Назаровна приподнялась. Под сердцем бился ребенок. Ей стало невыносимо страшно.

— Слушай, Кутымаров, пойдем вперед.

— Нельзя, Ани Назаровна, майор шибко ругаться будет.

— Пойдем, Кутымаров,— точно не слыша его, повторяла Анна Назаровна.— Пойдем, там много раненых, им нужно оказать помощь.

Она совсем встала и сразу почувствовала, что ей легче. «Ну вот,— подумала она,— это я неловко легла. Теперь все хорошо. Хорошо».

Они отошли немного и сразу натолкнулись на трех раненых. Анна Назаровна перевязала их и пошла дальше. Она плохо понимала, куда она идет, но ей казалось, что остановиться теперь уже нельзя. Она все искала глазами раненых, подходила к ним, иногда беспощадным тоном, не терпящим возражений, говорила:

— Идите, воюйте. Вот майор Чумиков тоже ранен, а не бросил строя. И вам можно.

Боец с легким ранением вставал и уходил вперед.

Помня наказ майора, Кутымаров неотступно следовал за Анной Назаровной. Он помогал ей делать перевязки и во всем беспрекословно подчинялся ей. По разрывам и выстрелам он догадывался, что бой уходил дальше, и даже подумал, что Анна Назаровна была права, не оставшись там, где ей велел быть майор, как вдруг заметил, что каска свалилась с головы Анны Назаровны, она на минуту приостановилась и, подгибая колени, упала на землю. Он нагнулся и увидел на ее светлых волосах кровавое пятно.

...К вечеру этого дня полк Чумикова соединился

с частями Красной Армии по ту сторону фронта. Бой стих, санитары подбирали раненых, повара возились у походных кухонь, в подразделениях проверялся личный состав, и майор приказал выстроить людей на лесной поляне и охрипшим от волнения голосом, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Ребята! Друзья! Вы дрались сегодня как львы. Народ этого никогда не забудет. Каждому, кто бился сегодня с врагом, я жму руку и называю его боевым другом. А тем, кто погиб, вечная слава и память!

Майор помолчал мгновение и вдруг громко спросил:

— Где Анна Назаровна? Где Кутымаров? Я посылал Шкредова. Где Шкредов?

По шеренгам прошел ропот, и кто-то грубо, с упреком бросил:

— Эх-ма, не сберегли бабочку! Убитой я ее видел.

Майор Чумиков мрачно спросил:

— Кто это видел ее убитой? Ко мне!

В это время на косогоре показался фельдшер Шкредов. Всегда медлительный, сейчас он, размахивая руками, на бегу кричал:

— Здесь Анна Назаровна! — И, приблизившись к выстроенному полку, пояснил: — В голову ранена осколком мины. Геройская женщина!

Понизив голос так, чтобы его слышал только майор, Шкредов прошептал:

— Но вот беда, кажется, рожать будет.

— Так какого же черта вы тут стоите? Марш назад! — то ли сердито, то ли радостно закричал майор.

— Есть назад. Только извините, товарищ майор, слабоват я по акушерской линии. — И, круто повернувшись, Шкредов побежал обратно.

— Вот черт, Шкредов, первый раз вижу, чтобы бегом мчался, — тихо, больше для себя сказал командир и, молодо расправив плечи, громко, как о большой победе, крикнул:

— Хлопцы! Жива наша Анна Назаровна! Рожает, рожает, товарищи! Вот она у нас какая... — И широко улыбаясь, добавил: — От лица службы выношу ей благодарность!

Никто не понял, за что вынесена Анне Назаровне

благодарность — то ли за то, что она жива, то ли за ее работу во время боя, то ли за то, что она собирается родить. Но эти слова майора вызвали у бойцов такой подъем, что все они готовы были вместе со Шкредовым бежать туда, где была эта женщина.

Анну Назаровну решили отправить на грузовой машине в ближайшее село, куда через несколько часов выступал на длительный отдых весь полк. Когда ее на носилках с забинтованной головой вынесли из палатки и в машину понадобилось подостлать что-нибудь помягче, в несколько минут бойцы нарвали столько травы, что ее хватило бы для прокорма десятка лошадей. Когда нужно было выбрать двух бойцов для сопровождения Анны Назаровны, бойцы облепили машину со всех сторон и не давали никому подойти.

Провожали ее фельдшер Шкредов, неожиданно воспылавший к ней нежностью, и Кутымаров. Кутымаров широко, во все лицо, улыбался и, довольный популярностью, пожимая товарищам руки, говорил:

— Сына родил будем!

Утром, когда взошло солнце и по желтым стенам избы забегали золотые зайчики, Анна Назаровна родила.

— Хорошая примета, матушка, на восходе солнышка родить,— говорила хлопотливая и многоопытная хозяйка избы.

Умелыми и быстрыми руками хозяйка переменила постель, надела на Анну Назаровну широкий сарафан и вытерла мокрым полотенцем ее лицо и руки. Проделав все это, она дала ей на руки завернутого в наволочку ребенка. В это время в сенях кто-то завозился, потом заскрипела дверь, и, заполняя собой всю горницу, в избу ввалился Максим Герасимович, а вместе с ним Петр Настеко. Видно было, что Чумиков за ночь выспался и даже успел побриться. Он оглядел комнату и, когда хозяйка открыла полог, увидел, но не узнал Анну Назаровну. Анны Назаровны, собственно, и не было. На кровати лежала совсем худенькая девушка с большими глазами, излучавшими радостный блеск.

— Вот это по-нашему. Поздравляю, Анна Назаровна! Кого имеем честь видеть?

— Сын родился! — ответила за нее хозяйка.

— Хорошо! Значит, получили боевое пополнение.— И он грузно опустился на табурет.

Заметив, что ребенок завернут в наволочку, Чумиков проговорил:

— Эх, головы садовые, о пеленках-то и не подумали,— и сокрушенно покачал головой.

Анна Назаровна улыбнулась:

— Не до пеленок у вас было, Максим Герасимович.

— Нет, ты не скажи,— горячо возразил Чумиков,— я человек предусмотрительный, а тут из головы вон. Придется тебе, — обратился он к стоящему поодаль Настеко,— сбегать к ребятам и сказать им, чтобы о пеленках позаботились. Да сюда больше не приходи, выспись сначала.

— Есть передать, чтобы собрали пеленки, и выспаться. Разрешите исполнять? — молодцевато отчеканил Настеко.

— Исполняй, да не забудь передать, что, мол, сын родился!

И когда он все это говорил, в глазах его было лукавство и теплота, а усы смешно подергивались.

— Ты не думай, Аннушка, что я один пришел,— там во дворе целая делегация стоит, да я им запретил тебя беспокоить. Вот только Петьку за геройство прихватил с собой.

Настеко пожал Анне Назаровне руку и быстро вышел.

Анна Назаровна так и светилась вся от радости, не понимая, за что к ней так относятся, чем она заслужила это внимание. Маленькая женщина думала о том, что хорошо иметь такого отца, как Максим Герасимович. В нем все было отцовское. Ей как-то хотелось выразить свою благодарность, и она протянула ему маленькую горячую руку. Он крепко пожал ее здоровой левой рукой и, наклонившись, поцеловал Анну Назаровну в лоб.

— Никогда, никогда не забуду,— взволнованно говорила Анна Назаровна.

— Ну, ладно, ладно, чего там,— смущенно покашливал Максим Герасимович, не переставая покручивать усы.— Привыкли мы к тебе, Аннушка, отпус-

кать не хочется, но уехать тебе придется. У меня вот в Сибири жена осталась одна-одинешенька. Вместе прожили с ней долгую жизнь, а детей завести не пришлось. Может быть, поедешь к ней? Вместе время скоротаете, а глядишь, к тому времени и с войны вернемся.

И пока он все это говорил, не спускавшая с него глаз Анна Назаровна поняла, почему он с первой встречи показался ей знакомым. Встретишь такого человека, и сразу тебе вспомнится детство, что-то до боли близкое, родное, доброе. И тебе уже кажется, что этот большой человек когда-то кормил тебя сладостями, рассказывал тебе сказки, выручал тебя из беды... Только одно ты не можешь вспомнить: где же, где ты его видела...

— Вот, мне кажется, на том и договоримся,— уже более уверенно закончил Максим Герасимович.— Через десяток дней отправишься в Сибирь. Хватит, повоевала и сыну боевую закалку дала...

Последние дни, которые провела Анна Назаровна в полку, запомнились ей как сплошной праздник. Назавтра подкатила машина, и из нее вытащили целый ворох пеленок, распашонок, одеял из разноцветных лоскутков, простыней. И всего было так много, что хватило бы на целый взвод ребят. Детским имуществом хозяйственно распоряжался Шкредов. Некоторые стали замечать его усердие и лукаво покачивали головами. Двери в избе не переставали открываться. Приходили командиры, бойцы и даже местные колхозники. Приносили кто молоко, кто осенние полевые цветы, а кто просто жал руку и поздравлял с новорожденным. А когда Анна Назаровна встала и нетвердой походкой вышла на улицу, бойцы не узнали ее. Стала она тонкой, щеки чуть побледнели.

* * *

На станцию провожать Анну Назаровну поехали Чумиков, Кутымаров и Шкредов. Пока ожидали санитарный поезд, Чумиков отошел с Анной Назаровной в сторону и, заглянув в ее расстроенное лицо, наказывал:

— Жене, Анюта, про то, что видела, не рассказы-

вай. Это ты у нас крепкая, а она любит поплакать. Главное, молоко в дороге покупай. Мальчишку, смотри, не простуди...

И Анна Назаровна проглотила комок, готовый подступить к горлу. «Только бы не расплакаться». Но как она ни крепилась, слезы капали из ее широко открытых глаз. Так, прогуливаясь по перрону, они подошли к Шкредову, который неумело держал на руках ребенка. Анне Назаровне было приятно, что и этот молчаливый и неприветливый человек стал относиться к ней дружелюбно и просто.

Чумиков хотел сказать ей что-то очень важное, а говорил какие-то ненужные слова. И только когда тревожно засвистел кондуктор и поезд лязгнул буферами, Чумиков, большими шагами догоняя вагон Анны Назаровны, громко, как мог, прокричал:

— А сына назови Макси-имо-ом!



НА ПОБЫВКЕ

Уже три дня жил Илья Макагонов в родном городе. Ходил по знакомым улицам, встречался с людьми, которых раньше хорошо знал, но теперь все казалось ему иным. Незаметно присматривался он к своей матери и видел, что и она изменилась,— ушла в свою работу, каждую минуту была чем-нибудь занята и постоянно куда-то спешила.

Совсем не так представлял он на фронте свой дом. Одно воспоминание о доме вызывало там приятный трепет в душе. Теперь, когда он, наконец, очутился

здесь, вдруг все показалось обыденным и немного чужим. С любопытством Илья перечитал свои старые школьные тетради, письма, альбомы, перебрал на полках книги,— все было до боли знакомо, интересно, но, странное дело, Илье казалось, что чего-то самого главного не может он припомнить и почувствовать. Илье трудно было признаться в этом даже самому себе, но только здесь он понял, что отвык от родного дома. Полк был куда ближе и понятнее.

Мать Макагонова, Надежда Осиповна, с гордостью смотрела на сына, на его орден и осторожно выспрашивала Илью о том, как он там жил эти три года, страшно ли ему было в боях. Илья отвечал односложно и неинтересно. Но однажды он сам вдруг начал рассказывать о своем командире полка, весь оживился, и мать почувствовала в нем своего прежнего Илюшу, который всегда был окружен товарищами, умел отдавать им все свои чувства. Сын стал более замкнутым, сдержанным, и впервые Надежда Осиповна приметила в нем настоящее сходство с покойным мужем, человеком молчаливым, из которого ей всегда, как она любила говорить, приходилось «выколачивать слова». Сходство с отцом делало сына еще дороже и вызывало в Надежде Осиповне много забытых и дорогих воспоминаний. С приездом Ильи в доме ничего не изменилось. Мать так же аккуратно должна была уходить на работу в детский сад, которым она заведовала уже много лет. Илья оставался один в квартире. Надежда Осиповна по вечерам готовила Илье его любимые кушанья, а по утрам подходила к кровати, где спал сын, и подолгу смотрела на него.

Илье предстояло прожить дома десять дней: это было и мало, и много, если вспомнить, что раньше она мечтала увидеть сына «хотя бы на минуточку».

В полку Илье наказывали побывать в театрах, походить в гости, навестить жен фронтовиков, узнать цены на продукты и товары, послушать, о чем в тылу разговаривают и что думают. Старший лейтенант Власик, адъютант командира полка, бывший студент университета, отведя Макагонова в сторону, попросил Илью сходить на студенческий вечер танцев,

— На побывку едешь, Илюха! Ты там все должен раскусить и посмотреть.

— За весь наш полк,— говорили друзья Илье.

— Да не женись там сдуру в своей Сибири. Во-первых, товарищи невесту знать не будут, а во-вторых, нам обидно,— под хохот друзей сказал полковой балагур Дима Чертов.

Макагонов знал, что он должен будет, по возвращении. до мельчайших подробностей рассказывать все, начиная с того, как он ходил в баню, и кончая вкусом малинового варенья, которым его угощали в гостях.

* * *

Макагонов старался добросовестно выполнять наказы своих товарищей. Мать привело в изумление, когда ее Илюша, который раньше стеснялся купить молока, вдруг сам предложил ей сходить на базар. Там он прицениваться к овощам и маслу, даже поинтересовался, почем продают кадушки.

В субботу мать попросила Илью пойти с ней в детский сад и провести с ребятами беседу.

Илья поморщился, но отказать матери не мог.

В детском саду ребята облепили его со всех сторон, они щупали его орден, пересчитывали звездочки на погонах, пока не установили, что он «настоящий капитан», и наперебой кричали, смеялись, рассказывали и спрашивали сразу. Один мальчик — в галифе и сапожках — сообщил, что у него папа на фронте, и все стали кричать: «И у меня, и у меня». Веселая девочка с лукавыми глазами спросила, умеет ли он петь. Серьезная, синеглазая, с красным крестом на руке, она назвала себя «главный врач госпиталя». Илья спросил, как ее зовут, и был не рад: все дети наперебой стали называть свои имена, фамилии, и он не мог разобрать ни одного слова.

Илья стоял среди этого гомона огромный и растерянно улыбался. Он не умел утихомиривать ребят, не умел с ними разговаривать и не знал, как ответить на их вопросы. Уловив смущение Ильи, воспитательница с широким, скуластым лицом сказала ребятам два слова, и они смолкли. Илья посмотрел на нее с

уважением. Воспитательница понимающе усмехнулась и шепотом сказала Илье:

— Вы им расскажите, как освобождали детей из фашистской неволи. Дети любят слушать о фронте.

И вдруг Илья услышал в толпе обступивших ребятишек всхлипывание. Ребята зашикали, и кто-то, обливаясь слезами, еле выговорил:

— Я же шепотом плаа-а-ачу!

Оказалось, что мальчика оттеснили от «дяди Илюши». Когда справедливость была восстановлена и мальчик крепко держался за руку Ильи, точно защищая это свое право, он уже без слез, но сердито оглядывая ребят, прошептал:

— А у меня на фронте папу убили.

Макагонов, который за три года своего пребывания на фронте видел много страданий, гибель товарищей, дымящиеся развалины, вдруг почувствовал, что у него запершило в горле. Перед этим детским горем все остальное, что он собирался запомнить и рассказать своим друзьям на фронте, показалось ему сейчас мелким и малозначительным.

Надежда Осиповна решила не смущать Илью своим присутствием. Илья выходил от детей взволнованный и, еще издали услышав голос матери, остановился возле дверей.

Мать утешала родительниц, кого-то подбадривала, другим выговаривала за скверное воспитание детей, некоторым обещала помочь, давала советы. Голос Надежды Осиповны был спокойным, бодрым, и, слушая ее, Илья растроганно подумал: «Мать у меня действительно замечательная».

С таким чувством он возвращался домой, и ему все еще виделись милые ребячьи лица, наивные добрые глаза. Слышались ему мягкий голос матери и вздохи женщин. Это был целый мирок, и странно, что раньше Илья ни разу не интересовался им и отмахивался от матери, которая любила рассказывать о своем детском саде.

Поднимаясь на второй этаж, погруженный в свои мысли, Макагонов на лестнице лицом к лицу столкнулся с девушкой. Он поднял глаза и увидел очень знакомое нежное лицо и круглые, точно испуганные, светлые глаза. Это была Наташа Смагина — соседка

Макагоновых, жившая в квартире этажом ниже их.

Илья сразу узнал ее и широко улыбнулся:

— Наташенька, здравствуй! А ты все такая же маленькая.

Наташа от шеи до волос залилась краской. Маленький рост был ее больным местом. Когда Илья уезжал в армию, ей исполнилось всего 15 лет, но с тех пор она едва ли выросла на один вершок.

— А ты какой стал...— она, видимо, не находила слов и смущенно закончила:— Какой взрослый!

— Зачем же ты не зашла к нам? — укоризненно проговорил Илья.— Ты же знала, что я приехал? Нехорошо, Наташа, забывать старых друзей. Мы с тобой, помнишь, на коньках катались.

— Так не говорят: зачем не зашла, надо — почему не зашла,— серьезно поправила его Наташа.

Макагонов вспомнил о ее любви к точным выражениям и засмеялся.

— Ты все так же любишь делать замечания?

Они стояли на лестнице, Наташа на ступеньку выше Макагонова.

— Люблю,— лукаво блестя своими ласковыми глазами, ответила Наташа,— а на коньках я с тех пор не каталась, и ты сам должен был зайти, потому что мне стыдно было, и потом у меня завтра день рождения. Приходи!— Все это она произнесла скороговоркой, очень смущаясь. Илья только сейчас заметил, что они все еще стоят на лестнице, взял Наташу за руку, и они поднялись наверх, к дверям его квартиры.

Наташа стояла перед ним в белой пушистой шапочке, стройная, тоненькая, и у Макагонова появилось какое-то смешное желание поднять ее и покружить в воздухе.

— Вот мы с тобой и на коньках теперь побегаем, и на твой день рождения я приду, и смешить тебя буду, помнишь, как раньше,— говорил ей Илья, но Наташа даже не улыбнулась:

— На коньках мне некогда, Илюша, я работаю на заводе.

— А сколько тебе лет, Наташа, исполнится? — плохо слушая ее, спросил Макагонов.

— Восемнадцать.

Макагонов отпустил ее руку и задумчиво произнес:

— Неужели восемнадцать? Вот мы и выросли,— после короткой паузы сказал он и впервые почувствовал себя неловко.

— Ты вырос, а я нет,— с беспощадностью к себе сказала Наташа и, пожав руку Макагонову, быстро побежала вниз по лестнице.

* * *

— Как изменилась Наташа,— сказал Макагонов матери, зайдя к ней на кухню.

— Все изменилось,— раскатывая на столе тесто, ответила мать.— Время такое, все меняется, одни быстро растут, другие еще быстрее стареют.

Мать рассказала Илье, что Наташа уже три года содержит всю семью из четырех человек. Сразу же после отъезда отца на фронт она из 9-го класса пошла работать на патронный завод и стала теперь контрольным мастером. Работать ей приходилось в ночную смену по 10—12 часов в сутки. Дома — больная мать и двое братьев-учеников, младше ее. Сплошные нехватки, но Наташа — очень гордая девочка и никогда не жалуется.

— Ты себе не представляешь, как я была удивлена и обрадована,— продолжала Надежда Осиповна.— Как-то в женский праздник — 8 Марта — разворачиваю газету и вижу портрет Наташи рядом с пожилыми женщинами. Лицо детское, глаза испуганные, точно ее сняли врасплох. Она же — лучшая работница на заводе. Говорят, что за все время она не пропустила ни одного бракованного патрона.

Пока мать все это говорила, Илья растерянно водил ножом по столу и с какой-то горечью думал о себе: «Вот тебе и коньки, и базар, и водочка... Как же плохо я все представлял. А Власик тоже хорош: «сходи на танцы в институт». А такая Наташа тут делает для нас патроны, не спит, недоедает...»

— Знаешь что, мама, у нее завтра день рождения. Я прошу тебя — состряпай Наташе пирог, и пойдем купим ей хороший подарок. Ведь завтра ей восемнадцать лет.

У Ильи разбежались глаза. Но больше всего ему понравилась тонкая золотая брошка с двумя сапфировыми камнями.

Мать уговаривала его купить серебряный подстаканник — это было и дешевле и практичнее, ведь все равно Наташа не станет носить брошку — время сейчас не такое. Да для такой брошки у нее и подходящего платья нет. Но Илья был непреклонен. Он представил себе брошку на платье у Наташи и веселые сапфиры, такие же искрящиеся, как ее глаза... Он бережно уложил маленькую коробочку с брошкой в свой боковой карман.

Назавтра, рано утром Наташа постучалась в комнату к Илье и очень опечаленно сообщила ему, что никакого дня рождения не будет. На заводе назначен комсомольский воскресник, и она вернется домой поздно. Илья был огорчен не меньше ее. С минуту он молча смотрел на расстроенное Наташино лицо и вдруг, решившись, спросил:

— А мне можно пойти с тобой?

Наташа вспыхнула, и Макагонов увидел в ее глазах радостные огоньки.

— Что ты, Илюша,— неуверенно проговорила она,— там же кирпичи надо таскать. Тебе это совсем неинтересно.

— Мама,— закричал Макагонов, подбегая к умывальнику,— ты послушай, что она говорит! Наташа уверена, что умеет таскать кирпичи лучше меня. Мама! Я иду с ней на воскресник.

Но мать, видимо, не разделяла восторгов сына. Приехать на несколько дней и не побыть дома в воскресенье, в ее единственный свободный день... Ей стало очень обидно, и впервые она недружелюбно посмотрела на Наташу. Та сразу почувствовала это и потупила глаза. Вытирая лицо полотенцем, Илья подошел к матери и очень тихо, на ухо сказал:

— Мама, Наташенька уходит на воскресник, и ее день рождения мы устроим у нас, ты не рассердишься?

На улице Наташа заглянула в глаза Илье и нахмурилась.

— Нехорошо шептаться при людях,— сказала она поучающим тоном.

Илья шел, стараясь делать шаги короче, держа Наташу под руку.

— Илюша, я не умею так ходить, ты вон какой высокий, тебе, наверное, неудобно со мной,— слегка отстраняясь от Ильи, проговорила Наташа.

— Ну, что ты! Здесь скользко и можно упасть, а вдвоем веселее падать,— попробовал пошутить Илья и смутился.

Наташа подняла голову, как-то сбоку, украдкой оглядела Илью и, виновато улыбаясь, призналась:

— Знаешь, сегодня я первый раз в жизни иду под руку с «молодым человеком». Так девчата у нас на заводе говорят. Но это, наверное, потому, что я именинница.

Перед самым заводом Наташа осторожно, видимо, чтобы не обидеть Илью, высвободила свою руку, и он понял, что она стесняется подруг.

Во дворе завода, куда Макагонова пропустили после тщательной проверки документов, уже кипела работа:

— Смагина! Именинница! Иди к нам наверх,— крикнул чей-то девичий голос.

Илья, вслед за Наташей, по деревянным сходням поднялся на второй этаж и через окно попал в недостроенное здание.

Наташа познакомила его со своими подругами. Илья только сейчас подумал, что все они должны смотреть на него с недоумением, но никто не удивился тому, что на воскресник пришел фронтовик.

Та девушка, которая позвала Наташу, оказалась секретарем комсомольского комитета завода.

— Зина Дробовик,— представилась она, подавая Илье руку «лопаточкой».— Вы, товарищ Макагонов, должны знать, что мы заканчиваем строительство этого дома для детей погибших на войне рабочих нашего завода. Мы этот детский дом будем содержать на свои средства. Хорошо, что вы пришли, мы вокруг вас провернем работку. Может быть, вы нам расскажете о своей боевой жизни?

Говорила она быстро, самоуверенно, и Макагонова неприятно кольнули ее слова. «Почему вокруг меня

нужно проворачивать какую-то работку?» — с недоумением подумал он, глядя на Зину Дробовик.

— Нет, нет, говорить я не умею. Вот в работе могу помочь. Скажите, что делать?

Это было сказано им сухо, почти зло. Но Зина даже не обратила внимания на его тон и поставила Илью таскать кирпичи. Наташа и еще одна девушка накладывали их на носилки, а Дробовик с Макагоновым таскали наверх. Макагонов работал сначала вяло, а потом, глядя на снующих взад и вперед девушек, раззадорился, с азартом помогал накладывать кирпичи и, вспотевший, разгоряченный, бегал по скользкой лестнице.

Поодаль группа девушек во главе с громкоголосой чернявой хохотуньей переносили в нижний этаж плахи для пола. Они все время подбадривали друг друга, и огромная гора плах таяла у всех на глазах.

— Темпы, темпы,— подгоняла своих носильщиков Зина Дробовик, выпячивая толстые губы,— мы теряем темпы! Нас обгоняет Верина бригада.

В работе Илья быстро забыл о мимолетном впечатлении от первого разговора с Зиной Дробовик и, видя, как она сгибается под тяжестью перегруженных кирпичом носилок и тяжело дышит, даже пожалел ее.

Во время короткого отдыха Наташа рассказала Илье, что Зина при эвакуации завода с Украины проявила столько мужества и находчивости, что правительство наградило ее орденом Красной Звезды. Здесь, в тылу, Зина днями и ночами не выходит с завода, хотя у нее очень больное сердце.

Макагонов взглянул на Дробовик. Она стояла поодаль, прислонившись головой к стене, бледная, худая, и хватала открытым ртом воздух. Илья быстро подошел к ней:

— Вам больше не надо работать, вы очень плохо выглядите. Вы знаете, я решил поговорить с вашими комсомольцами о фронте. Только за успех не ручаюсь...— и, не дав ей ответить, Илья отошел.

После перерыва Макагонов по очереди со всеми девушками носил алебастр. Они все запылились, и Макагонов через некоторое время, взглянув на побелевшие брови и волосы девушек, громко засмеялся,

а девушки посмеивались над ним. Он тоже был выпачкан белой пылью с головы до ног.

— Мы кончили, мы кончили раньше вас! — радостно оповестила своим звонким голосом чернявая Вера.

Она запела какую-то незнакомую Илье мелодию, девушки стали танцевать. В неуклюжей одежде, перепачканные кирпичом и алебастром, они поддерживали друг друга, топтались в валенках, больших сапогах и пели так весело, заливисто, что даже девушки из Зининой бригады, которые не кончили еще работы, не выдержали и тоже пустились в пляс. «Вот, дорогой капитан Власик,— усмехнулся про себя Илья,— вот я и побывал на танцах. Пожалуй, и в институт незачем идти».

Руки и спина у него изрядно ныли, но на сердце было радостно.

В обеденный перерыв Илья пошел вместе со всеми в заводскую столовую и с аппетитом ел невкусный «пустой суп», как его называли девушки. Каждая из его соседок, так как он не имел хлебных талонов, старалась отломить хлеба от своей порции и дать ему.

...Илья очень волновался, когда здесь же в столовой начал рассказывать девушкам о жизни комсорга своего батальона Дуси Ветровой. Все в батальоне были чуточку влюблены в Дусю, все берегли ее, готовы были заслонить ее грудью в бою. Дуся погибла, и, когда вынесли ее с поля боя, в кармане ее гимнастерки нашли записку.

«Ребята, мои дорогие товарищи, — писала Дуся. — Я пишу эту записку на случай, если меня убьют. Я прошу вас об одном. Вы меня не забывайте. Я вас всех очень любила, а когда вы окончательно победите врага, я прошу всех вас, кто останется в живых, написать письмо моей старой маме в город Красноярск, улица Ленина, дом 3, кватира 3. И если вы считаете, что в радости, которую вы будете переживать, есть и моя доля, то сообщите об этом моей мамочке. Кроме меня, у нее никого нет».

Со слезами на глазах слушали работницы рассказ Макагонова, и, когда он кончил, Зина Дробовик встала со своего места и глухим голосом сказала:

— Вот, девушки, я вношу предложение — назвать

нашу лучшую молодежную бригаду именем Дуси Ветровой. Кроме этого, пошлем коллективное письмо ее матери в Красноярск. Кто за это предложение — прошу поднять руки!

— Ох уж эта Зина, обязательно ей голосовать, — шепнула Наташа.

* * *

Пока шел воскресник, мать Ильи все приготовила к столу. Наташа пришла в черном бархатном платье, перешитом из маминого, отделанном на груди золотой тесьмой. Ее тоненькую фигурку перетягивал сделанный из такой же тесьмы поясок. На праздник пришли Зина Дробовик, бригадир Вера, мать Наташи, такая же маленькая, как дочь.

Когда гости сели за стол, Илья встал и торжественно произнес:

— Я поздравляю тебя, Наташенька, и в честь этого дня преподношу тебе наш с мамой подарок. — С этими словами он достал из кармана коробочку, раскрыл ее и приколол брошку к платью Наташи. Сапфиры заиграли всеми огоньками, а Наташа побледнела.

— Спасибо, Илюша, — только и смогла произнести она.

Потом Илья разлил в рюмки вино, встал со своего места и, очень строго осмотрев всех, но шутливо подмигнув Наташе, сказал:

— Прошу внимания. На правах председателя предоставляю слово секретарю комитета комсомола Зине Дробовик.

Зина подняла свою рюмку и стояла молча.

— Зря, Илюша! Вот увидишь, скажет сейчас длинную речь, — нагнувшись к Илье, тихо произнесла Наташа.

— Я хочу предложить тост, — очень тихо сказала Зина Дробовик. — Пусть в эту минуту каждый из нас про себя подумает о близких людях на фронте. Подумали? — так же тихо спросила она и отчетливо закончила: — Так пусть они скорее разобьют врага и будут с нами.

Наташа сказала:

— Это очень хороший тост! Я сегодня первый раз в жизни пью вино. Но морщиться не буду, — и она выпила свою рюмку, передернувшись и вызвав этим общий смех.

Потом пили за Наташу, за Зину, за Наташину маму, за хозяйку дома и за ее сына, пили до тех пор, пока хватило сваренного Надеждой Осиповной вина. Все чувствовали себя удивительно весело и хорошо. Расходились поздно ночью. Никому не хотелось спать, но завтра предстоял рабочий день.

На лестнице, прощаясь, Наташа сказала Илье:

— Я буду помнить этот вечер всю жизнь.

Илье стало очень тепло от этих слов.

* * *

Надежда Осиповна была уверена, что Илюша влюбился.

Он вставал с постели в три часа ночи и уходил встречать Наташу с ночной смены. Надежда Осиповна ничего не имела бы против увлечения сына, но Наташа была совсем девочкой, и мать не понимала, зачем Илюша все это делал. Тем более, что он через несколько дней уезжает.

То, что Илья не спал по ночам, не отдыхал — очень расстраивало Надежду Осиповну.

Как-то днем в детский сад зашла мать школьного товарища Илюши, Завеликина. Два дня тому назад она встретила Илюшу на улице и рассказала ему, что вот уже полтора месяца у нее в квартире нет ни полена дров и ребята попростывали.

Школьный товарищ Илюши — Павлик — был убит на фронте, а Завеликина работала уборщицей в столовой. Выслушав рассказ матери убитого товарища, Илья расстроился и решил помочь Завеликиной. Он сходил в горсовет, добился там наряда на дрова, остановил на улице случайную автомашину и, заплатив шоферу «коммерческую цену», привез дрова Завеликиной. Сегодня с утра Илья помогал ей напилить дрова и не уходил от нее до тех пор, пока она не растопила плиту. В квартире стало теплее, а самый младший брат Павлика попросил, чтобы его посадили на плиту.

Дома Надежда Осиповна начала уговаривать Илью, чтобы он хотя бы последние дни отдохнул.

— Мама, ты не понимаешь одного,— говорил ей Илья,— то, что я помог Завеликиной, это даже не одолжение, а долг. Так сделал бы мой любой фронтовой товарищ, но когда я в полку буду рассказывать об этом парнишке, который залез на теплую плиту, и о том, какое у него было счастливое лицо, это для них будет дороже всего. Вот и о твоем детском саде я тоже им расскажу.

И Надежда Осиповна, слушая сына, уже не знала, влюбился ли Илюша в Наташу или вел себя так просто от доброты сердечной.

До отъезда Ильи оставалось три дня. Надежда Осиповна стряпала сыну на дорогу коржики, купила ему духи и папиросы и уже заранее укладывала его вещи. Чемодан целый день стоял с открытой крышкой, и, придя с работы, Надежда Осиповна подолгу стояла возле него, тяжело вздыхала, украдкой плакала и нет-нет что-нибудь туда добавляла. Все эти последние дни ей было особенно тяжело. Провожать Илюшу снова было тяжелее, чем в первый раз.

И если бы не сам Илья, который был спокоен, рассудителен, то она бы плакала беспрерывно. Надежда Осиповна видела, что сын уже соскучился по своим полковым друзьям. И то, что он собирался туда с такой охотой, так просто, будто уезжал домой, успокаивающе действовало на нее.

Вот уже три ночи подряд Илья ходил встречать Наташу. Городу в это время полагалось спать. На улицах было тихо. Только гудки далеких паровозов и заводов изредка нарушали тишину. Однако тишина эта была обманчива. В освещенных окнах многих зданий суетились люди.

Илья в городе помнил все большие здания, теперь во многих из них поместились эвакуированные заводы, фабрики, и тысячи людей работали здесь и днем, и ночью. Илья на фронте знал, что в тылу неустанно трудятся. Однако этот ночной город давал ему самое яркое представление о том, чем живут сейчас люди. В одном из больших окон швейной фабрики, освещенной электричеством, видно было, как, согнувшись, сидели женщины. Илья остановился и долго смотрел на

их сосредоточенные усталые лица. Они работали молча, не разгибаясь. «Для нас работают»,— подумал Илья, и в этот момент почему-то представилась вся его огромная страна, все люди, которые, вот так же стиснув зубы, отказывая себе в самом необходимом, сосредоточенно работали для фронта. «Да, все здесь изменилось. Я еще мало видел. Людям очень тяжело. Но никто не жалуется и все торопятся, забывают о себе, о своей жизни».

Илья остановился и долго наблюдал, как из ворот завода выходила толпа людей. Ему было приятно, что среди этих людей шла где-то Наташа. Ему казалось, что теперь там, на фронте, он с особенным чувством будет брать в руки каждый патрон.

Наташа много рассказывала ему о своих подругах, о сердитом начальнике цеха, о напряженной жизни завода.

В эту ночь, поеживаясь от холода, Наташа сказала:

— Ты знаешь, Илюша, я очень хотела тебя проводить на фронт, но на заводе нет угля, и мы, комсомольцы, уезжаем на шахты.

Наташа была расстроена, говорила глухо, смотрела себе под ноги.

Илья понял, что это их последняя ночная встреча, и у него заныло сердце. Ему вдруг захотелось поцеловать девушку, но он испугался этой мысли. Может быть, она не поймет, обидится. Он хотел попросить, чтобы она ему писала, хотел сказать, что там, на фронте, будет думать о ней, но слова застревали в горле и вместо этого, кое-как справившись с собой, он как можно веселее сказал:

— Ну, что ж, Наташенька, раз так, то завтра я пойду тебя провожать.

* * *

Утром он увидел ее в старом клетчатом пальто, которое она носила еще три года назад, в большой отцовской шапке. В этом наряде Наташа походила на мальчишку, и Илья старался не улыбаться, чтобы не смутить ее.

Но и Наташины подруги выглядели не лучше. Многие из них были в ватных штанах, в огромных вален-

ках, закутанные в какие-то огромные полосатые шали. Илья узнал, что эти шали выдали им по ордерам. Вся эта шумная толпа девушек, предводительствуемая Зиной Дробовик, рассаживалась в кузова грузовых машин. Охрипшим на морозе голосом Зина проводила перекличку девушек. Ей отвечали коротко, по-военному: «Я!»

Потом пришел директор завода. У него было серое, утомленное лицо и большие воспаленные глаза.

— В ваших руках, девушки, судьба нашего завода, — сказал директор. — Заводу нужен уголь, угля нет, но его можно добыть. Мы успешно справились с эвакуацией завода. Я верю, что мы справимся и с этой задачей.

— Справимся, Степан Фролович, — кричали возбужденные девушки, и в гуле голосов Илья различил голос Наташи.

Она сидела в машине рядом с Зиной Дробовик. Большая шапка все время сползала ей на глаза, и она то и дело поправляла ее, открывая чистый лоб. Наташа смотрела на Илью, и казалось, что вся она ушла в этот взгляд со всеми своими мыслями, желаниями и тревогами.

А Илья думал о том, что она дорогой будет мерзнуть, что ей, такой маленькой, тяжело будет работать на шахте. Он подошел близко к борту машины и просительно сказал Дробовик:

— Вы, пожалуйста, берегите там Наташу. И сами... У вас же больное сердце, — вспомнил он.

— Что вы так беспокоитесь? Натка с виду маленькая, но она у нас сильная, — весело сказала Зина посиневшими губами.

— Ты так говоришь, будто мы на фронт уезжаем, — засмеялась Наташа.

— Я думаю, пока война — везде фронт, — серьезно ответил ей Илья и, помолчав, добавил:

— Что же, и у вас тоже боевое задание.

Илья смотрел только на Наташу. Он переживал какое-то необыкновенное чувство обновления и радости. «Какие у нее глаза замечательные!» — подумал Илья.



РОДСТВЕННИКИ

Вере Игнатьевне ее старший сын Кирилл представлялся теперь не иначе, как в полинялой гимнастерке, в тяжелых сапогах-бахилах, с суровым отцовским выражением глаз. Он был военным и долгие годы жил вдали от родителей. На всю жизнь Вера Игнатьевна запомнила его первый отъезд куда-то на западную границу. Кирилл стоял тогда в кругу родных и знакомых, не по годам строгий и серьезный. Мать чувствовала, что ему не терпелось поскорее распрощаться и уехать. По привычке мать напутствовала его, но видела, что Кирилл ее совсем не слушает, и в душе она даже обиделась на него. Потом Вера Игнатьевна стала получать от сына письма, фотографии, на которых он был снят в военной форме с неизменным ежиком жестких волос.

Кирилл продвигался по службе. Старик Копылов, подвыпив, гордился сыном:

— Кирилл Степанович! Он у меня мужик крепкой закваски.

Вера Игнатьевна тоже гордилась Кириллом. Она успела уже приучить себя к мысли, что сын ее рожден для жизни опасной, полной риска и неожиданностей.

Однако, когда почта с большим опозданием доставила извещение с фронта о смерти Кирилла, Вера Игнатьевна сначала не поверила этому. Потом она еще и еще перечитала извещение и только тогда почувствовала: «Кирилла больше нет». Она горько и долго плакала, жалея, что в свои 35 лет, занятый службой

и переездами с места на место, ее сын не успел жениться. Степан Семенович осунулся, пропала его бодрая походка, и черный форменный костюм повис на нем. Вера Игнатьевна видела, что, несмотря на свой огромный рост и силу, Степан Семенович духом слабее ее, маленькой женщины. Всегда крепкий, умеющий держать себя в руках, Степан Семенович частенько в эти дни всхлипывал, лицо его судорожно морщилось и делалось мокрым от слез. Его сизые пышные усы, за которыми он всегда любовно ухаживал, повисли, придавая ему такой печально-безжизненный вид, какого у него еще никогда не было.

— Мамка, мамка, пропал наш Кирюха,— сквозь слезы угрюмым басом причитал Степан Семенович.— Гордость моя пропала...

Второй раз в жизни назвал он ее мамкой. Впервые она услышала от него это слово в ту ночь, когда родила Кирилла. Это прозвучало тогда для нее как благодарность, и гордость за нее и сына.

Степан Семенович, с его широкими и сутуловатыми плечами и ладно скроенной фигурой, был загадан на сто лет. В 57 лет, еще до войны, когда Степан Семенович собирался ехать погостить к Кириллу, он выглядел настолько моложавым, что, подтрунивая над своей женой, лукаво крутил ус и говорил:

— А вот возьму и пойду с сыновьями по девкам... Вполне возможная вещь!

Видеть его теперь слабым и беспомощным было так непривычно и мучительно, что Вера Игнатьевна превозмогла свои собственные страдания и нашла силу, чтобы поддержать мужа.

Но не успели старики оправиться от одной беды, как нежданно-нагрянула другая. Из Тулы пришло письмо, в котором товарищ младшего сына Копыловых сообщал, что Евгений умер в госпитале от ран.

Вера Игнатьевна даже не плакала. Она часами лежала неподвижно, глядя в одну точку. Степан Семенович знал привязанность Веры Игнатьевны к младшему сыну. У Жени были на щеках такие же ямочки, как у матери, такой же мягкий, невозмутимый характер. В семье так и повелось: отец больше тяготел к большому Кириллу, мать не чаяла души в меньшом.

Смерть второго сына окончательно надломила обоих. Была семья Копыловых и... не стало ее.

Ревизора Степана Семеновича Копылова по всей железной дороге знали как взыскательного и неподкупного человека, который прежде подумает, чем скажет. Он принадлежал к тому старому поколению железнодорожников, которые с трудом пробивали себе путь в жизни. Эти люди даже медлительной походкой, суровостью и усами походили друг на друга. Жили они большими семьями, детей воспитывали в строгости, рано приучали их к труду и пользовались в домашнем кругу непререкаемым авторитетом.

Таких людей, как Степан Семенович, дома побаивались, прислушивались к их каждому слову, и жизнь в красных железнодорожных домиках шла размеренно по раз и навсегда заведенному порядку. Когда такой усатый железнодорожник умирал, хоронить его приезжали со всех блокпостов и разъездов товарищи по работе. Они разговаривали вполголоса и искренне сокрушались, поминали покойника добрым словом. На поминках много пили, но никогда не пьянели, умели утешить родственников простыми, хорошими словами. Сыновья здесь были призваны продолжать дело отцов. Эта уверенность, что в обжитом доме тебя заменит твой сын, что он будет любить те же вещи, делать ту же работу, давала старикам удивительную силу для того, чтобы спокойно умирать. В таких семьях понимали друг друга по взгляду, по случайному движению руки. А жизнь сама по себе не мыслилась здесь без детей. Поэтому Степан Семенович сидел сейчас около своей жены и с болью думал о том, каким безнадежно печальным будет закат их жизни. И не умел он утешить Веру Игнатьевну. Да и какое теперь могло быть для нее утешение? Машинально он говорил:

— Ну, ну, не убивайся, мать...

С быстротой молнии разнеслась по станции печальная новость, и в домик Копыловых пришли сердобольные соседки. То, что они говорили, со стороны казалось Степану Семеновичу очень убедительным. Тут приводилось много примеров из жизни. Мало ли писем получают люди о смерти своих близких, а сколько из-за этого ошибок получается? Глядишь, ме-

сяца через три после такого письма открываются двери и появляется тот, кого уже считали мертвым. И тут же приводились примеры. Вот-де, в Юхаревке, совсем рядом, полтора года не было писем от сына путевого обходчика Сашко и уже известие о смерти получили, а он — возьми и явись домой. Правда, без одной руки, но все-таки живой. А в прошлую войну, когда замирение вышло, солдаты все возвращались и возвращались, и среди них было много таких, по которым не раз панихиду за упокой души служили.

Письмо, полученное с фронта от товарища младшего сына, всеми перечитывалось, на все лады толковалось, и Степан Семенович и сам начинал подумывать: а не ошибка ли все это? Действительно, он помнил о таких письмах, где прямо говорилось, что человек на руках у товарищей умер, указывалось даже, в каком месте его похоронили и как похоронили, а на самом деле он и не думал умирать... Но Степан Семенович и женщины-соседки видели, что на Веру Игнатьевну все их слова не действуют. Видимо, чуяло материнское сердце правду.

* * *

Кто-то из соседей надоумил их взять ребенка. Степан Семенович отнесся к этой затее равнодушно, но Вера Игнатьевна, услыхав о такой возможности, поднялась с постели, с которой не вставала уже две недели, посмотрела на мужа покрасневшими от слез глазами и потребовала, чтобы они немедленно ехали в город. Увидев жену на ногах, он непривычно засуетился и с большой поспешностью собрал все в дорогу.

В городе им посоветовали обратиться в отдел народного образования. Бледные и торжественные, они зашли в кабинет к немолодой уже женщине. Та посмотрела на них внимательно, и застенчивая Вера Игнатьевна почувствовала себя неуверенно.

Узнав от Степана Семеновича в чем дело, женщина слегка улыбнулась, поудобнее уселась в кресло и, видимо, стараясь всем своим видом и тоном выразить сожаление, сказала:

— Ну, куда же вам ребенка, за вами самими уход нужен...

И хотя в пути Степану Семеновичу приходили в голову подобные мысли, он все же возмутился, выпятил вперед грудь и, налегая на стол, за которым сидела женщина, загорячился:

— Товарищ, не знаю, как вас звать, мы вполне здоровые и, если проживем столько, сколько наши родители, то успеем этого ребенка еще женить. Мой отец в сто лет правнуков нянчил. Так-то вот...

Желая смягчить резкость мужа, Вера Игнатьевна неожиданно очень слабым голосом начала:

— Милая, что нам делать? Как же нам быть без детей? У меня их пять человек росло, трое умерли, двоих на войне убили, как же нам теперь? Вы не сомневайтесь, ребеночку у нас хорошо будет. У нас коровка, свой садик, огород, мы ребеночка любить будем... Я же всю жизнь матерью была. Всю жизнь...

И она заплакала.

Провожая стариков до дверей, женщина рассказала им, что несколько дней тому назад из Ленинграда привезли 80 детей, и они сумеют найти среди них хорошего мальчика. То, что они возьмут именно мальчика, было решено у Копыловых еще по дороге в город. Шагая к детскому дому, они молчали, погруженные в свои переживания. Вера Игнатьевна еле поспевала за мужем. Степан Семенович первый открыл двери детского дома, пропустил вперед Веру Игнатьевну, и до их слуха донеслись десятки звонких голосов.

Пока заведующая детским домом с изможденным желтым лицом читала бумажку, которую ей предъявил Степан Семенович, Веру Игнатьевну не покидало чувство страха. Ей казалось, что им откажут. Но когда заведующая подняла на нее большие грустные глаза, она чутьем угадала, что все будет так, как ей хочется.

Заведующая заботливо и осторожно взяла Веру Игнатьевну под руку, и они направились в ту сторону, откуда доносились детские голоса. Едва они успели открыть застекленные белые двери и перешагнуть за порог, как к Вере Игнатьевне подбежала девочка и обняла ее ноги своими маленькими ручонками. Сердце у Веры Игнатьевны громко застучало. Она почувствовала такую слабость, что вынуждена была схватиться за косяк двери, чтобы не упасть.

— Ниночка, дай тете пройти,— строго оказала за-
дующая. Но девочка не отходила от Веры Игнать-
ны.

— Боже мой, что у нее с головой? — спросила Ве-
Игнатьевна у заведующей, увидав на голове у де-
чки коросту. Заведующая увела девочку в другую
мнату и, вернувшись, сказала:

— Эта девочка очень много пережила. Я тоже из
нинграда, вместе с ними приехала,— она кивком
ловы показала на дверь другой комнаты, в которой
йчас резвились дети.— Эту девочку я нашла в раз-
шенном бомбой доме. Она сидела около мертвой
тери, и в ее руке был сухарик. В железной шкатул-
оказалась метрическая выписка на имя Нины Ефи-
вны Светловой, родившейся в январе 1939 года. Там
была тетрадь, что-то вроде дневника этой женщи-
, погибшей от бомбы.

Около самого порога стояла Нина и, как показа-
сь Вере Игнатьевне, смотрела ей в самую душу. Ве-
Игнатьевна взяла ее на руки. Нина обняла ее за
ю и крепко-крепко прижалась к ней.

— Вот, Степан Семенович, наша стариковская
дьба. Ниночку мы и возьмем — пусть будет девоч-
, пусть будет доченька...— тяжело дыша, сказала
ра Игнатьевна.

Степан Семенович не возражал.

В загсе Нина Ефимовна Светлова превратилась
их дочь Нину Степановну Копылову.

Уже сидя в вагоне, они раскрыли и стали читать
традь в коричневом переплете, которую им на про-
анье вручила заведующая детским домом. Это все,
о осталось от Нининой матери.

Они с трудом разбирали тонкий женский почерк,
рвные, прыгающие буквы, непонятные торопливые
ова... «Принесла сегодня 240 граммов хлеба,— чи-
ли они,— еле дошла, такая слабость... Ниночка со-
ем голодная... Я вижу, как дрожат у нее губки, как
нутся к хлебу ее ручонки.

Еды совсем нет... Сама не пью уже второй день...
ять бомбежка, у Ниночки жар... Боже мой, как
дрывают душу эти глухие разрывы. Ниночка при-
алась в уголок кровати, и глаза у нее такие боль-

шие, такие испуганные. Завела патефон. Ниночка отвлекается, слушая музыку.

...Ниночка стала совсем слабая, у нее пухнет животик и на голове появилась короста.

...Она больше уже не играет, она, как и я, рассчитывает каждое движение, ей я отдаю почти весь хлеб, ей скормила все свои запасы. А запасов было так мало... Правду Ефим говорил, что я плохая хозяйка...

...Вот теперь я поняла, что значит быть матерью.

...Первый раз я заговорила о смерти. Я боялась об этом думать.

...Ефим, мой дорогой муж, как часто я о тебе думаю, как часто вспоминаю. Все призываю тебя. Наверное, мертвого призываю. Видно, не суждено нам больше увидеться.

...Я часто думаю о Ленинграде. Совсем обессиленная, лежу и думаю: я люблю его, как свою Нинку. Как мы жили с Ефимом в этом городе!..

...Видела сегодня: разбомбили родильный дом, в котором я родила Нину.

В доме остался один сухарик, пока его Ниночке не даю, усыпила ее. Опять ей стишок читала — «Снежинки, снежинки на щечке у Нинки...»

На этом обрывался узорчатый женский почерк. Степан Семенович долго и угрюмо молчал. Потом взял от Веры Игнатьевны Нину и, приблизившись к ней, тихо сказал:

— Светлоглазая моя!

* * *

В семье Копыловых началась новая жизнь. Проходил день за днем, и они все больше привязывались к девочке. Вера Игнатьевна ни разу не помнила, чтобы Степан Семенович поднимался ночью в то время, когда подрастали их дети, а тут он вскакивал за ночь по три-четыре раза, подолгу сидел у кровати Нины.

За это время им пришлось много пережить. Вера Игнатьевна не могла без волнения смотреть, как Нина собирала с пола каждую крошку хлеба. Она походила в такие минуты на цыпленка. Девочка могла выпить столько воды, сколько ей давали. Ее мучила постоянная жажда. Она поедала все, что было на сто-

ле — без всякого разбора. Девочка вела себя удивительно спокойно. Она совсем не плакала. Вера Игнатьевна прочесывала ее больную головку гребнем, коросту прижигала лекарством цвета лазури.

Девочка горячо полюбила стариков. Большую привязанность Нина питала к Степану Семеновичу. Стоило ему прийти с работы, как она деловито и ласково спрашивала:

— Ты замерз, папа? Дай ручку погрею.— И он, ухмыляясь, довольный, протягивал ей свои большие покрасневшие руки.

Вере Игнатьевне Нина не давала ни плакать, ни задумываться. Она усаживалась к ней на колени, гладила своими пальчиками веки ее глаз и ласково лепетала.

С радостью Вера Игнатьевна отмечала, что живот у Нины делается меньше, что она уже не просыпается ночью от грохота проходящих мимо поездов. Нина становилась толстушкой, и Вера Игнатьевна, купая ее в ванночке, испытывала от этого такую радость, что нередко забывала все свои горести и печали.

Месяца через три головка у Нины стала совсем чистой, у нее отросли волосы. Из очередной поездки Степан Семенович привез Нине в подарок голубую ленту и кружевное белое платье.

Радостям Нины не было конца. Ей сшили маленькую голубую комбинацию, заплели в ее мягкие шелковые кудри ленты цвета ее глаз. Нина все время прихорашивалась: приглаживала на себе платье, поднимала руки к голове и прогуливалась по комнате, похожая на нарядную куклу. Степан Семенович, наблюдая за ней, был искренне счастлив.

— Фигура у нее статная,— с затаенной гордостью говорил он.— Смотри, мать, какая она у нас ладненькая!

...Наступала весна. Сквозь распустившиеся ветви деревьев в комнату проникало солнце; своими яркими лучами оно забиралось к девочке в кровать, заставляло ее приоткрывать глаза и весело жмуриться. Однажды ранним утром Нина вместе с Верой Игнатьевной копошилась в огороде. Она сидела на земле, вытянув свои полные ножки, загребала пригоршнями

песок и убеждала Веру Игнатьевну, что строит для нее дом. Через два дня они ожидали приезда Степана Семеновича. Нина уже привыкла к тому, что он постоянно уезжает и приезжает. Она даже умудрялась высчитывать дни и ждала его возвращения с нетерпением.

В это утро в их садике хлопнула калитка, и сквозь кудрявые ветки берез. Вера Игнатьевна увидела вдруг человека в серой шинели. Она так испугалась, что с ней едва не случился обморок. Руки похолодели, сердце забилось часто-часто. «Кто это?» — подумала она, следя за человеком, тяжело приступавшим на одну ногу, и боясь посмотреть ему в лицо.

Человек в шинели глядел на Нину, и Вера Игнатьевна инстинктивно рванулась к девочке. Тогда у человека на лице задергались мускулы и беспокойно забегал один глаз. Вера Игнатьевна заметила, что другой глаз у человека был совсем неподвижный. Он зловеще и без всякого выражения смотрел мимо Веры Игнатьевны.

Человек вдруг выронил из руки палку, на которую до этого опирался, и, тяжело прихрамывая, бросился к Нине и громко, с надрывом, закричал:

— Ниночка!.. Ниночка!..

— Кто вы? Кто вы? — в тон ему, дрожа всем телом, проговорила Вера Игнатьевна.

Нина громко заплакала и, поднявшись с земли, подбежала к Вере Игнатьевне. Человек с трудом распрямился. Как наседка, она закрыла своим телом девочку и с непонятным для себя негодованием проговорила:

— Что вы сделали?! Нина никогда не плакала. Кто вы? Откуда вы?

Человек сквозь зубы, точно ему было больно, спросил:

— Вы Копылова?

— Да...— окончательно предчувствуя недоброе, упавшим голосом ответила Вера Игнатьевна.

— Ну, вот,— очень медленно, растягивая слова и тяжело хватая открытым ртом воздух, прохрипел человек.— Ну, вот... моя фамилия Светлов. Светлов Ефим. А Нина — моя дочь...

...Светлов сидел неприступный, взъерошенный и,

словно нехотя, выговаривал слова. Нина не подходила к нему, пугливо озиралась и не выпускала из своих рук юбки Веры Игнатьевны.

Сидел Светлов на краешке стула, вытянув вперед прямую, несгибаемую ногу.

Вера Игнатьевна ходила по комнате бледная и перекладывала с места на место все, что попадало ей под руки. Сердце ее было наполнено невыносимой болью, тело стало таким вялым и беспомощным, что ей казалось — она долго не выдержит такого испытания. Инстинктивно все внимание Веры Игнатьевны было приковано к девочке, и у нее было такое ощущение, что вместе с Ниной этот человек медленно вырывает из ее груди сердце. В том, что Светлов пришел отнять у нее девочку, сомнения быть не могло. И как назло Степан Семенович уехал.

Несколько раз Светлов перечитал страницы дневника своей жены, который дала ему Вера Игнатьевна. Когда, наконец, он поднял голову, Вера Игнатьевна не узнала его и в испуге отшатнулась. Его лицо стало землистым и мрачным. Светлов, видимо, плакать не мог. Опираясь на стол, он тяжело поднялся и, волоча ногу, подошел к Нине.

Снежинки, снежинки
На щечках у Нинки.
Попали в реснички,
Мешают смотреть.
Хотела немножко снежинки погреть,
Взяла их в ручонки и — ах!
Какая беда!
Осталась одна вода,—

нараспев говорил он. Нина сразу забеспокоилась, словно что-то восстанавливая в памяти. Она с удивлением взглянула на Светлова и, когда он протянул к ней руки, медленно отпустила юбку Веры Игнатьевны и, не сводя с него своих больших глаз, пошла к нему. Он осторожно взял Нину на руки и прижал к себе. Вера Игнатьевна видела, как изменилось выражение его лица, и оно показалось ей на этот раз чем-то похожим на лицо Нины.

— Доченька моя единственная,— приговаривал он. Если бы он знал, как страдает от его слов Вера Игнатьевна, может быть, он не произносил бы их.

Но Светлов как будто забыл о присутствии Веры Игнатьевны. Он не обращал на нее никакого внимания.

Вера Игнатьевна за то время, которое Светлов провел в ее доме, успела передумать о многом. Хотя очень неуверенно, она думала, что теперь законные права на девочку принадлежат ей и Степану Семеновичу. Но здесь же она ставила себя на место Светлова и приходила в тупик. Она знала, что ни Степан Семенович, ни она не позволят себе судиться с этим искалеченным человеком, и в то же время чувствовала, что он вместе с ребенком отнимет у них жизнь. Вера Игнатьевна порывалась заговорить с ним, но встречала на лице Светлова такое каменное и упрямое выражение, что слова застревали в горле. Светлов снова сел и по-прежнему вытянул вперед ногу. Превозмогая боль, Вера Игнатьевна начала расспрашивать Светлова, как он нашел девочку.

С этого момента у них и завязалась мало-мальски внятная беседа. Светлов рассказал, что после выписки из госпиталя он навел справки и узнал, что Нина эвакуирована из Ленинграда вместе с детским садом. Он поехал ее разыскивать и только здесь, в городе, после многих мытарств, узнал, что она отдана на воспитание в семью Копыловых. Слушая его, Вера Игнатьевна немного оправилась от испуга. Понизив голос, без прежнего чувства стеснения, но все так же боясь смотреть Светлову в глаза, она рассказала ему о своих сыновьях, о муже, о том, как они решили взять ребенка, и обо всем, что она услышала от заведующей детским домом.

К вечеру у них, кажется, не осталось больше темы для разговоров. Светлов отказался от ужина, отказался лечь спать на ту постель, которую ему приготовила Вера Игнатьевна, и, не снимая шинели, прикорнул в кухне на деревянной лавке, положив под голову свой вещевой мешок.

Когда, наконец, на исходе второго дня пребывания Светлова в доме Копыловых Вера Игнатьевна увидела в окно высокую фигуру Степана Семеновича, она поспешила к нему навстречу и быстро, шепотом, рассказала обо всем, что произошло.

Усталый, с сундучком за плечами, подошел Степан

Семенович к своему дому. С крыльца навстречу ему встал Светлов.

Нина встретила Копылова радостным криком, и он, не спеша, несколько раз поцеловал ее в пухлые щечки. Степан Семенович и на этот раз не изменил своим привычкам. На столе его ожидал обед, тот традиционный обед, который готовила ему Вера Игнатьевна вот уже 36 лет.

Копылов деловито и тщательно умылся и как ни в чем не бывало, с обычной своей грубоватостью сказал Светлову:

— Вот что, Ефим, не знаю, как по батюшке, седай за стол и откушай с нами.

Вера Игнатьевна очень удивилась, что Светлов, правда, после короткого раздумья, все же сел к столу. И странное дело — то, что не получалось у Веры Игнатьевны, легко и просто вышло у Копылова. За каких-нибудь полчаса он со Светловым успел поговорить о фронте, о Ленинграде, о госпитале и даже о «зайцах», которых по долгу службы вылавливал Степан Семенович. Светлов начал чувствовать себя проще, и колючее недружелюбие его куда-то исчезло. Вытирая после ужина свои пышные усы, Копылов встал из-за стола и безапелляционно заявил:

— Ну, вот что, Ефим, ты послушай и запомни, что я тебе скажу: Нинку ты не получишь. Не возражай! — видя, что Светлов заерзал на стуле, прикрикнул Степан Семенович.— Не возражай. Мы привыкли к ней, и она нам стала дочерью. Мы, брат, старики, а Нинка у нас одна. Знаю, знаю, что и у тебя она одна,— видя на лице Светлова беспомощное и протестующее выражение, ухмыльнувшись, сказал Степан Семенович,— знаю, к тому и говорю, что она одна и у тебя, и у нас. Ну, куда ты поедешь с ней? Зачем поедешь? Кто будет за ней ухаживать?

Вера Игнатьевна согласно закивала головой. Он говорил точь-в-точь то, что она думала.

— Я тебе так скажу,— подойдя близко к Светлову и положив ему на плечи свои тяжелые руки, сказал Степан Семенович.— Ты оставайся у нас.

Вера Игнатьевна ждала всего, что угодно, но только не этого. Вот он какой, Степан Семенович! Ей бы такое и в голову никогда не пришло. Что же, может

быть, она и привыкнет к этому человеку, может, и будет считать его родным. И ростом-то он, оказывается, маленький, и вот лицо у него такое, словно он собирался заплакать.

Много и хорошо они говорили в этот вечер. Втроем укладывали опать Нину, и Светлов, приблизив к ней свое лицо, задушевно прочитал ей на сон:

Снежинки, снежинки
На щечках у Нинки...

Вера Игнатьевна велела ей закрыть глаза, и Нина, хитро улыбаясь, натянула на себя одеяло и больше не шевелилась.

Втроем они вышли на крыльцо, и Вера Игнатьевна, как тогда в детском доме, сказала Светлову:

— А у нас вам будет хорошо, у нас свое молочко, огород, садик,— и почему-то заплакала.



ЮНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ДЕВУШКИ

Когда тебе всего 16 лет, когда мир еще полон неясных мечтаний, когда все кругом кажется добрым и вечным, когда мысль о смерти забывается так же легко и просто, как улетучиваются из памяти юношеские сновидения,— очень тяжело потерять все, что тебе дорого, чем ты жил, чему хотел посвятить свои силы.

Так случилось с Адой Козей.

Ее отец был директором школы, в которой Ада окончила девять классов. Веселый, совсем еще молодой, отец заменял ей друга и рано умершую мать.

Ада любила гулять с отцом под руку по улицам большого белорусского села, заглядывая в отцовские глаза, вызывать на лице улыбку, гладить его бритые щеки, преданно слушать его во всем, угадывать его желания, хозяйничать по дому и бесконечно гордиться тем, что у нее вот такой красивый, умный, добрый отец.

Жили они вдвоем спокойно и дружно. Иногда приходил к ним в гости председатель колхоза — степенный, осторожный и, как Аде казалось, очень хитрый старик с вислыми по-украински усами и черной седеющей бородой. Он и отец подолгу разговаривали о делах колхоза, и опять Ада гордилась — папу уважают и держат с ним совет даже такие почтенные люди, как председатель колхоза. Изредка бывал у них ветеринарный фельдшер Апанович,— мужчина с крупным, иссиня-красным носом, невзрачный, всегда чем-то обиженный и недовольный. Апанович был членом партии, а отец Ады — секретарем партийной организации. В этих беседах между отцом и Апановичем всегда разбирались какие-то обиды фельдшера на председателя местного колхоза. Заканчивались они почти одной и той же фразой, которую Апанович повторял с видимой болью в голосе:

— Нет, Дмитрий Степанович! Не понять вам моей души. Мы, сельская интеллигенция, должны жить в дружбе. А где она, дружба? Мы вот все напраслины друг на друга возводим.

Апанович уходил такой же мрачный, и Аде его было почему-то очень жаль. Отец, смеясь, говорил:

— Интеллигенция! Я подозреваю, что он по ночам в одиночку водку пьет.

Адой всегда руководили слова отца. Они определяли ее поступки и мысли. Все, что говорил отец,— правильно и неоспоримо, все, что он делал,— было безукоризненно хорошо и нравилось ей. И только в отношениях к Апановичу Аде почему-то не хотелось соглашаться с отцом, и она была рада, когда однажды сторожиха школы, Ивановна, славившаяся среди ребят своей справедливостью и честностью, как бы в подтверждение ее мыслей сказала:

— Апанович-то, фельдшер,— опять заболел. Все мотается по колхозам, о скоте печется да ругается

с нерадивыми людьми, а о нем, о человеке больном, и побеспокоиться некому.

В этот день Ада пошла к Апановичу в его одинокую холостую избенку, вымыла у него пол, сварила обед, все прибрала, расставила по своим местам вещи. И фельдшер, не привыкший чувствовать о себе заботу, сильно смущаясь, сказал:

— Ишь ты, какая быстрая! Прямо метла! А я вот тут заболел.

Он не благодарил ее, даже не удивился тому, что она пришла к нему. Но с тех пор появлялся в квартире директора школы чаще, неизменно подходил здороваться сначала к Аде, и ей казалось, что у него стал менее обиженный вид.

* * *

Немцы вступили в село на двадцатый день войны. Ада увидела их в окно через марлевую занавеску и, еще не вполне понимая, что несут ей эти люди, инстинктивно вся насторожилась, внутренне собралась, как будто бы ожидала ударов. А удары один страшнее другого не замедлили обрушиться на нее. Ночью, наскоро попрощавшись, ушел отец. Через несколько часов Ада узнала от Ивановны, что он вместе с председателем сельсовета схвачен немцами. Ада пришла на площадь, где стояла деревянная трибуна, вместе с Ивановной и очутилась рядом с фельдшером Апановичем. Офицер на ломаном русском языке долго говорил, зачем пришли сюда его солдаты, и в заключение объявил, что сегодня они будут вешать коммунистов. Немец стоял на крыльце школы, крутил свои усы и очень внимательно всматривался в молчаливую толпу. Потом он махнул перчаткой, и из дверей школы вывели отца Ады и председателя сельсовета Жлобина.

Ада вгляделась в знакомые, ставшие вдруг заостренными черты отцовского лица и хотела было броситься ему навстречу, закричать, призвать людей на помощь, но ее руку до боли сжал Апанович и заставил Аду остаться на месте. Она как-то сразу вся затихла, услышав голос отца, и напрягла все силы, чтобы понять его:

— Товарищи! Меня выдал немцам председатель колхоза Антонченко.

Отцу забили рот тряпкой, и он замолчал. Антонченко стоял тут же, рядом, спокойный, уверенный в себе и непонимающе жал плечами. Когда отца вместе с Жлобиным поставили под школьную арку, превращенную немцами на скорую руку в виселицу, и набросили им на шеи веревки, отец вдруг нашел глазами Аду и несколько раз кивнул ей головой. Прошла минута... В эту минуту кончилась юность Ады Козей.

Через три недели после памятного дня из села в белорусские леса ушло семнадцать человек и вместе с ними Ада Козей. Все они еще не представляли себе, что будут делать, как поведут борьбу, но понимали, что дальше оставаться здесь вместе с немцами нельзя. Апанович — ветеринарный фельдшер — был организатором этого маленького партизанского отряда и как-то само собой, без всяких выборов, стал его командиром.

Отряд ушел далеко от родного села. Апанович, хорошо знающий всю округу, выбрал для его расположения глухое место за болотами, поросшими труднопроходимым лесом.

Привыкнув заботиться об отце, Ада перенесла свою заботу на Апановича. А тот, с новым и незнакомым выражением упорства на лице, был к ней внимателен и ласков.

Не имея связи с другими отрядами, без руководства и помощи, Апанович все же решил действовать. «Будем делать, что в наших силах»,— говорил он, и Ада видела его глаза, добрые и внимательные, и начинала верить этому человеку во всем, как разве только верила своему отцу.

Первого гитлеровца Ада убила ровно через два месяца после того страшного дня, когда был повешен ее отец. Она стреляла, не видя его лица. Он сидел на борту автомашины спиной к ней и свалился прямо на дорогу. Потом, когда машина была остановлена, Ада вместе с другими партизанами выбежала из лесу и посмотрела прямо в лицо убитого, в его мертвые, невидящие, очень прозрачные глаза. Впервые за все это время она испытала чувство, подобное облегчению. За два месяца новой жизни, связанной с лише-

ниями и трудностями, в тоске и воспоминаниях об отце, Ада как-то сразу повзрослела, вытянулась, и на лице у нее появилась печать скорби и большого человеческого горя. Но сразу она поняла, что у нее остался только один путь — мстить фашистам. Ада училась стрелять, действовать ножом, бросать гранаты, вести разведку. Она наравне со всеми несла тяготы партизанской жизни. Когда, наконец, Ада поняла, что и она может убивать немцев, взрывать мосты, пускать под откос поезда, то уже перестала думать о собственной смерти. Жизнь для нее приобрела смысл. И в этой жизни горело — отомстить Антонченко. Апанович понимал состояние Ады Козей.

* * *

Ночью она постучалась к сторожихе школы Ивановне. Почти до самого утра просидели они без света около железной печи. От тлеющих углей на строгое лицо Ивановны падали красные отблески. Ада слушала Ивановну, затаив дыхание, и перед ее глазами вставали страшные картины. Вот немцы через все село везут на телеге избитую до полусмерти учительницу географии Надежду Ионовну. До самой земли волочатся ее длинные косы, они закручиваются в колесе, и Надежда Ионовна падает на землю...

С жадностью Ада расспрашивает Ивановну об Антонченко. Он все такой же: степенный, обходительный. Немцы ему доверяют и держат в селе всего шесть солдат.

— Третьего дня был опять тот офицер-вешатель,— ровно говорит Ивановна, только около губ у нее подергивается мускул,— увез в район мою внучку Надюшку. Расстреляют, наверно, комсомолка она. Думаю: Антонченко выдал. Всех продал, шкура, теперь малолеток подбирает.

— Ничего, Ивановна,— говорит Ада,— всех нельзя выдать, подавятся они. Я скажу тебе, Ивановна, я верю тебе, меня послали сюда убить Антонченко.

Ивановна смотрит на нее удивленно, точно видит в первый раз, и говорит:

— Вот ты какая стала! Обидели они, ироды, твою душу, пусть на себя пеняют.

Она пошевеливает в печке угольки, подкладывает на них картофель и вполголоса спрашивает:

— Как же ты одна на такое дело пойдешь? Ведь он здоровенный мужик, а ты — дитя еще.

Ада смотрит на Ивановну внимательно, долго, что-то про себя раздумывает и вдруг говорит:

— Я все-таки сильнее его. Мне смерть не страшна. А он всех своих выдает, значит — боится.

— Ну-ну,— говорит Ивановна, точно успокаивая Аду,— я тебе пособлю. Раз ты смерти не страшишься, а мне и подавно к ней привыкать надо.

Аде становится спокойнее от слов старухи. Постепенно лицо Ивановны куда-то уплывает. Ада чувствует ласкающее тепло во всем теле и, больше не в силах противиться усталости, склонившись на спинку стула, засыпает.

Просыпается она уже к вечеру на кровати Ивановны. Неяркие лучи зимнего солнца еле-еле проникают через маленькие окна в комнату, и она долго не может определить, что сейчас: утро или вечер. Потом она быстро обшаривает себя, но не находит ни пистолета, ни ножа. Она сует руку под подушку, ощущает прикосновение к кобуре, и, оттого, что пистолет и нож с ней, оттого, что она спала на постели, в тепле, что Ивановна совсем по-домашнему хлопочет около нее,— ей становится легко и приятно, и уверенность в деле вновь охватывает ее.

Ивановна уже успела все разузнать об Антонченко. Жена его с сыном уехали на мельницу, по дороге туда их встретил Кузьма, конюх колхоза. Все это Ивановна узнала от подруги своей Вассы Егоровны, родственницы жены Антонченко, живущей у них в доме. Сам Антонченко, после отъезда офицера, лег дома на печи и никуда не выходит.

Ада хорошо знает дом Антонченко, она бывала там несколько раз. Но все же сейчас она советуется с Ивановной, как проникнуть туда, и, наконец, они сходятся на одном мнении.

Поздно ночью они пробираются к знакомому дому с белыми резными наличниками, поднимаются на высокое крыльцо с навесом. Ада становится чуть в сторону. Ивановна громко стучит в дверь.

— Васса Егоровна, это я, Ивановна, отвори. С вашими на мельнице беда стряслась.

Подруга Ивановны охает, стонет, и Ада слышит лязг отодвигаемого затвора. Она ощущает небывалое напряжение во всем теле. Ее дыхание становится прерывистым, открытый рот хватает воздух. Ивановна проходит в дверь, оставляя ее полуоткрытой.

— Тише, не шуми, Ивановна, сам-то спит, только угомонился. Ведь спокою-то человеку нет от людей... Боже ж мой, что с нашими-то, откуда узнала ты?

Ада, осторожно касаясь пола, проходит в сени. Дверь скрипнула, и Ада с громко бьющимся сердцем останавливается. Она не слышит, что там рассказывает Ивановна, и ждет только, когда та вернется обратно. Через минуту-две, показавшиеся Аде целой вечностью, Ивановна со старухой выходит из дому.

— Ты проводи меня, Васса, до ворот, да не убивайся. Может, зря все, человек он, Кузьма, ненадежный, мог напутать все. Сами-то, говорит, живы, а зерно отобрали,— шепчет Ивановна и увлекает старуху за собой. Ада входит в избу. Большая керосиновая лампа стоит на столе, и в горнице от нее очень светло. Ни о чем не думая, она в эту минуту только слышит в висках удары, точно кто-то глухо говорит: «Быстрее, быстрее». Она вспоминает: Антонченко на печи. Держа в одной руке нож, Ада становится на приступку и сразу же видит черную с проседью бороду Антонченко и вытянутую к ней большую руку, сжатую в кулак. Она еле борется с желанием разбудить его, взглянуть ему прямо в глаза, сказать, что это она, Ада Козей, пришла за его душой, но секунды ей кажутся вечностью, а нож в руке непомерной тяжестью, которую уже нельзя больше так держать на весу. Она высоко поднимает свою руку с ножом и со всей силой ударяет им в грудь Антонченко. Раз, потом еще раз и еще раз. Антонченко хрипит. В предсмертных судорогах хрипит убийца ее отца, предатель многих честных людей... Затем девушку охватывает страх, ее начинает знобить, нож выпадает из ослабевших пальцев...

...Как она покинула дом Антонченко, как выбралась за околицу села,— Ада даже впоследствии не могла отчетливо себе представить. Силы ее, казалось, были уже исчерпаны. Затем она успокоилась, внут-

ренне вся подобралась и, уже никого не опасаясь, шла прямо по дороге.

Но Аду подстерегала беда. Еще издали она услышала, что за ней гонятся... Бежать было трудно, на ногах — тяжелые мужские сапоги, за плечами — котомка, наполненная Ивановной продуктами. Выкрики на чужом языке, несколько выстрелов — все это моментально отпечатывается в сознании Ады, и она сворачивает на знакомую тропинку, по которой уже шла сюда. Но вот одна нога у нее начинает ныть, и в сапоге становится непривычно горячо. Отбежав сотню шагов, она взбирается на высокую сосну, садится на толстый сук меж ветвей и, готовая дорого продать свою жизнь, ждет...

* * *

Гнались за ней несколько немцев. Она слышала, как пробежали они мимо, как вернулись потом обратно. Прошло, должно быть, очень много времени. Здесь же на дереве Ада попыталась сделать себе перевязку левой ноги. Нужно было сначала снять один сапог, повесить на дерево влажную от крови портянку и туго затянуть ею рану. Лес шумел, и каждый шорох пугал ее, заставляя забывать о боли. Теперь Аде очень хотелось дойти до отряда, увидеть Апановича, приложить к ране тертую мороженую картошку.

Слезать с дерева ей уже было труднее, чем подниматься туда. Ноги ее от мороза стали деревянными. Однако нужно было идти, и она пошла, еле переставляя тяжелые ноги.

* * *

Апанович всего-навсего был только ветеринарным фельдшером. Но он сразу понял, что у Ады началась гангрена обеих ног. Его тревога моментально передалась всем партизанам.

Ада металась от боли. Обмороженные ноги стали черными, а при легком надавливании пальцем из них выделялась коричневая прозрачная жидкость и оставались ямки. В землянке стоял неприятный гнилостный запах.

После долгих колебаний Апанович принял решение.

— Ада,— сказал он ей угрюмым голосом.— Если тебе сейчас не отнять обе ноги, ты умрешь. У нас в отряде нет врача, нет медикаментов, чтобы усыпить тебя или обезболить, нет хирургических инструментов. Ты должна все знать. Есть у нас спирт, йод, обычная пила по дереву и нож. Будет очень тяжело и трудно перенести такую боль. Операцию я буду делать сам. Вот теперь решай. Сейчас другого выхода нет.

Ада Козей долго молчала. Молчал и Апанович. Потом он заговорил опять и таким тоном, каким утешают ребят мужчины, никогда не имевшие собственных детей:

— Ноги тебе отнимать будем ниже коленных суставов, но все равно это уже не ноги. Мы потом тебя вывезем в тыл, сделаем протезы, привыкнешь на них ходить.

Ада посмотрела на него своим долгим открытым взглядом, и Апанович ужаснулся тому, что говорил ей.

Ада Козей согласилась на операцию.

На всю жизнь она запомнила, как Апанович расхаживал по тесной землянке в белой рубахе, как тревожно кипела в котелке вода, как Апанович опускал в воду нож и смазывал пилу спиртом. Она вспомнила потом, каким голубоватым огоньком горел спирт на пиле, как тщательно и мучительно долго мыл Апанович свои руки и протирал их спиртом. Вымазанные по локоть йодом, его руки показались Аде чугунными.

Ада лежала посредине землянки на столе, сделанном из сосновых досок. С обеих сторон ее стояли два партизана с зажженными керосиновыми лампами в руках.

Молчаливый и сосредоточенный Апанович подошел к Аде и стал протирать ей ноги йодом, вопросительно и тревожно посмотрел на Аду и взял в руки нож. Боль была нестерпимой, но Ада собрала все свое мужество для того, чтобы разжать спекшиеся губы:

— Ничего, ничего...

Кто-то дал ей выпить целый стакан водки, кто-то взял ее покорные руки и сильно сжал их. Что она крепко запомнила — была белая борода старого партизана и вытянутые и такие же коричневые, как

у Апановича, руки, державшие пилу, густо смазанную йодом. Ада знала, что этот высокий старик будет помогать Апановичу пилить ей ноги.

* * *

Госпиталь... госпиталь... госпиталь...

С того времени, как ее вывезли на самолете из партизанского отряда, прошло два с лишним года.

Мы встретились с Адой Козей в Иркутске, в эвакогоспитале. Это был последний город и последний госпиталь на ее длинном пути.

Временами Аде казалось, что ее физические мучения никогда не кончатся. Но все же настал такой день, когда Ада выписалась из госпиталя. На протезы ей надели хромовые желтые сапоги. Вначале она ходила с палочкой, сильно хромая, не веря себе, что это она сама двигается, но постепенно ноги ее привыкли, и она забывала, что у нее протезы. Когда она об этом рассказала главному хирургу госпиталя, высокому сутулому мужчине, который стал ей другом, он бодро проговорил:

— Так и должно быть. А потом вы будете забывать о протезах с утра до ночи.

Много у Ады было теперь друзей и знакомых. Они согревали ее теплом своего сердца. Это они — эти врачи, сестры, санитарки — не спали возле нее ночей и выходили ее.

В один из августовских дней 1944 года Ада Козей получила ответ на свое письмо Апановичу из освобожденного родного села, и ее неудержимо потянуло в Белоруссию.

* * *

Провожали ее в солнечный день. Все время шли дожди и раненые прятались в палатах, а тут все они высыпали во двор и их желтые халаты смешались с белыми халатами врачей и сестер. Ада свободно, почти не хромая, подошла к грузовой автомашине и села в кабину рядом с шофером. Она нежно, с какой-то грустью смотрела в знакомые лица людей, с которыми она успела сродниться. Вот теперь, когда с гос-

питалем уже было все покончено и она знала, что больше не вернется сюда никогда, ей стало жаль расставаться с этими людьми. В самый последний момент, когда мотор у машины был уже заведен, к Аде подошел главный хирург госпиталя, увидел у нее на глазах слезы, погладил ее пышные волосы и бодро, ровным голосом, которым почему-то разговаривают многие врачи, сказал:

— Ну, ну, девушка, не горюй! Жить тебе теперь сто лет!



ДАЧА ЛУННОГО КОРОЛЯ

На заводе, где Володя работал мастером цеха, ему дали путевку в Крым, и Володя с радостью подумал о том, что, наконец, увидит море.

К санаторию подъезжали ночью. Огромная полоса лунного света лежала на спокойной глади моря. Недалеко от берега слегка покачивалась, мерцая огнями, яхта.

Автобус, к всеобщему удовольствию утомленных пассажиров, резко остановился, и шофер галантно объявил:

— Пра-а-а-шу! «Дача лунного короля».

На следующий день Володя обошел огромный парк и изрядно устал.

Вечером он вернулся в санаторий тихий и ко всему равнодушный. Ему не понравилось, что растения здесь были прилизанные, подстриженные, какие-то слишком комнатные. Он вдруг с улыбкой вспомнил свой заводской поселок, толстые пни посредине улиц, ши-

рокие корпуса цехов, упирающихся в опушку высокого леса, и подумал: «А ведь верно говорят, что там хорошо, где нас нет».

Обитатели санатория «Красный строитель», или, как его прозвали курортники с давних пор, «Дача лунного короля», имели обыкновение вечером после ужина собираться в круглом зале, обставленном удобной мягкой мебелью, слушать музыку и петь любимые песни. В зале у стены стоял большой белый рояль, а над ним висела картина Айвазовского и Репина — Пушкин в глубокой задумчивости смотрел на бушующее море.

Пришел туда и Володя. В зал вошла седая женщина в черном платье. Она спокойно прошла к роялю, села на вращающийся табурет и опустила на клавиши руки с длинными пальцами и голубоватыми жилками.

— Я сегодня буду играть Чайковского,— негромко сказала женщина. И руки ее вдруг как бы ожили, лицо стало одухотворенным и помолодевшим. Сам того не замечая, Володя все больше и больше отрешался от реальной жизни и погружался в чарующий мир звуков.

Когда женщина кончила играть, все зааплодировали, и только Володя сидел неподвижно. Он был еще во власти тех ощущений, которые породила в нем музыка. Женщина, по-видимому, заметила это и, склонившись к нему, сказала:

— Вы, вероятно, очень любите Чайковского?

Володя смутился. По правде говоря, сегодня впервые он почувствовал, что музыка может так сильно волновать. Глаза его сияли особенным блеском, и пианистка поняла Володю без слов.

Через несколько дней повар санатория Коковкин, бывший корабельный кок, веселый, круглый старичок, рассказал Володе историю жизни Виктории Семеновны. Муж ее был военным моряком и в гражданскую войну пропал без вести.

Однажды вместо Виктории Семеновны в зал пришла девушка, удивительно похожая на старую пианистку.

Володя сидел на своем обычном месте около рояля, и девушка обратилась к нему:

— Мама заболела, играть сегодня буду я...

Руки у нее были такие же нежные, красивые, как у матери. Разница была в том, что они играли веселые мелодии. Девушка часто поднимала лукавые глаза и, глядя на Володю, чему-то улыбалась. Только на прощание она сказала ему:

— А я вас знаю. Мама о вас рассказывала. Кажется, вы любите Чайковского?

Володя покраснел и не нашелся, что ответить.

— Дочку-то пианистки как звать? — вдруг резко и не к месту спросил Володя у Коковкина, встретив его на следующий день. Тот смерил плотную фигуру Зотина оценивающим глазом, оглядел его простое, открытое лицо и понимающе сказал:

— Вот как! Смотри, братишка, не занозись! Девушка она серьезная, без глупостей, и к ней, брат, не просто пришвартоваться. А зовут ее очень даже просто. Наташей зовут.

Виктория Семеновна проболела недолго, и, когда она снова, торжественная и строгая, появилась в круглом зале, Володя обрадовался ей.

Он мог разговаривать с Викторией Семеновной свободно и непринужденно. Зато с ее дочерью Володя чувствовал себя очень стесненно.

Если бы не случай, он так и не познакомился бы с ней по-настоящему до конца пребывания в санатории.

Володя полюбил вставать по утрам очень рано и уходить купаться в море.

С утра на море не было ни души. Он оставлял свою одежду и уплывал далеко-далеко.

Совсем неожиданно Володя встретился с Наташей в море.

— Ах, это вот кто! — как будто разочарованно сказала Наташа. — А я вас долго догоняла и совсем не думала, что это вы. Плаваете вы, как заправский моряк. А теперь отдохнем.

Она перевернулась на спину. Володя последовал ее примеру.

— Вы почему такой нелюдимый? — спросила его Наташа.

— Я вас боюсь, — серьезно, без улыбки ответил Володя, и ему вдруг стало с ней удивительно легко. Он готов был так плыть хоть на край света.

Возвращаясь обратно, они успели поговорить о многом, и Володя сказал Наташе о том, как ему нравится Виктория Семеновна. Девушка повернула голову, посмотрела ему прямо в глаза, и он прочел на ее лице большую признательность. На берегу Володя взглянул на Наташу. Она стояла в голубом купальнике, и ее очень тонкое тело с бронзовым загаром было таким стройным и красивым, что ему вдруг стало неловко. В санаторий они возвращались вместе, но всю дорогу молчали. Володя мучительно думал о том, что вот они опять никогда больше не скажут друг другу ни слова. Но назавтра, не сговариваясь, они опять пришли на берег, опять далеко заплыли, и Володе даже показалось, что Наташа пришла нарочно, чтобы встретиться с ним...

Отпуск близился к концу. Еще несколько дней назад Володя думал об этом спокойно, но теперь при мысли о Наташе по сердцу пробегал холодок.

Они стали часто появляться с Наташей вместе. И Володя смотрел на нее так откровенно влюбленно, что старый шеф-повар Коковкин, весело поблескивая своими узкими с веселыми искорками глазами, однажды сказал:

— Занозился ты все-таки в нашу Наташку. Ох, братишка, вижу я это, как на блюдце,— и, нагнувшись к самому его уху, прошептал: — Женись на ней, ей-богу, женись, и век Коковкина вспоминать будешь.

Он сказал ему то, о чем Володя и сам втайне мечтал, но в чем боялся себе признаться. В тот же день, случайно встретив в парке Викторию Семеновну, Володя решил все ей рассказать и увезти Наташу к себе на родину. Выслушав его сбивчивую исповедь, Виктория Семеновна остановилась и с грустной улыбкой сказала:

— Вы совсем не современный молодой человек.— Это в наши-то дни вы объясняетесь с мамашей! Насколько я знаю, вы ведь не предлагали Наташе уехать с вами. И знаете что, Володя, не делайте этого,— вдруг убежденно и горячо сказала она.— Поезжайте к себе домой, пишите Наташе письма, проверьте свои чувства на расстоянии, а на будущий год приезжайте к нам снова. Я знаю, что Наташе вы очень нравитесь...

* * *

А на будущий год началась война. Много дорог прошел лейтенант Владимир Зотин, но ни одна из них не завернула на «Дачу лунного короля».

Володя ничего не знал о Наташе и Виктории Семеновне. В Крыму хозяйничали немцы. И случилось так, что лейтенант Владимир Зотин получил задание штаба перелететь на самолете через линию фронта в расположение крымских партизан. Стояли чудесные майские дни. В горах струился голубоватый, напоенный запахом трав воздух. По утрам в долинах лежал белесый туман, и казалось, что там, внизу, распростерся воздушный океан, которому нет конца и края.

Зотин стоял на обрыве и наблюдал, как медленно рассеивался туман по долине с крутыми изгибами ленточки-реки, с ровными квадратами густой растительности. Стоило ему вступить на крымскую землю, как его уже не покидала уверенность в том, что он увидит Наташу и Викторию Семеновну.

Он попал в партизанский отряд, откуда было рукой подать до Наташи.

Командир отряда, молодой и безусый парень, с могучей шевелюрой русых волос, встретил Зотина очень приветливо и быстро с ним подружился. Зотин не скрыл от командира своего желания побывать на «Даче лунного короля». Однажды, ничего не сказав, командир исчез и явился в отряд только через два дня. Сверкая улыбкой, он отвел Зотина в сторону и сказал:

— Благодари господа бога и старого морского волка, повара Коковкина.

У Зотина перехватило дыхание.

— Я же знаю его, я же его знаю, черт возьми! — не помня себя от радости, проговорил он.

— Так вот. Коковкин мне сообщил, что на даче послезавтра будет офицерский бал. Я думаю, что мы поспеем туда и примем участие в их веселье.

А на даче готовились к балу. Немецкий полк стоял за тридцать километров отсюда, и, кроме «мелких неприятностей» с жителями и партизанами, жизнь в остальном протекала спокойно, особенно для офицеров.

Идея устроить загородный бал принадлежала самому майору, командиру полка. Высокий, с длинной шеей и нежным девичьим лицом, он слыл в среде своих офицеров красавцем и покорителем дамских сердец. В Германии его ждала богатая невеста, а здесь он считал себя солдатом, уставшим от долгого похода, и иногда позволял себе «невинные шалости».

В этот раз к балу готовились особенно тщательно. Раздобыть дам было очень трудно, особенно таких, с которыми не было бы скучно.

Но командиру полка все-таки добыли девочку-подростка с тонкой талией, дикими, будто невидящими, огромными глазами. Когда немец увидел ее, у него затрепетали тонкие, почти прозрачные ноздри, и он с большим усилием по-русски сказал:

— Это удивительный овечка-козочка, благодарю.

Бал был организован по всем правилам, с танцами, и поэтому адъютант майора заранее побеспокоился о пианистке.

В круглый зал, где по-прежнему стоял белый рояль, привели Викторию Семеновну. Она вошла в черном платье, печальная и постаревшая, мельком окинула взглядом знакомую комнату и не узнала ее. Чужие люди... все здесь было чужое, и даже рояль, который она не видела уже так давно, почему-то напомнил ей белый катафалк.

Командир полка разжал губы в вежливой улыбке, повернулся к ней и сказал:

— О, чудесно, мадам. Сегодня будет хороший вечер. Вы напоминаете мне мою маму.

Распорядитель, адъютант командира, попросил Викторию Семеновну сыграть вальс. Майор подошел к девочке-подростку и пригласил ее на танец. Она вцепилась обеими руками в края стула и, еле разжимая губы, дрожа всем телом, чуть внятно прошептала:

— Я не умею... я не хочу...

Виктория Семеновна мельком уловила безумный взгляд девочки, и у нее тоже задрожали руки. Она разглядела еще несколько женщин с потухшим взглядом, с ярко накрашенными губами и неестественными улыбками. «Эти продажные»,— подумала она. Руки

совсем не слушались ее. Вальс получался настолько медленным, что адъютант, проходя мимо нее, зло прошептал: «Быстрее...»

Командир полка, которому так и не удалось заставить танцевать предназначенную ему «партнершу», еще раз подошел к девочке и взял ее за ухо. Сделал он это осторожно, и тонкая улыбка блуждала на его будто накрашенных губах. Но оттого, как сморщилась и побледнела девочка, Виктория Семеновна поняла, что немец сдавил ей ухо изо всей силы. Потом, не меняя выражения лица, майор быстрым движением разорвал на девочке ситцевое платье и вытолкнул на середину зала. Она стояла голая, закрыв лицо руками, и ее худенькие детские плечи вздрагивали от беззвучных рыданий.

— Я хочу, чтобы ты плясала одна. Я буду смотреть,— становясь в картинную позу, сказал немец.

Виктория Семеновна, перестав играть, привстала со своего места и почувствовала, что ей больше нечем дышать.

«Боже мой,— подумала она,— так же могли сделать с моей Наташей. Она, эта худенькая девочка, даже чем-то похожа на Наташу». Это все мгновенно пронеслось у нее в мыслях, и она уже готова была ринуться навстречу девочке, как вдруг вновь услышала голос немца:

— Я вас прошу, мадам, играйте весело! Играйте скоро. Эта дама хочет плясать цыганский танец.

Виктория Семеновна подняла голову и посмотрела прямо в светлые, совсем рыбьи глаза немца, на его бледное испитое лицо с красными губами, и такая ненависть и презрение промелькнули в ее глазах, что майор отвел глаза в сторону, перестал улыбаться и удивленно сказал:

— О, эти глаза, совсем русские глаза. Вы злы на меня, мадам!

Неторопливым движением он расстегнул свою миниатюрную кобуру светло-желтой кожи, достал сверкающий пистолет, который почти целиком умещался в его белой холеной руке, и выстрелил прямо в высокую старомодную прическу Виктории Семеновны.

Девочка дико вскрикнула, а Виктория Семеновна медленно осела на табурет и уронила голову на кла-

виши рояля. Раздался необычайный аккорд, который долго звучал в наступившей тишине. И не успели еще затихнуть эти странные многоголосые звуки, как немец проговорил:

— Господа офицеры, продолжайте веселиться! Я сам буду играть. Вассер! Велите убрать эту русскую женщину.

И только он это сказал, как раздался чей-то насмешливый спокойный голос:

— Можно не беспокоиться! Господа офицеры, я прошу всех поднять руки.

В дверях стоял командир партизанского отряда. Не сводя глаз с майора, точно гипнотизируя его, он шел прямо к командиру полка, который, видимо, еще ничего не успел понять и не мог прийти в себя.

Офицеров разоружали и выводили по одному. Зотин подбежал к роялю, поднял седую мертвую голову пианистки и узнал Викторию Семеновну...

Когда в зале не осталось ни одного немца и Викторию Семеновну осторожно подняли и положили на рояль, Зотин вдруг, весь ослабев, присел на табурет, молча склонил голову. Потом, что-то вспомнив, подавляя нахлынувшие слезы, медленно одной рукой несколько раз ударил по клавишам рояля... Может быть, это были аккорды давно забытого вальса...

— Опоздал... всего на несколько минут...— невыносимая тяжесть давила грудь, и больно было смотреть на всю эту знакомую, но страшную теперь обстановку. Шатаясь, Зотин вышел на балкон. Пугающие, черные и прямые стояли кипарисы. Ночь выдалась лунная, светлая, небо было усеяно яркими крупными звездами.

Долго в горьком раздумье смотрел Зотин в темноту ночи, пока не услышал за спиной совсем знакомый голос.

— Это ты, Володя? Я, браток, помню тебя.

Зотин вначале не узнал голоса и только словечко «браток» напомнило повара Коковкина.

— Где Наташа, где Наташа? — переспросил Зотин и схватил Коковкина за руку.

— Тебе скажу, только тебе,— прошептал Коковкин, оглядываясь по сторонам.— Наташа ушла с мо-

рякамн партизанить. Тебя она помнила. Мне Виктория Семеновна часто говорила, что любовь у Наташи к тебе была. Только у моряков такие дочери и бывают.— Коковкин сказал это с такой гордостью, что у Зотина все стеснилось в груди от нахлынувших воспоминаний.

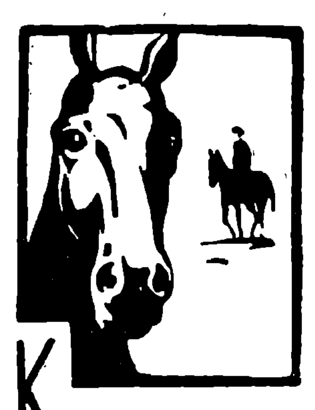
— Ах, какая красивая здесь жизнь была до войны,— с чувством промолвил он...— Я только одного, Коковкин, боюсь, мы очень добрые по натуре люди. А я хочу это запомнить. Каждую мелочь.

— Такое, браток, не забывается,— угрюмо, понимающе пробурчал бывший повар.

— Вот Викторию Семеновну думал найти, Наташу...— медленно вслух говорил Зотин. А про себя подумал, что опять терялась дорога, которая так долго вела его к любимой.

И точно угадав невеселые мысли, обуревающие Зотина, Коковкин убежденно сказал:

— Голову вешать, браток, не надо, твоя дорога к Наташе лежит через победу. Вы люди молодые, вы еще найдете друг друга, обязательно найдете!



БАЙКАЛ

Круглый год по падям и распадкам обширных выгонов долгокыченского колхоза пасутся табуны гулевых лошадей. И сколько лет насчитывается колхозу, столько лет работают табунщиками Трофим Попов, Иван Правосудов и Петр Верхушин.

Колхоз имеет сотни улучшенных лошадей. Очень многие из них обладают не только большой выносли-

востью, но и отменной рысью. На всех межколхозных скачках в районе серые в яблоках лошади с тавром «АД» — артель Долгокычи — неизменно берут первые места. У них длинные, точно седые, ресницы и красные, как у кролика, глаза. Для неопытного человека все эти серые лошади кажутся одинаковыми, и только табунщик знает, какую из них надо отбить от косяка, и только он может поручиться, что из нее получится достойная армейская лошадь. Каждый год в колхозном табуне отбиралось десять лучших молодых лошадок, они «оповаживались» табунщиками, после чего сдавались армейским представителям. Объезжали их потом уже опытные кавалеристы...

Вся жизнь табунщиков проходит среди лошадей.

Табунщики — очень редкие гости в селе: по очереди прискачут вымыться в бане, посмотрят кинокартину в клубе, забегут в сельмаг, в кладовую колхоза и снова к себе «домой».

Их дом — обычная бурятская юрта, а хозяйкой в ней старая женщина Пагма Абидоева. Давно она живет около табунщиков, из 60 лет своей жизни почти половину провела с ними.

Табун лошадей, разбитый на две группы, зашел в обширную падь Цункурук. Иван Правосудов взял себе 250 лошадей и забрался с ними в глухую падушку, километров за 40 от Долгокычи, Трофим Попов и Петр Верхушин вошли со своим табуном в широкую Цункурукскую долину.

В полдень все они оставили лошадей и уехали в юрту обедать. Мамка уже ждала их и приготовила обильный и вкусный обед. День выдался серый, пасмурный, по небу плыли свинцовые тучи. Сидеть бы и сидеть в юрте, слушать веселые рассказы мамки о ее дальних бурятских родственниках, да табунщикам некогда было прохлаждаться после обеда. Надо было возвращаться к табуну.

Трофим надел свою телогрейку, поверх нее длинную кавалерийскую шинель, подпоясался кушаком — Петр решил взять шубу, а Иван доху. Всем им предстояло провести в степи остаток дня и всю ночь.

— За верблюдами моими посмотрите,— попросила мамка и добавила с улыбкой:— Проголодаетесь, ночью еду вам привезу. Беда нынче ночи холодные.

Трофим легко вскочил на своего Байкала — лучшего коня в табуне и, сдерживая его, поехал от юрты. Петр, огрузневший от шубы, долго взбирался в седло. Ему пришлось догонять Трофима. Иван поехал от них в сторону — его лошади паслись в Медвежьей пади.

Вечерело. Зажглись редкие звезды, но их закрывало тучами.

— Весной-то нынче и не пахнет, — вздохнул Трофим, подозрительно взглядывая на небо.

— Ничего, сегодня зима, а завтра весна разыграется. У нас это бывает.

Трофим не ответил товарищу. Байкал рвался вперед.

— А ну, промнемся! — Лихо свистнув и крепко прижав к себе икрюк[1], Трофим натянул повод.

Через несколько минут он вырвался вперед. Байкал шел наметом, вытянувшись в струнку. Трофим сразу же почувствовал, как тепло и весело стало на душе.

Вначале он не заметил, что поверх прошлогодней высохшей травы понесло землю. Трофим перевел лошадь на рысь и только тогда увидел поземку. Он несколько раз оглянулся и громко позвал отставшего товарища. Байкал стал нервничать. Сильно потянуло холодом.

— Погода что-то шалит, — с тревогой проговорил Трофим, — как бы шурган не разыгрался.

И вдруг пошел сильный дождь. Он не капал, а полился, как из ведра. В несколько минут Трофим промок насквозь. Не лучше было и Петру.

Начала валить ледяная «крупа», а потом тяжелый мокрый снег.

Глубокая тревога охватила табунщиков. Они пытались определить место, где оставили табун, но оба понимали, что потеряли ориентировку. За три метра уже ничего не было видно. Предстояла беспокойная ночь.

И вдруг вдали раздалось еле слышное призывное ржание. У Трофима немного отлегло от сердца. Петр

---

[1] Икрюк — шест с ременной петлей на конце для поимки лошадей.

что-то ему крикнул, и они помчались вперед. Через несколько минут показались первые лошади — хвост уходящего табуна.

Со страшной силой шурган гнал обезумевших лошадей, остановить их было невозможно.

Что такое настоящий шурган в степи, знают только табунщики да чабаны. Не ветер, а все темные силы природы обрушиваются на животных и людей. Несет снег, камни, сносит юрты, с корнями, как былинки, выворачивает редкие деревья, гонит отары, табуны, стада, и нет силы, способной остановить разыгравшуюся стихию.

Ночью совсем похолодало, и шинель на Трофиме стала точно железной. Он с трудом снял с себя шарф и перевязал им лоб Байкала. У лошадей прежде всего замерзает лоб — об этом он хорошо знал еще с детства.

Шли уже третьи сутки, как началась эта неравная схватка между двумя табунщиками и природой. Больше шестидесяти часов они не сходили с лошадей, не ели, не спали, насквозь промерзли и обледенели.

К концу третьих суток табунщики увидели какие-то дома. Это было село неподалеку от пограничной реки Борзянки. Теперь стало ясно, что табун, который бежал не прямо, а сделал не одну и не две петли, даже по самым скромным расчетам прошел больше ста пятидесяти километров. Табунщики уже опасались, что лошади могли уйти за границу.

Шурган стихал, видимость стала лучше, но догнать «голову» табуна все еще не удавалось.

Табунщики и лошади под ними окончательно выбились из сил.

И вдруг сзади раздался знакомый голос:

— Э, ребята, постой, ребята!

Это было как во сне: знакомый родной голос с бурятским выговором. Да, это была мамка. Она широко и добродушно улыбалась:

— Долго искала, беда долго. Однако ничего. Хлеб берите, мясо берите.

Табунщики не могли произнести ни слова. С жадностью они накинулись на еду, Пагма заехала вперед к лошадям и кормила их из рук хлебом.

Когда Попов и Верхушин немного утолили голод, они смогли в полной мере оценить подвиг старой жен-

щины. Ведь она проделала тот же путь, что и они, только ей было еще тяжелее, опаснее, потому что она была одна. Если бы под мамкой пала лошадь, то и сама бы она неминуемо погибла.

— Спасибо, мамка, — сказал Трофим Попов. Петр Верхушин за ним повторил:

— Спасибо!

Им обоим хотелось сказать и больше и лучше, но и без слов Пагма хорошо понимала, как благодарны они своей старой мамке.

Посоветовавшись, они решили, что мамка вернется, откопает верблюдов, угонит их к юрте, а потом сообщит в Долгокычу, чтобы снарядили людей на поиски Ивана. Табунщики распрощались с мамкой и продолжали свой путь. Надо было спешить и спешить, чтобы не дать табуну уйти за границу.

Через час после того как они распрощались с Пагмой, жеребец Буян и с ним сотня лошадей переплыли речку, забитую льдом и снегом.

Трофим оставил на берегу обессилевшего товарища и направил свою лошадь в речку. По пояс в ледяной воде, разгребая руками перед лошадью лед и снег, Трофим помог ей переплыть реку. На противоположный берег он добрался полуживым.

Из последних сил он погнал лошадь вперед, понимая, что только в этом спасение и ее и самого себя. Наконец ему удалось догнать Буяна. Жеребец остановился и встретил Трофима ржанием.

— Эх, Буян ты, Буян! Куда тебя несла нелегкая, Буян? — спросил Трофим, и на радостях прижался к заледенелому загривку жеребца. Буян снова заржал. — Всех бы к чужим увел, буйная твоя головушка! — сказал Трофим. — Давай, брат, заворачивай до дому...

Несколько месяцев спустя колхозники стали готовиться к конно-спортивному пробегу Борзя — Москва. Невиданный пробег за семь тысяч километров должен был показать качества улучшенной забайкальской лошади. Рассчитали так, чтобы в Москву попасть к открытию сельскохозяйственной выставки 1941 года.

Среди других в пробеге должен был участвовать и Трофим Попов. Ему предложили выбрать в табуне лучшую лошадь и начали готовить ее к серьезнейшему

испытанию. Трофим выбрал Байкала. Он был уверен в этой лошади.

Но началась война, и пробег не состоялся.

Трофим Попов был мобилизован в армию и вскоре попал на Юго-Западный фронт, в знаменитую конную группу генерала Плиева.

Всю войну он прошел с казаками Плиева, участвовал в самых сложных рейдах по тылам врага. Четыре раза в боях под ним убивало лошадей, но сам он ни разу не был ранен.

Однажды под ним опять убили лошадь. Она была не очень поворотлива, немного грузна, однако накануне спасла его от верной смерти.

— Только не говорит, а так — человек и человек. Глаза-то! — вслух размышлял коновод, стоя на корточках около раненой лошади.

— Пристрели,— коротко сказал Трофим Попов. Он не в силах был смотреть на страдания животного.

С грустью шел Трофим и его коновод выбирать себе из пополнения новых лошадей. У коновода тоже в последнем бою погиб конь.

На груди у Попова позванивали две медали «За отвагу» — хорошие солдатские медали. В этот день за удачно проведенный бой он должен был получить третью медаль. Но грустное настроение не проходило: до боли жаль было лошадь.

Ему уже было безразлично, какую лошадь дадут взамен. Правда, это повторялось каждый раз, когда приходилось получать новую вместо убитой. К ней привыкаешь, как к человеку.

«Смотрины» были в полном разгаре. Казаки ходили, как по базару, и придирчиво осматривали лошадей. Здесь распоряжался огромного роста старшина.

Попов браковал лошадь за лошадью и вконец расстроился. Коновод уже выбрал для себя донца каурой масти, с широкой, как печь, спиной, привязал его в сторонке к дереву.

— Там, вон Серко стоит, посмотри, — сказал он, подходя к Попову. — Все равно тех, которые получше, разобрали.

Попов нехотя пошел за коноводом.

Старшина с уважением посмотрел на боевые ме-

дали низкорослого, широкоплечего Попова и в порыве откровенности сказал:

— Вредный конь, не бери его, а то намучаешься. Кто ни смотрел — никому не нравится. Дикий какой-то.

Попов подошел к коню, глянул и обомлел: длинные белые ресницы и красные глаза. Он не поверил, провел ладонью по крупу и вдруг сдавленным голосом сказал:

— Тихо, тихо...

— А что такое? — забеспокоился старшина. — Никто не шумит.

— Эх, товарищ старшина, — сказал дрогнувшим голосом Попов, — смотрите...

На крупе лошади было тавро: «АД 1075».

— Ну и что же? — не понимая ничего, протянул старшина.

— А то, товарищ старшина, «АД 1075» означает: артель Долгокыча, номер 1075... Это же мой Байкал! — закричал вдруг Попов, сам не веря себе. Он еще раз обежал вокруг лошади, посмотрел на правое ухо. Сомнений больше не было: и на ухе была колхозная метка.

Отвязав коня, Попов взглянул на старшину и рассмеялся:

— Большой подарок вы мне сделали, товарищ старшина. Мало того, что конь из моего колхоза, но я сам его вырастил, сам объездил и сам имя дал.

— Ну и ну! — развел руками старшина. — Какие вещи на свете творятся! — Увидев, как ловко вскочил казак на коня, как тот, почуяв на себе ездока, сорвался с места, старшина все же не выдержал и для порядка крикнул:

— Смотри, чтобы не сбросил!

— Не сбро-оси-ит! — услышал он в ответ.

— А ну, разбирай лошадок-монголок, забайкалок! — как на ярмарке, стал выкрикивать старшина...

После этого знаменательного дня в жизни Трофима Попова все пошло гладко и удачливо. Так и казалось, что колхозная лошадь с тавром «АД 1075» заворожена от пуль.

Да, отличная это была лошадь: быстрая, выносливая, послушная, казалось, не только движению руки хозяина, но и его мысленному приказанию.

На Байкале Трофим Попов прошел весь остаток

войны. Сколько освобожденных сел и городов он увидел, сколько было встреч с людьми — трудно и перечислить. Сколько осталось позади рейдов и боев — невозможно и припомнить. Но один бой, один город, одна встреча особенно врезались в память. Это был бой за Прагу. Это была встреча с освобожденными чехами.

По тесной улице, забитой радостно кричащей толпой, шла казачья часть. Ехал на своем неизменном Байкале Трофим Попов. Вся лошадь была в цветах: на шее несколько венков из роз, через круп перекинуты гирлянды, под уздечку, за седло и даже под подпругу — везде заботливые руки чешек пристроили цветы.

Две девушки вели коня под уздцы, две держались за стремена. Сапоги у Трофима Попова были запылены, и ему было неудобно, что девушки касаются их руками.

Трофим пытался вникнуть в слова, обращенные к нему: иногда ему казалось, что он вот-вот поймет их смысл и сумеет ответить.

Байкала кормили из рук хлебом... В этом тоже было что-то знакомое, как и в странно близком чешском языке.

Какая-то женщина протиснулась сквозь толпу и, высоко подняв ребенка, подала его Трофиму. Он посадил светловолосую девочку перед собой на седло и обнял ее. Женщина эта — мать девочки,— держась рукой за стремя и подняв к Трофиму лицо, шла с сияющей улыбкой. Она тоже что-то очень быстро говорила, обращаясь то к девушкам, то к Трофиму.

Трофим глубоко вздыхал и крепко прижимал к себе девочку.

Перед глазами его вдруг встала вся длинная, бесконечно трудная и мучительная дорога к этому городу. Каждый шаг на этом пути был оплачен кровью, жертвами, страданиями. Но все было оправдано только одним жестом этой женщины, доверившей ему самое дорогое — своего ребенка.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Комсомолец Поликарп Костромин, или, как его все звали, Поля, почти не бывал на гулянках. Он просиживал целыми ночами в правлении над изобретенной им самим сложной картотекой, в которой отражалось, как в зеркале, трудовое лицо каждого колхозника. За пять минут Поля мог выдать любую справку о том, кто, в какое время и как работал, сколько ему за это начислено трудодней. И все это делалось со скрупулезной точностью и честностью. Скромную должность секретаря правления он выполнял старательно. Шура Большакова часто вечерами видела в окне правления его черную, как у цыгана, голову, склоненную над бумагами.

И ее уже не манили ни песни, ни гармошка, ни танцы...

Она находила любую причину, чтобы потолкаться в правлении колхоза, специально стала работать на разных мелких работах — то один, то два, а то и половину трудодня, — чтобы лишний раз, в неурочное время прийти в правление, пересидеть там всех словоохотливых стариков и остаться наедине с Полей.

Поля доставал ее личную карточку, тщательно вносил туда заработанные ею трудодни и подробно рассказывал, кто отличился в колхозе за последнее время. Она выслушивала его с интересом...

Никого в селе не удивило, что Поликарп и Шура стали мужем и женой.

Их свадьба совпала со свадьбой самого большого

Полиного друга Андрея Сараева — заведующего овцефермой колхоза.

Андрей женился на первой колхозной красавице Елене Дутовой. Это была удивительная пара! От Елены невозможно было оторвать глаз: черные косы до пояса, синие глаза в черных, словно бархатных, ресницах, тонкая в талии.

Под стать ей был и Андрей Сараев — высокий, с синими глазами, смуглый.

Шура стала подругой Елены.

...Поликарп и Андрей по комсомольской мобилизации в один день ушли в армию. Шура осталась с двумя малышами. Дружба между Шурой и Еленой стала еще крепче. Их отныне объединяла не только личная симпатия, но и общие тревоги.

По характеру Шура и Елена были настолько разными, что можно было только поражаться тому, как это они умудрились за все время ни разу не поссориться, ни разу не сказать друг другу резкого слова.

Елена была вспыльчивой, очень резкой, а Шура внешне флегматичной, молчаливой, замкнутой, но на самом деле собранной, энергичной и доброй. По дому она управлялась так быстро, что отец говорил о ней: «Шурка, как метла». А в его устах это было высшей похвалой.

Председатель колхоза вскоре после того, как Поликарп уехал, вызвал к себе Шуру и предложил ей работать кладовщиком колхоза.

Федор Трифонович знал честность этой женщины и вполне мог доверить ей немалые материальные ценности колхоза.

Шура согласилась.

Это была трудная работа в трудные годы. За день женщина перетаскивала на себе десятки мешков с зерном и мукой, бараньи и свиные туши. Помочь было некому: не могла же Шура просить помощи у стариков. Самой тяжелой работой она хотела заглушить в себе тоску и тревогу за мужа. Шура часто обсчитывала сама себя, забывая записать выдачу, и даже несколько раз уходила из кладовой, не опломбировав ее.

Осип Большаков смотрел на дочь и, догадываясь о ее переживаниях, боялся расспрашивать. Однако он

не мог пройти мимо того, что слышал о дочери от бухгалтера колхоза.

— Ты пойди к председателю и откажись от кладовой,— говорил он,— неужели хочешь осрамить мою голову? Я пятнадцать лет вожу в колхозе молоко, ни разу у меня оно не пролилось, не прокисло, всегда все в аккурате. А тут, чего доброго, скажут, что за родной дочерью усмотреть не мог. Или не будь растяпой, или откажись. А то и мужа и отца опозоришь.

Но Шура не хотела и не могла отказаться от работы. Кому-кому, а ей было известно, что в колхозе не хватает рабочих рук.

Огромное хозяйство колхоза вели сейчас главным образом женщины и старики. Чем же она была лучше других? Нет, она должна была работать, должна взять себя в руки.

Колхозники готовили подарки на фронт. Шура тоже собрала у себя самые лучшие теплые вещи и унесла в кладовую.

Длинными ночами в избах стряпали пельмени, вязали мягкие варежки-однопалки из верблюжьей шерсти, теплые шлемы, фуфайки, шили добротные полушубки из белой некрашеной овчины, чтобы были под цвет снега, писали письма на фронт незнакомым бойцам.

Все это стекалось в кладовую к Шуре. Посылки! Посылки! Посылки!

Из колхоза отправляли на фронт тоннами баранину, домашнее печенье, пельмени, одежду...

Ей уже казалось, что все это обязательно попадет ее Полю, Андрею и десятку других односельчан.

Однажды у Шуры случилось большое несчастье. В кладовой не хватило нескольких ящиков с пельменями, 100 пар варежек и 50 пар валенок.

Шура пыталась вспомнить все выдачи, которые у нее были за это время, прятала глаза от пытливого и недоверчивого взгляда бухгалтера и впервые в жизни с ужасом убедилась, как тяжко бывает на душе, когда кто-то может усомниться в твоей честности. Она уже готова была идти к председателю колхоза и просить освобождения от работы.

Но председатель Федор Трифонович вызвал ее сам.

— Что это с тобой деется, девонька? — спросил он. — Ведь так и до беды недалеко.

— Уже беда, Федор Трифонович, глаза боюсь показать на улицу. А не брала я ничего, верьте, не брала. Разве можно дареное на фронт...

— Ты вспомни, может, выдавала кому?

— Вспоминала. Да разве можно упомнить. Перепуталось все. Не брала я.

— Вот заладила. Не брала, не брала! — рассердился председатель. — Да кто винит тебя? Не могла же ты с кашей умять варежки да катанки. Тут они, искать надо.

— Как тут? — даже оторопела Шура. — Не иголка ведь.

— Вот и я говорю, не иголка. Может, путаница какая в бухгалтерии?

— Может, в бухгалтерии, — с надеждой сказала Шура и тут же добавила: — А только освободите меня от кладовой. Куда угодно пойду.

— Ты это брось, девонька! Из кладовой уйдешь, люди скажут, что виновата. Работай спокойно. Я в ответе за тебя буду. Вроде поручителя.

Но разве могла Шура быть спокойной? Ей казалось, что каждый готов ее укорить, и она бы уже не удивилась, если бы ее назвали воровкой.

Через месяц председатель вызвал Шуру опять.

Он долго и внимательно смотрел на нее, потом, пряча в уголках губ улыбку, проговорил:

— Эко перевернуло тебя! И поделом. Убрать тебя, конечно, из кладовой надо. Кончилось мое поручительство.

— Надо, — покорно согласилась Шура, — только душа моя чиста.

— А я разве говорю, нечиста? Вот, читай.

Шура взяла протянутую Федором Трифоновичем бумагу и, ничего не понимая, пробежала ее глазами. Потом перечитала еще раз, и только тогда до нее дошло.

Это писал с фронта командир, часть которого несколько месяцев тому назад получила от колхоза подарки. Сейчас командир подробно писал, как часть вступила в бой. Попутно он сообщал, что когда пред-

ставители части, приехавшие с фронта в колхоз, получили подарки, то забыли выдать расписку.

К письму была приколота расписка на пельмени, варежки и валенки.

И тогда Шура вспомнила ту ночь, когда ее разбудили. Она выдала каким-то военным подарки, кажется, разговаривала о чем-то с заместителем председателя колхоза. У Шуры болела дочка, и до этого она несколько ночей не спала. Вернувшись домой, Шура немедленно заснула, а потом ей вообще показалось, что все это приснилось. Теперь то и дело снились сны, в которых она что-то кому-то выдавала, отправляла на фронт подарки, вручала их прямо Поле, получала от него письма, полные благодарности...

А писем от Поли не было.

В конце января 1944 года в Большаковку пришло несколько похоронных извещений.

С растрепанными косами и дикими глазами прибежала к Шуре Елена Сараева. Она рвала на себе волосы и билась на полу в рыданиях, зажав в руке листок бумаги. Шура молча поднялась с лавки, разжала ее судорожно сцепленные пальцы, взяла бумажку и прочитала точь-в-точь такие же строгие, такие же неумолимые, торжественные слова, как несколько минут тому назад... Смертью храбрых... в боях за социалистическую Родину... Андрей Сараев...

Погиб Андрей Сараев в тот же день, что и Поля. Может быть, в тот же час. И похоронен в одном и том же месте. Под Витебском.

— Встань, — глухо сказала Шура.

Но Елена не вставала.

— Встань, ребят напугаешь, — повторила она. Потом подняла подругу сильными руками и положила на лавку. Она не плакала.

— Как жить я теперь буду? — почти беззвучно одними губами спросила Елена.

— Как жить будем? — повторила Шура и подала ей извещение о смерти Поликарпа...

* * *

Катя была старшей дочерью Федора Трифоновича. Последние два года она училась в Иркутске в сельскохозяйственном институте.

В летние каникулы вернулась Катя в Большаковку. Не успела она и несколько часов пробыть с отцом, как он сказал ей:

— Ты отдохни, а я быстренько гурты «обегу».

Отец вернулся через четыре дня на рассвете, усталый, запыленный, и присел к дочери на кровать.

— Спишь?

— Нет, скучаю, батя.

— Музыкантов позову.

— Ты все смеешься, а я, правда, места себе найти не могу.

— Хорошо. Тогда я найду тебе место. Ты же без пяти минут агроном. Помоги мне.

— Чем? — с готовностью сказала Катя и сразу приподнялась с постели.

— Возьми организуй звено комсомолок и займись подготовкой поля под картофель. А потом и посадкой.

— Не умею я еще командовать, батя, — с грустью сказала Катя.

— Зачем командовать? Звеньевым я вам дам Шуру Большакову. Хватит ей возиться с мешками да с мясом. А ты будешь просто рядовой. Знай себе работай и помогай Шуре советами.

Так была решена судьба Шуры.

Федор Трифонович еще ни разу не испытывал Шуру на самостоятельной работе. Одно дело вести кладовую колхоза, а другое — руководить людьми, пусть на маленьком, но самостоятельном участке. Председатель уже знал в Шуре и большую силу воли, и организаторские способности, и умение распоряжаться людьми.

С картофелем колхозу явно не везло уже многие годы. На землях колхоза родилось все — даже фрукты, а картофель не родился. За большими делами, за тысячами гектаров посевов, за тысячным поголовьем скота, за большим строительством как-то ускользало меж пальцев это дело.

Ведь сумели же насадить недалеко от села фруктовый сад: яблони, малину, крыжовник, вишни. И все растет. И все приносит плоды.

Почему же такие неудачи с картофелем?

Федор Трифонович решил взять картофель под свое личное наблюдение.

— Вот, девоньки, — сказал он на первом же совещании комсомольского звена. — Дали мы вам звеньевую Шуру Большакову, дали коммунистку Пелагею Лыткину. Да и вы сами многого стоите. Главное, готовьте хорошенько землю. В этом секрет успеха. А потом дело за малым: посадить, вовремя прополоть, окучить, опять прополоть, еще раз окучить и выкопать. Так, что ли?

— И так, и не так, — сказала Катя. — Во-первых, нужно выяснить, почему тут всегда не родился картофель.

— И это правда. Думается, что плоховато робили. Исключительно плоховато. — Федор Трифонович любил по всякому поводу повторять слово «исключительно».

— Об агротехнике забывали, — сказала Катя. — Поле нужно удобрять навозом.

— Вот это открыла Америку! — рассмеялся Федор Трифонович. — Да кто же навозом под картофель землю удобряет?

— Так на участке же суглинистая, а не песчаная земля. Конечно, навоз нужен. И подкормка суперфосфатом. Вообще, нужны удобрения.

— Попробуем достать суперфосфату, — сразу же согласился председатель. — А другие удобрения ищите сами.

Шура приглаоила в свое звено Елену, но та не согласилась.

— Нет, Шура, я буду в больнице работать. Там уж я привыкла, а от колхоза как-то отстала. Да и ты зря из кладовой ушла. Когда надо было мешки таскать, так тебя там держали, а теперь несколько мужиков появилось, помочь есть кому, тебя снова в тяжелую работу впрягают.

— По-разному мы это понимаем, — с грустью сказала Шура. — Тебе вот санитаркой в больнице интересно, сытно, в тепле, от колхоза, говоришь, отстала, а я все в колхозе. Девушек-комсомолок мне дали, радость-то какая! Я вроде помолодела вся около них. И как ты говоришь: впрягают в работу! Да я сама, понимаешь, сама выпросила, вымолила у Федора Трифоновича звено это.

Спустя некоторое время, увлеченная своей новой

работой, обязанностями, заботами, Шура стала реже видеть Елену и даже забывать о ней. Зато она приобрела дружбу и уважение целой ватаги девушек-комсомолок.

— Звено!— мечтательно говорила Катя Сараева.— Ведь только подумать, какое правильное, хорошее слово! Мы есть звено большой, спаянной колхозной цепочки. И мы должны показать, на что способно комсомольское звено.

В звене было двенадцать комсомолок. Кроме Кати, там была и вторая дочь Федора Трифоновича Галя, и Агния Чагина, и Нина Костромина, и Диана Литвинцева... Со всей пылкостью юности они привязались к Шуре Большаковой. В этой крупной, спокойной женщине было столько человеческого тепла, обаяния, скромности и трудолюбия, что ее невозможно было не любить. Слушались ее беспрекословно, боялись огорчить.

И закипела работа. Начали с удобрений. Нужно было найти перегной. А на 20 гектаров под посев картофеля требовалось вывезти 840 тонн перегноя. Где столько взять?

Тогда Шура вспомнила, что в селе есть много бывших кулацких стойбищ и дворов, где навоз лежал десятки лет и успел уже превратиться в перегной.

Теперь с раннего утра до позднего вечера на картофельный участок шли подводы с навозом. Правда, времени оставалось не так много, поэтому решили особенно унавозить три «рекордных» гектара.

Сходила Шура и в школу. Поговорила с секретарем школьной комсомольской организации, с пионервожатым.

Пионеры и школьники собрали несколько центнеров птичьего и голубиного помета, золы. Правда, это было не много в сравнении с тем, что требовалось для картофельного участка, но Шура понимала, что лиха беда начало.

Очень она боялась идти работать звеньевой, не верила в свои силы, не знала своих возможностей.

А теперь ей казалось, что даже без особых усилий с ее стороны девушки прониклись к ней уважением и слушались ее во всем.

Под картофель был отведен очень трудный Бородинский мысок за километр от Большаковки. Воды поблизости здесь нет, вся земля поросла пыреем. На первый раз пахали не больше 15 сантиметров глубиной, после пахоты продрали по нескольку раз дисковыми боронами. Только на второй раз опустили плуги на 25 сантиметров. Заботливо подбирали семена, клубни картофеля — одно к одному — не более куриного яйца. Прорастили 8 тонн таких семян и переносили их на участок осторожно, чтобы не повредить ростков, в специальных корзинах. Нет, еще никогда в Большаковке так не возились с картофелем.

Первый раз сажали картофель под лопату, добавляя в каждую лунку золу и помет. С тревогой ожидали всходов. Главное — побежден ли пырей?

Всходы появились дружные, а пырея не было. Рыхление уже проводили с подкормкой суперфосфатом.

— Не может быть, чтобы ты не уродила! — обращаясь к земле, говорила Шура Большакова.

Девушки работали много, без устали, дневали и ночевали на своем участке. За прополкой следовало окучивание, потом повторное.

Теперь уже совсем редко Шура виделась с Еленой. Больница на одном конце села, а картофельный участок на другом.

Иногда беспричинно засосет сердце, всплывут в памяти вечера, когда они сидели с Еленой вместе и перечитывали письма Поликарпа и Андрея. Тогда покажется, что Елена самая близкая подруга, со всей силой захочется увидеть ее.

— Довольная ты своей работой? — допытывалась Елена.

— Очень. И работой, и девушками, и Лыткиной.

— Конечно, я тебе теперь не нужна, — вдруг обижалась Елена.— Теперь у тебя новые подруги, и дружбу ты нашу забыла.

— Я же тебя звала, — мягко говорила Шура. — А дружбу нашу я забыть не могу. В дружбе этой и мой Поля и твой Андрей. Но что тут поделаешь, разные мы с тобой: ты без колхоза можешь, а я нет.

— Отвыкла от колхоза,— вздыхала Елена.— Да и

вообще я надумала уезжать отсюда. Поеду вот на конный завод, стану там работать, может, легче забыть все будет.

— Не знаю, попробуй, может быть, — неопределенно ответила Шура. Она ни в чем не хотела осуждать подругу, но все же подумала, что не смогла бы уехать из Большаковки. Все, все было здесь: и самые большие радости, и самые большие страдания, и вот теперь ее девушки-комсомолки и Пелагея Лыткина. Она вдруг почувствовала, как соскучилась по ним за какой-нибудь час, пока была здесь, и заторопилась на участок. Там теперь все ее счастье, все привязанности.

От Елены она не шла, а бежала на свой Бородинский мысок. В какое-то мгновение она с укоризной спросила себя: «Да что это я ей так сказала: уезжай! Как же можно так?» Но в сердце не было особой жалости. И, наоборот, когда она представила себе, что вот так захотела бы уехать комсомолка из ее звена Агушка Чагина (ей даже приятно было назвать ее сейчас этим ласковым именем, обычно на работе она звала ее Агнией) или Нина Костромина... Нет, она бы им не смогла так вот спокойно, просто сказать: уезжайте, может, вам там лучше будет. Почему же это так? — спрашивала себя Шура. И тут же нашла ответ: видимо, это было потому, что они с Еленой вместе не работали. Нельзя жить одними воспоминаниями о вечерах, и даже о дружбе, о мужьях... Шуре, оказывается, этого теперь было мало.

...Вскоре Елена уехала из Большаковки.

— Счастья тебе желаю, — сказала она на прощание.

— Мое счастье в колхозе,— просто ответила Шура.

Шура теперь окончательно подружилась с Катей Сараевой и Пелагеей Лыткиной.

Пелагея была очень скромной, работящей женщиной. Так же, как и Шура, она видела в своей работе цель жизни. Вместе они читали литературу, выслушивали целые лекции Кати по агрономии и постигали сложное дело ухода за картофелем.

С Еленой Шура, бывало, говорила только о мужьях, о доме, о новых платьях.

Незаметная на вид Пелагея знала много такого,

что раньше проходило мимо Шуры и вовсе не интересовало ее.

На многое Пелагея открывала Шуре глаза.

С гордостью она рассказывала ей о работе дяди Яши, самого уважаемого и престарелого человека на селе, о трактористе Павле Михайловиче Костромине, о комбайнере Жданове, о заведующем конефермой Эрдынееве.

Осенью Катя снова уехала учиться. Картофель копали без нее.

Наступила пора уборки. Не сговариваясь, все девушки надели хорошие платья, чуть свет пришли к Шуре и стали наряжать ее как невесту. Заплели ей по-девичьи косы и уложили короной вокруг головы, прикололи к платью букетик цветов, накинули на плечи шелковую косынку и повели через все село с песнями на картофельное поле.

День занимался до того яркий, до того ослепительно золотой, что Шура и не заметила, как стала подпевать своим юным подружкам.

— Девушки,— сказала озорная, умная и образованная Диана Литвинцева,— итак, начинается сраже-жение на поле Бородинском!

— А и вправду, — загалдели разом все, — поле-то это зовется Бородинский мысок.

Копали вручную. Начали с трех «рекордных» гектаров. Шура с душевным трепетом всадила около куста свои вилы, приподняла тяжелый пласт земли, перевернула его; обнажилось множество желтых клубней. С жадностью она начала обирать их и пересчитывать: 25—40—50—53 штуки! Со всех концов поля Шуре рапортовали о первых результатах.

Работали допоздна, пока стало совсем темно.

Подходили грузовые машины, бестарки и просто подводы — отвозили картофель к овощехранилищу на весы. Шура и девушки не хотели уходить до тех пор, пока не узнают, сколько они получили с одного рекордного гектара.

Глубокой ночью кладовщик стал подбрасывать на счетах все завесы: оказалось, 370 центнеров с одного гектара! Здесь же около овощехранилища развели костер, притащили большой котел и стали варить

картофель. Кто-то сбегал за солью. Ели без хлеба, много, со вкусом и не могли никак насытиться; картофель был рассыпчатый, необыкновенно вкусный. Опять пели песни, смеялись, шутили.

Кто-то вспомнил о ворогах на «поле Бородинском». Так кто же они?

— Пырей, земля суглинистая, засуха,—сказала Лыткина.—Вот кого мы победили, а сегодня, девушки, мы просто начали подсчитывать трофеи.

— Слушайте, девчата,—сказала Диана,—я вот где-то давно читала, что Кропоткин в своем дневнике писал о нашем Забайкалье: «А что бы вы там ни говорили, если бы в Забайкалье родился картофель так, как в России, то небось бы его здесь разводили»,— что вы на это скажете? Но ведь это когда писал Кропоткин, а некоторые у нас в Большаковке до нынешнего года думали, что возиться с картофелем — только руки отбивать.

— Ну, значит, мы еще одного ворога победили: всяких маловеров.

...Через десять дней были подведены окончательные итоги: в среднем сняли по 240 центнеров, на площади 17 га, а с 3 «рекордных» — 1110 центнеров. Для Большаковки это был невиданный урожай.

— А теперь мы вас разобьем на два звена,— сказал председатель Федор Трифонович.—Одним будет командовать Шура, а другим — Пелагея Лыткина. Увеличим мы в два раза посев картофеля, дадим вам картофелекопалки и сажалки.

И вот на следующий год Шура работала уже совершенно самостоятельно. Ей очень не хватало спокойной и рассудительной Пелагеи. Не было и Кати. С Пелагеей у нее теперь установились новые отношения. Они соревновались.

Шуру Большакову выдвинули заместителем председателя Большаковского сельского Совета.

— Теперь, девонька,—говорил председатель колхоза,— мы есть с тобой большие государственные люди. Исключительно! Я заседаю в Верховном Совете республики, а ты — власть на местах. Нельзя ли поэтому сделать так, чтобы у вас рекордными были не три гектара, а все сорок?

— Очень даже можно, — ответила Шура. — Дайте нам только достаточно суперфосфата.

— Ну что ж, раздобудем, — пообещал председатель.

В эти же дни прикатил в Большаковку автобус с людьми с рудника Букака.

К Шуре приехала делегация рабочих.

— Трудящиеся нашего рудника, — сказал пожилой рабочий с седыми запорожскими усами, — хотят встретиться с вами, Александра Осиповна, послушать, как вы работаете.

— Да откуда же вы меня знаете? — удивилась Шура.

— Ого, еще как знаем! — засмеялся рабочий. — Ваш картофель едим и похваливаем.

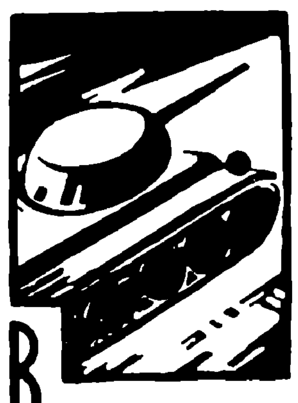
Когда Шура Большакова приехала на рудник, тот же рабочий, оказывается, старый член партии, показывая на Шуру, говорил:

— Вот, товарищ, простая, рядовая колхозница, таких тысячи, миллионы. Фашисты убили у нее мужа, но она, патриотка своей страны, показала, на что способна наша советская женщина. Она вместе с нами помогает фронту...

А Шура сидела в президиуме, прижимая к груди красный пионерский галстук, подаренный ей здесь же детьми, и слушала, как незнакомые люди рассказывали о ее жизни, о работе комсомольско-молодежного звена.

Теперь она со стороны взглянула на годы работы в колхозе и всем своим сердцем почувствовала, какая у нее была красивая, заполненная до краев жизнь. Вот бы посмотрел ты, Поликарп Костромин, мой незабвенный муж, на свою жену! Вот бы послушал, что о ней говорят! Посмотрел бы на девушек-комсомолок, на Пелагею Лыткину, на всех женщин колхоза.

«Неужели это все мы?» — сжимая все крепче и крепче у груди галстук, думала Шура.



КРЕПКИЕ КРЫЛЬЯ

В августе 1945 года по выжженной солнцем пустыне Гоби совершала свой исторический марш прославленная в годы Великой Отечественной войны гвардейская дивизия. Тылы отставали из-за нехватки бензина и... воды. Останавливались автомашины и конные повозки, падали, теряя сознание, на сухую потрескавшуюся глинистую землю солдаты, прошедшие четыре года кровопролитной войны на Западе. Дорог тут не было. Передовые отряды прокладывали путь — первый след от машины, и вскоре он превращался в накатанную, утрамбованную широкую колею.

А по обочинам этих только что рожденных дорог стояли подводы, кухни, машины, орудия, вповалку лежали ослабевшие, притихшие люди.

Я впервые увидел командира Бреславской дивизии Балдынова именно в этот критический момент. Он ехал, стоя в открытом «виллисе», коренастый, могучий человек с красивым монгольского типа лицом, чем-то напоминавшим лицо Сухэ-Батора. В руках у него была фляга и обыкновенная солдатская ложка. Позади «виллиса» следовала цистерна с водой, единственный водный резерв дивизии.

Пока цистерна скупо заправляла водой машины, полковник Балдынов раздавал солдатам по ложке воды.

Люди вставали, шли к машине, выпивали одну-две ложки влаги и шли неторопким, но верным пехотным шагом.

— Батя водички привез! — неслась молва.

А полковник Балдынов, молодой, здоровый, не знающий устали (а это очень хорошо было известно солдатам еще по западным фронтам), медленно двигался по дорогам, и точно по волшебству, дороги эти начинали жить; по ним, как от могучих толчков, совершалось движение вперед — туда, где уже маячили отроги Хинганского хребта.

Через двое суток наша корреспондентская машина вновь повстречалась с «виллисом» полковника Балдынова. Это уже случилось в предгорьях Хингана, и воды на этот раз было так много, что казалось, будто небо в насмешку решило опрокинуть на людей все свои запасы. Гремел гром, то ли настоящий, то ли орудийный, отрывисто стреляли пулеметы из японских дотов, замаскированных на возвышенностях, буксовали грузовики и несчастные кухни, а ротные повара по колено в глине пытались вытащить их хотя бы на обочину дороги.

И вот, в самый ответственный момент, когда образовалась пробка из машин, орудий, лошадей и людей, опять появился полковник Балдынов, и через полчаса свершилось чудо: войска двинулись вперед, тут и там раздавался смех, острое словцо, как электрический ток, передавалось из колонны в колонну. На этот раз полковник Балдынов не мог прикрыть людей от дождя, не мог починить дороги. Тут уже действовали другие законы. Да и в первый раз дело было не в ложке воды, а в каком-то «секрете» владения человеческими душами, известном этому полковнику.

А я продолжаю писать о полковнике Балдынове, с которым то и дело мы встречаемся. Встречаемся не потому, что мы ищем его, а потому, что он находит нас. То догонит на своей машине и поделится банкой консервов. То через своего адъютанта попросит Васю Киселева сфотографировать и прославить бойца, взявшего «языка». То пригласит в свою штабную машину на обед и угостит нас горячими щами и кашей.

А я при всем при этом не забываю выведать у полковника, как любит говорить наш редактор, «факты биографии», не зная еще — зачем мне эти факты и понадобятся ли они вообще. Скорее для себя, ради интереса. Илья Васильевич охотно рассказывает мне не о войне, а о далекой юности, о детстве, и сам, как

мне кажется, с удивлением оглядывается на свою жизнь. А жизнь эта необыкновенна, и я возвращаюсь к той мысли, что мне бы хотелось написать о ней не только эти заметки.

* * *

Илья Балдынов родился в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в юрте скотовода Василия Балдынова. Улус Малоевский, к которому была приписана юрта Балдыновых, был самым бедным улусом среди западных поселений бурят.

В 1916 году в тридцати семьях улуса умерло почти 70 процентов взрослых и детей от эпидемии тифа. Лечить бурят было некому. Ни больницы, ни просто фельдшера, ни школы в улусе не было. Буряты нанимали бродячего учителя, который ходил по домам и юртам. Вот именно такое «двухгодичное образование» от бродячего русского учителя и получил Илюша Балдынов.

Однажды нойоны решили отобрать у бурят весь скот и овец, а так как буряты кочевали, жили далеко друг от друга, то нойоны решили перебить их поодиночке.

Эхирит и Булагат, узнав о грозящей беде, обскакали всю степь, собрали вместе всех кочевников, укрылись за сопкой и стали ждать нойонов. Нечего говорить, что под предводительством Эхирита и Булагата кочевники перебили нойонов, но, к сожалению, не всех; многие в страхе успели убежать.

Буряты-кочевники стали думать, как же жить дальше? Нойоны не успокоятся, наберутся сил, начнут мстить бедным кочевникам. И решили тогда буряты селиться вместе, ставить, как и русские, дома. А селение свое, в честь двух братьев баторов, спасших бедных бурят от разорения и верной гибели, назвали Эхирит-Булагатом.

— Это были справедливые люди, много они добра сделали,— закончил свой рассказ учитель, как будто бы лично знал братьев Эхирита и Булагата.

Мать Илюши умерла от родов, и его воспитывала двоюродная сестра. Когда сестра вышла замуж за кулака Афанасия Алсахова и уехала в соседний улус Харазоргай, Илюша решил поехать за ней. Ему к то-

му времени исполнилось четырнадцать лет, он мечтал учиться, а в улусе Харазоргай была начальная школа. Зять Афанасий смотрел на коренастого, сильного подростка как на даровую рабочую силу и превратил Илюшу в своего батрака. Ни о какой учебе не могло быть и речи. Но бродячий учитель, пьяница и добряк, заронил в свое время в душу мальчика зерна любопытства к знаниям, которые не могли не прорасти.

В одну из темных осенних ночей 1919 года Илюша Балдынов тайно собрал свое скудное имущество, все уместившееся в узелке, и пешком ушел в неизвестный город Иркутск.

Иркутск встретил мальчика в загадочно сказочной дымке тумана, идущего от незамерзшей Ангары и овеявшего землю сплошным белым покрывалом. Здания, казалось, стояли на небесно-облачной основе.

Кто был тот первый человек в Иркутске, который заметил на улице растерянного бурятского подростка, уставшего и измученного многодневным путем?

Почему он взял его за руку и увел к себе в большой из красного кирпича дом?

И почему, расспросив обо всем, закрутил на пальцы огромные усы и загадочно крикнул женщине, хлопотавшей на кухне:

— Иди-ка сюда, полюбуйся на нового Михайлу Ломоносова!

Почему назавтра взял на себя все хлопоты по устройству Илюши в школу взрослых, носившую имя Карла Маркса?

Не раз потом Илья Васильевич вспоминал этого человека, но, к сожалению, не знал ни его фамилии, не мог найти, на какой улице и в каком доме он живет.

Только необыкновенно большие усы запомнились на лице этого человека, и с тех пор, как это ни покажется странным, Балдынов проникался к людям, имеющим усы, самым глубоким уважением и даже дружелюбием.

В школе взрослых учили по ускоренной программе: три класса за одну зиму.

Таким образом, за три года Илюша, как было сказано в официальном документе, окончил семь клас-

сов неполной средней школы. Здесь же он вступил в комсомол.

В свой родной улус Илья Балдынов вернулся грамотным, единственно грамотным человеком. Односельчане тут же решили избрать его секретарем сельсовета.

В 1920 году против неокрепшей Советской власти стали выступать банды Семенова, Донского, Антонова и Кочкиных. Семерых братьев Кочкиных, рослых здоровяков, метких стрелков и отличных наездников, хорошо знал Илья Балдынов. Они жили неподалеку в соседнем селе. Сколько раз мальчик Илюша Балдынов любовался, как Сашка Кочкин стрелял из винтовки на лету в орла и снимал его со страшной высоты единственным выстрелом. Что греха таить, эти братья Кочкины, гуляки и развеселые мужики и парни, казались мечтательному бурятскому мальчику похожими на Эхирита и Булагата. Настоящие герои! А как скачут на конях!

И эти-то «герои» занялись разбоем, грабежом, стреляли из-за угла в людей, преданных Советской власти.

Илья Балдынов, шестнадцатилетний секретарь сельсовета, решил поехать в Иркутск в ОГПУ и рассказать о бандитах Кочкиных.

Там обещали прислать помощь. Через неделю приехал сотрудник ОГПУ, сутулый, задыхающийся от надрывного кашля. Он собрал всех взрослых граждан улуса.

— Вы... товарищи... должны вынести... общественный приговор... братьям Кочкиным...— закончил свою речь сотрудник ОГПУ.

— Арестовать Кочкиных,— выкрикнул Илюша Балдынов.

Собрание так и решило.

Арестовывать Кочкиных пошли всей толпой. Впереди бесстрашно вышагивал маленький сотрудник ОГПУ с непомерно большой деревянной кобурой на боку, из которой выглядывала черная ручка маузера. Кобура била сотрудника по ноге в такт шагам, и Илюша не мог без восхищения смотреть на этого человека, который даже и ростом теперь казался выше.

Кочкины не ожидали ареста, не думали, что к ним

придет всего один человек и по его слову мужики свяжут им руки, перешарят весь огромный дом, амбары, отберут оружие и угонят в тюрьму.

По дороге в Иркутск убежал самый отчаянный из братьев Сашка и присоединился к банде Антонова.

Через несколько дней к дому, где жил у своей тетки Илья Балдынов, подъехало трое верховых. Не слезая с лошади, один из них забарабанил в окно и крикнул:

— Открывай дверь, старая ведьма!

Илюша бросился сначала под печь, но тетка велела лезть на печь. Она обложила его своими детьми — мал-мала-меньше,— накрыла их всех одеялом.

Сашка ворвался в избу, везде все перерыл, заглянул и под стол, и под лавку, и в печь, потом открыл одеяло, увидел голых бурятских ребятишек, от злости плюнул и сказал:

— Убежал, гад!

— Да кого ты ищешь? — спросила тетка.

— Племянничка твоего Илюшку. Но ничего, я из него еще душу вытрясу.

На другой день Илья Балдынов организовал в улусе боевую дружину из двадцати человек. Все они были вооружены берданами и двустволками. Нашлось несколько японских сабель. Сделали и пики.

Через неделю боевая дружина Ильи Балдынова насчитывала восемьдесят человек. Это уже была сила, с которой считалась банда Антонова и Кочкина, не смея показывать носа в улус Малоевский и в соседние с ним села.

Дружина влилась в часть особого назначения штаба Пятой армии, под начальством Олега Степанова.

Вот, собственно, с этого времени Илья Балдынов сдружился с оружием, полюбил армию, почувствовал, что в нем живет «военная косточка».

Его избирают заместителем председателя волисполкома, секретарем ячейки комсомола, но через считанные месяцы берут на работу в органы ГПУ.

И снова борьба. Пусть не атаки, не бои, но борьба упорная, опасная, кровопролитная. Илья Балдынов участвует в раскрытии эсеровско-меньшевистского заговора в Эхирите под руководством крупного кулака Федора Харохинова.

И вот в августе 1925 года решением крайкома партии Илья Балдынов вместе с другими сорока бурятами-комсомольцами и коммунистами в порядке подготовки национальных кадров командируется в Ленинград в военно-кавалерийскую школу.

В 1929 году Илья Балдынов участвовал в событиях на КВЖД в качестве командира пулеметного взвода «максимов». И тут впервые сказались незаурядные качества молодого комвзвода, которые со временем выдвинули его в ряды крупных командиров Советской Армии.

Дивизион пошел в атаку на японцев, а отдельный пулеметный взвод Ильи Балдынова обеспечил фланговый огонь. Закончились патроны. Дивизион, потеряв поддержку пулеметов, стал медленно отходить.

Тогда Балдынов посадил «номера» на лошадей и ринулся в бой. Эта атака была так неожиданна и стремительна, что вызвала в рядах противника полную панику.

Атака пулеметчиков Балдынова обеспечила победу дивизиона. Четырнадцать пулеметчиков, в том числе и Илья Балдынов, были удостоены высокой награды — орденов боевого Красного Знамени.

После КВЖД Илья Васильевич четыре года готовился для поступления в Военную академию имени Фрунзе. Три раза он проваливался на экзаменах, возвращался в полк, но после четвертой попытки был зачислен слушателем академии.

Это была победа. Илья Балдынов учился так, как умеют учиться люди, вышедшие из народа. Его упорству, усидчивости дивились на курсе. Поступал Илья Васильевич в академию с большим трудом, но окончил ее с отличием.

И снова пошла привычная жизнь. Он прибыл в Забайкалье на станцию Дивизионная, где до академии командовал взводом. Но теперь он уже был начальником штаба полка, а через год командовал полком бурят-монгольской кавбригады.

Великую Отечественную войну Илья Васильевич начал в качестве командира кубанского полка. И опять военная судьба распорядилась так, что в марте

1943 года Илья Васильевич назначается заместителем командира своей родной Иркутской дивизии.

В этой дивизии в боях за Кубань полковник Балдынов был трижды ранен на высоте Героев. В госпитале старый хирург с удивлением сказал Илье Васильевичу:

— Я еще, признаться, не видел, чтобы на человеке так быстро заживали раны, как на вас, товарищ полковник.

Илья Васильевич отшутился:

— Секрет знаю. Шаман один научил.

— Ну, ну! — хмыкнул хирург.— Может, и секрет, а только тридцать дней для таких ран, это, знаете, называется даже не пятилетка в четыре года, а всего в один год. Хвалю и удивляюсь!

В знак особого расположения хирург лично проводил полковника до штаба фронта. На прощанье он оказал:

— Ну, а теперь я вам поколдую. Рука у меня легкая. Шрамы, конечно, останутся, но предсказываю вам, что до конца войны больше ранений у вас не будет. Договорились?

— Слушаюсь! — со всей серьезностью откозырял Илья Васильевич и вдруг обнял хирурга за узкие плечи.

Командующий фронтом приказал полковнику Балдынову формировать дивизию в станице Крымской. И с этой дивизией Илья Васильевич прошел всю войну на Западе и на Востоке. Хирург оказался провидцем: Балдынов, казалось, был заворожен от пуль и осколков.

А ведь пришлось пройти немало дорог, быть в самых жестоких боях и переделках.

Дивизия прорывала укрепления по реке Молочной, которые гитлеровцы считали неприступными. С боями форсировала Днепр. Освободила города Бореслав, Николаев, Одессу. Форсировала реки Буг и Днестр. Участвовала в Яссо-Кишиневской операции и освобождении Кишинева, городов Румынии и Болгарии, первой ворвалась в город Белград и после двухмесячных упорных боев — в Будапешт, овладела Веной и Брно и, наконец, вошла в Прагу. Отдых был очень недолгий, его можно было исчислять даже не

неделями, а днями. В Праге уже ждал боевой приказ: грузиться в эшелоны и ехать «на новое место дислокации».

Путь к этому новому месту, как позднее выяснилось, лежал через родные места полковника Балдынова. Эшелоны следовали через Иркутскую область и Бурятию. Тысячи трудящихся стояли дни и ночи около насыпей, на станциях и разъездах, встречая победителей. В вагоны бросали цветы, письма, а чабаны даже... живых баранов...

Родные сибирские просторы, сопки и отроги Саян, Байкал с его цветением и бездонным небом — небо вверху и небо внизу,— леса и перелески, отары овец, табуны лошадей,— все это плыло и плыло перед глазами Ильи Васильевича. И сердце, переполненное радостью встреч, уже не вмещало всего виденного, слышанного и перечувствованного.

Но это еще не был конец войне.

* * *

Мы сидим с Ильей Васильевичем Балдыновым около машины с радиостанцией. Неподалеку от нас ощерился развороченными внутренностями японский дот. Лейтенант-связист сообщил о присвоении полковнику Балдынову звания генерал-майора и Героя Советского Союза.

Илья Васильевич обрадован и... смущен.

— Знаете, о чем я думаю? — спрашивает Балдынов.— Узнали ли эту новость в моем улусе? Эх, до чего хочется побывать там! Сколько бы ни бродил человек по свету, а его тянет в родные места. И еще знаете о чем думаю? Сколько бы учителей у тебя в жизни ни было, а я, например, никогда не могу забыть своего первого учителя. Радость у меня — о нем вспомню. Горе — у него совета и помощи ищу. Не знаю, жив ли он, лет ему сейчас уже под семьдесят должно быть. Много бы я отдал за то, чтобы он разделил сегодня со мной мою радость.

Я слушал Илью Васильевича, смотрел, как он неторопливо разливает из фляжки трофейный немецкий ром в алюминиевые походные стаканчики, и тоже почему-то думал об этом неизвестном мне русском

учителе, который сумел внушить к себе такую любовь и благодарность.

Я думал о том, что Илье Васильевичу вспоминаются так часто те далекие времена, когда его обучал грамоте бродячий русский учитель, потому что юность, сколько бы в ней ни было горького, тяжелого, все же самая славная пора человеческой жизни.

Бурятская народная мудрость гласит, что именно в эту пору растут и крепнут крылья у птицы, воспитывается характер и мужество у человека. Птице с крепкими крыльями — летать и летать в поднебесье, человеку с мужественным сердцем — жить и жить, украшая землю.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Наш поезд стоял на маленьком разъезде. Была тихая ночь, одна из тех ночей, когда небо кажется ниже, звезды теплыми и близкими, когда в воздухе уже веет весеннее дыхание. Настроение у всех бодрое, приподнятое, и наши обычные товарные вагоны, оборудованные нарами, железными печками, вагоны, которые за годы войны порядком надоели солдатам, на этот раз казались нам верхом комфорта. Мы возвращались домой...

В соседнем с нами вагоне ехала веселая компания. Нет-нет да оттуда вырывались то бодрые, то задушевно-лирические мелодии. Кто-то мастерски играл на аккордеоне, негромко, с большим чувством. Иногда мягкий баритон подтягивал песню, но где-то на полуфразе обрывал ее. Тогда раздавались голоса:

— Спой же, Митя, только дразнишь.

Но Митя больше не пел.

Двери теплушки были приоткрыты, и мы решили зайти туда «на огонек». Вокруг железной круглой печки, на которой в ведре варился незамысловатый солдатский ужин, сидело несколько солдат. Двое штатских мужчин и одна девушка, одетая в неуклюжие валенки. Девушка, которую все звали Милочкой, беспрестанно звонко смеялась и говорила все тому же Мите:

— Ну же спойте. Прошу вас.

— Нет уж, не буду. Вам самой хочется петь, и вы ждете, чтобы мы вас попросили, сознайтесь, Милочка.

Девушка надула губы.

Мы уже были знакомы со своими соседями так, как всегда бывают знакомы люди в длительном эшелонном пути, встречаясь у водоразборных будок, на перронах вокзалов, около вагонов.

Мы знали, что двое штатских мужчин и девушка — актеры филармонии, не мало поколесившие по фронтам. Митя, с грубоватыми чертами лица, с плечами грузчика, широкий, сутуловатый, подсел к ним на одной из станций, и, кроме его имени да того, что он возвращается по демобилизации в Кузбасс, о нем в вагоне еще ничего не знали. Остальные люди между собой давно перезнакомились, относились друг к другу с доверием, делились всякой снедью.

Иногда Митя подтягивал песню, весь пригнувшись к аккордеону, склонив набок голову, но умолкал, как только замечал, что его слушают.

— Странный вы, Митя,— капризно говорила Милочка,— надо быть человеком компанейским, а вы даже от водки отказываетесь. Выпейте вот с мужчинами и спойте во весь голос.

— Нельзя мне пить и петь,— мягко улыбаясь, отвечал Митя.

— Черт возьми,— пробасил с полки капитан интендантской службы,— мы вот все здесь за шесть дней дороги узнали друг друга, а вы, товарищ сержант, все помалкиваете. Ну, видим мы, что у вас три ордена, три медали. Знаем, что зовут вас Митей, и — все. А ну, давайте, расскажите о себе.

И тогда Митя еще шире улыбнулся, поднял на

нас глаза, маленькие, глубокие, умные, и лицо его, озаренное хорошей улыбкой и светом этих серых глаз, перестало быть грубым.

— А что, я, пожалуй, и расскажу вам, почему я не хочу петь. Только рассказ длинный, и прошу не взыскать.

Так как Митя все время отмалчивался, то все почувствовали интерес к тому, что он скажет.

И мы стали его слушать.

— Я родился в сибирской деревне Бессоновке, это в той деревне, которая стала потом огромным городом, учился в Томске, но вот в 1929 году комсомол послал меня обратно в Бессоновку, на строительство завода. Не очень-то мне верилось, что в моей родной Бессоновке будет завод, да еще завод самый крупный в плане второй пятилетки.

В Бессоновку вела узкоколейная ветка, заброшенная с давних времен. Хоть я и знал, что места у нас угольные, но когда приехал туда, то посмотрел на свою Бессоновку другими глазами. Оказывается, за 30 километров от нас, в Прокопьевске, были обнаружены залежи угля на миллионы тонн, неподалеку от нас в Монтробаш-Темерта — залежи руды.

Дух у меня захватило, когда мне рассказали, какой гигант начали строить за рекой Томью. Потом уже вся страна узнала о Кузнецкстрое.

Я перепробовал все специальности: был и плотником, и каменщиком, и бетонщиком, и электриком. На Кузнецкстрой прибывали все новые строители, и нас уже насчитывалось около 17 тысяч.

К этому времени начали мы строить в Бессоновке соцгородок. Рубим черемуху, роем землю, закладываем фундаменты, а старухи вздыхают:

— Что делаете, зелень губите, грязь одну разводите.

Помню, пришлось мне на полгода выехать в Свердловск на краткосрочные курсы. Там я впервые увидел поэта Владимира Маяковского. Собрались мы послушать его в огромном клубе. Никогда я не забуду, как он говорил. Мы боялись громко дышать, чтобы не пропустить ни одного его слова. Я и раньше понимал, что мы в Кузнецке делаем большое дело, а Маяковский как будто прожектором осветил для меня всю

нашу работу. И о старухах, которым жаль было черемухи, он тоже сказал.

— Правы они,— говорил он,— но им еще не видно, что на месте Бессоновки будет красивейший город.— И, знаете, вдруг заговорил стихами:

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

И показал рукой на нас, сидящих в зале.

После его выступления мы своими силами концерт давали. Маяковский сел в первый ряд и аплодировал нам широкими взмахами рук, знаете, как будто бы загребал ими весь воздух вокруг себя. Я тоже выступал в этом концерте. Сам играл на гармошке и пел под нее русские песни.

Я и до этого случая любил петь и часто выступал в самодеятельности, а тут меня как будто бы подхлестнул кто-то. Сам чувствую, что пою хорошо, и смотрю только на Маяковского. Скажу вам, что этот человек умел слушать, как никто. Он точно загипнотизировал меня своим взглядом. И опять хлопал в ладоши и что-то говорил соседям.

А назавтра я ему принес свои стихи. Было мне в ту пору 19 лет, и я пробовал писать стихи о Бессоновке, о Томске и частушки на производственные темы. Маяковский посмотрел их и говорит:

— Прочтите вслух.

Я стал читать стихи и чувствую, что краснею, бледнею, а потом остановился и молчу. Маяковский серьезно спрашивает:

— Ну?

— Очень плохо,— говорю ему.

— Нет,— говорит,— не плохо. Частушки мне нравятся, злые, меткие. Наверное, боятся таких частушек. Я бы не хотел, чтобы про меня такие распевали,— и вдруг улыбнулся и говорит:

— Кстати, это вы вчера пели? Вот поете вы замечательно. Голосище у вас сильнее, чем стихи. Вам в консерваторию надо ехать.

Но я так был огорчен тем, что стихи у меня слабые, что его слова о моем голосе показались мне простой вежливостью. «Надо же чем-нибудь утешить человека, вот он о моем пении и вспомнил»,— подумал я. С тех пор я не написал ни одной строчки стихов. Комсомольская ячейка обязывала меня писать частушки, но я стоял на своем: нет и нет. Не умею, не могу.

Ну с голосом моим так бы все и осталось, как прежде, если бы не один случай.

В 1931 году приезжает к нам на Кузнецкстрой Серго Орджоникидзе. Мы праздновали пуск 1-й домны. В общем, торжество редкостное. По этому случаю собрался актив строителей, на котором главный инженер Кузнецкстроя Иван Павлович Бардин, он стал теперь академиком и известен всей стране, так вот этот Иван Павлович Бардин делал доклад об итогах строительства. Должен вам сказать, что здорово мы любили этого человека. Был он беспартийным инженером, скромным, застенчивым. И только когда приходил на строительство, то становился уверенным, резким и даже мог ругаться. Но чаще хвалил. Этому человеку невозможно было сказать неправду, не сделать того, что он попросит. Хотелось разбиться в лепешку, чтобы услышать от него похвалу. А говорить на собраниях, выступать с речами он не мог. Терялся, как школьник.

Украсили мы в этот день клуб, подготовили концерт. Серго Орджоникидзе сидит в президиуме и внимательно смотрит на Ивана Павловича. А тот выходит на трибуну, раскладывает перед собой листки бумаги, и видно, что он волнуется. Но начал он говорить, и мы ушам своим не верим. Так говорит, будто бы он всю жизнь то и делал, что с докладами выступал. Серго Орджоникидзе слушал его, головой кивал, радостно смеялся и часто прерывал речь Ивана Павловича аплодисментами.

Когда тот кончил говорить, Серго Орджоникидзе сам взял слово и сказал:

— Товарищи, вы все помните, что Иван Павлович

Бардин был плохой оратор. Большевики научили его этому искусству. Попросим же Ивана Павловича Бардина, чтобы он научил молодых большевиков так же владеть искусством строительства домен, как владеет им он... Ведь это всего первая домна в Кузнецке. Сколько еще мы их построим здесь вместе с Иваном Павловичем.

Ну, представляете, как мы потом выступали в своем самодеятельном концерте. Я опять играл на гармошке и пел. Меня все время вызывали, и я в этот вечер выходил на сцену не меньше десяти раз. После концерта мы убираем декорации, и вдруг меня зовут к Ивану Павловичу Бардину, а у него сидит Орджоникидзе. Я даже подумал, что мне это во сне померещилось. Орджоникидзе приглашает меня сесть и говорит: «У вас очень хороший голос. Я попросил Ивана Павловича, чтобы вас в консерваторию отправили за счет Кузнецкстроя. Как вы смотрите на это?»

Я опешил и молчу. Потом я встал со стула и промямлил, что мне жалко уходить со строительства, пока оно не окончено. Орджоникидзе метнул глаза на Бардина, засмеялся и проговорил:

— А, каков? Он телом, душой прирос к стройке. А работает как?

Иван Павлович ответил, что на монтаже электрооборудования моя бригада заняла первое место. Орджоникидзе стал рыться в своих карманах, потом вытащил большие часы с черными крышками, с секунду посмотрел на них и, протягивая мне, сказал:

— Вот вам в подарок от меня, товарищ Редько. Часы мне служили десять лет. Да вы не смущайтесь.

Иван Павлович смотрит на меня и кивает головой — бери, мол, ничего, нельзя отказываться: Серго обижаться будет. Взял я эти часы, а у самого даже слезы на глазах выступили. Орджоникидзе это заметил и говорит:

— Ну, Вы, такой сильный, такой большой парень — и слезы. Нехорошо. А учиться надо. Вот если мы с Иваном Павловичем что понимаем, то у Вас редкий голос.

Вот после этого случая я стал серьезнее относиться к своему голосу. Правда, уезжать с Кузнецкстроя мне не хотелось, думаю, буду работать и учиться петь.

Мне тогда как-то неудобно даже было подумать, что есть люди, которые занимаются только тем, что учатся петь или танцевать. Скажу вам по совести, что даже на скрипачей, пианистов, певцов, которые к нам приезжали, я смотрел недоброжелательно. Мне тогда казалось, что все эти люди должны были где-нибудь работать на предприятии, а петь «в свободное время». Доставляет тебе удовольствие,— пой, а деньги за это брать стыдно,— так думал я.

В то время мы работали день и ночь. Время, помните, какое было? Есть что вспомнить. И недоедали и недопивали, а жили в каком-то постоянно радостном состоянии.

Было очень приятно, что к нам все время приезжали большие люди. Помню такой случай. В ночную смену приходит к нам в цех Иван Павлович Бардин, а вместе с ним старичок с тросточкой.

Иван Павлович говорит:

— Разрешите, Михаил Иванович, представить вам бригадира комсомольской бригады Дмитрия Редько.

Я сразу узнал Калинина, подаю ему руку, а рука вся в саже, в копоти. Михаил Иванович взял мою руку, смотрит снизу вверх, смеется.

— Ишь, геркулес какой. Да не так сильно, а то вы мне руку раздавите.

А я готов был сквозь землю провалиться: вижу, что у него вся рука сажей запачкана. Иван Павлович достает свой платок, но Калинин не берет его.

— Ну вот, буду еще платки ваши мазать. Ничего, иногда не вредно с испачканными руками походить. И мы когда-то были рысаками. А товарищ Редько прав. Он, наверное, знает, что во времена Парижской коммуны с белыми руками нельзя было в Париж пройти. Вот такие руки, как у него, вроде пропуска были.

У меня немного отлегло от сердца и даже весело стало, а начальник цеха говорит Михаилу Ивановичу:

— Ничего, у нас теперь мыло есть, можно помыть руки.

Калинин так весь и встрепенулся:

— Ага, теперь есть мыло? Это хорошо, а то ведь раньше не хватало.

Да, в то время много чего не хватало.

Но вот, слово даю вам, что никогда потом в жизни я не переживал более счастливых лет. Это была настоящая романтика строительства и молодости. И кто бы ни приезжал в Кузнецкстрой, не мог быть простым свидетелем. Люди невольно становились участниками нашей стройки.

Правда, хоть это и не имеет прямого отношения к моему голосу и пению, но все же мне хочется рассказать один случай, чтобы вы поняли, почему я колебался уехать на учебу. Вот вам такой случай.

Приехали к нам из Москвы большие инженеры и осматривали наш завод, а к этому времени начали мы строить мартеновский цех, и только успели заложить фундамент, как в одну ночь ударили холода. Нас по тревоге подняли ночью. И вот тысячи рабочих побежали спасать бетон. А за несколько дней до этого случая все мы получили новые желтые полушубки.

Кто-то первый снял свой полушубок и бросил его на сырой бетон. Через минуту все уже были без полушубков, и я заметил, что даже приезжие из Москвы инженеры сбрасывали с себя свои дорогие пальто и накрывали ими куски бетона. Мы таскали кошму, старые одеяла, мешки, набитые разным барахлом.

А на следующий день, когда фундамент окончательно был спасен, комсомольцы созвали митинг. На улице собралось больше шести тысяч человек. И вот в тот день как никогда я почувствовал себя неотъемлемой частицей всего этого большого коллектива, и был по-настоящему счастлив, как может быть счастлив человек, которому здорово везет в жизни и который всем доволен.

Да, сознаюсь вам, что мне трудно и невозможно было оторваться от завода. Я все думал: ну, еще немного, и тогда поеду учиться. Вот кончим вторую домну — и поеду. Мне казалось, что я еще молод, успею, что мой голос останется при мне, что учиться никогда не поздно. Да и в комитете комсомола мне часто говорили:

— Успеешь, Митя. Ты и без учебы у нас за Шаляпина сходишь.

А однажды сказали мне:

— Вот, Митя, открывается металлургический ин-

ститут, и решили мы послать тебя учиться. Ты давно уже мечтаешь об этом.

Но мечтал-то я не о металлургическом институте, а о консерватории. Потом подумал, подумал и решил: а все равно, кончу институт, буду там заниматься пением, а потом и в консерваторию попаду. Ребята мне ведь плохого не желают. Черт его знает, какой из меня артист получится, а инженер наверняка выйдет. И взял я путевку комитета комсомола и стал студентом.

Мы не прерывая слушали Митю Редько. Все, что он говорил, было нам близко и понятно. Только одна Милочка, не выдержав, сказала:

— Какая глупость, какая глупость. Может быть, у вас был талант.

Редько рассмеялся:

— Определенно был. И даже не один талант, а несколько. Вот поэтому-то и певца из меня не получилось.

Мы уже с большей симпатией и уважением смотрели на Митю Редько. Было странно, что за каких-нибудь полчаса он как-то изменился и вырос на наших глазах.

На лицо Дмитрия Редько падал отблеск от печки, и мы были не в состоянии оторвать от него своих глаз.

— Да, так вот, окончил я институт,— продолжал Митя,— стал инженером, а тут вскоре и Отечественная война началась. Распрощался я со своим Кузнецком и ушел на войну. Ну, о том, как воевал, это долго рассказывать, а вот заметили в дивизии, что у меня голос есть, и отправили во фронтовой красноармейский ансамбль песни и пляски. Сделали тут из меня солиста, и стал я заправским актером. Был это уже 1942 год, дела на фронтах, особенно на подступах к Волге, складывались неважно. И опять мне неловко было перед товарищами. Думаю, я здесь песни распеваю, а они там с жизнью прощаются. Но тут была военная дисциплина, и вернуться обратно в свою часть я уже не мог. Где только не выступал наш ансамбль, сейчас просто не верится. Пели мы и около волжских переправ, и в блиндажах, и в подвалах, и на улицах освобожденных городов, и с автомашин перед самой границей Восточной Пруссии, и в Белграде, и в Праге, и даже в самой Вене. Пели мы

и на морозе, и в дождь, и кто только нас не слушал. А последний раз я пел в Вене на одной из площадей. День был хороший, солнечный, собралось много народу, и у меня было такое чувство, что нас слышно далеко на Родине. Но петь почему-то мне было тяжело. За последнее время я вообще стал замечать, что в горле мне что-то мешает, саднит, но разве будешь обращать внимание на такие мелочи на фронте. И вдруг, пою я нашу «Калинушку», хочу взять вверх, чувствую, что мне горло сдавило, как клещами. Так я и не кончил песни. Ну, меня там утешали, мол, всяко бывает, даже аплодировали мне больше всех, но я почему-то почувствовал неладное. Два года выступлений на открытом воздухе в любую погоду не прошли даром. Доктора у меня признали болезнь с забавным названием «узелок певца».

— Вот так, друзья, не допел я песню,— Митя Редько улыбнулся,— не допел «Калинушку», и уже никогда ее не спою во весь голос. Вот поэтому я и думаю, что у меня было несколько талантов, если я не падаю духом. Стоит вспомнить о родном Кузнецке, о своей домне, о расплавленном металле, и я чувствую себя способным жить, строить и считать, что «Калинушка» не была моей последней песней.

Редько положил свои руки на аккордеон и сидел несколько секунд глубоко задумавшись. Совсем неожиданно Милочка спросила:

— А как вы думаете, будет еще у нас пятилетка? Мне вдруг захотелось, Митя, увидеть вас, ну, скажем, еще через пять лет.

Редько чуть заметно улыбнулся.

— Пятилетка обязательно будет, да еще какая. Эх, как соскучились у меня руки по настоящей работе!

Кажется, все мы невольно взглянули на Митины руки. Они лежали на аккордеоне — тяжелые, с крупными проступавшими венами, — руки мастерового. Вот такие руки, когда они начинают работать, делаются подвижными, ловкими и точно оживляют все предметы, к которым прикасаются.

— Будет пятилетка,— убежденно повторил Митя.

Милочка быстро спрыгнула с нар, и в своих больших валенках подбежала к Мите и села с ним ря-

дом. У нее разгорелись щеки, и в эту минуту она была похожа на девочку, которая только что услышала чудесную сказку.

— Как мало, в сущности, мы еще знаем о людях,— задумчиво и серьезно сказала она.— Вот вы, Митя, вы нам рассказали правду своей жизни, песню жизни. Да, песню. Ей-богу, я об этом подумала. Я певица, мой голос для меня — все, а на самом деле, вот случилось бы у меня так, как у вас, что бы я стала делать? Да я бы нашла себе дело и полюбила его, считала бы самым главным в жизни. Вот что я подумала.

Все улыбались, слушая восторженную Милочку.

— А как насчет загубленного таланта? — спросил ее капитан интендантской службы.

— Ну, это я ошиблась, — тряхнула волосами Милочка.— Он видите какой? У него действительно много талантов. Давайте я вам спою, Митя,— предложила она и, не дожидаясь ответа, затянула высоким чистым голосом:

Наш паровоз, лети вперед!
В коммуне остановка...

Митя легонько стал ей аккомпанировать и, не отрывая глаз, смотрел на юное, преображенное лицо девушки. А пела она действительно хорошо, и пела такую знакомую родную песню, что через минуту уже весь вагон подтягивал ей. Запел и Митя, а девушка, ведя за собой весь хор, так легко выводила верха, так ободряюще смотрела на Митю, что он допел эту песню до конца.

— Ах, какая песня. Прямо из души,— тихо сказала Милочка после короткой паузы.— Вам, наверно, очень, очень хочется домой? — спросила она вдруг у Мити.

Наш поезд все еще стоял на станции. Вокруг была удивительная тишина.

И в эту минуту, будто подстегнутый вопросом Милочки, эшелон наш резко тронулся с места.

Митя опустил руки на клавиши и громко заиграл белорусскую песню, и аккордеон точно выговаривал всем нам знакомые слова:

Будьте здоровы, живите богато,
А мы уезжаем до дому, до хаты...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Кажется, все это было совсем недавно, но с тех пор прошло двадцать лет.

Нет-нет, а я вспоминаю нашего спутника по военному эшелону.

Я получал от Дмитрия Редько письма. Они всегда были очень лаконичные, скупые, и одно из них оканчивалось так:

«Вы все спрашиваете меня о настроении. Настроение у меня великолепное. Живу в полную силу легких: работы по горло, женился, родила мне жена двойняшек-сыновей. В клуб, представляете, хожу, и даже руковожу там хором. Счастлив, если вырываю часок-другой на чтение. Иногда (ох, как это бывает редко!) езжу с друзьями на охоту.

Если мне чего и не хватает в жизни,— так это времени. Хочется и то, и другое, а вот времени проклятого не хватает.

Когда вспоминаю войну, охватывает тревога. Хотел бы я единственного: чтобы никогда не повторилась война ни при мне, ни при моих сынах, ни при сынах моих сынов. А там, глядишь, и вообще забудут, что такое война».

Несколько месяцев тому назад я ехал из Сибири в Москву — и на станции Новосибирск в местной газете прочитал короткую информацию о награждении комсомольцев за освоение целинных земель. Между прочим, была такая фраза: «Почетная грамота ЦК ВЛКСМ вручена также директору совхоза «Комсомолец» Д. Редько». Вот и все. Может, этот «Д. Редько» и не тот Редько, о котором написана эта моя быль, но я легко представил себе, что мой знакомый Дмитрий Редько очень просто мог пойти добровольцем на освоение целинных земель и стать директором сов-

хоза, носящего имя Ленинского комсомола. В этом нет ничего необыкновенного.

Необыкновенное скорее в том, что давным-давно отгремевшая война врывается в твою жизнь, требовательно напоминает о себе.

Когда я пытался рассказать о годах войны и людях, с которыми мне приходилось встречаться и многое вместе пережить, меня всегда поражало и бесконечно радовало, что они не забывали свою мирную довоенную жизнь. Они любили ее, тосковали по ней, не только мечтали о возврате к мирной жизни, но и все делали, чтобы скорее приблизить этот момент.

Да, я не выдумал историю о Дмитрии Редько, как вообще не выдумано все, о чем рассказано в книге — история Николая Юдина, генерала Верхозина, Андрея Шилина, Ильи Макагонова, Ады Козей. Только иногда мне приходилось менять имена и фамилии своих живых героев.

И не только Редько напомнил о себе.

Как-то во всех центральных газетах было опубликовано выступление Бориса Полевого на Всесоюзной конференции в защиту мира, в котором он упомянул о героической партизанке Аде Козей, потерявшей на войне ноги. Ада Козей и сама выступила на конференции со страстной речью в защиту мира.

Несколько лет тому назад разыскала меня Стелла Владимирова. Я не мог ей сказать, что она не изменилась. И не потому, что она постарела. Годы как раз пощадили ее. Просто она сделала себе косметическую операцию, и теперь у нее нос без горбинки, которая, на мой взгляд, нисколько не портила ее лица.

Человек, с которого я писал образ Андрея Шилина, живет в Иркутске, защитил в прошлом году звание кандидата филологических наук.

А тот, кого я назвал Ильей Макагоновым,— ныне военный прокурор.

Профессор Ася Ильинична Соркина и сейчас преподает в Иркутском медицинском институте.

Михаил Беспрозванных дослужился до звания полковника, ушел в отставку, приобрел мирную специальность метеоролога и работает в Узбекистане на высокогорной метеорологической станции.

Вернулся в Волгоград хирург Глезер (в повести Лязер).

Живет в Москве генерал Илья Васильевич Балдынов. Изредка мы встречаемся с ним, и я не теряю надежды написать о его судьбе отдельную книгу.

Я потерял след человека, которого назвал в повести Николаем Юдиным. Теперь можно открыть его невымышленное имя: зовут его Василием Коровиным. До окончания войны он жил в Иркутске.

Давным-давно я не видел Мэри Семеновну, хотя знаю, что живет она в Москве.

Года два тому назад я был в Ереване, разыскал там родителей Папяна и рассказал им о последних днях жизни их сына.

Но многих, очень многих из тех, о ком рассказано в этой книге, я не встречал после войны.

И все же я помню их, бережно храню в своем сердце. Этой книгой, спустя почти четверть века, я делаю им новое признание в любви.

Автор

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Александрович Костюковский

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Редактор Н. А. Арзуманова
Худож. ред. Э. А. Розен
Техн. ред. В. А. Авдеева

Сд. в наб. 24/XI-64 г. Подп. к печ. 1/III-65 г. Формат бум. 84×108 1/32. Физ. печ. л. 14,0. Усл. печ. л. 22,96. Уч.-изд. л. 23,5. Изд. инд. ХЛ-705. А04359. Тираж 100 000 экз. Цена 86 коп. в переплете. Тем. план 1965 г. № 147.

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 332.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия»